

И О В Ы И
М И Р

И О В Ы И
М И Р

1972

7



1972

Н О В Ы Й И М И Р

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Год издания XLVIII

№ 7

Июль, 1972 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Разбитая жизнь или Волшебный рог Оберона	3
ЯНКА КУПАЛА — Стихотворения. Перевел с белорусского Н. Кислик	140
ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ — Люба, стихи	144

ПУБЛИЦИСТИКА

ФЕДОР БУРЛАЦКИЙ — Надежды и иллюзии (Научно-техническая революция и управление)	146
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. И. КРЫЛОВ — Огненный бастион. Продолжение	176
БОРИС ИЗАКОВ — Двадцатые годы, Москва—Берлин	213

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСАНДР ЯНОВ — Движение молодого героя. Социологические заметки о художественной прозе 60-х годов	232
---	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	262
Л. Аннинский. Степень причастности.— Владимир Соловьев. «Я ненавижу каждый выкрутас».— Александр Дейч. Встречи с Болгарией.	
<i>Политика и наука</i>	273
И. Нахов. Мифология. Зачем она? — В. Марцинкевич. Серьезная работа об американской школе.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ С С С Р»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр
КОРОТКО О КНИГАХ — И. Мотьяшов. — Литературная Сибирь. Писатели Восточной Сибири. ♦ А. Анастасьев. — Н. Крымова. Имена. Рассказы о людях театра. ♦ Ник. Смирнов. — Лев Любимов. Искусство древнего мира. ♦ А. Майкапар. — Игорь Стравинский. Диалоги. Воспоминания, размышления, комментарии. ♦ С. Сивоконь. — Эптон Синклер. Гномобиль. Гнеобычные гновости о гномах. Повесть-сказка. ♦ Вильгельм Левик. — Эдгар Дега. Письма. Воспоминания современников	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

★

РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ

ИЛИ

ВОЛШЕБНЫЙ РОГ ОБЕРОНА

С КВОЗЬ СОН.

Мама привезла меня в Екатеринослав показать своим родным. Думаю, мне было тогда года три-четыре. В Екатеринославе у меня оказалась бабушка, и это меня удивило, так как у меня уже была одна бабушка — папина мама, — вятская попадья, маленькая старушка, жившая вместе с нами. Тогда я узнал, что у каждого человека есть две бабушки: одна папина мама, другая мамина мама. Погостив некоторое время в Екатеринославе у бабушки, где жили еще несколько маминих сестер, моих теток, мы собрались ехать обратно в Одессу на поезде, отходившем по расписанию в 10.10 ночи.

О, как мне запомнились эти пугающие своей точностью «десять-десять», вероятно, еще более черные, чем сама железнодорожная ночь, которую мне предстояло пережить.

Я еще никогда не видел ночи.

Уже в семь часов вечера меня обычно начинало неодолимо клонить ко сну, а в восемь, иногда даже не дослушав шипенья, заскока и пружинного боя столовых часов, я падал как бы с намагниченными глазами в еще не познанную, непостижимую для меня область ночи и почти в тот же миг всплывал на поверхность из глубины сна, открывал глаза и видел яркое южное утро нового дня, солнце, бьющее в щели крашеных деревянных ставней, приделанных к окнам не снаружи дома, а внутри, как все ставни в нашем городе.

Теперь же, в Екатеринославе, поминутно засыпая, я сидел в бабушкиной и дедушкиной квартире, в столовой, и еле держался на неудобном высоком стуле с резной спинкой, украшенной двумя точеными шишечками, что представлялось мне верхом роскоши и богатства. Передо мной простирался большой обеденный стол мореного дуба. Этот прямоугольный стол без скатерти был какого-то зловещего цвета, настолько темного, что его никак не могла хорошо осветить лампа с белым абажуром, висящая на бронзовых цепях, тоже очень мрачных.

Все было мрачно в этой большой екатеринославской комнате, все в ней пугало меня, несмотря на присутствие доброй, толстой, краси-

вой, как пожилая королева, бабушки — мамочкиной мамы, — которая всей душой любила меня, баловала, играла на фортепьяно веселые польки, брала меня под мышки, поднимала, сажала на свои пухлые колени, и я прижимался к ее шелковому платью, как бы погружаясь в его шорох. Все мамнины сестры — мои тети, — а их было очень много, кажется семь, — тоже баловали, любили меня, тискали, давали конфеты и восхищались, какой я умненький мальчик и как смешно, что у меня две макушки, два волосяных водоворотика, что предвещало счастье, удачливость, везение в жизни. Тетки были разные, но похожие друг на друга — молоденькая тетя Маргарита, и тетя Наташа, служащая в земской управе, и тетя Клёня — Клеопатра — строгая, как пиковая дама, которая служила в Контроле, и тетя Нина — гордость и надежда семьи, красавица, — и еще другие тети, среди которых я катался как сыр в масле.

Тем не менее в этом доме меня что-то угнетало, пугало, я даже чувствовал в нем что-то отталкивающее.

Тогда я не понимал, что это такое, а теперь понимаю: это пугающее был дедушка — мамин папа, муж бабушки — отставной генерал-майор в узком длинном военном сюртуке с двумя рядами медных гладких пуговиц, с бакенбардами и костистым покатым лбом царя-освободителя. Я любил дедушку, но в то же время боялся. Боялся его костлявых пальцев, которыми он умел трещать, его качалки, в которой он с трудом покачивался, силясь согнуть в коленях окостеневшие ноги. боялся всего того, что содержалось в бабушкиных словах, сказанных моей маме: «Второй удар», — вселивших в мою душу необъяснимый ужас...

Лимончик и Кудлатка.

Уже было, наверное, больше восьми часов вечера — в моем представлении глубокая ночь, — а я все еще маялся и не спал, и никто не спал, и мы все еще не трогались с места, не ехали на вокзал, хотя наши портпледы, картонки и корзины стояли в темноватой прихожей и уже было послано за извозчиками. Все чего-то ждали в этой пасмурной столовой.

— Чего мы ждем? — спросил я, собираясь захныкать.

— Не торопись, сейчас узнаешь, — сказала веселая тетя Маргарита, таинственно блеснув глазами.

— А что?

— Сюрприз.

Тут же раздался звонок и вошла еще одна тетя — Люда, — а вслед за ней дворник внес нечто довольно большое, упакованное в магазинную бумагу. И сразу все выяснилось. Оказывается, дедушка дал тете Люде золотые десять рублей и поручил ей купить для меня в игрушечном магазине самый лучший подарок.

Своими маленькими цепкими ручонками, еще липкими от знаменитого бабушкиного клубничного варенья, я надорвал оберточную бумагу и увидел стеклянный глаз и часть лошадиной деревянной морды с шерстью и ярко-красными ноздрями. Сердце мое вздрогнуло от радости. В бумаге оказалась большая игрушечная лошадь на деревянных колесиках, черная, в яблоках желтого цвета.

— Какие лимончики! — закричал я в восторге, после чего лошадь тут же получила кличку Лимончик.

Не теряя времени я начал играть с Лимончиком и возить его за клеенчатую узду по комнатам, но именно тут-то и наступило время ехать на вокзал.

Лимончика положили на стол, и тетя Клёня стала зашивать его в рогожу громадной кривой иглой, без чего по железнодорожным правилам вещи в багаж не принимались, а везти Лимончика с собой в купе строго запрещалось. Видя, как мой чудный, ненаглядный Лимончик превращается в обыкновенный железнодорожный багаж, я стал бросаться от мамы к бабушке, хватая их за юбки:

— Мамочка! Бабушка! Как же я его буду по дороге кормить овсом и сеном и поить ключевой водой? Не зашивайте его всего. Пусть хоть морда черчит!

Я еще плохо говорил, и вместо «торчит» у меня получилось «черчит», что всех умилило и насмешило.

Я так рыдал, что пришлось распороть рогожу и открыть морду лошади с деревянными зубами и жесткой челочкой. И потом, получив рубль на чай, обер-кондуктор в круглой барашковой шапочке и широких шароварах, напущенных на низкие сапожки, как у императора Александра III, разрешил поместить Лимончика в тесном купе второго класса, заваленном пледами и шляпными коробками, и я кормил лошадь отборным зерном и поил ключевой водою, поднося к его торчащей из рогожи морде за неимением ведра свой суконный ботик с черной решетчатой стальной пряжкой, которую я называл на своем детском языке «заслонка», а мама в своем сером саке с большими перламутровыми пуговицами, в шляпе с перьями сидела на полосатом диване и плакала, вынимая из муарового мешочка носовой платок и прикладывая его к покрасневшим глазам, то и дело поднимая на лоб густую черную вуаль.

Не знаю, когда именно, тогда или потом, но я со смутным беспокойством чувствовал, что и этот чистенький батистовый носовой платочек, и мокрые мамины ресницы, и ее смугловатая щека, и траурная вуаль имеют какое-то отношение к дедушке, которого мы видели в последний раз. Он стоял на пороге столовой, держась дрожащей рукой за темную портьеру, и не сводил стекленеющих глаз с моей мамы и с меня, уже одетых и готовых выйти из квартиры на лестницу. Потом уже с улицы я увидел его в окне: он все время крестил нас костлявыми перстами, пока мы усаживались на извозчика и устраивали у моих ног зашитого в рогожу Лимончика.

После изнурительно медленной дороги по новороссийским степям — от восхода до заката, когда солнечный свет с непрерывной медлительностью перемещался по качающемуся на рессорах вагону-миксту и заглядывал то в окошки с шерстяными занавесками, то вкось вагонного коридора то малиново-красный, то янтарно-желтый, то ослепительно-полуденный, но всегда насыщенный особенно мелкой, сияющей вагонной пылью, а потом наступила последняя ночь, и толстая стеариновая свеча багрово горела, шатаясь в стрекочущем фонаре, и проходил контроль, щелкая щипцами, а потом наконец прелестным ранним утром поезд подошел к перрону нашего вокзала. по которому бежал очень знакомый человек в пальто и мягкой шляпе, легкий, стремительный, с бородкой, в пенсне,— это был мой папа, и тут же я очутился в тесных объятиях между ним и мамой, и мы втроем, заваленные дорожными вещами, ехали на извозчике по сухой, звонкой мостовой. Мама и папа сидели сзади, а я перед ними на откидной скамеечке, а Лимончик стоял между нами с высунутой из рогожи мордой, и папа весело, но сконфуженно захохотал так как

оказалось, что он опростоволосился: тоже сделал мне сюрприз — купил другую лошадь, которая уже ждет не дождется меня дома; папа заплатил за нее пять рублей, и она была совсем в другом роде, чем дедушкин Лимончик, — гораздо меньше, со светлой гривой, волнистым хвостом, и была не на колесиках, а на качалке и называлась Кудлатка. Хотя они были не в масть и не в пару, но я запрягал их в опрокинутый стул, превращался в ямщика и мчался с удалыми песнями по Волге-матушке зимой — по янтарно-красному крашеному полу, жарко освещенному южным солнцем, бьющим в окна.

Две лошади!

О таком счастье я даже и не мечтал. Покачавшись на Кудлатке и посидев верхом на высоком Лимончике, я ставил своих лошадей в стойло, мордами к обоям, засыпал им отборного зерна, поил их ключевой водой, а потом забирался под мамин туалетный столик, нарядно задрапированный веселеньким ситчиком, с фигурным стоячим зеркалом и всякими интересными вещицами и длинной шкатулкой из лимонного дерева, где хранились мамины длинные перчатки и маленький театральный бинокль в складывающемся футляре, и шляпные булавки с черными шариками, и разные вуали и вуалетки.

Сидя под нарядным туалетным столиком отгороженный от всего мира просвечивающей на солнце материей, я видел изнанку столика: грубо обструганные сосновые доски и ножки, скрепленные почти черным столярным клеем, проступавшим из узких пазов, тошнотворно пахивали какой-то дохлятиной, и можно было бы сойти с ума от этого запаха, если бы не чистейшие капли сосновой смолы, сверкавшие на струганой поверхности досок, составявших потолок этого секретного домика. Мне было жутко и вместе с тем сладко сидеть в своем уединении, рассматривая сучки и задоринки окружающего меня дерева. Весь мир в эти минуты был сокращен до крошечного пространства, в котором я был добровольно заключен.

И вдруг я услышал крик мамы:

— Почтальон!

Я вылез из-под туалета и увидел маму, которая стояла возле окна, с ужасом глядя в перспективу странно неподвижной, как бы нарисованной улицы с одноэтажными и двухэтажными домами, крытыми черепицей или железом, с булыжной мостовой, акациями и стройным почтальоном без обычной большой сумки, а с маленькой черной сумочкой на черном поясе впереди — для телеграмм.

— Это к нам! — вскрикнула мама и побледнела. — Я знаю. Я чувствую. Я видела это сегодня во сне!..

Была еще надежда, что почтальон пройдет мимо нашего подъезда. Но он, двигаясь как заводная игрушка, в своей форменной фуражке, с черными усиками, вдруг круто повернул в наш подъезд, поднялся по ступеням нашей лестницы.

— Пронеси господи, — одними губами, неслышно, проговорила мама.

Была еще надежда, что почтальон позвонит в квартиру напротив. И сейчас же в передней завизжала проволока и вздрогнул колокольчик. Мама рванулась в переднюю. От ее шлейфа пролетел ветер. Потом она вернулась обратно в комнату с белой телеграммой в руке, села на стул, склонилась головой на грудь, и я увидел слезы, которые быстро бежали по ее побледневшим щекам.

Я сразу понял, что в Екатеринославе умер дедушка.

Пенсне.

Думаю, причиной этого случая было папино пенсне — со стальной дужкой, пробковыми прокладочками в тех местах, где оно защипывало переносицу, и черным шнурком, пристегивавшимся к верхней пуговице жилета. Теперь такие пенсне называются старомодными или даже чеховскими и встречаются лишь на сцене, когда требуется изобразить дореволюционного интеллигента.

Вижу, как папа надевал и снимал пенсне, беря его за металлическую петельку и отставляя в сторону, а то и просто сбрасывал легким движением пальцев, причем оно повисало на шнурке и некоторое время, поблескивая овальными стеклами, качалось как маятник, и тогда я видел по сторонам папиной переносицы коралловые вдавлики, делавшие его бородатое лицо особенно милым и обезоруживающе растерянным.

Мама тоже носила пенсне, но с черным ободком и тоже со шнурком, и я не любил, когда она его надевала, сразу же становясь в моих глазах уже не мамочкой, а строгой дамой.

Папа в пенсне и черной фетровой шляпе с широкими полями и мама в жакете с узкими рукавами, в вуали, в пенсне, в шляпе с орлиным пером, которое трепал свежий, довольно сердитый морской ветер, сидели на палубе на решетчатой скамейке, а за ними с головокругительным однообразием несло назад темные волны с барашками и кружевную пену, бьющую из-под деревянных колес парохода; из двух черных труб валил дым, и сажа косо проносилась над палубой, сыпалась в темно-зеленую, почти черную от надвигающейся бури воду.

Папа и мама, весело ежась, засунули озябшие руки в рукава. Сидя между ними, я попытался сделать то же самое, но обнаружилось, что я уже вырос из своего матросского пальтишка с золочеными дутыми пуговицами и мои руки не влезали в рукава, ставшие очень тесными, короткими.

А море все несло и несло мимо нас, плоское и взволнованное, простираясь до самого горизонта, покрытого тучами, из которых уже высунулся и опускался крутящийся хобот, а из воды навстречу ему поднимался другой вертящийся хобот, и наконец они соединились, и свинцово-синий смерч побежал по горизонту, и я отправился в своей пухлой матросской шапочке с беснующимися лентами гулять по палубе, разглядывая спасательные круги с надписью «Тургенев» и спасательные шлюпки, покрытые брезентом, и гулял до тех пор, пока не очутился в руках у студентов и курсисток, ехавших в третьем классе из Аккермана в Одессу. Курсистки были в маленьких суконных шапочках, бурнусах и козловых башмаках, те самые курсистки, которые уже несколько раз издали с любопытством поглядывали на нас, посылая нам, в особенности папе, необъяснимые улыбки. Они стали меня нежно тормозить, тискать, даже один бородатый студент в старой тужурке и помятой фуражке с голубым выгоревшим околышем сделал попытку пощекотать меня под мышками, чего я терпеть не мог, при этом он весьма глупо присел передо мной на корточки, щекоча мое лицо жесткой бородой и пугая стальные очки как у увеличительными стеклами.

Я заревел и стал лягаться, но курсистки спасли меня от студента и сунули мне в руку сухой апельсин и шоколадку с передвижной картинкой на обертке — шоколадка, наверное, долго лежала в кармане и размякла.

— Мальчик, как тебя зовут? — спросила одна курсистка, прижимая меня к груди.

— Валя. — ответил я.

— Какая прелесть!

— А как твоя фамилия?

— Катаев.

— Странно. Это твой папа?

— Мой. А что?

— Родной папа?

Я не понимал, чего они от меня хотят, и молчал.

— Ты, мальчик, наверное, что-то путаешь. Просто не понимаешь или притворяешься.

— Я не притворяюсь.

— Так скажи же нам, Валюша, как зовут твоего папочку? Антон Павлович, правда?

— Ничего подобного!

— А как же?

— Петр Васильевич.

— Странно. Он писатель?

— Не писатель, а учитель, — сердито сказал я.

— Странно, — сказала одна из курсисток, та самая, что дала мне сухой апельсин и мягкую шоколадку.

— Ничего странного, а просто он учитель в епархиальном училище и немножко в юнкерском.

— Значит, он не Чехов? — разочарованно сказала курсистка. — Странно. Во всяком случае, поразительное сходство: бородка, лучистые глаза, пенсне со шнурком, мягкая улыбка... Гм... Чего ж ты стоишь, мальчик? Иди к родителям, они, наверное, беспокоятся, что ты можешь упасть в воду.

В тот же миг я остался один, как Чацкий на балу. А папа и мама, которые все слышали, сидели, прижавшись друг к другу плечами, засунув руки в рукава, на фоне бегущего моря, и хохотали до слез, а мама все повторяла, морща под вуалью нос:

— Я же тебе говорила, Пьер, что в этом пенсне ты вылитый Чехов.

Мне показалось, что папа несколько смущен.

— Мама, — спросил я, — что такое Чехов?

— Вот научишься читать, тогда узнаешь, — сказала мама.

Все же у меня остался неприятный осадок, что мой папа не Чехов.

Письмо внучке.

Моя дорогая! Недавно, лежа в больнице и читая дневники Льва Толстого последних лет — примерно тех лет, когда он был в моем возрасте или, вернее, теперешний я был в его тогдашнем возрасте, — нашел я много поразительных мыслей и среди них такую:

«Память уничтожает время...»

Как это верно, хотя с таким же успехом можно было бы написать, что время уничтожает память. Впрочем — не совсем; кое-что остается. Но все равно — удивительно верно.

Вот еще что прочел я в дневнике Толстого:

«...если будет время и силы по вечерам, то воспоминания без порядка, а как прилетят... Очень стал живо вспоминать...»

Это дневники 1904 года. Ты их, несомненно, когда-нибудь прочтешь. Очень советую. А вот из дневников 1893 года — еще более по-разительно и бесстрашно:

«Искусство, говорят, не терпит посредственности. Оно еще не терпит сознательности».

Это очень отвечает моим теперешним мыслям. Попробую заняться воспоминаниями именно так, как советует Толстой: без порядка, а как придется, как вспомнится, не забывая при этом, что искусство не терпит сознательности.

Пусть мною руководят отныне воображение и чувство.

Итак, дорогая внучка, хочешь, я расскажу тебе без порядка, а как придется про одного маленького мальчика с круглым простодушным лицом, узкими глазками, одетого, как девочка, в платице с широко наглаженными плочеными складками.

Должен тебе сказать, что тогда маленьких мальчиков было принято одевать как девочек. Когда же в первый раз на мальчика надели короткие штанишки, он был очень горд, то и дело просил маму поднять его к зеркалу, чтобы он мог увидеть свои новые штанишки и ноги в длинных фильдекосовых чулках на резиновых подвязках, пристегнутых к лифчику. Потом этот мальчик поступил в гимназию, стал носить длинные суконные брюки, и так далее.

Самое удивительное, что этот мальчик — был не кто иной, как я сам, твой старый-престарый дедушка с сухими руками, покрытыми коричневыми пятнами, так называемой гречкой...

Вот примерно все, что я хотел сказать тебе, моя дорогая, горячо любимая внучка. А теперь попробую продолжить свои воспоминания «без порядка, а как придется».

Золоченый орех.

Были, правда, еще серебряные орехи, но мне больше нравились золотые. В серебряных орехах было что-то траурное. Золотые же орехи блестяли на елке как солнышки, радуя сердце.

Что-то у нас на елках вывелись золотые орехи!

Помню, в детстве мы их сами золотили. Это было не так-то легко.

— Подумаешь, как трудно! — скажешь ты.

— А вот, представь себе, не так-то просто. Совсем не просто.

— А чего: взял золотую краску, помазал кисточкой орех — и готово дело!

— Вот у тебя и получится некрасивый орех хотя и золотого цвета, да с каким-то бронзовым оттенком, не яркий, а мутный, краше-ный. У нас же орехи были как зеркальное золото, и сияли они, как церковные купола, отражая солнце и небо. И сияли они так потому, что их не красили так называемой «золотой краской», а покрывали сусальным золотом, которое продавалось в виде книжечек, состоящих из двадцати тончайших листиков настоящего золота, переложенных папиросной бумагой. Каждый листик сусального золота был так тонок, почти невесом, что по сравнению с ним папиросная бумага казалась грубой, толстой.

Для того, чтобы вынуть из книжки золотой листок, надо было на него осторожно подуть. Тогда с легким шелестом он приподнимался, и можно было его очень осторожно, двумя пальцами вынуть из кни-

жечки и подержать на весу, прислушиваясь к шороху, который он издавал, почти неслышному и все же — как это ни странно — металлическому.

Если бы можно было усилить этот звук, увеличить его в несколько тысяч раз, то, несомненно, послышалось бы громоыханье листа кровельного железа. Лист кровельного синеватого железа, подвешенный за угол, в то время употреблялся за кулисами театра для воспроизведения грома.

Я сам однажды видел в театре Попечительства о народной трезвости, притаясь за кулисами, как машинист сцены тряс лист кровельного железа, подвешенный к колосникам, как он изредка бил по нему барабанной колотушкой, а в это время притихшие зрители слышали раскаты грома, видели в окнах декораций вспышки молний и Герцог с приклеенной бородкой, отряхая с плаща струи воображаемого ливня, шагая по доскам сцены клеенчатыми ботфортами, с разноцветными буфами на руках, напоминавшими бумажные японские фонарики, и пел изо всех сил, желая перекричать бурю в оркестре:

«Сердце красавицы склонно к измене и перемене».

А все вместе — и гром, и молния, и музыка, и дневной спектакль — каким-то образом, так же как и золотой орех, было составной частью рождества...

Для того, чтобы как следует приготовить золотой орех, требовались следующие вещи: чайное блюдце с молоком, молоток, обойные гвоздики, немного разноцветного гаруса. Нужно было подуть в книжечку, чтобы в ней зашевелились золотые листики, а затем один из них нежно вынуть чистыми, сухими пальцами. На грязных или же влажных пальцах — чего боже упаси! — тотчас же оставались золотые следы, подобные отпечаткам пыльцы с бабочкиных крыльев, и сусальный листик оказывался безнадежно испорченным, продырявленным.

Если удавалось, не повредив, извлечь из книжечки сусальный листик и с величайшей аккуратностью положить его на чистый, сухой стол, тогда предстояла еще одна операция, не такая тонкая, но все же требующая чистоты и аккуратности: нужно было двумя пальцами взять грецкий орех — иногда его у нас в городе называли волошский, — по возможности красивый, спелый, нового урожая, с чистый, твердой скорлупой — и равномерно вывалить его в блюдце с молоком, после чего, подождя, пока лишнее молоко стечет, осторожно положить его на сусальный листик и закатать в него с таким расчетом, чтобы весь орех оказался покрытым золотом. Вызолоченный таким образом, слегка влажный, но восхитительно, зеркально светящийся золотой орех откладывался в сторону на чистый подоконник, где он быстро высыхал и становился еще более прекрасным.

И все же орех еще не готов: к нему надо прибить маленьким каленным обойным гвоздиком — теперь такие гвоздики вывелись из употребления — гарусную цветную петельку, чтобы можно было повесить его на елочную ветку. Здесь вся трудность заключается в том, чтобы не повредить позолоту, а также чтобы гвоздик не расколол орех, что случалось довольно часто, так как гвоздик следовало вбивать в самую макушку, где орех легко колетса, вдруг распадаясь на две части, внутри которых под толстой скорлупой видны как бы мозговые извилины ядра. Поэтому следует очень осмотрительно выбирать место для гвоздика и забивать его еще более осмотрительно, хотя и прочно чтобы гарусная петелька — ярко-зеленая, алая, кана-

реечная или белоснежная, как сама русская зима,— надежно держалась и ни в коем случае не могла оторваться.

Вот тогда только целый, крепкий, звонкий, золотисто-зеркальный, с синей шляпкой обойного гвоздика в макушке и гарусной петелькой елочный орех может считаться вполне готовым.

Остается только повесить его на елку, просовывая руку в колючую мглистую чащу, опьяняющую ни с чем не сравнимым, острым запахом мерзлой хвои.

Там золотой орех таинственно светится как бы сам собой даже тогда, когда свечи уже потушены, рассеялся их парафиновый чад, только остались на елочных иголках разноцветные потеки и в комнате темно, а он все светится и светится, отражаясь в замерзшем окне, за которым во всей своей красе стоит зимняя лунная ночь, прозрачная, как лимонный леденец...

Французская борьба.

Перед последним отделением как бы сам собой на арене появился толстый ковер, без единой складки разостланный на опилках,— магический квадрат, бубновый туз, вписанный в красный бархатный круг циркового беленого барьера с двумя звеньями, уже откинутыми в разные стороны перед небольшим, плотно задернутым занавесом, из-за которого должны были выйти борцы.

К этому часу цирк уже был наполнен снизу доверху, до самой галерки, до железного рифленого купола, а первые ряды, до сих пор пустовавшие, теперь представляли великолепное зрелище больших дамских шляп со страусовыми перьями, воздушных, как пена, боа на шеях городских красавиц, котелков, шелковых цилиндров, офицерских фуражек с цветными околышами и щегольски поднятыми на прусский манер тульями.

Меха, гетры, лаковые остроносые ботинки, узкие студенческие брюки на штрипках, трости с золотыми набалдашниками, цейсовские полевые бинокли, отражающие снаружи в своих выпуклых стеклах миниатюрную картину цирковой арены с ковром посередине, и висячие электрические фонари, шипящие вольтовой дугой между двух угольных стержней.

Шипенье вольтовой дуги еще более усиливало напряженную тишину ожидания; все глаза были прикованы к выходу на арену, к коридору между двух высоких, выбеленных мелом дощатых стен самых дорогих лож, занятых самой шикарной публикой, и повисшим вверху между ними оркестром, из-под которого из узкого прохода должны были с минуты на минуту появиться «они».

Напряжение было так велико, что даже студент-белоподкладочник, подкативший к подъезду цирка на собственном рысаке, выскочил на ходу из лакированной пролетки и, придерживая на груди накиннутую на плечи николаевскую шинель с бровным воротником, шел затаив дыхание, на цыпочках вдоль барьера, близоруко сквозь стекла золотого пенсне разыскивая свое место в первом ряду.

И вот наконец среди тишины ожидания, достигшего высшей точки, из прохода вальжной походкой охотнорядца вышел знаменитый Дядя Ваня в синей поддевке со сборками сзади, в сапогах, меццанском картузе, с закрученными усами, держа в руке большой роговой свисток, как у городского, и зычным, ерническим голосом, привыкшим к цирковой акустике, объявил «всемирный чемпионат французской борьбы», а затем, еще более усилив торжествующий голос — так, что под рифленным куполом слегка качнулись подвязанные

трапеции,— обернулся к занавесу и крикнул властно и вместе с тем бархатно:

— Парад аллэ!

В тот же миг занавес волшебным образом приоткрылся, и оттуда на арену под звуки грянувшего марша стали один за другим выходить борцы, раскачивая голыми локтями, согнув могучие спины, и, обойдя арену, остановились, образуя круг.

— На всемирный чемпионат французской борьбы прибыли и записались следующие борцы,— объявил Дядя Ваня, оглядел сверху до низу переполненный цирк и, как продавец, показывающий лицом свой лучший товар, стал не торопясь называть имена борцов.

Каждый из названных на свой манер раскланивался с публикой. Иной оставался стоять на месте и, скульптурно надув грудные мышцы, ограничивался лишь тем, что коротко наклонял стриженную под ноль, как у солдата, голову с изуродованными, мясистыми ушами. Иной делал шаг вперед и, подняв вверх согнутые руки, играл чудовищно напряженными бицепсами Геркулеса. Иной коротышка проворно выбежал почти на самую середину ковра и, прижав руки к груди как-то по-восточному кланялся на все стороны и быстро возвращался на свое место. Иной стоял неподвижно, как прекрасная античная статуя, не шевелясь и даже не кланяясь, а лишь слегка повернув красивую голову со светлым ежиком волос и греческим профилем, считая, что это вполне может заменить приветствие.

Все волновало публику, все приводило в восторг.

Хотя борцы, в общем, были похожи друг на друга, как солдаты в строю, но все же каждый чем-нибудь да отличался от других: черными, густыми, закрученными вверх усами и какими-нибудь особенными эластичными наколенниками, или высокими, артистически зашнурованными ботинками — «борцовками», или алой муаровой лентой через плечо, сплошь увешанной золотыми и серебряными медалями, или особой формой бритой головы с так называемым петушиным гребнем, сросшимся на темени грубым, костяным швом такой крепости, что на нем можно было гнуть железные полосы, чем славился, например, знаменитый еврейский чемпион Грингауз, чемпион мира с лицом биндюжника, кумир Малой Арнаутской улицы, где жили главным образом мелкие ремесленники-евреи.

Как сейчас вижу неестественно бледное, почти голубое лицо Грингауза с черными клочковатыми бровями и сизыми щеками, как бы прорастающими иссиня-чернильными, вороньими перьями, его голову с костяным гребнем, кое-где смазанную йодом, его безумные, отчаянные глаза.

Дядя Ваня произносил имена, которые до сих пор волнуют меня и вызывают в воображении образы не то каких-то русских добрых молодцов, не то римских гладиаторов.

Их было множество, и все они были разные, и трудно было решить, кто из них лучше. Дамы, постоянные посетительницы французской борьбы, сходили от них с ума, не стесняясь ахали на весь цирк и бросали к их ногам кружевные платочки, надушенные духами «лориган» фабрики Коти, перчатки или даже сумочки, из которых вываливались на ковер круглые зеркальца и пудреницы.

Дядя Ваня вызывал борцов с присоединением некоторых сочных характеристик и подробностей.

— Чемпион мира волжский богатырь Иван Зайкин, бросивший на лопатки в Саратове до тех пор никем не победимого красавца из царства Польского, привислинского богатыря Пытлясинского, который с тех пор потрясенный горем, перестал участвовать в чемпионатах

и удалился в частную жизнь, открыв в Одессе гимнастическую школу для недоразвитых подростков!

— Лурих Второй, Эстляндия, красавец среднего веса, блестящий техник, обладающий силой Геркулеса и фигурой Аполлона Бельведерского.

И я замирал, видя освещенные дуговыми фонарями широкие плечи ревельского полубога, его узкие бедра, сцепленные руки, вытянутые вниз за бугристой от напряжения спиной, матовой от пудры, придававшей его коже цвет каррарского мрамора.

Цирк разражался аплодисментами, которые долго еще летали под куполом, в гулком пространстве над галеркой, напоминая крики потревоженных галок: «кай! кай! кай! кай!..»

— А где сейчас находится Лурих Первый? — спрашивал кто-нибудь, свесившись с перил галерки.

— Лурих Первый, — торжественно возвещал Дядя Ваня, расхаживая в своих сапогах по ковру, — Лурих Первый, чемпион мира, не имевший никогда ни одного поражения и получивший за красоту ног гран-при на всемирной Парижской выставке, скончался пять лет тому назад у себя на родине от неумеренного употребления горячих напитков при отсутствии холодных закусок!

Он был большой остряк, этот Дядя Ваня по фамилии Лебедев, и охотно отвечал на вопросы публики.

Например:

— Дядя Ваня, почему в чемпионате на участвует Сальватор Бамбула?

— Чемпион Экваториальной Африки борец среднего веса Сальватор Бамбула в данный момент болеет корью и находится на станции Жмеринка под наблюдением опытных детских врачей.

Прежде чем начиналась сама борьба, еще предстояла церемония демонстрации запрещенных приемов, которую с блеском проводил Дядя Ваня, вызвав для этой цели на ковер двух каких-нибудь борцов, сноровисто показывающих запрещенные, опасные для жизни приемы: «колье дё горж», когда один борец зажимал горло другого борца и выворачивал ему шею захватом сзади, затем так называемый «гриф», то есть сжимание как клещами запястья противника, вследствие чего могла треснуть кость, ну и, конечно, удар головой ниже пояса или что-нибудь ужасное, применявшееся в джиу-джитсу, но строжайше запрещенное в корректной французской борьбе.

Запрещенные приемы проделывались быстро, наглядно, с чисто артистическим блеском и очень нравились публике, впрочем, горевшей от нетерпенья поскорее увидеть самую борьбу. Но уж таков был ритуал, и это искусственное затягивание времени и подогревание общего настроения публики придавали зрелищу особую остроту.

После запрещенных приемов по команде Дяди Вани борцы поворачивались друг другу в затылок и под звуки марша удалялись по узкому проходу между двух аванлож за занавес.

— Ван Риль, Голландия, — беззвучно повторяли мои губы, а сердце леденело от восторга и счастья, — Мурзук, Абиссиния; Омер де Бульон, Франция; Мюллер, Германия; московский богатырь Иван Шемякин; непобедимый чемпион мира Иван Поддубный; Саракики и Окитаро Оно, Япония; Ян Спуль, Рига; петербургский любитель, студент, пожелавший скрыть свое имя под инициалами А. Ш.; Дядя Пуд — борец самого тяжелого веса, самый толстый человек

в мире, одиннадцать пудов двадцать три фунта, Россия; вятский великан Григорий Кашеев, на два дюйма выше Петра Великого, — тощий, с обезьяньими руками, висящими ниже колен, с головой микроцефала и лицом, имевшим такой вид, будто в него ударила лошадь двумя подковами сразу и отпечатала на нем надбровные дуги, между которыми еле виднелся вдавленный носик с раздутыми ноздрями, — чудовищный сон моего детства; затем негр Сальватор Бамбула с ловким маслянистым телом и курчавыми, как бы закопченными волосами, для описания которого потребовалось бы по меньшей мере перо автора «Саламбо»; Збышко-Цыганевич, Польша; и прочие, и прочие, все чемпионы мира, все непобедимые, все знаменитые, чьи имена до сих пор заставляют дрожать мое сердце.

Арена пустела, но тут же оказывалось, что в стороне от ковра уже поставлен небольшой столик для общественного жюри, составленного Дядей Ваней из местных знатоков и любителей спорта: одного журналиста, одного студента, одного представителя четвертого сословия — портового грузчика, железнодорожного кондуктора или кого-нибудь в этом роде, что придавало жюри некий широко представительный, надклассовый характер и гарантировало высшую справедливость. Судьи рассаживались лицом к ковра за столик, покрытый большими цирковыми афишами, и для пущей важности раскладывали перед собой какие-то бумаги-протоколы, бюллетени, блокноты. Разумеется, жюри подбиралось самим Дядей Ваней из своих друзей, собутыльников и репортеров-бутербродников. Многозначительно посветовавшись вполголоса с судьями при мертвой тишине затаивших дыхание зрителей, Дядя Ваня с присущей ему преднамеренно медлительной торжественностью, однако с чуть заметной веселой игрой своего мощного баритона объявлял первую пару и вызывал борцов на арену. Они выходили на ковер, оставляя на нем следы опилок, устремлялись друг к другу, обменивались коротким рукопожатием, отскакивали, поворачивались вокруг своей оси и по свистку Дяди Вани начинали вкрадчиво сближаться, обхаживая друг друга, наконец упирались друг в друга лбами и под нежнейшие звуки вальса «Светлячки» ритмично оплетали и расплетали свои голые руки, в то же время зорко следя друг за другом и норовя воспользоваться малейшей оплошностью противника для того, чтобы бросить его лопатками на ковер каким-нибудь эффектным приемом вроде «тур дё тет», «бра руле», «двойной нельсон» или «прямой пояс».

До сих пор, повторяя про себя эти волшебные слова моего отрочества, я испытываю некоторое волнение, даже наслаждение.

Со своим роговым свистком во рту Дядя Ваня весьма напоминал разъявленного городского, хотя на самом деле был интеллигентный человек и даже редактировал журнал «Русский спорт».

Пока борцы возились, примериваясь друг к другу, Дядя Ваня обхаживал их, якобы следя за соблюдением правил борьбы, а когда борцы переходили в партер, то есть боролись стоя на коленях или лежа на ковре, то он иногда тоже становился на колени, даже на четвереньки и заглядывал под борцов, желая точнейшим образом установить, коснулись ли ковра обе лопатки того, кто был снизу, или только одна лопатка, что было чрезвычайно важно, так как побежденным считался лишь тот, чьи обе лопатки были прижаты к ковра одновременно — хотя бы на один миг. И тогда Дядя Ваня торжественно провозглашал, сверху донизу озирая форум:

— На четвертой минуте Иван Заикин положил Спуля на обе лопатки приемом бра руле в партере.

По окончании оваций вызывалась следующая пара.

Как описать мне эту красивую возню на ковре двух полубогов, их пластичные движения, их напряженные, бычьи шеи, их наколенники, их напульсники на запястьях атлетических рук, их сопенье, напряженные выдохи и вздохи, мычание, звонкие шлепки по плечам и загрявкам — так называемые «макароны», всегда вызывавшие восхищение галерки, причем непременно чей-нибудь рыдающий голос кричал из-под купола:

— Неправильно!

На что Дядя Ваня немедленно отвечал на самых низких нотах своего голосового регистра:

— Правильно!

Как изобразить двух схватившихся борцов, минутную неподвижность, а затем вдруг какое-нибудь молниеносное «тур дё тет», когда ноги в щегольских белых «борцовках» летят вверх, противоестественное оплетение блестящих от пота тел напоминает некое единое спрутообразное существо с двумя человеческими головами с ежиками волос, повернутыми одна вверх, другая — вниз, их налитые кровью глаза — и вопль восторга, бурные аплодисменты партера и рев галерки...

Ритуал чемпионата французской борьбы был строго традиционен: одна из борющихся пар — непременно — якобы в пылу спортивного азарта налетала на судейский столик; жюри якобы в ужасе разбегалось; кто-то под общий смех зрителей падал, ронял студенческую фуражку, которая катилась по арене, валились на опилки чернильница, колокольчик; бумаги разлетались во все стороны. В общем, это был маленький спектакль, комическое антре, о котором потом вспоминали простодушные зрители как о счастливой случайности, в то время как все это было заранее подстроено.

Кроме того, всегда перед последней парой борцов зрителей подстерегала ужасная неожиданность. На арену быстро входил метранпаж из типографии в своей традиционной синей блузе, из-под которой выглядывал крахмальным воротничок и галстук, и клал на судейский столик только что отпечатанную, еще сырую афишу завтрашней борьбы. Дядя Ваня, надев маленькое пенсне, так нешедшее к его еульгарному, толстому лицу, брал афишу в руки и громко ее читал; оказывалось, что самые интересные пары будут бороться именно завтра, хотя еще вчера всем зрителям казалось, что интереснее, чем сегодня, не будет уже никогда. Искусственное подогревание интереса к чемпионату было строго продумано, и Дядя Ваня — тонкий знаток психологии цирковой публики — с величайшим мастерством составлял афиши с таким расчетом, чтобы каждая следующая была интереснее предыдущей. Для этого требовался большой талант.

«Боже мой, — с отчаянием думали любители борьбы с галерки, потратившие на сегодняшний спектакль последний полтинник и надеявшиеся увидеть самые лучшие пары. — Боже ж ты мой, оказывается, завтра будут бороться два непобедимых чемпиона мира: сам великий Иван Поддубный и волжский богатырь Иван Заикин, лучший техник борьбы двадцатого века». Причем они будут бороться не как-нибудь, а до результата: унылой, томительной ничьей не будет. Завтра зрители могут собственными глазами увидеть, как лопатки одного из кумиров будут прижаты к коврику. Подобное зрелище невозможно пропустить! Было от чего прийти в отчаяние. И бедняки с галерки всеми правдами и неправдами добывали полтинники, даже

закладывали в ломбард части своего скудного гардероба и праздничные платки своих многострадальных супругов.

Французская борьба была чем-то вроде всеобщего запоя: она отвлекала от политики, примиряла с неприглядной действительностью.

Сколько раз мне приходилось вымалывать у папы или у тети полтинник или даже сорок копеек на цирк, узнав, какие замечательные пары будут бороться завтра. Ни папа, ни тетя не разделяли моего увлечения борьбой, которую считали низменным, недостойным интеллигентного человека зрелищем, вульгарным балаганом.

Когда интерес к чемпионату все же начинал иссякать и сборы падали. Дядя Ваня прибегал к испытанному средству. В один прекрасный день объявлялось, что в наш город прибыл новый борец, скрывающийся под черной маской; он вызывает на борьбу весь чемпионат и откроем свое лицо лишь в том случае, если его положат на лопатки.

Черная маска не участвовала в параде и появлялась на арене внезапно, как гром с ясного неба, выскакивая вдруг из бокового прохода, и с этого мига весь город, охваченный чем-то вроде повального безумия, лихорадочно гадал, кто скрывается под черной маской. Заключались пари. Высказывались самые невероятные предположения. Перебирались все мировые борцы.

Может быть, это легендарный сибиряк Святогор, а может быть, сам Лурих Первый, слухи о смерти которого оказались неверными. А вдруг это непобедимый кавказец Майсурадзе или загадочный борец среднего веса, чех по национальности, Поспешиль, еще ни разу не выступавший в нашем городе, известный нам лишь по открыткам, или, наконец, увертливый крепыш Слуцкий из Киева, с Подола, которому знатоки французской борьбы предсказывали блестящее будущее?

Черная маска исчезала так же внезапно, как и появлялась. Это не была обычная бальная черная бархатная полумаска. Вся голова таинственного борца была обтянута до самой белой жирной шеи мешком из черного трико с двумя круглыми дырами, откуда блестели незнакомые глаза, зловещие, как у палача.

Мы ломали головы над вопросом, откуда он появлялся и куда потом исчезал.

Воображение рисовало мне картину ночного города, освещенного странной луной уголовных романов, змеинный блеск гранитных мостовых и стремительную пролетку на резиновых шинах, в которой мчится, закрыв лицо плащом, борец Черная маска. Пугая следы, он мчится из цирка, где только что бросил на лопатки своего очередного соперника, в гостиницу. Конечно, это самая шикарная наша гостиница «Лондонская», на Николаевском бульваре, между Пушкиным и дюком де Ришелье. В крайнем случае — «Бристоль» на Пушкинской, рядом с Биржей, построенной в стиле венецианского дворца Дожей. В моем представлении на Черной маске должен быть блестящий цилиндр, как у Макса Линдера, и в руках драгоценная трость из палисандрового дерева с набалдашником из чистого золота. Он несметно богат и знаменит, как и все прочие чемпионы мира.

В то время, шатаясь по городу в своих гимназических, сшитых навырост шинелях и выслеживая таинственную Черную маску, мы с моим закадычным другом Борей Д. даже и не подозревали, что борцы чемпионата — эти полубоги с могучими затылками и нафабреными усами украшенные лентами с медалями, чемпионы многих стран и даже всего мира, живущие в лучших отелях и разъезжающие на рысаках, — на самом деле совсем не богатые и невзрачные мешчане.

ютящиеся вместе со своими семьями в дешевых мебелированных недалеко от цирка, а их жены стирают в лоханках детские пеленки, свои кофточки и трико своих мужей, а также жарят на керосинке котлеты с вермишелью, лепят голубцы и вареники и кормят грудью своих младенцев, родившихся во время странствий разноплеменного чемпионата по разным городам Российской империи и заграницы.

А сами чемпионы с полинявшими усами, в егеровских фуфайках с короткими рукавами или в ситцевых рубахах, в спущенных подтяжках играли за непокрытым столом в домино, шашки или подкидного дурака распухшими от частого употребления, засаленными картами с обтрепанными уголками, делая копеечные ставки и складывая их в жестяную коробочку от монпансье Жоржа Бормана.

Да и фамилии у них большей частью были простые, мещанские, и это Дядя Ваня давал им звучные псевдонимы, заставлявшие вздрагивать наши еще детские, доверчивые сердца и тревожить воображение целого города в течение нескольких месяцев, пока длился чемпионат.

Успеваемость в гимназиях падала, студенты забрасывали под кровать римское право, офицеры манкировали строевыми занятиями, дамы сходили с ума, представляя себе мраморные торсы борцов, их крепкие шеи, выбритые подмышки, пригнуренные «лебяжьим пухом».

Поддавшись общему сумасшествию, мы с Борей на последние копейки покупали открытки с портретами чемпионов и выслеживали Черную маску, по несколько часов ожидая в тени подъезда минуты, когда взмыленный рысак примчит к воротам цирка подпрыгивающую пролетку на дутиках, откуда выскочит Черная маска. Умирая от страха, мы шатались по ночным переулкам, томились у входа в «Лондонскую», где на тротуаре стояли зеленые кадки с лавровыми деревцами, даже иногда уныло сидели на вокзале в зале третьего класса — в первый нас не пускали, — глядя как зачарованные на дверь, ведущую на перрон, откуда появлялись пассажиры прибывающих поездов. Увы, наши розыски ни к чему не приводили. Черная маска была неуловима. Теперь-то я знаю, что, по всей вероятности, в это время он сидел где-нибудь в цирковом буфете — разумеется, уже без маски, в черной мещанской чуйке — и пил чай в компании своих товарищей по чемпионату, ругая на чем свет стоит сквалыгу Дядю Ваню, не заплатившего за последние два месяца, или же играл в мебелированных в лото по маленькой, закрывая выпадающие цифры морскими ракушками, собранными на Ланжероне.

Бывали экстренные случаи, когда, кроме Черной маски, появлялась Красная маска, и это снова подогревало интерес к чемпионату.

Тогда нечто вроде повального безумия снова охватывало город, и высшая точка этого безумия была борьба Черной и Красной масок до результата. Тут цирк ломился от публики, цены подсакивали вдвое, даже втрое. В конце концов зрители узнавали, кто скрывался под черной и красной маской. Потный борец стаскивал со своей бритой головы маску. Обычно это был какой-нибудь известный, но почему-то выпавший из памяти чемпион.

Чемпионат кончался. Борцы уезжали все вместе со своими женами, детьми, кастрюлями, керосинками куда-нибудь в другой русский город, а то и за границу, например в Константинополь, на полугрузовом пароходе австрийского Ллойда по льготному тарифу, в третьем классе, то есть превратившись в трюмных пассажиров. Там, в трюме, при зеленом свете бегущих мимо иллюминатора морских волн, они в своих егеровских фуфайках продолжали играть по копейке, по сантиметру, по пиастру в домино, выкладывая на качающемся столе костяшки в виде длинной черной ящерицы с белыми пятнышками.

...А мы оставались в городе и до следующего чемпионата устраивали свою собственную борьбу по всем правилам искусства где-нибудь на берегу моря или в Отраде на глухой полянке, разбивая арену среди бурьяна, посыпая ее морским песком и окружая ракушниковыми строительными камнями, похожими своим цветом на абрикосовую пастилу.

Для наших родителей это было настоящим бедствием: все вязаные вещи похищались из шкафов и сундуков и шли на костюмы борцов. В особенности страдали чулки, из которых мы делали маски, безжалостно выкраивая ножницами кружки для глаз.

Девочки сидели вокруг арены и аплодировали нам, а мы, в полозатых купальных костюмах, в трусиках, с лентами через плечо, устраивали парад, появляясь один за другим из кустов боярышника, показывали запрещенные приемы, и я выходил в маске из тетиных ажурных чулок и, желая удивить публику своим атлетическим сложением и мускулатурой, как у моего кумира Ван Рилия, сгибал и разгибал свои слабые, еще почти детские руки с утолщениями в суставах, поворачивался анфас и в профиль, выставляя напоказ свои черные башмаки, старательно выбеленные зубным порошком, в то время как в дачных палисадниках над пыльными осенними циниями и шпажником уже бесшумно кружились пухлые древесно-серые ночные бабочки и мотыльки, а из моря поднималась еле заметная, бледная, как облако, луна...

Бибабо и бильбоке.

Недавно прочел я в «Милом друге» Мопассана, что Форестье, стоя у камина, курил папиросу и играл в бильбоке. Играл он отлично и каждый раз насаживал громадный шар из желтого букса на маленький деревянный шпенек... Промахнувшись на тридцать седьмом ударе, он открыл шкаф, и в этом шкафу Дюруа увидел штук двадцать изумительных бильбоке, перенумерованных, расставленных в строгом порядке, словно диковинные безделушки из какой-нибудь коллекции...

Это мне напомнило, что в детстве, в юности у нас тоже были распространены бильбоке, которые, впрочем, делались все на один манер: красные деревянные лакированные игрушки, искусно выточенные из дерева, — балясинка, на одном конце которой была чашечка, а другой конец был заострен. На шелковом длинном шнурке болтался привязанный к балясинке красный деревянный шарик с просверленной в нем круглой дыркой. Можно было ловким движением руки подбрасывать этот шарик так, чтобы он с приятным хлопаньем попадал в чашечку, а можно было подставить острый конец и насадить на него шарик...

Посадить шарик в чашечку было, конечно, гораздо легче, чем попасть острием в его дырочку, но среди нас, гимназистов, попадались великие мастера, делавшие это запросто. Почти у всех мальчиков и девочек в ранцах и карманах лежали бильбоке, и в каждую свободную минуту их извлекали на свет божий, и раздавались звонкие деревянные щелчки шариков, не попавших в чашечку, и плотное хлопанье — попавших.

Шарики садились на острие почти беззвучно.

Потом эта игрушка как-то постепенно вышла из моды. В памяти у меня осталось только слово «бильбоке». Оно вызывало представление об удивительно приятном, музыкальном звуке щелкающего деревянного шарика и о темно-красной лакированной поверхности всей этой игрушки, искусно выточенной кустарями, вроде тех мельниц,

счетов, пасхальных писанок, бирюлек и волчков, которые так украшали наше детство.

Помню, однажды появилась новая игрушка, окончательно вытеснившая бильбоке.

Девочка-гимназистка лукаво посмотрела на меня из-под полей своей форменной касторовой шляпы с салатно-зеленым бантом, из-под своей русой челочки, затем, таинственно отвернувшись, порылась в своей клеенчатой книгоноске, что-то сделала и вдруг быстро обернулась, протянув ко мне руку, кисть которой превратилась в какое-то странное, забавное и очень милое существо с целлулоидной узколобой, щекастой головкой и глупыми большими глазами. Это существо, одетое в пестрый фланелевый балахончик, имело две фланелевые ручки, которые уморительно двигались, в то время как головка качалась, как у китайского болванчика, и, казалось, делала мне гримасы.

Я сразу понял всю простую механику этой игрушки: на руку надевалась пестрая варежка — вроде купальной перчатки — с тремя пальцами. На средний палец надевалась пустая целлулоидная головка с надутыми щеками, а два других пальца исполняли роль ручек.

Девочка посмотрела на меня лисьими глазками, прозрачными, как леденцы, и захохотала.

— Видел? — сказала она, заставляя пустую головку своей игрушки кланяться мне. — Последняя новость. Называется бибабо. Мне подарили на именины.

Затем бибабо сделал мне прощальный жест обеими фланелевыми ручками, а девочка произнесла скороговоркой:

— Жили-были три китайца: Як, Як-цидрак, Як-цидрак-цидрони; жили-были три китайки: Ципи, Ципи-дрипи, Ципи-дрипи-лям-помпони; и женился Як на Ципи, Як-цидрак на Ципи-дрипи, Як-цидрак-цидрони на Ципи-дрипи-лям-помпони.

И девочка умчалась, громыхая пеналом в своей клеенчатой книгоноске, издали бросив на меня взгляд, похожий на взгляд маленького бибабо.

Скетинг-ринг.

В один прекрасный день в нашем городе появились роликовые коньки — заграничная новинка, — о которых мы до сих пор не имели понятия.

Превосходная штука!

Я увидел их впервые, когда по асфальтовому тротуару мимо наших ворот с шумом проехал незнакомый реалист, показавшийся мне гораздо выше своего настоящего роста. На его ногах я увидел металлические роликовые коньки, прочно прикрепленные к ботинкам ремешками с блестящими пряжками.

На каждом коньке было по четыре дутых колесика — два впереди, два сзади, и эти колесики на шариковом ходу с непривычным звуком — шумным, железным шорохом — катились по асфальту, делаясь сами цвета асфальта.

Какое божественное изобретение: кататься летом на коньках!

Как по мановению волшебного жезла роликовые коньки стали продаваться во всех игрушечных и спортивных магазинах, пополнив собою ассортимент летних игрушек: зеленых марлевых сеток для ловли бабочек, овальных жестяных ботанизирок, крокета, бамбуко-

выж удочек с сигаровидными сине-красными поплавками, гамаков из крепкого кокосового шпагата и, конечно, фейерверка.

Роликовые коньки были на разные цены — от дорогих никелированных до сравнительно дешевых, с коричневыми колесиками из прессованного картона.

Всюду, где только были асфальтовые тротуары, с шумом и лязгом проносились мальчики и девочки, упоенные возможностью кататься на коньках летом по городу, где повсюду виднелись дымящиеся котлы асфальта, придающие и без того душному южному лету в городе нечто адское.

Так наступила эпоха роликовых коньков.

Но это оказалась не только детская забава. Почти одновременно с детьми ею завладели взрослые господа и дамы, превратившие катание на роликовых коньках в некое вечернее, даже ночное развлечение вроде кафешантана. Появилось новое, самое модное слово «скетинг-ринг», в понимании нашем, мальчиков и девочек, звучавшее как-то даже не совсем прилично, даже порочно.

Скетинг-ринг представлял собою асфальтовый каток в специальном закрытом помещении, у входа в который вечером зажигались гелиотроповые электрические фонари и на жаркую улицу вылетали зазывающие звуки матчиша, в которых тоже чудилось нечто порочное.

Туда входили молодые богатые господа и дамы с роликовыми коньками в руках, иные подкатывали на лихачах, и мы, мальчики, смутно догадывались, что дело тут не только в катании на роликовых коньках.

Разумеется, я ни разу в жизни не был в скетинг-ринге и не видел, что там делается. По слухам, там мужчины и женщины танцевали на роликах вальс, прижимаясь друг к другу, а позже, ближе к полуночи, откалывали «ой-ра, ой-ра!» и кекуок, а вокруг асфальтовой площадки, за деревянными барьерами с бархатным валиком, возвышались столики, покрытые крахмальными скатертями, возле которых на специальных подставках блестели запотевшие серебряные ведра с битым льдом, откуда выглядывали золотые горлышки шампанского «редерер».

Слово «редерер» удивительно складно соединялось со словом «скетинг-ринг» и вызывало желание громко запеть на мотив ойры пересыпскую босяцкую песенку, где скетинг-ринг презрительно и ядовито был переделан в скотский рынок.

«Был вчера на скотском рынке и порвал себе ботинки» и так далее.

Ой-ра, ой-ра!

Вижу глухой темный переулок, выходящий на круглую Греческую площадь, и в воротах, под газовым фонарем, женская фигура с роликовыми коньками в руке. Лицо наполовину закрыто тенью шляпки, а наполовину зелено от газового света. Она делает нерешительное движение и шепчет якобы в сторону:

— Молодой человек, хотите, пойдем покатаемся на скетинг-ринге.

Каток.

Еще только лужи стали по ночам замерзать и утром лед на них ломался под ногой, как оконное стекло, а уже надо было спешить к сапожнику чтобы он врезал в каблуки пластинки для коньков.

Зима начиналась пластинками для коньков и появлением стекольщиков, которые поправляли в гимназии зимние рамы, вставляли выбитые стекла и замазывали окна. Стекло и замазка царили в гимназических коридорах. Старая замазка валялась на метлахских плитках — сухая и хрупкая, а новая, распространяя острый запах олифы, лежала на подоконниках в виде округлых глыб с отпечатками пальцев. Замазка была белая и желтая. Белой замазывали окна в актовом зале и в директорской квартире, а желтой — в классах, в коридорах, в «надзирательской», там, где переплеты окон были не белые, но желтые, вернее коричневые. Зима слышалась в тонком, резком звуке алмаза, которым стекольщики проводили прямые линии по стеклу, приложив к нему линейку, а затем отламывали длинные узенькие полоски, чем-то отдаленно напоминающие внутренность максимальных термометров. Эти стеклянные полоски были квадратного сечения, легко ломались и, в общем, представляли для нас мало интереса в противоположность свежей замазке, которую мы, отщипывая от тяжелых круглых кусков, раскатывали между ладонями, как тесто, превращая в длинные мягкие сосульки с рубчатými отпечатками наших ладоней. Мы лепили из них разные удлинённые фигурки. Замазка щекотно отлепивалась от ладоней, оставляя на коже приятную влажность олифы. Полоски старой замазки хрустели под ногами, мазали полы, а тоненькие стеклянные обрезки стекла дробились под каблуками.

Может быть, поэтому мне до сих пор первый ледок на лужах кажется оконным стеклом и осень пахнет желтой замазкой, а начало зимы — белой.

Кроме того, начало зимы как бы олицетворялось появлением пластинок для коньков.

Эти железные — может быть, даже стальные! — ромбики с отверстием посередине, напоминающим замочную скважину, врезанным сапожником в каблук «заподлицо» и крепко привинченные, говорили, что наступает время катков.

Каблуки мальчиков звенели по мраморным и чугунным лестницам, по метлахским плиткам коридоров, царапали паркетные полы в классах.

У нас зима устанавливалась медленно, неохотно. Долго опадали желтые листья. Долго чернели обнаженные деревья, не отличаясь цветом своим от осенней земли, тугой и холодной, еще не покрытой снегом.

Но вот наконец распространилась весть, что каток в городском саду замерз.

При слове «каток» мне представляется ключ для завинчивания коньков: борода в виде круглого утолщения, с отверстием квадратного сечения и сердечко с двумя дырочками, что делало его похожим на свиной пяточок, заканчивающийся острым шпёнком. Этим шпёнком выковыривался первый снег, набившийся в скважины пластинок. Затем коньки вставлялись особым шипом в эту скважину, круто поворачивались и прикручивались к ботинку особыми цапфами. Для большей надежности сквозь косые прорезы в задней части коньков пропускался ремешок и туго затягивался на самую последнюю дырочку. После этого, чувствуя, как увеличился мой рост, я неуклюже шел из жарко натопленной раздевалки по морозно гроыхающим дощатым сходам на опасно блестящий, еще неиспорченный зеркальный лед. Шатаюсь с непривычки и хватаясь руками за легкие от мороза сосновые перила, я съезжал на ледяное поле катка, отражавшее электрические лампочки, развешанные над главной площадкой катка,

над его аллеями и глухими закоулками, где было все же темнее, чем в других местах, и присутствовало что-то любовное.

Почти пустой каток быстро наполнялся.

Играл духовой оркестр, и его парадные такты отражались от больших домов центральной части города.

Сердце замирало.

Уже несколько знаменитых любителей-конькобежцев, склонившись вперед и заложив руки за спину, полосовали каток, совершая круг за кругом и перекладывая на особо крутых поворотах свои длинные «норвежки», свистевшие как ножи, и уже посередине катка выписывал вензеля знаменитый студент-фигурист в канадском свитере и вязаной шапочке, натянутой на красные уши.

Это именно здесь однажды, стремительно разбежавшись по сходям на своих фигурных «гагенах», коренастый рыжий человек с прямым пробором, без шапки, вылетел на лед и без перерыва алмазно расписался на льду: «Сергей Уточкин» — и даже сделал залихватский росчерк, что вызвало общий восторг и долго потом не могло забыться.

...сердце мое продолжало замирать, и вот наконец я увидел ее...

Она, робко передвигая ножки в совсем еще детских ботинках на пуговицах, скользила, поминутно останавливаясь и переводя дух, в своих новеньких «снегурочках» с закрученными носами. Одной рукой она держалась за спинку стула-саней, а другой, спрятанной в муфточку, балансировала и, увидев меня, замахала этой маленькой меховой муфточкой. Мы поздоровались, и она, не без усилия оторвавшись от спасительного стула и найдя опору во мне, протянула мне свои руки. Мы схватились накрест. Одна моя рука влезла в теплое гнездышко ее муфты и осторожно пожала там ее слегка влажные теплые пальчики, вынутые из варежки. Потом я сжал и всю кисть ее руки, показавшуюся мне нежной, беспомощной, как еще неоперившийся птенчик.

Скрестив руки, мы ритмично катались по кругу, стараясь попадать в ногу, и когда оказывались под голой электрической лампочкой, то наши тени исчезали, а потом снова появлялись, но уже с другой стороны, иногда двоились, троились, превращаясь в тeneвую звезду.

А духовой оркестр играл волшебнo-печальный вальс, и такты, которые мягко отбивал пыхтящий турецкий барабан, улетали за пределы катка, отдаваясь в бриллиантово освещенных витринах Дерибасовской. И в душе моей было нечто такое щемящее, что я готов был заплакать от счастья, а потом, провозжая ее домой, чувствовал запах ее шерстяной шубки с котиковым воротником, слегка надушенным каким-то знакомым цветочным одеколоном, свежим, как весенний сад, и мы сжимали в муфте влажные ладони друг друга, сплетали пальцы, и я нес на ремешке ее коньки вместе со своими, и коньки наши звякали друг о друга, а по тротуару звонко стучали и царапали плитки лавы наши каблуки с врезанными в них стальными пластинками, и я видел искоса ее розовое, как крымское яблочко, лицо и чистенькое, хорошенькое ушко, выглядывающее из завитушек волос, слегка тронутых инеем.

Как некогда написал Фет: «Дерзкий локон в наказанье поседел в шестнадцать лет».

Но ей было, кажется, не более пятнадцати. Может быть, даже четырнадцать. Не помню уже, как ее звали. Наверное, Зина. Зиночка.

Возвращаясь домой один через Александровский парк, пустынный в этот ночной час, я слышал мертвую тишину зимнего моря, черные стволы голых деревьев, где среди обледеневших сучьев горели семь ярких звезд Большой Медведицы.

Замерзшее море.

Знакомое побережье было загромождено плоскими, довольно толстыми льдинами, светящимися на месте обломов зелено-голубым стеклом черноморской воды; сверху они были сахарно-белые, и по ним можно было шагать не скользя; но трудно было перелезть с одной вздыбленной льдины на другую; иногда приходилось садиться на поднятый край одной льдины, спуская ноги на другую, или же прыгать, упираясь одной рукой в обломанный край, на вид хрупкий, а на самом деле крепкий, как гранит. По этому хаосу нужно было идти довольно долго, прежде чем нога ступала на ровное поле замерзшего до самого горизонта моря. Впрочем, по этому на вид ровному ледяному пространству идти было нелегко: то и дело на пути попадались спаи между отдельными льдинами, небольшие торосы и рябь волны, внезапно схваченной морозом и превращенной в льдину.

До самого горизонта под ярким, холодным солнцем, сияющим как ртутная пуля капитана Гаттераса, блистала нетронутая белизна соленого, крупно заиндевевшего льда, и лишь на самом горизонте виднелись иссиня-черная полоса открытого моря и силуэт впаянного в лед иностранного парохода-угольщика.

Под ногами гремел лед, давая понять, что подо мною гулкое, опасное пространство очень глубокой воды и что я шагаю как бы по гулкому своду погреба, мрачная темнота которого угадывалась подо мною в глубине.

Я помню скопления белых пузырьков воздуха, впаянных в толщу льда, напоминавшие ландыши.

Справа и слева выпукло белели ярко освещенные январским солнцем маяки — один портовый, другой большефонтанский — и маленький ледокол, дымивший у входа в Практическую гавань, напоминающая знаменитый «Фрам» Фритьофа Нансена, затертый до самых мачт в арктических льдах, под нависшим над ним органом северного сияния. Надо всем этим синело такое яркое небо и стояла такая высокая, неестественная тишина и таким нежно-розовым зимним цветом был окрашен берег Дофиновки, безукоризненно четко видневшийся сквозь жгучий, хрустальный воздух, от которого спирало дыхание и мохнатый иней нарастал на краях верблюжьего башлыка, которым была закутана моя голова поверх гимназической фуражки, что четырнадцать градусов мороза по Реомюру казались температурой, которую немислимо выдержать ни одному живому существу.

Однако вдалеке на ледяном поле кое-где виднелись движущиеся человеческие фигурки. Это были горожане, совершающие свою воскресную прогулку по замерзшему морю, для того чтобы поглазеть вблизи на заграничный пароход.

Лазурная тень тянулась от каждого человечка, а моя тень была особенно ослепительна и велика, переливаясь передо мной по неровностям ледяного поля и перескакивая через торосы.

Наконец я добрался до кромки льда, за которой в почти черной

дымящейся воде стоял громадный темно-красный корпус итальянского угольщика с белым вензелем на грязно-черной трубе, вензелем, состоящим из скрещенных латинских букв, что придавало пароходу странно манящую, почти магическую притягательную силу.

Очень высоко на палубе стоял итальянский матрос в толстом свитере, с брезентовым ведром в руке и курил длинную дешевую итальянскую сигару с соломинкой на конце, а из иллюминатора с высоты трехэтажного дома непрерывно лилась, как водопад, вода из машинного отделения, оставляя на старой железной обшивке уже порядочно нарощие ледяные сосульки.

Итальянский матрос махал кому-то рукой, и я увидел две удаляющиеся к берегу фигурки, которые иногда останавливались и, в свою очередь, махали руками итальянскому матросу. За ними тянулся двуслой лазурный след салазок, которые они тащили за собой.

Погуляв по кромке льда и налюбовавшись итальянским угольщиком, я отправился обратно. Солнце уже заметно склонилось к западу, за город, за белые крыши со столбами дыма, за синий купол городского театра, за памятник Дюку.

Мороз усиливался с каждой минутой.

Я машинально шел по длинному двойному следу салазок и вдруг уже совсем недалеко от берега увидел на поверхности косо вздыбленной льдины с зеленым обломом какую-то надпись, глубоко и крупно вырезанную чем-то острым, возможно, концом железной тросточки из числа тех, что любили брать с собой на воскресную прогулку наши мастеровые и рабочие заводов.

Может быть, они сами делали для себя эти железные тросточки с круглой рукояткой.

Впервые в жизни я прочитал на льдине сочетание не вполне понятных для меня слов:

«Пролетарии всѣхъ странъ, соединяйтесь!»

Было что-то грозное и полное какого-то тайного смысла в этой лазурной, святающейся фразе, которая впоследствии так широко и мощно распространилась по всей нашей земле.

Что бы могло значить это заклинание, в один миг как бы приблизившее меня к людям всех стран? — думал я с необъяснимой тревогой.

Прыгая с последней льдины на обледеневшие камни берега, я увидел трех пограничных солдат в башлыках и фуражках с зелеными колышками, которые карабкались по острым торосам, направляясь к итальянскому пароходу.

Розовое солнце блестело на кончиках их вороненых четырехгранных штыков с ложбинками для стока крови.

У них был вид опоздавших людей.

Что все это могло значить и какое это имело отношение к слову «Искра», которое было вырезано на последней льдине, вероятно, все той же самодельной железной тросточкой одним из тех, которые что-то везли на своих салазках, закутанное в рождуну...

Лечение зуба.

При слове «Флеммер» мне сразу представлялся безукоризненно белый, накрахмаленный и выглаженный халат, осанка великого ученого и могучая голова если не Бетховена, то, по крайней мере, Ибсе-

на; не говорю уже о присутствии в воздухе неподвижного, чрезвычайно гигиенического запаха смеси креозота и гвоздичного масла, вселявшего в меня нечто вроде покорного отчаяния и сознания собственной неполноценности.

Даже отец, который в моем представлении был нравственно выше всех людей в мире, вдруг оказался в присутствии доктора Флеммера неуверенным в себе, робким человеком с обычной внешностью и неуверенными манерами.

Я сразу понял причину робости папы: он не знал, сколько стоит визит, боялся, что с него сдерут рубля три. Впрочем, для меня папа не пожалел бы никаких денег.

Как бы прочитав его мысли, доктор Флеммер, вытирая руки полотенцем, сказал с сильным немецким акцентом, что первый визит стоит два рубля, а последующие по рублю, не считая чаевых ассистентке-горничной и материалов.

Затем, онемев от ужаса, я взгромоздился на зубоорудное кресло, прижал затылок к двум кожаным подушечкам, а Флеммер стал нажимать ногой в хорошо вычищенном штробе на какой-то кривой рычаг с педалью, и я стал толчками подниматься вверх, видя, как вместе со мной подымается стакан с дезинфицирующей водой: бледно-сиреневого цвета и особая, какая-то весьма научная плевательница, к красному стеклу которой прилип клочок мокрой гигроскопической ваты, оставшейся, по-видимому, от предыдущего пациента.

В обморочной тишине кабинета звонко тикали часы.

Я почувствовал приближение к себе вплотную накрахмаленного халата и разинул рот, куда сейчас же полез указательный палец Флеммера — слегка волосатый, безусловно вымытый сулемовым мылом, — а затем в мой рот с некоторым отвращением заглянули выпуклые голубые глаза в золотых очках, после чего я услышал брезгливый голос, сказавший моему папе, что у меня не рот, а помойная яма. Затем я уловил страшное слово, произнесенное с еще большим презрением: «дупло».

После небольшой лекции о долге каждого культурного человека заботиться о своих зубах Флеммер многозначительно напряг свой великолепный лоб и, молчаливо обдумав создавшееся положение, взвесив на самых точных весах все «за» и все «против», заявил, что больной зуб удалять не будет, а сделает все возможное, чтобы его сохранить, подвергнет тщательному исследованию, лечению и в конце концов запломбирует его платиновой пломбой.

При этих словах папа вздрогнул, но Флеммер успокоил его, сказав, что платиновая пломба будет стоять вместе с работой всего во семь рублей, то есть ненамного дороже серебряной.

Помню покрасневшие веки добрых папиных глаз и его решительное согласие на восемь рублей, в котором чувствовалась самоотверженная решимость не жалеть никаких денег, а если нужно, то даже обратиться в кассу взаимопомощи, лишь бы сохранить зуб своего мальчика.

Я заметил, что папина пористая красная шея вспотела под твердым воротничком «композиция» и он неловко его подергал, как бы желая освободиться от некоего невидимого хомута.

После этого Флеммер снова заставил меня как можно шире разинуть рот и чем-то блестящим слегка дотронулся до обнаженного нерва. Это вызвало такую адскую боль, которую можно было бы изобразить графически лишь следующим образом:

...извилистая линия раскаленно-красного цвета, начинающаяся в точке обнаженного нерва, опоясывающая челюсть, поднимающаяся вверх по височной кости и вспыхивающая где-то в глубине слухового аппарата...

Я крикнул, но Флеммер не обратил на это внимания. Я был для него не человек. Покопавшись в какой-то банке на стеклянном лотке рядом с плевательницей, он положил пинцетом в дупло ватку, пропитанную острой эссенцией гвоздичного масла, и мой рот сразу наполнился горячей слюной. Флеммер велел мне сполоснуть рот гигиенической водой, и я благоговейно вынул полный стакан из тугой подставки, хлебнул из него и сплюнул в плевательницу, любуясь потоками воды и слюны, побежавшими по красному стеклу в черную дыру плевательницы.

На этом первый визит был закончен и, заплатив Флеммеру два серебряных рубля, которые Флеммер тут же записал в особую, толстую, чрезвычайно аккуратную приходо-расходную книгу, папа дрожащими руками помог мне выбраться из кресла, опустившегося вниз.

...Когда кресло опускалось вниз, деревья за окном медленно поднимались вверх и улица меняла ракурс...

Мы отправились на электрическом трамвае по улице, утопавшей в цветущей белой акации. Я чувствовал себя как после причастия, и мне было мучительно жалко папу, заплатившего два рубля Флеммеру и полтинник горничной и взявшего на себя обязательство заплатить в дальнейшем еще гораздо большую сумму.

Как предсказал Флеммер, зуб мой болел еще ровно два часа. И я все время осторожно трогал его языком и выплевывал горячую слюну, пока наконец боль в зубе не затихла.

С этого дня началось мое почти ежедневное хождение к Флеммеру и лечение зуба, подвигавшееся ни быстро, ни медленно, а именно так, как полагалось по всем правилам добросовестного зубоврачебного искусства.

Не буду описывать подробности, да они и не имеют существенного значения, кроме того что это была какая-то часть моей жизни, моего тогдашнего бытия.

Замечу только, что надолго запомнилась мне шикарная улица, где практиковал Флеммер, его громадная, дорого и солидно обставленная квартира, казавшаяся мне всегда пустой, горничная-ассистентка в батистовой наkolке, накрахмаленной юбке и какой-то мантии, делавшей ее отчасти похожей на монахиню.

Лечение зуба имело свои прелести.

Отправляясь к Флеммеру один, без папы, я сэкономил трамвайные деньги и карманную мелочь, выдаваемую мне на тот случай, если я захочу напиться на улице зельтерской воды или хлебного кваса. В конце лечения у меня составила кругленькая сумма копеек в сорок, и я с утра до вечера размышлял, на что бы их истратить.

Не буду вспоминать сверления зуба бормашиной, один звук которой, проникая в глубь всех моих суставов, до самого мозга костей, заставлял содрогаться весь мой организм. В особенности не буду вспоминать тот миг, когда тончайшая изогнутая игла еще не коснулась обнаженного нерва, а уже все мое существо испытывало грядущую адскую боль и опять она, эта боль, как бы окрашенная в ярко-красный, огненный цвет, пронзала меня как раскаленная проволока.

...от зуба через всю челюсть до самых таинственных недр слухового аппарата...

...после чего Флеммер, морщась от отвращения, подносил к своему носу иглу с кусочком дурно пахнущего зубного нерва.

Потом уже все пошло гладко, хотя все еще страшна ужасная бормашина, расчищающая дупло своим крутящимся сверлом с крошечным шариком на конце, но это всем хорошо знакомо и не стоит на этом задерживаться.

Зато как прелестны были жаркие одесские дни и зелено-белое кружево цветущей по всему городу акации, их сладкий, даже — я не боюсь сказать — сладострастный запах и ощущение своего легкого, еще почти детского тела, успокоившегося зуба и приятного, теплого пота под зимним гимназическим костюмом, который я надевал всякий раз, отправляясь лечить зуб, так как считалось неучтивым посещать такую знаменитость, как Флеммер, в коломянковой застиранной летней форме...

Козырек зимней фуражки, его внутренняя часть, был покрыт горячим, как кипяток, потом, струившимся по моим вискам. Несмотря на это, я чувствовал себя необыкновенно свободным, раскованным, неземным.

Когда дупло было наконец превращено в гладкое гнездышко для пломбы, Флеммер приступил к самой важной операции лечения моего зуба.

На некоторое время величественный доктор медицины как бы превратился в некоего немца — ремесленника тонкой профессии, — не то ювелира, не то чеканщика, не то составителя и растирателя красок. Сидя в зубоврачебном кресле, поднятом почти под потолок, по которому сновала красивая летняя бабочка, с крахмальной салфеткой под подбородком, я углом глаза следил за тем, как Флеммер толчет что-то в маленькой фарфоровой ступке, а потом растирает какой-то серебряный порошок на стеклянной плитке, прибавляя какие-то капли и превращая порошок в металлически-темную пасту. Наконец он крошечной лопаточкой стал заполнять дупло моего зуба этой теплой пастой, имеющей привкус цемента. Он работал медленно, то опуская меня, то снова поднимая, он трудился, как пчела, пускающая в свою ячейку по маленькой капельке нектара, смешанного с цветочной пылью, а затем заделывающая ее теплым воском. Когда дупло было заполнено, он виртуозным движением своего инструмента срезал излишки пасты, примял еще не успевшую затвердеть пломбу своим толстым пальцем и велел мне до вечера ничего не есть и прийти через два дня, когда лечение будет полностью закончено.

В последний день мы пришли с папой к Флеммеру, и он долго шлифовал пломбу бормашиной, на шпенок которой был насажен картонный, а может быть и наждачный, кружок. Он бешено крутился, шлифуя сильно нагревшийся металл пломбы, и осыпал мой язык сухой наждачной пылью. Наконец пломба была отшлифована на славу, и пока папа, краснея от волнения, клал на конторку Флеммера гонорар — двенадцать с чем-то рублей — за работу, за материал и на чай горничной в царственной мантии, — Флеммер самодовольно вытирал руки полотенцем, назидательно объясняя мне, что эта пломба будет держаться вечно и я доживу с ней до глубокой старости, «и даже, быть может, переживет меня самого» — в конце своей речи се-стрил Флеммер.

Мы вышли на улицу с папой, который улыбался болезненной улыбкой.

Пломба выпала ровно через месяц.

Пороховой шнур.

Для того чтобы это увидеть, следовало прийти до начала всенощной, когда в церкви еще пусто и сумеречно, лишь кое-где виднеются разноцветные огоньки лампад, совсем слабо золотя оклады икон, и бесшумно ходит церковный сторож, а староста в шубе только что пришел и со щелканьем открывает ключом крышку своей конторки, где разложены в строгом порядке пучки толстых, потоньше и совсем тоненьких восковых свечей, и в церкви еще холодно и пахнет вчерашним ладаном.

Посреди церкви под темным куполом на длинной цепи висит паникадило, уставленное свечами, необожженные хлопчатобумажные фитили которых соединены между собой единым пороховым шнуром, его конец висит высоко в воздухе, готовый в любую минуту воспламенить все свечи паникадила, образующие два круга — большой и малый.

И вот сторож становится под паникадиллом, держа в руках шест с маленькой зажженной свечкой на конце.

Едва пламя свечи касается кончика порохового шнура, как мгновенно вспыхивает длинный огонь и стремительно бежит вверх; пожирая шнур, он волшебнo-молниеносно обегает оба круга свечей, зажигая их фитили как будто бы все разом, и вдруг церковь наполняется теплым торжественным светом восковых свечей, выхватывающим из рассеявшегося мрака церковных закоулков разные предметы:

...помятую серебряную купель, в которой происходит таинство крещения...

(В такой купели, наверное, крестили меня и моего маленького братика Женю.)

...Помост для гроба, покрытый черным сукном, побитым молью; деревянное крашеное распятие с деревянным крашеным Христом с ярко-красной раной его прободенного ребра, с деревянным подножием, расписанным в виде маленькой каменной Голгофы со злоецим черепом Адама в ее грубо нарисованных недрах; несколько знакомых икон, выступивших из мрака и ставших вдруг яркими, как весело раскрашенные картинки из тоненькой книжки Нового завета, например —

...Христос, сидя по-дамски на осляти, въезжающий в Иерусалим, и иерусалимцы в цветных одеждах бросают под копытца серого ослика пальмовые ветки — вайи.

Вся эта бутафория была ярко озарена паникадиллом и золотыми кострами свечей, которые уже успели наставить перед иконами прихожане.

И чем ярче и пестрее делалось в церкви, тонущей в сиреневых волнах ладана, тем таинственнее и нежнее синел весенний мартовский вечер за узкими церковными окнами.

Музыка.

Мама держала меня за пухлую ручку, и таким образом мы дошли до ближайшего от нашего дома угла, где помещалась почтовая контора. Я еще никогда не заходил так далеко. В своем маленьком темно-синем пальтишке с золочеными якорными пуговицами я едва доставал до края маминой жакетки, обшитой тесьмой. так что в то вре-

мя, как мама отправляла заказную бандероль, ничего особенно интересного в почтовой конторе я не заметил, если не считать крашеного железного сундука с двумя висячими замками и сильного запаха где-то за мамой дымно пылающего сургуча и отблесков его бурлящего багрового пламени.

На том же углу была будка, возле которой остановилась мама и, подняв вуаль с подбородка до носа, выпила стакан зельтерской воды, а я в это время держался за подол ее суконной юбки и, приподнявшись на носки, старался увидеть, что там делается в глубине будки, но ничего интересного не заметил, кроме двух стеклянных спаренных баллонов. В одном был красный, а в другом желтый сироп. И я попросил, чтобы мне дали попробовать. Но мама засмеялась и не позволила.

Пока она вынимала из своего черного муарового мешка, обшитого стеклярусом, маленькое портмоне, я смотрел вдоль улицы, несколько наклонно уходящей в беспредельное пространство каменного города, этого не совсем понятного для меня скопления домов, улиц и церквей с голубыми куполами.

Отсюда я не видел никакого движения, никаких признаков городской жизни, лишь чувствовал его по каким-то неясным для меня самым признакам.

В то время, помню, я заинтересовался новой оградой возле небольшого, одноэтажного домика почтовой конторы: эта ограда была сложена из новеньких, только что выпиленных брусков камня ракушника, причем бруски эти были положены через один, так что весь невысокий забор состоял как бы из прямоугольных пустот, перемежающихся с каменными брусками, в которых местами поблескивали морские ракушечки.

Через этот сквозной низкий забор легко можно было перелезть, и я уже собирался, отойдя от мамы, это проделать, даже поднял ногу в башмачке с помпоном, как вдруг мой слух привлекли какие-то совсем слабые, но настойчивые слитные музыкальные звуки, долетавшие издали, оттуда, где, раскинувшись, лежало пространство города, его каменное тело, его центр.

Я остановился, очарованный этим странным звуковым явлением, и долго прислушивался, напрягая слух, так как без его напряжения эти слитные звуки пропадали.

— Музыка, — сказал я, дергая маму за юбку.

Она с удивлением посмотрела на меня сверху вниз своими удлинненными глазами сквозь мутную вуаль и сквозь пенсне.

— Музыка, музыка, — повторил я. — Слышишь?

— Где музыка? Какая музыка? — спросила она.

— Там! — ответил я, протягивая руку в перспективу улицы. — В городе.

— Мы тоже в городе, — сказала мама.

— Да, но там настоящий город, там музыка.

Мама засмеялась.

— Не слышу никакой музыки. Все тихо.

— Нет музыка, — упрямо повторил я.

— Ты ужасный фантазер, — сказала она и, взяв меня за ручку, повела по нашей Базарной улице обратно домой, но все равно по дороге стуча новыми башмачками по плиткам лавы, которой были замощены многие улицы нашего города, я слышал за своей спиной

странную, ни на что не похожую музыку, то как бы отливавшую, то приливавшую, то смолкавшую, то усиливающуюся.

Что же это было?

Долго я не мог этого понять, но однажды совершенно неожиданно понял: это было нечто составленное из еле слышного дребезжания извозчичьих пролетов, цоканья копыт, шагов людей, звонкого громаыхивания конок и трамкарет, похоронного пения, военной музыки, стрекотанья оконных стекол, шороха велосипедов, гудков поездов и пароходов, рожков железнодорожных стрелочников, хлопанья голубиных крыльев, звона сталкивающихся буферов товарных вагонов, шелеста акаций, шуршания гравия в Александровском парке, треска воды, вылетающей из шланга садовника, поливающего где-то розы, набегающего шороха морских волн, шума базара, пения нищих слепцов, посвистыванья итальянских шарманок...

Уносимые куда-то морским ветром, все эти звуки составили как бы музыку нашего города, недоступную взрослым, но понятную маленьким детям.

Живопись.

Мама купила мне нечто вроде альбома, который развертывался как гармоника, зигзагами; на его очень толстых картонных страницах было напечатано в красках множество изображений беспорядочно рассыпанных разных предметов домашнего обихода: лампа, зонтик, портплед, саквояж, кровать, мячик, кукла, коляска — и тому подобное.

Никаких надписей не было.

Предполагалось, что ребенку показывают на тот или иной предмет и он должен его назвать преимущественно на каком-нибудь иностранном языке.

Мама выбрала французский.

Она водила пальцем и называла предметы.

— Ля ламп, лё пароплюи, лё портплед...

Я довольно легко запомнил французские слова и старательно выговаривал их, как попугай, отчего обыкновенные раскрашенные вещи приобретали какое-то особое значение, так как обыкновенное окно превращалось в «ля фнетр» и уже делалось в моем воображении совсем, совсем другим окном — окном из некоего разноцветного мира маленьких красивых предметов, поражавших меня точностью, достоверностью своего рисунка и некоторой условностью цвета.

Мне выписывали детский журнал «Игрушечка», в котором я любил рассматривать рисунки разных собачек, кошечек, а также прыгающих в воду лягушек из рассказа о том, как лягушки месяц ловили. Лягушки видели отражение месяца в пруду и думали, что это какая-то круглая золотистая рыба или нечто вроде этого. Я рассматривал нарисованный черный камыш, наклонно отражавшийся в нарисованной воде, и лягушек, летевших с берега в воду, напоминая мне открытые ножницы, называвшиеся по-французски, как я уже знал:

«ле сизо».

Там было еще изображение большой печально-вислоухой собаки, сидевшей возле спящего ребенка, и мама проникновенно, но со скрытой улыбкой читала мне стихи напечатанные под собакой:

«В колыбельке детка спит, чуткий Кáро сторожит. И пропел бы баю-бай, да боится — выйдет лай».

В доме у нас на стенах не было картин. Я даже не знал, существуют ли вообще в природе картины, написанные масляными красками; я знал только акварельные краски в дурно выкрашенном жиденьком ящичке — разноцветные таблетки, потерявшие свой чистый девственный цвет и сделавшиеся бурными оттого, что я пользовался плохо вымытой кисточкой: у меня не было терпения хорошенько ее выполаскивать в стакане с почти черной водой, при одном взгляде на которую душу мою охватывала скука и я убирал с глаз долой ящичек с красками и комкал листы бумаги с волнистыми полосами и грязными подобиями человеческих лиц, изображенных барсучьей кисточкой, которая, сунутая в стакан, распускалась, а вынутая оттуда, вдруг съеживалась, и с ее заострившегося кончика, с волоска, как слезы, текла мутная вода.

Каково же было мое удивление, когда однажды я нашел в чулане два просаленных холста, покрытых толстой корой засохших масляных красок. Я начал их рассматривать, и вдруг грубые разноцветные мазки как-то сами собой сложились в изображение синей эмалированной миски с полуочищенными картофелинами; картофельная шелуха спиралью сползала вниз с какого-то предмета, оказавшегося кухонным ножом, и этот нож держала человеческая рука, а над всем этим склонилось человеческое — женское — лицо с опущенными выпуклыми веками, носом, губами и подбородком телесного цвета, написанными грубыми мазками, хранящими на своей затвердевшей поверхности следы жесткой кисти. Я понял, что это портрет женщины, чистящей картофель над синей эмалированной миской, поразившей меня своей похожестью, натуральностью, достоверностью — даже были отражавшиеся в синей эмали какие-то светлые окна.

На другом холсте я рассмотрел берег, скалу, море.

Я сразу их узнал. Это был наш Ланжерон, также прямолинейно и грубо намазанный широкой жесткой кистью, вероятно, сделанной из свиной щетины, так как одна щетинка даже прилипла к сине-голубым полосам полуденного моря, и я не смог ее отдрать, так крепко она присохла. Берег был светлого, несколько кремового, телесного цвета, от каждого написанного камушка ложилась короткая густая тень, и скала тоже отбрасывала лиловую короткую тень, так что во всем этом я ощущал полуденный приморский зной, как бы чувствовал раскаленную гальку и песок, обжигающий подошвы босых ног, даже слышал запах засохшей тины и в море штиль, и одуряющее сияние.

Так передо мною впервые возникло чудо живописи.

Как я понимаю теперь, эти две картинки без рам попали к нам в дом случайно. Что-то, помнится, будто мама водила меня на Ланжерон и там два ученика художественного училища делали этюды, познакомились с нами и впоследствии подарили маме на память свои работы.

Смутно помню их серые байковые косоворотки и головы с длинными русыми волосами, разваленными на две стороны. У них был очень простецкий вид. Меня поразили их ящики с мятыми тю-

щиками масляных красок, палитры, покрытые разноцветными мазками, цинковые сосудики для лака и льняного масла и, конечно, небольшие складные мольберты, а в особенности громадные полотняные зонтики, по которым пролетали голубые тени чаек...

В общем, теперь я понимаю, это были ученические работы, даже, может быть, просто мазня...

Но почему же, почему я до сих пор не могу забыть эмалированную миску густо-синего цвета, с грубыми следами дешевой кисти и отражением окна и серо-лиловой спиралью картофельных очистков и почему до сих пор не могу я забыть июльский полдень на берегу Ланжерона, маму в чесучовой кофте, раскаленную гальку, обжигающую мои голые ножки, и воздушно-голубые тени чаек?

Театр.

Был период увлечения театром, но не настоящим, а игрушечным, раскладным, который мне дарили на елку или в день рождения в красивой коробке, украшенной цветными картинками,— сценами спектакля, заключенного в этой коробке:

...картонная сцена с красивым занавесом, кулисами, декорациями и фигурками действующих лиц, которые можно было расставлять и передвигать, как шахматы.

Это была преимущественно опера или какое-нибудь историко-патристическое представление вроде обороны Севастополя или волнующих эпизодов из жизни великого русского полководца Суворова, где будущий генералиссимус являлся сперва в виде молодого рядового солдата, часового, стоящего на посту у царского дворца, и где разыгрывалась его сцена с императрицей. Сцена эта состояла в том, что вышедшей на крыльцо императрице очень понравился бравоый, смысленный часовой в парике с косой, висящей из-под медной шапки, в белой амуниции, с ружьем, взятым «на краул». Государыня протягивала ему в награду за бравоую службу большой серебряный рубль. Но Суворов отказывается его принять, отрапортовав своей матушке-царице, что часовому запрещается принимать что-нибудь, стоя на посту; на это государыня, в белом парике, фижмах, с голубой андреевской лентой через плечо и бриллиантовой звездой на выпуклой груди, дама строгая, дородная, с двойным подбородком, хвалила молодого часового за отличное знание устава и милостиво клала серебряный рубль на землю у его ног, с тем чтобы он мог после смены караула взять этот рубль себе в награду за хорошую службу.

«Слушаюсь, ваше императорское величество, государыня-матушка, покорнейше вас благодарю за царскую милость».

Так было напечатано в особом листке объяснений.

А вокруг стояли декорации, изображавшие колонны дворца, полосатую будку часового и кулисы в виде выглядывающих одна из-за другой картонных полос с яркими изображениями царскосельских деревьев, а в глубине сцены — неподвижная картина царскосельских прудов с белоснежными лебедями.

Расставив все это по плану, приложенному к театру, и поставив за кулисами зажженные елочные свечи, я поднимал картонный занавес, искусно разрисованный парчовыми складками, и любовался зрелищем театра, причем особенно волновала меня маленькая раковина суфлерской будки.

В сущности, это была всего лишь немая неподвижная картина, лишенная человеческих голосов, движения и музыки, но даже ее неподвижность и тишина и косое, теплое освещение придавали ему характер волнующего зрелища, как бы уходящего в перспективу кулис и верхних софитов.

Полюбовавшись сценой, надо было опустить нарядный занавес с парчовыми складками, кистями и желтой лирой посередине и начать устанавливать следующие сцены, из которых самая красивая и волнующая была переход Суворова с его чудо-богатырями через Чертов мост: снежные вершины Альп, пропасть с дымящимся на дне синим туманом, падающая со скалы вниз медная пушка и маленький старичок — Суворов, с серым хохолком над узким костлявым лбом, на лошади, с обнаженной шпагой в руке, кричащий:

«Вперед, мои чудо-богатыри!» —

что было также напечатано в объяснении к этой сцене.

Сперва в театре меня увлекала только техника зрелища, устройство сцены, механизм подъема занавеса, расстановка декораций и фигурок действующих лиц, вырезанных из картона, искусственное боковое освещение, суживающаяся перспектива кулис.

Я наслаждался живописной стороной спектакля: сводчатыми потолками каких-то боярских пиров с братами, дубовыми столами, жареными лебедями на блюдах, кокошниками и уборами древнерусских красавиц, боярами в высоких собольих шапках, в аксамитовых кафтанах, ферзях, витязями в стальных кольчугах и шлемах, белобородыми кудесниками и гуслярами, монахами и разбойниками с кистенями в руках, посреди дремучего леса, в чаще искусно вырезанного из картона ельника...

Меня до слез волновал снег, опускающийся густой сетью на мужественного старика — Ивана Сусанина, сидящего на пне, в то время как польские сивоусые гусары стояли вокруг него с поднятыми кривыми саблями.

В восторг приводила меня громадная голова из «Руслана и Людмилы», ее раздутые ноздри, откуда вылетали тучи сов, и — конечно! — летящий по воздуху карлик Черномор с развевающейся длиннейшей бородою, держа в объятиях несказанно прекрасную Людмилу в русском сарафане и кокошнике, как у кормилицы, с белым, обморочным лицом и закрытыми глазами...

Впоследствии я видел то же самое на настоящей сцене, когда нас водили на праздничные утренники в городской театр, где, кроме магии декораций и скрытого освещения, была еще магия оркестра, музыки, пения, передвижения по громадной сцене, откуда в жарко натопленный зрительный зал дуло со сцены холодным ветром, богато одетых, загримированных до неузнаваемости людей — артистов, которые при свете рампы казались мне удивительно дисциплинированными и движущимися как бы по какому-то расписанию вроде расписания поездов.

Дома я пытался своими средствами на самодельной игрушечной сцене устраивать подобию этих спектаклей с красными пожарами и синими лунными ночами (как в «Аиде»), всегда напоминавшими мне лунные ночи на Ланжероне, где Черное море из края в край блестяло как бы светящейся серебряной бумагой — ни дать ни взять Нил, только не хватало черных силуэтов пирамид и пальм.

Помню, как трудно было сделать искусственный лунный свет.

Для этого надо было купить двухкопеечную шоколадку, завер-

нутую в прозрачную синюю желатиновую бумажку, и через нее пропустить луч свечи на мои самодельные декорации, казавшиеся мне прекрасными. Тогда все на сцене становилось лунно-синим. Для пожара требовалась красная желатиновая бумажка, и я опять бежал в бакалейную лавочку за двухкопеечной шоколадкой в красном желатиновом пакетике. И сцена делалась тревожно-багровой. Знойный день в африканской пустыне достигался с помощью желтой желатиновой бумажки. Лавочник удивлялся, как много я съедаю шоколада. Он не знал, что шоколадки я выбрасываю в помойное ведро, для того чтобы поскорее завладеть волшебной желатиновой бумажкой, необходимой мне для сценических эффектов.

До сих пор, гуляя зимой в яркую лунную ночь по Переделкину и любуясь снежным полем и блеском золотых луковичек церкви времен Иоанна Грозного, мне кажется, что смотрю на этот неопишуемо прекрасный синий пейзаж сквозь желатиновую бумажку моего детства.

Потом наступило время домашних спектаклей.

Главная трудность их заключалась в необходимости достать занавес. Какой же театр без занавеса? Занавес представлялся мне главным элементом театра. Тайком я вытаскивал из тетинного комода новенькие простыни тончайшего голландского полотна с метками гладью Е. Б. (Елизавета Бачей) и, не имея терпения пришить к ним кольца, грубо вырезывал в них ножницами круглые дырки, для того чтобы нанизать их на проволоку, натянутую между двух стен, куда были безжалостно вколочены первые попавшиеся под руку кривые костыли.

Мы гримировались чем попало, приклеивали клеем «синдетикон» бог знает из чего сделанные бороды и усы, румянили акварельными красками щеки, и, надев папин новый сюртук с шелковыми лацканами, я выбегал на сцену, произнося ужасной скороговоркой монолог Чацкого: «Не образумлюсь, виноват, и слушаю — не понимаю, как будто все еще мне объяснить хотят»... и так далее. В то время как тетя рыдала над изгаженными простынями, пытаюсь выдрать из попорченных стен на совесть вколоченные костыли, и тушила керосиновые лампы, расставленные прямо на полу в виде рампы вдоль сцены, я, ничего не видя и не слыша, выкрикивал:

— «Сюда я больше не ездук! Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету!»

«Карету мне, карету!» — бесчисленное число раз повторял я, заливаясь злыми слезами.

Домашний скандал, которым всегда сопровождалась любительские спектакли, был тоже как бы составной частью театра, драматического искусства.

Но лишь однажды в жизни я почувствовал всю страшную силу настоящего театра. Это случилось, когда папа повел меня на «Бесприданницу», роль которой играла приехавшая на гастроли великая Комиссаржевская. Следя за переживаниями бедной, хорошей, гордой девушки, превратившейся благодаря среде, в которой она принуждена была жить, в вещь, почти в неодушевленный предмет, брошенной любимым человеком, оказавшимся негодяем, в белом кружевном платье, несколько сухопарая, измученная, с гитарой в слабых руках, певшая в отчаянии каким-то надтреснутым голосом:

«Но не любил он, нет, не любил он...»

Она сжигала мне, тринадцатилетнему гимназисту, душу. Я не имел сил выйти с папой в антракте в фойе и сидел неподвижно в кресле, вцепившись руками в бархатные поручни. Я думаю, что у меня тогда были пепельные губы, круги под безумными глазами, дрожали ледяные пальцы... А когда в последнем акте обманутый Карандышев — жалкий и вместе с тем страшный своей крахмальной манишкой на впалой груди, сутулой фигурой и чиновничьей фуражкой — вдруг выбежал, спотыкаясь, из-за кулис и выстрелил из пистолета в Комиссаржевскую, в ее спину с выдающимися лопатками, то она не упала, как можно было предположить, а пошатываясь, но довольно твердо прошла по авансцене, а затем, схватившись за железный садовый стул, оперлась на круглый железный садовый стол и таким образом, стоя лицом к публике, умирала на фоне восхитительного заволжского пейзажа с грустными неподвижными облаками и туманно-лиловыми далями и, умирая, зачем-то сняла с головы свою трогательную соломенную шляпку с палевыми лентами, дрожащими в ее руке, а другой рукой в кружевном манжете, совсем белой, уже холодеющей, посылала воздушные поцелуи публике, в особенности галерке, где рыдали, бесновались, неистовствовали курсистки и нищие студенты, а она — Лариса — все посылала и посылала во все стороны слабеющие поцелуи прощанья, и всепрощения, и любви, и эти поцелуи — казалось мне — летели стаями, как белые голуби, кружась и кружась под театральной люстрой, и Комиссаржевская откидывалась все круче и круче навзничь, почти ложась простреленной спиной на железный садовый стол со съехавшей ресторанной скатертью, и уже никого вокруг не видела погасающими глазами, кроме прозрачных голубей, летающих по театру, и я чувствовал, что по моим щекам текут слезы и я не знаю, как их унять...

О, как я ее любил и жалел!

А когда ночью мы, подавленные, возвращались домой на извозчике, то папа держал маленький театральный бинокль покойной мамы и все никак не мог сунуть его в футляр, а я с ужасом следил за ночными газовыми и керосиновыми фонарями, через ровные промежутки времени появляющимися на нашем пути, и в душе у меня бушевало смятение, отчаяние и такой отчетливый, такой непобедимый страх смерти, какого я еще никогда не испытывал до этого вечера.

Страх смерти, ужас перед ее неизбежностью почему-то был связан с неторопливым цоканьем подков по гранитной мостовой нашего города, зеленовато освещенной мертвенным газовым светом, был связан с четкой тенью извозчицких дрожжек и костлявой лошади, почти клячи, тень которой то безмерно за нами удлинялась по мере удаления от фонаря, то начинала сокращаться, на миг пропадала где-то под нами, под дрожками, затем переходила на другую сторону, рождалась, как новый месяц, по мере приближения к новому фонарю и снова непомерно растягивалась вместе с понурой тенью нашего извозчика и двумя тенями — папиной и моей, — как бы вышедшими из какого-то потустороннего мира.

Резкие тени движущихся как на шарнирах лошадиных ног, вертящихся колес и нас троих, едущих куда-то людей, в молчании спящего города, казалось, и были самой смертью.

Фейерверк.

Он продавался не только в игрушечных магазинах, но также в мелочных, бакалейных и табачных лавчонках. На листе картона были прикреплены образчики всех видов фейерверка.

...ракеты, бураки, римские свечи, золотой дождь, солнце, бенгальский огонь, шутихи, телефон... и их младшие сестры — бальные митральезы.

Это были разных размеров и калибров картонные трубки, наполненные таинственным серым порошком и заклеенные сверху цветной папиросной бумагой, из-под которой высовывался кончик фитиля, черного, как сухая чайнка.

Не у всех у них были одинаковые формы. Так, например, тонкие и длинные, как макароны, трубочки шутих были сложены в несколько колен и крепко перевязаны посередине шпагатом, что делало их похожими на букву «ж» с фитильком, торчащим из одной лапки; солнце представляло собой знак вечного движения — нечто вроде форсунки, составленной из четырех трубочек, все тем же особым, тонким и очень крепким шпагатом привязанных к картонному квадрату с дырочкой посередине для гвоздика, с помощью которого солнце можно было прибить к столбу или дереву. После того как фитиль был подожжен, оно сначала робко разбрызгивало вокруг себя струйки золотых искр, а потом вдруг начинало бешено крутиться, действительно превращаясь из неподвижного картонного квадрата в спящий солнечный диск, охваченный протуберанцами золотых вихрей; подожженная мальчиками шутиха прыгала по земле как дымящаяся лягушка, зигзагами металась по улице, на каждом повороте своем стреляя пороховым зарядом, пугая собак, извозчичьих лошадей, прохожих и велосипедистов; толстую трубу бурака глубоко закапывали в землю, и из него, как из мортиры, с громом вырывались огненные снопы; римские свечи были несколько потоньше и подлиннее бурака, их также закапывали в землю, но не так глубоко; из них один за другим с равными промежутками вылетали горящие шары, что отдаленно напоминало ствол мальвы, покрытый чередующимися бутонами желтых и малиновых цветов; больше всего нас, мальчиков, восхищал телефон — картонная трубка, которая горизонтально бежала по туго натянутой проволоке, распутив за собой хвост золотого песка, пока не хлопалась о ствол дерева и, почерневшая, полуобгоревшая, лишенная сил, вдруг оставалась в труп; великолепны были бенгальские огни, которые, как бы вспухая в разных местах ночного приморского сада, окрашивали в разные неестественно резкие цвета все дачные аксессуары, внезапно выступавшие из ночной синевы: гипсовые статуи греческих богинь, фонтан, сложенный из ноздреватого известняка, решетчатую беседку над обрывом, низкую мраморную скамью с двумя прильнувшими друг к другу фигурами мужчины и женщины; золотой дождь бил фонтаном из скромной картонной трубочки, которая так и называлась «золотой дождь».

Но больше всего поражали мое воображение ракеты — трубочки, привязанные к концам тонких длинных сосновых лучин.

...Фейерверк возили из города на дачи: большие пакеты, завернутые в тонкую бумагу, почти невесомые, как пакеты белья, полученного из прачечной, причем этот пакет с фейерверком, так же как пакет с бельем, был сколот маленькими булавочками...

Что касается ракет, то их возили тоже завернутыми в папиросную бумагу, как букеты гладиолусов, но только самоварные лучины их ножек длинно высывались из свертка и всегда было страшно, что их могут обломать в вагонной давке. Дачники и гости везли фейерверк на дачи разными путями: на конке, которая, визжа своими чугунными тормозами, ходила тогда до самой Аркадии, где среди глинистых откосов и ракушниковых карьеров поили лошадей и перепрягали в обратную сторону, головами к городу; их везли в открытых экипажах с блестящими, потрескавшимися от жары кожаными крыльями господа в чесучовых костюмах и панاماх с шелковой полосатой ленточкой, в соломенных американских шляпах, которые — ходили слухи — стоили сто рублей...

Наконец, фейерверк везли в переполненных вагончиках дачной узкоколейки с совсем игрушечным паровичком с головастой трубой и медным свистком, оглашавшим окрестности тоненьким, но отчаянно резким, залихватским посвистыванием, улетавшим сквозь дачные сады к обрывам, в море, где на горизонте всегда темнела полоска пароходного дыма или белели паруса яхт.

По вечерам вдоль моря, в пыльной зелени дачных садов, то тут, то там слышался праздничный треск фейерверка, били фонтанчики золотого дождя и дымно горели разноцветные зарева бенгальских огней.

А еще позже, уже почти ночью, когда на сером небе высыпали мириады мириадов млечных июльских звезд, начинали пускать ракеты, и особенно печальна была последняя ракета, как бы возвещавшая о наступлении полночи и конце увеселений.

В темноту небосвода уходила с побережья прямо в звезды ракета, иногда несколько последних ракет одновременно. Они распались, как отдельные колосья развязанного снопа. Достигнув высшей точки, они лопались, причем звук разрыва доходил до земли значительно позже, чем немое зрелище их огненного распада.

Впоследствии я прочитал у Бунина:

«Был поздний час — и вдруг над темнотой, высоко над уснувшей землей, прорезав ночь оранжевой чертой, взвилась ракета бешеной змеею. Стремительно порыв ее вознес... Но миг один — и в темное забвенье уже текут алмазы крупных слез, и медленно их тихое паденье».

Фейерверк изготовляли на небольших фабриках, за городом. Одну такую фабрику я хорошо помню. Она находилась за глухим каменным забором в приморском переулке, выходящем на Малофонтанскую дорогу. Забор был выбелен мелом, и во всю его длину тянулась надпись черными буквами в рост человека:

«Пиротехническое заведение «Фортуна».

За забором виднелась железная крыша заведения и верхние части таинственных окон. Приставив к забору несколько строительных ракушниковых камней, можно было взобраться по ним и заглянуть в окна мастерской, где стояли деревянные станки для крепкого завязывания и перевязывания шпагатом уже готовых картонных трубок. В этих станках чудилось что-то средневековое, как будто бы их нарисовал Дюрер, но люди, работавшие возле них, ничем не отличались от обыкновенных городских ремесленников — те же чер-

ные жилетки поверх сатиновых косовороток навывпуск — с цветными стеклянными пуговичками, те же усы и бороды и тонкие ремешки на головах — шпандыри, — чтобы волосы не лезли в глаза, как у сапожников. В других помещениях пиротехнического заведения «Фортуна» катали картонные трубки и толкли в ступках пороховую смесь серы, селитры, порошка древесного угля, бертолетовой соли, а затем, приготовив из этого тесто, набивали им картонные трубки и вставляли фитильки. Штабеля готового фейерверка сохли вдоль ракушниковых стен, и ракеты стояли по ранжиру, как солдаты, от самых крупных, дорогих, до самых маленьких — пятикопеечных, на хилых ножках, из числа тех, которые иногда покупали в складчину уличные мальчишки.

Однажды я купил такую ракету, непрочно привязанную к тонкой сосновой лучине с сучками и задоринками.

Для того чтобы запустить ракету, ее нужно было прислонить к чему-нибудь вертикально и поджечь фитилек. Тогда с бешеным шипением, ударив в землю струей золотого дождя, ракета взвивалась к небу, оставляя за собой огненный рассыпчатый след, извилистый потому, что вес ее головки и длина ножки были неточно сбалансированы.

У меня не хватило терпения дожидаться вечера, и, окруженный своими друзьями, так называемой «голозой», я торопливо прислонил ракету к обочине мостовой, а проходящий мимо великовозрастный гимназист дал мне свою дымящуюся папиросу, которую я поторопился приложить к фитилю.

Из ракеты вырвалась струя золотого дождя. Ракета, повинувшись силе реактивного взрыва, подпрыгнула на своей жалкой, тонкой ноге, но сейчас же потеряла баланс, так как ножка сломалась, и ракета упала на мостовую, как потерявший костыли безногий, забилась на месте, потом как бы в беспмятстве поползла по ломаной линии, волоча за своим как бы обрубленным телом сломанную ногу, и, наконец уткнувшись в ствол акации, замерла навсегда, выпустив из себя облачко тухлого дыма, как душу, которая тотчас рассеялась в огромном мире.

Мы стояли пораженные этой ужасной гибелью и чуть не плакали, как будто бы у нас на глазах погубило живое, разумное существо, а вместе с ним все наши надежды, не говорю уже о моем пятчке.

Время от времени пиротехнические заведения горели, и тогда вокруг них собирались, как на большой народный праздник, толпы зрителей: это была дымно-огненная, разноцветная, стреляющая и крутящаяся стихия; сквозь нее как бы проглядывало нечто средневековое, даже еще более глубоко древнее — какое-то китайское празднество, когда по улицам Шанхая, Пекина, Кантона двигались процессии сынов поднебесной империи, в треске прыгающих шутих и пушечной пальбы бураков несущие на палках длинных драконов из папиросной бумаги...

Угольки вылетали из пожара и падали на дымящуюся полянь пустырей.

А иногда мне представлялась осада Севастополя и английские и французские фрегаты, посылающие со своих бортов боевые ракеты на черепичные крыши обгоревшего русского города.

Теперь же я вижу, как в тяжелом сне, гигантскую ракету в железной пусковой конструкции и на ее верхушке маленького обгорелого человечка, который бьется в тесной камерке ракеты, стучит кулаками в суперметаллические стены и кричит в отчаянии:

«Спасите меня! Спасите! Во имя бога и неба спасите!»

Но никто уже не может спасти его—нет на земле такой силы,— и он гибнет в облаке огненного дыма, среди звездно-полосатых флагов, стрекота кинокамер, голосов, передающих репортаж, и облако дыма улетает в бесстрастное атлантическое небо, как освобожденная душа, навсегда вырвавшаяся из телесного плена.

Ну, а что касается митральез, то они не имели ничего общего со знаменитыми митральезами Парижской коммуны. Это были толстые картонные трубочки, заклеенные с одной стороны папиросной бумагой, в то время как с другой стороны, из глухого картонного кружка, торчала веревочка, за которую нужно было дернуть, и тогда из митральезы с легким и нестрашным выстрелом вылетал заряд: пороховой дымок и пригоршня бумажных конфетти, осыпая хорошенькую, красиво убранныю головку барышни-гимназистки, и затем покрывала натертый воском паркет бальной залы, по которому ловко скользила и поворачивалась атласная туфелька и над ней как бы висел нарядный шлейф вальса...

Болезнь.

Во время зимних эпидемий скарлатины и дифтерита тетя вешала на наши нательные крестики, которые мы с Женей всегда носили на шее под сорочкой, маленький мешочек — ладанку, куда зашивала несколько зубков чеснока, что считалось надежным предохранительным средством против любой заразной болезни.

Увы, мне не помогли ни киево-печерский синий эмалевый крестик на шелковом шнурке, ни ладанка с чесноком.

С трудом я добрался домой, в передней меня вырвало, кое-как отцепив отяжелевший ранец, с меня сняли шинель, еще более тяжелую, чем ранец, прямо-таки свинцовую. Пока меня раздевали и укладывали в постель, я несколько раз терял сознание. В глубине горло опухло и болело.

Я пылал.

Вообще я любил болеть, конечно, не серьезно и не опасно, а так, слегка: приятный жарок, возле кровати на венском стуле стакан малины, зеленая лампа на папином столе, прикрытая раскрытой книгой, чтобы свет не беспокоил меня, приятная тишина, не надо учить уроков на завтра и рано просыпаться; можно мечтать, немножко капризничать:

...дайте мне это, принесите мне то; пусть Женька не гремит своими кубиками; я бы съел бутерброд с ветчиной; почитайте мне вслух Жюль Верна...

Не жизнь, а масленица!

Теперь же все было по-другому: томительная, угнетающая тишина, тошнота, тягостное забытьё — полуявь, полусон, и страшный блеск стеклянного «максимального термометра», заполненного почти до самого верха темной полоской ртути.

«Сорок один и две десятых».

Голос папы, мерившего мне температуру, срывался, прохладная рука, которую он осторожно приложил к моему лбу, отдернулась, как от раскаленной плиты, крахмальные манжеты загремели как гром: все в моем сознании было невероятно преувеличено.

Я непритворно стонал.

— Он горит,— с отчаянием выговорил папа.

Сколько раз в жизни я уже слышал эту папину фразу, выражавшую такую душевную боль и такое бессилие, что еще более стало страшно.

После этого началось то, что бывало всегда при серьезной болезни: мучительное ожидание доктора, тревожно настойчивый, короткий, слишком громкий звонок в передней, зловеще длинный скруток доктора, еще более зловещий кожаный саквояж, золотые очки, золотые часы, золотая цепочка, золотые запонки, серебряная столовая ложка, поданная доктору на чистом, вынутом из комода полотенце, и ее холодная ручка, которой доктор беспощадно нажимал на мой через силу высунутый, белый от налета язык...

...ощупывание под ушами вспухших желез, проникновение чего-то в глубь воспаленного горла, осмотр груди и спины и, наконец, несколько ужасных слов, дошедших до моего помраченного сознания: «Типичная скарлатиновая сыпь».

Я впадал в полуобморочное состояние.

«Дезинфекция, строгая изоляция»...

Я был опасен для окружающих. Тетя, спешно собрав необходимые вещи в портплед, вместе с Женькой немедленно переехала на извозчике к знакомым, а папа и кухарка остались со мной на все время болезни.

Нужно ли описывать мою скарлатину, ежедневные появления доктора, пилюли, микстуры, порошки с бумажными шлейфами рецептов, потом какое-то очень дорогое лекарство вроде крепкого соленого мясного бульона, которое вдвали мне в глотку особым прибором в виде пульверизатора, и кошмарные ночи при лунном свете лампадки, освещающей неподвижную фигуру папы, бодрствующего возле моей кровати?

Мучительное ощущение тяжести кистей моих рук, как бы все время непомерно, бесконечно и безостановочно разрастающихся, делающихся объемом с подушку, свинцово тяжелую и в то же время воздушно легкую, громадную, как вселенная, и вместе с тем совсем маленькую, как булавочная головка, и даже еще меньше и все время уменьшающуюся, превращающуюся как бы в ничто.

Это двойное ощущение макро- и микромира, пуда и булавочной головки, кисти моей руки, в одно и то же время тягостно тяжелой и еще более тягостно легкой, невесомой, как некое звездное тело, делало мой сон длительной пыткой. Мое истерзанное воображение превращало сбившиеся складки ватного одеяла и скомканной простыни в пропасти и хребты Карпатских гор, по которым ехал всадник с мертвым дитятей за спиной, а мертвая панночка сидела передо мной в своем открытом гробу, с любовью протягивая ко мне лилейные руки, мертвая, с закрытыми глазами и в то же время живая, со странной улыбкой, сводящей меня с ума...

...и это моя душа рождалась где-то в виде прозрачного облака, поднимающегося над синим пламенем, и колдун мучил мою разлученную с телом душу своим змеиным взглядом и не давал ей вер-

нуться обратно в мое почти мертвое тело, а стакан с малиной пылал рядом со мной на венском стуле, как Патагония, и все вокруг заливало красное зарево извергающегося вулкана, по склонам которого текли потоки светящейся лавы, и в то же время эти потоки были сползающими с гор ледниками, ледяными глыбами Юкатана, а может быть, и Северного полюса, и одна ледяная гора вдруг наливалась в середине непостижимым полярным светом, и сквозь толщу голубого льда медленно высвечивалась фигура Смерти в белом саване, с косой в костлявой руке.

Она смотрела прямо мне в душу своими пустыми глазницами, и я бежал от нее, переплывая какие-то ледяные полыньи, карабкался по обледеневшим вантам безлюдного корабля, затертого среди торосов, заваленного колотыми кусками битого льда, шуршащего и булькающего в резиновом пузыре, положенном на мой лоб, на мою голову, бессильно утонувшую в горячей продавленной подушке, и так хотелось перевернуть эту подушку на прохладную сторону для того, чтобы хотя бы этим способом избавиться от бившего меня озноба, а папа в одном белье стоял на коленях перед озаренной иконой спасителя, крестился и бил земные поклоны, прикасаясь своей взъерошенной шевелюрой к потертому коврику, вымаливая у бога мою жизнь.

Это был кризис...

Глядя со стороны, можно было подумать, что я умираю, уже умер... Но я-то знал, что я живу и буду еще долго жить, и уже чувствовал самое сокровенное начало своего выздоровления.

Ах, как долго я выздоравливал, как томительно медленно понижалась моя температура, пока наконец как-то вдруг совершенно неожиданно однажды утром не упала не только до нормальной, но гораздо ниже нормальной, и я заснул весь в прохладном поту, а затем так ясно увидел, что уже все вокруг стало буднично, как прежде, волшебство болезни рассеялось, и я вижу знакомые, ничем не замечательные предметы, слышу знакомые домашние запахи (жареных котлет?), дышу знакомым комнатным воздухом, а за окном все еще продолжается затянувшаяся зима, та самая зима, в середине которой меня постигла Болезнь.

Доктор стал ходить реже. В последний раз он прописал мне в день по рюмке хорошего, заграничного портвейна, или, как он сказал своим низким, сочным басом, зажмурившись от удовольствия: «Опорто».

Папа, убежденный трезвенник, относившийся нетерпимо ко всякому виду алкогольных напитков, даже к санценбахеровскому пиву, папа, приходивший в волнение при одной лишь мысли, что у нас в доме может появиться вино, при слове «опорто» затряс нижней челюстью и побледнел. Но доктор с мягкой усмешкой убедил его, что рюмка хорошего «опорто» поможет моему выздоровлению и восстановит мои силы, ослабленные scarлатиной.

Папа согласился на «опорто», и это согласие в его устах звучало как вынужденное признание, вырванное силой.

— Хорошо, — сказал он, — хотя я принципиально против употребления человеком алкоголя, но если это нужно для здоровья моего мальчика — пусть будет так.

И он тяжело вздохнул, искоса бросив взгляд на икону спасителя, дескать — видит бог, я подчиняюсь необходимости.

Я ел жидкий рис, сваренный на воде, со сливочным маслом и сухарями, куриные котлеты, клюквенный кисель, и у меня в складках простыни уже завелись острые хлебные крошки, которые я с трудом выгребал из-под своего обессиленного, вялого, неповоротливого тела.

Вижу квартиру, безлюдную до звона в ушах, и прощальный луч зимнего, предвесеннего солнца, который, по диагонали проникнув в дверную щель, пронзает комнату, где происходит медлительный, сладостный процесс моего выздоровления, и вдруг зажигается красно-янтарным огнем в рюмке настоящего «опорто», купленного папою в гастрономическом магазине Крапивина за два рубля пятьдесят копеек бутылка, с иностранной наклейкой, зеленым металлическим колпачком на длинной португальской пробке, завернутой в тонкую, бледно-розовую, почти папиросную бумагу.

Папа наливал мне портвейн в рюмку с таким видом, будто давал яд.

...Божественный запах «опорто» распространяется по комнате, смешиваясь с запахом лекарств...

О, как нежно кружится моя слабая голова от первого неуверенного глотка этого крепкого, сладкого, как бы улечучивающегося с языка напитка, укрепляющего меня и несущего мне быстрое выздоровление.

Звезды в форточке.

В сущности, я уже был здоров. Кончался период шелушения. Но я продолжал оставаться в постели, лишь изредка позволяя себе в накинутаой на белье шинели, в незашнурованных башмаках на босу ногу пройтись в уборную или минуту постоять возле еще замерзшего окна.

С нетерпением ожидал я вечера и томился, как перед свиданием. Собственно говоря, это и было свидание. Одна гимназистка, с которой я даже не был очень близко знаком, вдруг, узнав о моей болезни, начала писать мне еще не установившимся, почти детским почерком со старательно выведенными буквами, без орфографических ошибок сентиментальные письма, вкладывая в них то ленточку, то картинку, то брызгала на бумагу духами, отчего некоторые буквы расплывались, как от слез, напоминая как бы фиалки, вложенные в письмо.

Я отвечал ей.

В конце концов мы влюбились друг в друга, и короткий электрический звонок почтальона, раздававшийся в четыре часа, приводил меня в трепет.

— Тебе письмо,— говорил папа с улыбкой и бросал мне на одеяло промерзший конверт, распространявший по комнате свежий запах яблочного клея.

Она опять назначала мне свидание, которое заключалось в том, что ровно в восемь часов вечера — минута в минуту — мы оба, и она и я, должны посмотреть каждый в свою открытую форточку на звезды и в это время подумать друг о друге. На другой день мы обменивались письмами с описанием своих чувств, испытанных в тот миг, когда мы одновременно смотрели на звезды. Предполагалось, что мы видим одно и то же созвездие Кассиопеи, похожее на W («дубль в»).

Прочитав письмо несколько раз и тщательно его осмотрев и обнюхав, я клал его под подушку, и начиналось томительное ожидание вечера, восьми часов — пустота, которую нечем было заполнить.

Очень медленно двигалось солнце к закату, и я следил за передвижением желтого солнечного луча по нашей пустой квартире, такой тихой, что капли воды, медлительно и размеренно падавшие в раковину из кухонного крана, как бы еще более удлинляли движение почти неподвижного времени. В приближающихся сумерках я слышал в столовой осторожные папины шаги; он подходил к пианино, открывал крышку; шелестели ноты и визжала круглая фортепьянная табуретка на железном винте. Неторопливо, как бы читая ноты по складам, папа начинал играть «Времена года» Чайковского, любимую вещь покойной мамы. Я чувствовал, что, играя, папа думает о маме, о своей любви к ней, и его близорукие глаза, прилежно следящие то за нотами, то за клавишами, краснеют и наливаются слезами. Он играл, а я в это время так живо видел —

...русскую зиму, слышал бубенчики бегущей тройки; мне представлялось побережье и длинные кружевные волны, почти касающиеся моих ног; я шел по мокрой аллее оборванного ветром парка, и желтые листья, срываясь с черных ветвей, кружились надо мною и падали на мокрые скамейки; все это необъяснимо меня волновало, даже слова «у камелька», и наполняло мою душу такой любовью, нежностью, даже отчаянием, что я прижимался лицом к подушке и плакал, чувствуя мокрой щекой свежесть наволочки.

Особенно нравились мне «Белые ночи», папа играл их особенно вдумчиво, поэтично, проникновенно, и я видел окраины никогда не виденной мной Санкт-Петербурга, почему-то Обводный канал, в неподвижной воде которого среди глухих заборов и фабричных труб горит и все никак не может догореть, отражается и все никак не может полностью отразиться длинная во времени и пространстве заря, и пугающее безлюдье, и ледяное дыхание с Ладоги, и предчувствие каких-то громадных событий, свидетелем которых мне предстоит когда-то сделаться, и предшествующие этим, быть может даже кровавым, событиям тишина и свежесть фетовского мая, чистота откуда-то — кажется, «из царства вьюг и снега» — вылетающего к нам мая.

«Какая ночь! На всем какая нега! Благодарю, родной полночный край! Из царства льдов, из царства вьюг и снега, как свеж и чист твой вылетает май!»

Но вот квартира постепенно темнеет, к ночи на дворе подмораживает, на оконных стеклах снова таинственно проступает белый рисунок папоротников и пальм, зажигается на папином письменном столе с маленькими выточенными перильцами, малахитовым чернильным прибором и стопками ученических тетрадок новая электрическая лампочка под зеленым стеклянным абажуром, и в столовой начинают хрипеть стенные часы, что-то щелкает, и вслед за тем раздается их размеренный музыкально-пружинный бой:

Восемь!

На четвертом ударе я уже стою, закутавшись в одеяло, на подоконнике и с замиранием сердца открываю форточку. Я боюсь, ужасно боюсь, что небо покрыто облаками. Но нет. Какое счастье: ночь

морозна, ясна и над противоположной крышей в темном небе блещут пять звезд Кассиопеи.

Я смотрю на знакомое созвездие с каким-то неестественным душевным напряжением и в то же время с усилием представляю себе «ее» — как она, скинув башмаки, стоит в серых шерстяных чулках на холодном подоконнике, и, страстно раздув ноздри своего коротенького, хорошенького носика, изо всех сил вдыхает морозный воздух, и, вытаращив свои большие голубые глаза с поволокой, смотрит на «наши звезды», косо повисшие над крышей епархиального училища напротив их дома. У нее круглое, нежное лицо, полуоткрытые, полные, слегка потрескавшиеся губы телесного цвета, тесные рукава, и крепкий, еще детский, но уже почти девичий стан, складно обтянутый будничным темно-зеленым шерстяным форменным платьем без фартука. Я так ясно представляю себе две кнопки сзади на ее высоком воротничке, обшитом тонкой полоской кружев.

У них тоже в это время бьют часы восемь, и она, несомненно, глядя на звезды, изо всех сил старается представить себе меня, но я не знаю, каким она меня видит: неужели с отросшими на затылке волосами, закутанным в одеяло, в расшнурованных башмаках на босу ногу, с бледным, похуевшим лицом и весьма глупой, страстной улыбкой?

Часы кончают бить восемь, и я с удовлетворением, точно исполнил некий очень важный и очень приятный любовный долг, захопываю форточку, в черном стекле которой, чуть качнувшись, пролетает морозное отражение Кассиопеи — «нашего созвездия»...

Рыбная ловля.

Я бы назвал эту пору в нашем городе сезоном бамбуковых удилиц. Город раскален летним солнцем. Рыболовы в соломенных шляпах и чесучовых пиджаках везут свои бамбуковые удочки к морю. Удочки не помещаются внутри кочного или трамвайного вагона. Их везут на площадках, откуда они высовываются десятками, задевая своими тоненькими, но удивительно прочными и гибкими верхушками сквозную листву отцветающих акаций.

Удочки уже оснащены всем необходимым: наполовину синие, наполовину красные узкие пробковые поплавки, в которые воткнуты стальные рыболовные крючки, и на тонком шпагате болтаются свинцовые грузила; тонкий шпагат привязан мертвым узлом к более толстому, обернутому вокруг конца удочки, раскаленного солнцем.

Хорошее бамбуковое удилице стоит довольно дорого; иметь настоящую бамбуковую удочку — лаково-канареечную, прочную, легкую, длинную — примерно такая же несбыточная мечта, как роликовые коньки, ружье «монтекристо» или подержанный велосипед, о новом, разумеется, не может быть и речи.

Ах, как я завидую всем счастливым обладателям больших, или громадных, или даже средних и маленьких бамбуковых удочек, которые упруго склоняются к зеленой морской волне со скал, с купальных мостов, со свай, вбитых в дно возле берега, с брекватера, с бетонных кубических кессонов, беспорядочно наваленных вдоль берега Ланжерона, с шаланд, качающихся «на якоре», который заменяет привязанный к веревке дырявый камень, некогда отбитый штормом от известняковой скалы.

Как волновал меня вид ровно наполовину погруженных в морскую воду сине-красных поплавок, которые так плавно, заманчиво покачивали над литой пологой волной голый кончик своего гусиного пера.

Но еще больше завидовал я тем несметно богатым рыболовам, которые имели возможности «самодурить», то есть ловить скумбрию на так называемый «самодур» с шаланды, летящей под парусом поперек нашей бухты.

«Самодур» представлял собой некое подобие искусственной металлической рыбки, усаженной по бокам рыболовными крючками и пестрыми перышками. Рыболов ловко орудовал своим гигантским удилицем, все время подергивая леску, так что бамбук гнулся в дугу, время от времени расправляясь и опять упруго сгибаясь, с головокружительной быстротой таща за собой по вспененным волнам свою опасную приманку, за которой охотилась хищная скумбрия, хватала ее почти на легу узким зубастым ртом и вдруг, блеснув на солнце серебристо-синей муаровой полосой, оказывалась поддетой на крючок.

При благоприятном ветре все море между Дофиновкой и портовым маяком было полно наполовину темных, наполовину белых, округло надутых парусов шаланд самодурщиков; из-под плоских, начерно просмоленных доньев, шлепавших изо всех сил по гребням тинистых волн, вылетали сверкающие брызги.

В эти дни базар был завален скумбрией. Ее жарили во всех домах и даже возле домов на керосинках, поставленных в тени акаций на табуретки. Вдоль улицы плыл чад скумбрии, жаренной на оливковом масле.

У меня не было ни бамбуковой удочки, ни красивого поплавка, ни покупного грузила, ни шаланды с наполовину темным парусом, округло вздутым утренним бризом. Мне приходилось ловить бычков на самолов, то есть без удочки, прямо с пальца, опуская со скалы в глубокую воду шпагат с самодельным грузилом и самым дешевым крючком на прозрачной леске. В тинистой воде, в зарослях разнообразных водорослей, темно-зеленых и коричневых, с небольшими песчаными просветами, полянками по дну осторожно ходили богато оперенные большие бычки, прячась при малейшем шуме в щели подводных камней.

Бычки на креветку.

Прежде чем начать лов, надо было раздобыть креветок для наживки. Сняв штаны и задрав рубашку выше пупа, я хожу в теплой морской воде, высматривая креветок. Их трудно увидеть: они почти прозрачны и крайне пугливы. Как их поймать? Одному не справиться. Но помощник всегда найдется: позовешь какого-нибудь маленького купальщика с выцветшей на солнце русой стриженной головкой, с ног до головы коричневого от загара, только пятки розовые, с животом, туго перевязанным тряпочным жгутиком, что в некоторых семействах считалось выгодным: отбивает аппетит, не так много человек скушает; да и живот не отрастет.

Мы ходим вдвоем, держа за углы мой носовой платок, и стараемся незаметно подвести его под стайку креветок. Не дыша и не делая неосторожных движений, даже если нога наступит на скользкий камень, осколок мидии или кусочек бутылочного стекла, матово-от-

шлифованного вечным движением приборя, мы охотимся на нервных креветок.

Наловив креветок, мы влезает на скалу — ноздреватую, колючую, накаленную солнцем.

Креветки бьются в платке, с которого течет вода, тут же на глазах испаряясь с раскаленного камня. В судорожных движениях креветок, попавших в плен, в узелок, есть что-то гальваническое; они щелкают, как стальные; их усы прокалывают платок. Но мы беспощадны. Мы отрываем их шейки и наживляем ими крючок самолера.

Грузило осторожно закинуто в воду, тонкая бечевка, сползая по пальцу, наконец останавливается, давая понять, что грузило достигло дна и наживка на крючке плавает около. Теперь надо ждать, не отрывая глаз от подводного царства, которое так сказочно цветет и струится плетями водорослей, темными порослями тины, перламутровым блеском раковин и небольшими вихрями песка, поднятыми каким-нибудь крабом, продвигающимся боком, как бегущая по клавишам рука пианиста, к своему логовищу.

Наконец все стихает, вихрь песка улетучивается, подводное царство снова погружается в легкий, как бы колеблющийся сон, и тогда из щели, заросшей скользкой бархатной зеленью, выплывает большой, головастый бычок с хищно оскаленной мордой и выпуклыми купеческими глазами.

О, как он хорош в своем распутившемся, как веер, оперенье, верхний зубчатый гребень колышется, хвост развернут, и жабры жадно дышат. Его тень волнисто движется по неровному морскому дну, испещренному маленькими подробными изображениями водяной ряби, которая мерцает где-то вверху над бычком, серебряная и зеркальная от солнечных отражений.

Бычок видит шейку креветки, от которой так вкусно пахнет нежной плотью этого ракообразного. Бычок делает круг, со всех сторон осматривая наживку, он берет ее не сразу. Вероятно, он все-таки чувствует какой-то обман, опасность, но ничего не может поделать со своей грубой жадностью. Он подкрадывается к шейке креветки и сначала очень осторожно, почти неощутимо, трогает ее тупой — действительно похожей на бычью — мордой. Это движение, как по телеграфу, передается моему пальцу, и я ощущаю всем своим существом легкий импульс, как бы соединивший меня с другим живым существом, вздрогнувшим где-то глубоко внизу среди зеленых сумерек подводного мира.

Стоит больших усилий воли сдержать себя и не дернуть за бечевку.

Телеграфная связь между мною и головастой рыбкой продолжается по бечевке, теперь это уже почти азбука морзе:

...точка — тире... точка — тире... тире... тире... точка...

Бычок подозрителен; ему чудится непонятная, неосознанная опасность: он не получает сверху ответа на свои телеграфные запросы... В конце концов своим молчанием я усыпляю его бдительность; он успокаивается; он уверен, что меня вовсе не существует, что я лишь плод его религиозного воображения; опасности нет; бога нет; можно хватать лакомый кусочек хищным зубастым ртом с выдвинутой вперед челюстью. Я чувствую указательным пальцем упругое, упрямое натяжение бечевки.

Ага, теперь он мой!

Коротким рывком я подсекаю бычка и тащу наверх, чувствуя, как бьется и мечется в таинственной глубине его пестрое тело, так красиво оперенное пятнистыми веерами плавников. Я чувствую, как крючок — его коварно изогнутая в трех измерениях конструкция — пронзил его челюсть, его перламутровую щечку, как судорожно открываются и закрываются клапаны его жабр. Вот он появляется над водой. Он висит на крючке, сорваться с которого невозможно, — так подло устроено его кривое острие с засечкой.

Я вытаскиваю его. Немного подергавшись, он бессильно повисает в воздухе, в несвойственной ему, непонятной и враждебной среде, и с него, как с хорьковой кисточки для акварельных красок, стекает вода. Куда девалось, во что превратилось его прекрасное, воистину самурайское оперение, его развеверенный хвост! Только и осталась лобастая голова с судорожно дышащими жабрами, тонкий хрящик нижней челюсти, выпученные глаза и жалкая кисточка хвоста.

Я зажимаю в кулаке его осклизлое тело, в середине которого отчаянными, спазматическими толчками еще бьется сердечко. Я беспощадно выдираю из перламутровой щечки крючок и, проткнув насквозь обе кроваво-красные жабры палочкой, опускаю бычка на веревочку кукана, где уже висят несколько мелких бычков, уснувших, со слившимися кисточками хвостов.

В этот жаркий, предвечерний час отовсюду, возвращаясь с моря, шли по городу рыболовы с удочками и ведерками и несли в руках длинные куканы с нанизанными на них гроздьями бычков — светлых, так называемых «песчаных», и темно-пятнистых — «подкаменных».

Нес свой маленький кукан и я, всего каких-нибудь пять или шесть мелких бычков, вываленных в малофонтанском песке и белой, как мука, шоссейной пыли Французского бульвара. Мне было жалко бычков, в особенности их повисшие, сузившиеся хвостики, с которых уже перестала капать вода.

«Господи! — думал я тогда (или, может быть, теперь?). — Неужели чья-то громадная рука держит и меня, как маленького, ничтожного бычка, сжимая так крепко в своем невидимом кулаке, что мое сердце трепещет, сжимается и каждый миг умирает».

Настоящая большая рыбная ловля представляла из себя нечто совсем другое.

Громадная песчаная коса между лиманом и морем, за Аккерманом, за Шабо, за селом Будáки, недалеко от пограничного кордона — небольшой казармы с мачтой для сигнальных флагов и солдатами-пограничниками, которые вдруг появлялись с винтовками на плечах и шли — по двое, по трое — по краю высокого, крутого обрыва по душистой полыни, по иммортелям, на фоне вечеряющего моря и туманной полосы над горизонтом, откуда уже наполовину показался большой круг полной луны, еще совсем не яркой, розовато-пепельной, готовой каждую минуту стать багровой и нарисовать на пыльной тропинке длинные тени степных трав.

На песчаной косе виднелись сложенные из камыша рыбацкие курени и лежали на боку большие, черные, сплошь просмоленные баркасы с одинаково приподнятыми носом и кормой, что делало их похожими на индейские пироги. Они ничего общего не имели с легкими одесскими шаландами — плоскодонками, а были настоящие, серьезные рыболовецкие посудины из дельты Дуная, или, как говорилось, «из гирла Дуная».

Может быть, на таких посудинах мои предки запорожцы, пересекая Черное море, совершали набеги на турецкие берега и доходили даже до Константинополя.

Рыбаки не без труда сталкивали свои тяжелые баркасы в воду, волоча их по песку, по ракушкам, по рядам засохшей вдоль полосы прибоя тины, по мокрой гальке, уже слегка поблескивающей лунным светом

Черный баркас увозил сложенный кучей невод далеко от берега, только лунные огоньки вспыхивали под веслами, как будто бы где-то на горизонте высекали огонь из кресала, и там сбрасывали его в воду. Сетчатая мотня тяжело шла ко дну, а на поверхности оставался плавать пустой засмоленный бочонок, гладко переваливаясь с волны на волну. Затем узкие крылья заброшенного невода заводили широким полукругом, а концы веревок, привязанные к крыльям с двух сторон, привозились на берег, и начиналось очень медленное, волнующее зрелище вытаскивания невода.

Мотня невода с бочонком над ней подвигалась к берегу столь же медленно, как луна к зениту, уменьшаясь и становясь все ярче и ярче, голубее и голубее.

Став гуськом с двух сторон, рыбаки вытаскивали сетчатую полосу невода, которая выносила из воды сначала тину, потом несколько крабов, несколько морских звезд, морских игл и морских коньков... Их становилось на движущейся полосе невода все больше и больше. Уже начинали попадаться отдельные рыбы, сверкающие в лунном свете.

Крылья невода сдвигались, широкая подкова превращалась в тесное кольцо. Из-под воды показывалась мотня, тесно набитая рыбой. Этот сетчатый мешок с усилиями подводили к самому берегу.

Очень яркая луна уже стыла в самом зените, заливая все вокруг голубым, серебряным светом холодного бенгальского огня.

Мотня кипела трепещущим серебром скумбрии и другой рыбы, в несметном количестве набившейся в сетчатый мешок. Лунный свет заливал все побережье — холодную песчаную косу, лиман, откуда доносился гнилостный, целебный запах его рапы и грязи, обрывы, поросшие полынью, дикой маслиной, и мне казалось, что я вижу в месячном сиянии Буджакские степи, башни старинной турецкой крепости, цыганские костры и телеги, и курчавого молодого Пушкина, и очи Земфиры с белками, отливающими лунным светом, и Алеко с ножом в руке, так же отливающим каленым лунным светом, и мне чудились мучительные сны, живущие где-то совсем рядом со мной «под издранными шатрами», и «всюду страсти роковые и от судеб защиты нет», и все это — под маленькой, не больше новенького грибенника луною, пробивавшейся над плетнями и виноградниками Будака, сквозь легкую летнюю тучку, как рыбий глаз.

Поздно ночью я вернулся на наш чердак, превращенный в комнату для дачников, которую мы нанимали на все лето в экономии немецкого колониста. В окна, косо вырезанные в крыше, были видны темные купы фруктовых деревьев и далекое поле, сплошь белое от лунного света. Женька спал на своих парусиновых козлах. Папа при свете свечи под стеклянным колпаком читал Лескова. Ночь была жаркая, и папа расстегнул ворот своей вышитой косоворотки. От меня пахло на весь чердак солью и свежей рыбой. На босых ногах блестели серебряные рыбы чешуйки. Я подошел к дощатому столу,

Где для меня была оставлена простокваша. Папа был сторонником Мечникова и велел нам есть на ночь простоквашу. Глубокая тарелка с простоквашей была прикрыта сверху старой, уже пожелтевшей газетой. Я снял газету и увидел простоквашу, ярко освещенную голубым лунным светом. Я насыпал в простоквашу сахарного песка, который сначала пожелтел, а уже потом стал растворяться и тонуть в простокваше. Я ел с наслаждением столовой серебряной ложкой с маминой монограммой на ручке превосходную, прохладную еду. И серебряная ложка, и простокваша, и далекая степь за окном, и часть папиной холщовой косоворотки в черноте чердака — все это было необыкновенно красивого, яркого и в то же время мягкого лунного света, наполнявшего мир и заставлявшего блеснуть море, которого из нашего чердака не было видно.

Черновик какого-то стихотворения:

Моя веснушчатая англичанка (колени в ссадинах, ячмень бровей) — я помню вас, матросская голландка и рыжие калачики кудрей! Одиннадцатилетняя, без няни, разбойник в юбке, Робинзон, казак, ты помнишь, как в Отраде на полянке вокруг кола весь день паслась коза и как мальчишки мяч футбольный били тупыми башмаками по козе? В терновых иглах ягодки рябили — коралловые капли в дерезе. И ты хватала легкий, и звенящий, и твердый мяч, как голову несла, крутя в руках арбузный хвостик-хрящик, как древняя царица, весела. Я был в ту пору очень смугл и черен — вихрастый гимназист Иоканаан; писал дневник — ни дать ни взять — Печорин, — твой первый гимназический роман. И много лет прошло больных и хромых, на костылях случайных наших встреч; взлетали вихри снега и черемух, но тот же был над нами месяц — меч. И та же ночь ждала безглазым негром с мечом-кометой в траурной руке, чтоб в должный час из театральных недр поднять любовь в курчавом парике. Вино и кровь — проклятое наследье. Нам истина дешевая дана — тебе в козлином голосе трагедий, а мне в бутылке скверного вина... Танцуй же снова девочкой-подростком, сегодня ты танцуешь для меня. Но детский мяч по театральным доскам летает, пусто и легко звеня...

Дельфин.

После небывалого шторма, когда огромные холмы и горы мутно-коричневых волн со скоростью курьерского поезда косо пронеслись мимо берегов, с пушечным громом обрушиваясь на обрывы, и заставляли на десятки верст вокруг звенеть, как бронза, туманный воздух, насыщенный йодистыми и сернистыми запахами как бы вспаханного до самых недр моря, вдруг наступил штиль.

Над утихшей, гладкой поверхностью моря как ни в чем не бывало засияло горячее солнце, и мы увидели на девственно-гладком, еще холодном песке тело дохлого дельфина.

Он был ничей.

Мы его увидели первые, и теперь, по всем законам, он сделался нашей собственностью. Мы обошли его вокруг, любуясь крепким, как бы литым, даже на вид тяжелым телом, покрытым черной блестящей кожей, любуясь треугольным плавником на спине, красиво вырезанным хвостом, длинным ртом, скорее даже не то клювом, не то пастью с крепкими, острыми собачьими зубками и неподвижными, резко очерченными глазами, в которых уже не отражалось ничего.

Он был совсем как живой, свежий, только неподвижный; в нем чего-то не хватало. Но чего? Жизни? Да, наверное, не хватало жизни. Но что такое жизнь? Этого мы не знали.

Сначала мы решили его — как общую находку — разделить честно поровну, пополам. Но потом раздумали. Мы были друзьями, так пускай же дельфин считается нашим общим.

Но что же с ним делать?

Мы были в том возрасте, когда мальчики собирают коллекции бабочек и жуков, гербарии, хранят в банках с формалином морских коньков, морских игл, маленьких стерлядок, крабов, медведок, сколопендр, как бы вступив в борьбу с самой Смертью, с ее разрушительной силой и желая дать вечность, предохранить от губительного тления красоту животного и растительного мира, рассеянную вокруг нас в таком изобилии и разнообразии форм и красок.

Но увы! Бабочки, усыпленные эфиром, все-таки очень скоро начинали разлагаться, наполняя нашу комнату на чердаке тяжелым запахом. Трудно было поверить, что этот запах исходит от прелестных, почти невесомых телец, от распластанных нарядных крылышек «адмиралов», «капустниц», «шелкопрядов», «мертвых голов». Запах формалина смешивался с запахом засохших распластанных растений гербария, оставлявших на бумажных листах желтые пятна, источавшие аромат тления, напоминавший запах старинных книг с кожаными корешками, объеденными мышами.

...Всюду смерть побеждала жизнь...

Но мы не могли отдать смерти такую большую, красивую, дорогую вещь, как дельфин. Никто из наших товарищей еще никогда не обладал таким сокровищем! Нам пришла в голову мысль сделать из нашего дельфина чучело. Нам казалось, что это очень просто. А что? Содрать кожу и набить соломой или, еще лучше, гигроскопической ватой, пропитанной формалином, и тогда получится превосходное чучело, которое можно продать или, в крайнем случае, пожертвовать какому-нибудь музею. Нам уже мерещилась медная дощечка с нашими именами в качестве жертвователей.

Мы сбегали наверх в экономию за ножами и приступили к делу. Однако кожа дельфина оказалась такой толстой, прочной, приросшей к телу, непроницаемой, что на ней даже не оставалось царапин от наших жалких столовых ножей. Мы побежали за другими ножами — острыми, кухонными, но и они ничего не смогли поделаться с дельфиной кожей. Мы попытались перевернуть нашего дельфина на спину и вскрыть его брюхо, но животное оказалось тяжелым, как слиток чугуна, и нам не удалось сдвинуть его с места ни на вершок. Тогда мы, еще немного поковырявшись в дельфине и сломав один нож, решили отказаться от идеи чучела, а просто отрезать от дельфина красивый черно-синий хвост, чем-то напоминающий фигурные скобки, или, в крайнем случае, спинной плавник, с тем чтобы заспиртовать в большой банке из-под варенья. Увы! Отрезать спинной плавник было так же невозможно, как если бы он был сделан из черной вороненой стали, а о фигурном хвосте и говорить нечего.

Вспотевшие от усилий, мы наскоро выкупались, полежали немного на песке и решили ограничиться ожерельем из дельфиновых зубов: красиво, оригинально и не составляет особого труда. Мы сбегали наверх и принесли плоскогубцы. Однако несмотря на все наши усилия, дельфиньи зубы не поддавались плоскогубцам. Мы раздобыли кузнечные клещи. Но и они не помогли. Нам даже не удалось пошатнуть хотя бы один зуб.

Дельфин лежал перед нами на песке совершенно целый, и в его резких, стеклянных глазах не отражалось ничего, кроме белой звезды полуденного солнца.

Может быть, хотя бы вырезать у дельфина глаза и положить в банку с формалином? Один глаз мне, другой — Женьке. Мы приступили к делу, пустив в ход все возможные орудия. И ничего! Нам не удалось даже проткнуть глаз, когда случайно острый нож соскользнул с кожи дельфина и попал в зрачок. Дельфиний глаз оказался твердым, как драгоценный камень — берилл, топаз, агат или что-нибудь вроде этого.

Тогда, потеряв терпение, мы стали колотить дельфина молотками, пытались как попало кромсать его кожу ножами, били по его тугой, как резина, голове морскими гладкими камнями-голышами... Бесполезно! На коже дельфина осталось лишь несколько еле заметных царапин.

Тогда мы еще раз выкупались и, обессиленные, немного повалялись на песке, я и Женька, но не мой братишка, а Женька — мой друг, сын немца-колониста, у которого мы нанимали на все лето комнату под крышей, откуда был прелестный вид на виноградники, кукурузные поля и на черно-синюю тучу летней грозы с градом и молниями (она обыкновенно заходила с моря в степь). У Женьки были добрые, слабые, вечно красные, как будто бы у него была трахома, лучистые глаза; он был превосходный товарищ, и лучшего компаньона на дельфина трудно было найти. Но что же делать, если дельфин оказался таким неподатливым! Мы провозились над ним до восхода луны и ничего не добились.

На следующее утро, когда мы подошли к нашему дельфину, то увидели, что по его коже, по его глазам ползают тучи зелено-металлических мух и роятся над ним в воздухе с гнусным жужжанием...

Мы поспешили уйти.

А еще через день, утром, дельфина уже не было. Видно, его смыло волной, так как начался новый приступ шторма, пришедшего к нам с Анатолийского побережья Турции, может быть даже из Трапезунда.

Буря на море.

Он пропадал целые сутки и вернулся домой поздно вечером без пояса и фуражки, со слипшимися волосами, в сильно помятом гимназическом костюме, который, как видно, побывал в морской воде и еще не вполне высох.

На все вопросы он упрямо молчал, и по его посиневшим губам скользила робкая и в то же время горделивая улыбка, а в карих глазах появилось выражение странного оцепенения, которое бывает у человека, встретившегося лицом к лицу со смертью.

Лишь через несколько лет он рассказал мне, что с ними произошло.

Их было трое гимназистов, товарищей, и они, собрав полтора рубля, достали напрокат старую рыбацкую шаланду с парусом, вставным дощатым килем и камнем на веревке вместо якоря. Сначала они хотели только немножко покататься, но, очутившись в мо-

ре, вдруг решили с легкомыслием двенадцатилетних мальчишек совершить морское путешествие в Очаков и обратно -- всего несколько сот верст, — что казалось им почти подвигом.

А жажда подвига всегда сводит с ума человека, в особенности совсем молодого, мальчишку.

Внезапно — как это всегда бывает на Черном море — где-то за Дофиновкой они попали в один из тех страшных шквалов, которые обрушиваются с северо-востока, превращая море в кипящий котел, где громадные волны, ежеминутно меняя направление, сталкивались друг с дружкой, наполняя воздух адским грохотом, звоном и клочьями серой пены.

Мне никогда не приходилось переживать подобные приключения в открытом море. Это приключение я описываю со слов моего брата; даже не столько со слов, сколько представляю себе всю картину по выражению его глаз, как-то сразу очень изменившихся после этого происшествия, повзрослевших и как бы знающих что-то такое, чего никто, кроме него, больше не знает, как будто именно во время этого шторма совершилась судьба всей его жизни.

Руль шаланды разбило. Парус разодрало пополам. Весел не было. Шаланда куда-то неслась по воле шторма, то проваливаясь вглубь, между двумя водяными горами, то взлетая вверх, почти опрокидываясь и черпая бортами, носом и кормой воду, до половины затопившую старую посудину, скрипевшую всеми своими расшатанными частями. Черпак и баклага с пресной водой плавали в воде, наполнявшей шаланду.

Лил дождь. Ветер рвал мокрую одежду. Вокруг уже ничего не было видно. Наступала ночь, и перед тем, как окончательно стемнело, вдруг на молочно-сером небе, над несущимися табунами волн, засветился розоватый отблеск: где-то за тучами садилось солнце.

Мальчикам показалось, что шторм кончается, но они ошиблись: розовая заря быстро погасла среди черных туч и наступила ночь, еще более страшная, чем этот штормовой день. Мальчики наглотались соленой воды. Их рвало. Шаланда каждую минуту готова была затонуть. Они устали выливать воду почерневшим деревянным черпаком, дырявым ведром, наконец, своими гимназическими фуражками и просто руками. Почти потерявшие сознание от качки, от рвоты, они плакали и охрипшими голосами изо всей мочи кричали в темноту ночи, уже не надеясь, что кто-нибудь услышит их крики и мольбы.

Отчаявшись, они стали молиться богу, но бог не желал или не мог им помочь.

Среди ночи на короткое время тучи разорвались, и среди них мелькнула туманная луна на ущербе. Ее лицо, бледное, как у мертвеца, слегка посеребрило волны, после чего ночь сделалась еще страшней и бесконечней.

Вдруг они увидели огни: недалеко от них шел, переваливаясь среди волн, небольшой пассажирский пароход из Николаева. Мальчики стали кричать:

— Эй, на пароходе! Спасите! Мы терпим бедствие!

Они сорвали голоса и могли кричать только шепотом.

Пароход прошел мимо, не заметив их.

Тогда кто-то из мальчиков вспомнил, что взял с собой маленький дамский револьвер. Он схватился за ванты и, вися над бурной пучиной, стал бессмысленно стрелять в воздух и стрелял до тех пор, по-

ка не кончились все патроны. За ревом шторма выстрелов, конечно, не было слышно, только маленькие язычки огня вылетали из дула.

Пароход растворился во тьме вместе со всеми своими светящимися иллюминаторами.

Порыв шквала сломал мачту, и она теперь волоклась за кормой на еще не вполне порванных вантах. Надежды больше не было. Ночь длилась бесконечно. Однако на рассвете их спасли, уже не помню кто и как. Кажется, дофиновские рыбаки.

Не могу забыть янтарно-коричневых глаз моего брата Жени, когда он рассказывал мне эту историю, его сиреневых губ и опущенных плеч обреченного человека.

С этого дня он был обречен. Ему страшно не везло. Смерть ходила за ним по пятам. Он наглотался в гимназической лаборатории сероводорода, и его насилу откачали на свежем воздухе, на газоне в гимназическом садике, под голубой елкой. В Милане возле знаменитого собора его сбил велосипедист, и он чуть не попал под машину. Во время финской войны снаряд попал в угол дома, где он ночевал. Под Москвой он попал под минометный огонь немцев. Тогда же, на Волсколамском шоссе, ему прищемило пальцы дверью фронтальной «эмки», выкрашенной белой защитной краской зимнего камуфляжа: на них налетела немецкая авиация и надо было бежать из машины в кювет.

Наконец, самолет, на котором он летел из осажденного Севастополя, уходя от «мессершмиттов», врезался в курган где-то посреди бескрайней донской степи, и он навсегда остался лежать в этой сухой, чуждой ему земле...

Игрушечная яхта.

Это был, несомненно, сын богатых родителей, потому что только у богатых мальчиков могла быть такая чудная игрушечная яхта, почти модель настоящей, английской, из числа тех, что находились в наших Черноморском или Екатеринославском яхт-клубах, вроде «Нелли», «Снодроп», «Майяны»...

Он нес ее перед собой на вытянутой полусогнутой руке, и трудно было отвести глаза от безупречных форм и пропорций маленького корабля, от его стройной высокой мачты, от его дощатого корпуса, легкого и звонкого, как музыкальный инструмент, от его бушприта, парусов — грота и нескольких изящно-косых, треугольных кливеров, наконец, от его глубокого кия со свинцовой сигарой противовеса на конце. До тонкой красной ватерлинии корпус яхты был выкрашен белоснежной эмалевой краской, а ниже, вся подводная часть, включая киль, — салатно-зеленой краской, что делало общую расцветку маленькой яхты очень нарядной.

Мальчик в новой матроске гордо шел по тенистым улицам города, и кружевные тени акаций скользили по девственно свежим парусам яхты и по слегка веснушчатому носику с горбинкой его владельца.

Пока мальчик дошел от центра города до дачи Отрада, за ним уже образовался длинный хвост уличных мальчиков, с завистью и восхищением разглядывающих яхту и предвкушавших зрелище ее спуска на воду. Я присоединился к процессии и шел рядом с богатым мальчиком, время от времени просительного бормоча:

— Дай подержать! Не будь вредным!

На что богатый мальчик отвечал:

— Смотрите на него, какой он хитрый!

Миновав Отраду, еще более тенистую и цветущую, чем другие улицы нашего города, мы спустились следом за богатым мальчиком с крутого обрыва и подошли к самому морю, возле которого два плотника в выцветших розовых рубахах и дерюжных портках строили кому-то на заказ средней величины шаланду. Шаланда была наполовину готова, и к ее шпангоутам плотники уже приколачивали гвоздями красиво гнущиеся сосновые доски обшивки. Тут же рядом на костре коптились две жестянки — одна со смолой, другая с суриком для шпаклевки. Переносный самодельный верстак был завален золотистыми стружками, от которых пахло скипидаром.

Подойдя к самой воде, мы расступились, и богатый мальчик благоговейно опустил свою яхту на длинную хрустальную волну. Яхта отразилась в волне всеми своими нарядными, свежими красками, побежала по ветру, и ее стройная мачта, уравновешенная килем, покачивалась как метроном.

По сравнению со старой, ноздреватой прибрежной скалой яхта казалась совсем маленьким, беспомощным суденышком.

Но как красива она была!

Взрыв водорода.

...стало известно, что если кусочек самого обыкновенного цинка положить в стеклянный сосуд и залить его самой обыкновенной азотной кислотой, то произойдет химическая реакция и станут выделяться пузырьки водорода; если же этот газ собрать в сосуд и прикрыть горло сосуда стеклянной воронкой, то водород, будучи легче воздуха, начнет выходить через трубочку воронки, и тогда его можно поджечь спичкой, и он будет гореть язычком тихого, спокойного пламени, как было изображено на рисунке в толстом учебнике физики Краевича.

Мечта добыть собственными силами и в домашних условиях этот легкий безвредный горючий газ с такой силой и страстью овладела моим воображением, что я уже ни о чем другом не мог думать. В дальнейшем мне уже рисовалась картина небольшого дирижабля, который я сделаю собственными руками, наполню его водородом собственного изделия и запущу в небо на удивление всей улице, посадив в гондолу какое-нибудь животное — кошку или даже смирную собачку, — это придаст моему эксперименту строго научный характер и вызовет всеобщее восхищение, смешанное с удивлением: как это случилось, что в общем такой плохой ученик, как я — даже, можно сказать, двоечник, — провел столь блестящий научный эксперимент! Вот и судите после этого человека по отметкам!

Эти и тому подобные честолюбивые мысли до последней степени разогрели мое нетерпение, и я не откладывая дела в долгий ящик тут же, немедленно, приступил к опыту.

Однако физический опыт добычи водорода, представлявшийся мне сначала поразительно простым и легким, вдруг оказался довольно сложным, так как требовал материалов, лабораторной посуды и химикалий, на приобретение которых у меня не было средств.

Конечно, специальный сосуд для соединения цинка с азотной (или серной? уже не помню) кислотой можно было заменить простым чайным стаканом из буфета, но это уже будет совсем, совсем не то:

пропадет весь внешний вид опыта! Только специальная колба из тонкого тугоплавкого стекла с пробкой и трубочкой для выхода газа могла придать моему опыту подлинно научный блеск, строго академическую форму. С цинком дело обстояло проще всего: почти во всех домах нашего города наружные подоконники и водосточные трубы делались из цинка или, во всяком случае, из железа, покрытого цинком, так что их обрезков можно было набрать сколько угодно на любой стройке. Я натаскал довольно много подобных обрезков. Увы, знающие люди сказали мне, что это не чистый цинк и для опыта он не годится. Надо достать настоящий, химически чистый цинк, без примесей. Такого рода цинк в виде крупных зерен можно было купить в аптеке, хотя и не во всякой, а вернее всего, в аптекарском магазине или москательной лавке, причем оказалось, что этот самый зернистый, чистый цинк стоит копеек двадцать небольшой пакетик. Денег же у меня совсем не было. А еще предстояло купить колбу, стеклянную воронку, резиновую трубочку, чтобы пропустить полученный газ через воду, а также — и это самое существенное — приобрести кислоту, которую в аптеке отпускали только по рецептам и то исключительно совершеннолетним, а несовершеннолетним вообще ни за какие деньги не отпускали.

Вот когда я горько пожалел, что еще не достиг совершеннолетия!

Обрезки оцинкованного железа, наваленные под кроватью, вызвали брезгливые улыбки тети, действующие на меня гораздо сильнее, чем любой выговор и даже более серьезные меры.

Смирив гордость, я подошел к тете и заискивающим голосом попросил пятьдесят копеек.

Сумма была огромная.

Но тетя не удивилась, а только спросила подозрительно:

— Зачем?

— Мне очень, очень нужно, тетечка, — лживо-ласковым голосом сказал я. — Пока это секрет. Потом вы сами узнаете. Честное благородное слово!

— Нет, прежде чем я не узнаю зачем — не дам. Даже не проси.

— Ну, тетечка, — захныкал я, применяя последнее средство убеждения, в общем-то, доброй и мягкосердечной тети.

Но на этот раз она была непоколебима.

— Зачем? — ледяным голосом повторила она.

— На двугорлую колбу и... и... и на эту... азотную кислоту, — выдал я из себя.

— Азотная кислота! — в ужасе воскликнула тетя. — Ты просто сошел с ума.

— Ну, тетечка! — взмолился я. — Мне очень необходимо и полезно.

— Полезно? — саркастически переспросила тетя.

— Да, в научном смысле, — подтвердил я, — для одного физического опыта.

Тетя побледнела.

— Не хватает нам в квартире еще физических опытов с азотной кислотой! — сказала она. — Ни под каким видом. Я тебе это категорически запрещаю. Ты слышишь? Категорически. — И она удалилась, зашумев своей юбкой.

Ну, скажите сами, что оставалось мне делать?

Оставалась одна надежда на географический атлас Петри. Это был отличный, очень толстый сборник географических карт всех

стран, морей и океанов земного шара в твердом черном коленкоровом переплете с металлическими наугольничками по краям, который стоил в книжном магазине два с половиной — сумма астрономическая. Не все родители могли приобрести такое учебное пособие своим детям; в сущности, и моему папе было это не по карману; но папа всегда мечтал сделать из меня образованного человека, чего бы это ни стоило; он поднатужился, сократил некоторые свои расходы и купил мне атлас Петри, умоляя беречь эту книгу как зеницу ока для того, чтобы она могла с течением времени перейти Женьке, а от Женьки в будущем Женькиным детям и даже внукам: пусть они все будут высокообразованными, интеллигентными людьми.

Так вот, теперь у меня оставалась одна надежда на атлас Петри. Его можно было в любой момент и без особого труда загнать в магазин подержанных учебников и получить на руки верных полтора рубля, в крайнем случае рубль тридцать.

Я понимал, что делаю подлость, но во мне уже разбушевались такие страсти, что повесть умолкла перед картиной великого физического эксперимента, который я собирался совершить.

В сущности, это было желание победить мое неверие в науку, которое я испытывал в глубине души, так как мне почему-то всегда — говоря по совести — казалось невероятным чудо превращения цинка в водород; мне казалось невозможным, что вот я в один прекрасный миг зажигаю спичку, подношу ее к стеклянной трубке — и тотчас загорается спокойный, мирный, безопасный язычок чистого пламени, появившийся, так сказать, ниоткуда. Вместе с тем я верил — именно верил — в могущество науки, в слова, напечатанные в учебнике Краевича таким убедительным шрифтом, под гравированным на меди изображением склянки и трубки с горящим над ней огоньком.

Это была мучительная душевная борьба веры с неверием; в конце концов она должна была как-то разрешиться, и чем скорее, тем лучше. Я горел от нетерпения; даже не горел, а скорее сходил с ума, и мое тихое помешательство, незаметное для окружающих, выдавали лишь мои глаза с остановившимися зрачками, которые я видел, проходя в передней мимо зеркала.

Меньше всего обратил внимание на мои зрачки и прикушенные губы еврей-букинист, который, проворно перелистав атлас Петри — нет ли вырванных карт? — и небрежно зашвырнув его куда-то под прилавок, выложил серебряную мелочь, среди которой так обольстительно блеснули два полтинника с выпуклым профилем государя императора. Всего в моем кармане очутилось один рубль тридцать пять копеек, и я сейчас же побежал делать покупки. Мне сразу же повезло. Аптекарь согласился отпустить азотную кислоту, когда узнал, что она нужна мне для научных целей — производства водорода, газа по тем временам вполне невинного. У него также нашелся кристаллический цинк в виде как бы окаменевших крупных металлических капель. Отмеривая мне эти химические элементы, аптекарь, однако, вскользь предупредил меня, что если водород — не дай бог — смешается с кислородом — то есть практически с обыкновенным комнатным воздухом, — то получится так называемый гремучий газ, который легко может взорваться, если его поджечь. Во избежание этого аптекарь посоветовал мне собрать водород в перевернутую стеклянную воронку и терпеливо подождать, пока он полностью не вытеснит оттуда воздух, и лишь после этого приступать к зажиганию. Впрочем, сказал он, можно обойтись и без воронки — простой двугорлой ретортой или банкой.

Поблагодарив аптекаря, я помчался в магазин лабораторной посуды, где был ошеломлен множеством колб, пробирок, штативов, зажимов, спиртовых лампочек, двугорлых банок, пробок разных сортов и калибров.

В особенности меня взволновал вид реторт, этих как бы стеклянных желудочных пузырей с таинственно изогнутыми стеклянными отростками, откуда, вероятно, должен капать в тончайший стаканчик какой-нибудь сложнейший продукт перегонки, даже, может быть, эликсир жизни.

В ретортах было нечто средневековое, дошедшее до наших дней из мастерских алхимиков в бархатных колпаках, беретах, камзолах и мантиях, прожженных различными кислотами, с помощью которых они добывали философский камень и превращали пыль в чистое золото.

Очень хотелось купить реторту, однако эта посуда была мне не по карману, и я ограничился покупкой множества сравнительно недорогих пробирок, колбочек и даже одного дешевенького штатива, совершенно мне ненужного, но имевшего такой научный вид, что я не в силах был удержаться от покупки.

Дыша от нетерпения как собака, я принес всю эту дребедень домой и, прокравшись, как вор, с черного хода в нашу комнату, спрятал под кровать и надежно замаскировал белым фаянсовым ночным горшком.

На другой день, отпросившись со второго урока, я не слыша под собой ног побежал домой, где в этот час обычно никого не было. Открывая мне дверь, кухарка подозрительно посмотрела на мое возбужденное лицо и пробормотала что-то неслесное, но мне удалось убедить ее, что я заболел: по-видимому, свинкой. Эта добрая душа поверила моей брехне и даже посоветовала поскорее лечь в постель и на всякий случай выпить малины.

С хитростью опасного сумасшедшего я сумел убедить ее, что это скоро пройдет, если меня никто не будет беспокоить и входить в комнату.

Прежде всего я постарался придать эксперименту наиболее внушительный характер. Я сделал все возможное, чтобы наша комната с тремя железными кроватями, где спали папа, я и Женька, походила на кабинет какого-нибудь великого ученого вроде, например, Менделеева с его грозным лицом и львиной гривой.

Я притащил из гостиной столик, покрытый знаменитой плюшевой скатертью чуть ли не вековой давности, которая почему-то считалась величайшим украшением нашей квартиры, местом, где обычно находился толстый семейный альбом с пружинными застешками, где в овальных и прямоугольных вырезах помещались фотографии всех наших родных и знакомых.

Выбросив альбом в угол, я поставил столик посередине комнаты и положил на него несколько томов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона из папиного книжного шкафа, что соответствовало моему представлению о рабочем столе великого ученого, заваленном кроме того разными манускриптами; но так как манускриптов в доме у нас не имелось, а заменить их своими гимназическими тетрадами было просто глупо, то я свернул в трубку свои классные таблицы изотерм и небрежно бросил на стол, что получилось довольно эффектно и весьма напоминало манускрипты ученого. В сочетании с лабораторной посудой и старым волшебным фонарем

все это, по моему мнению, имело весьма научный вид. Не хватало только гусиного пера в чернильнице — и картина была бы вполне закончена. Увы, гусиного пера в доме не было, и я даже подумывал, не отложить ли на некоторое время опыт, чтобы я мог перелезть через забор на участок профессора Стороженко, где профессорская жена водила домашнюю птицу, и выдрать из хвоста красавца гусака парочку белоснежных перьев.

Но нетерпение мое было так велико, что я, хотя и не без некоторой душевной боли, примирился с мыслью, что рядом с манускриптами из чернильницы не будут торчать гусиные перья.

Я немного полюбовался издали на свой рабочий стол, уставленный рядами пробирок и прочей лабораторной посудой, и приступил к делу.

Я поставил посередине стола на плюшевую скатерть большую двугорлую банку; в одно горлышко я воткнул пробку со стеклянной трубкой, а в другое горлышко насыпал из пакетика зерна цинка; после этого с величайшей осторожностью я стал наливать через стеклянную воронку азотную кислоту. До последнего момента мне не верилось, что из цинка начнет выделяться водород. Каково же было мое восхищение и гордость, когда я увидел, что из зерен цинка стали бурно выделяться пузырьки газа, уходя бисерными цепочками вверх. Тогда я заткнул свободное горлышко пробкой и некоторое время как зачарованный следил за реакцией, прислушиваясь к магическому шипенью, доносившемуся из двугорлой банки.

Чудо свершилось:

...водород обильно и безотказно выделялся, азотная кислота, слегка пованивая чем-то тухлым, бурлила. Я послунил палец и осторожно приблизил его к трубке, на кончике которой тотчас вздулся пузырь: это шел воздух, вытесняемый из двугорлой банки водородом.

Опыт превзошел все мои ожидания!

...теперь оставалось лишь подождать минут десять или пятнадцать, пока водород не вытеснит весь воздух из банки и через трубку начнет выходить чистый водород. Я дрожал от нетерпения поскорее поднести спичку к трубке и наконец собственными глазами увидеть, каким тихим и смирным язычком пламени загорится водород. Двугорлая банка была довольно большая, и я решительно не знал, когда же наконец воздух окончательно вытеснится и можно будет зажечь водород.

Мне казалось, что я ожидаю уже несколько часов, в то время как прошло минуты две, не больше, но главная беда заключалась в том, что никак нельзя было определить на глаз — вытеснился ли уже из банки воздух или еще не вытеснился.

Несколько раз я уже слюнил кончик трубочки и каждый раз видел вздувшийся пузырек, но водород это или воздух — было неизвестно.

...в банке происходила бурная реакция, зерна цинка подпрыгивали, таяли, выделяя пузырьки...

Мое нетерпение дошло до степени беспамятства. Ждать больше не было сил. А, собственно, чего ждать? Ждать, пока водород не вытеснит воздух? А как я об этом узнаю, если они оба одинаково бесцветны?

Тогда злой дух нетерпения вкрадчиво шепнул мне на ухо:

— А ты попробуй. Послуни трубку и подожги пузырек. Если это гремучий газ, то он просто тихонечко взорвется (ведь пузырек такой маленький!), а если это уже чистый водород, то загорится тихий, мирный огонек. Только и всего. Риска никакого. Не правда ли?

— Неправда,— шептал благоразумный инстинкт самосохранения, пытаясь возражать коварному голосу нетерпения, но соблазн был так велик, что голоса рассудка я уже не услышал.

Суетясь от нетерпения, я насклонил кончик трубки, и когда вздулся пузырек, я зажег спичку и дрожащей рукой поднес к нему огонь. В тот же миг пузырек слегка взорвался, но — уввы! — на этом дело не кончилось. Вслед за небольшим, как бы совсем игрушечным взрывом я услышал нечто вроде всхлипа, за которым последовал зловещий, всасывающий звук, и я увидел, как огонь спички молниеносно всосался через трубочку в двугорлую банку, наполненную гремучим газом, и перед моим лицом раздался такой силы взрыв, что я на миг потерял сознание, но тут же пришел в себя от звона посыпавшихся стекол... от вида...

...ядовито-желтого, удушливого грибовидного дыма, возникшего в воздухе посередине опаленной комнаты...

...по всем углам расшвырявшего черно-зеленые тома Брокгауза и Ефрона, осколки пробирок, обгорелые клочки изотермических карт и помятый глобус, который я в последнюю минуту успел водрузить на стол рядом с волшебным фонарем.

Все вокруг было залито брызгами азотной кислоты, лишь один я был цел и невредим среди этого хаоса, среди этой Хиросимы, что лишний раз подтвердило мою феноменальную везучесть, свойственную всем мальчикам с двумя макушками.

Ворвавшаяся в комнату с мокрой тряпкой в руке кухарка кое как грубо и решительно усмирила разбушевавшуюся стихию Химии, но когда она попыталась сдернуть со стола знаменитое плюшевое покрывало, залитое вонючей жидкостью, то оказалось, что оно насквозь и целиком сожжено дьявольской кислотой.

Покрывало перестало существовать как таковое. Оно дематериализовалось на наших глазах, как только кухарка прикоснулась к нему своими грубыми, решительными пальцами, оно полезло вдоль и поперек какими-то странными волокнами, а эти волокна, в свою очередь, превращались в еще более странные дымящиеся хлопья, и это исчезновение на наших глазах такого дорогого и любимого предмета домашней роскоши пронзило мою душу поздним раскаянием и таким ужасом, по сравнению с которым внезапное появление на пороге тети с зонтиком, тетрадками под мышкой и с драматическими голубыми глазами на бледном лице было ничто.

— Я так и чувствовала! — прошептала тетя, ломая руки в перчатках, и тетрадки упали на пол, откуда поднимался едкий туман разлитой азотной кислоты, от которого слезились глаза...

Еще, другой взрыв.

Один мальчик принес к нам в класс бутылочку с нефтью. Я никогда еще не видел нефти, хотя много о ней слышал. Эта золотисто-черная, шоколадная жидкость, из которой, как мне было известно, добывалось большое количество разных веществ — керосина, бензина,

мазута, анилина,— крайне меня заинтересовала, и я во что бы то ни стало захотел ее иметь.

Мальчик был добрый и подарил мне бутылочку нефти, тем более что это ему ничего не стоило: его отец плавал старшим механиком на нефтеналивном судне.

Итак, я стал обладателем жидкости, представлявшейся мне редкой и очень драгоценной.

Мне захотелось изучить все ее свойства и самому получить из нее если не бензин или керосин, то хотя бы немного глицерина или в крайнем случае мазута, хотя я и не вполне точно знал, что это за штука мазут.

Придя домой и еще не успев снять шинель, я перелил нефть в пробирку, крепко заткнул пробирку на всякий случай пробкой и стал нагревать на своей лабораторной спиртовой горелке, которая распространяла волнующий запах горящего денатурированного спирта.

Я никогда не уставал восхищаться своей спиртовой лампочкой, ее ватным фителем, опущенным в лиловатую жидкость цвета медузы, ее тугоплавким колпачком, с помощью которого можно было мгновенно погасить лилово-желтое пламя, почти невидимое при дневном свете.

Все было прекрасно и строго научно!

Залюбовавшись горячей лампочкой, я перестал наблюдать за нагревающейся нефтью, и вдруг раздался сильный звук откупориваемой бутылки — громкий выстрел из пистолета, — потрясший всю Отраду. Заряд кипящей нефти вышиб из пробирки пробку, и жирная, золотисто-коричневая струя брызнула в стенку, потекла по обоям и в один миг покрыла три белоснежных, тканевых, так называемых «марсельских» одеяла, которыми застилались наши кровати, темными, вонючими, неистребимыми пятнами нефти, этого вещества, похожего на жидкость, но почему-то называвшегося минералом, как я узнал уже после гибели марсельских одеял...

Плавни.

Как-то в нашей уличной компании ненадолго появился кадетик Жорка Сурин, сообщивший как нечто весьма обыкновенное, что у них в Николаеве на плавнях у рыбаков можно без труда купить речную плоскодонку — так называемый ковш, — конечно, не новую, а уже старую, «отслужившую свой срок», как выразился Жорка Сурин, грубо сколоченную из почерневших от времени досок, за сказочно ничтожные деньги, что-то рубля два или даже полтора.

Как сейчас вижу этого самого Жорку Сурина в его широких казенных штанах, из-под которых снизу выказывались хорошо вычищенные черной ваксой головки сапог, а выше виднелись из-под штанов рыжие их голенища.

Видю очень маленькую ловкую фигурку Жорки в коломянковой, много раз стиранной кадетской косоворотке, круто заправленной на спине в одну косую складку под кожаный пояс с медной бляхой, кадетскую фуражку и синие погоны с натрафареченными толстым слоем потрескавшейся масляной краски буквами «О. К.», что значило Одесский корпус, в котором зимой учился Жорка, а потом на лето уезжал в свой родной Николаев.

Вообще кадеты были нашими исконными врагами; мы их ненавидели, и когда встречали на нашей улице кадета, то кричали ему оскорбительными голосами вдогонку:

— Кадет, на палочку одет! Палочка трещит, кадет пищит.

На что кадет неизменно отвечал:

— А вы, гимназисты, жалкие шпаки. Выходи, сколько вас там, на левую руку!

Жорка Сурин был исключением. Мы его любили. У него всегда в руке был маленький черный мячик без воздуха в середине, литой, резиновый, который чрезвычайно высоко подпрыгивал. Жорка то и дело швырял его об землю, или об стенку, или обо что попало и с поразительной ловкостью хапал его на лету своей обезьяньей ручкой, а когда ему это надоедало, то опускал мячик в глубину бездонного кармана своих казенных шаровар.

Услышав, что в Николаеве на плавнях можно купить лодку за полтора рубля, я сначала не поверил, но Жорка Сурин, сняв фуражку и обнажив белую, как бы плюшевую головку, перекрестился на голубой купол Ботанической церкви и поклялся, что это святая, истинная правда, «пусть меня убьет молния, если вру».

После этого я потерял покой.

С утра до вечера я думал о лодке, которую можно купить за полтора рубля. Быстро возник план поехать в Николаев, купить лодку, сделать мачту, как-нибудь раздобыть парус и, спустившись вниз по Бугу до Черного моря, вернуться в Одессу под парусом, вызвав восторг и удивление жителей Ланжерона, Отрады и Малого Фонтана, причем все это — за полтора рубля!

Соображение, что старый речной ковш не выдержит морского путешествия, нисколько меня не беспокоило, так как можно будет дожидаться штиля и выйти из гирла Буга в открытое море при самом легком — наилегчайшем! — бризе, что часто бывает в июле, а затем осторожно идти вдоль берега, не удаляясь в открытое море.

Самое странное было то, что идея совершить морское путешествие — да еще под парусом! — в ветхой речной посудине, способной передвигаться лишь в плавнях, нисколько не казалась мне бредом, а, наоборот, я был уверен в ее полной осуществимости и заранее ликовал, хотя, конечно, в самой глубине моего сознания шевелился совсем маленький, но очень неприятный червячок сомнения. Впрочем, как всегда, страсть победила рассудок.

Время было самое подходящее: папа и Женька отправились в Крым, для того чтобы совершить там увлекательное путешествие пешком, а я, как человек, имеющий две переэкзаменовки, должен был остаться на все лето в городе и под наблюдением тети готовиться к весьма неприятным осенним испытаниям по латыни и алгебре. Предполагалось, что я должен заниматься не менее пяти-шести часов в сутки, для того чтобы кое-как наверстать все упущенное за зиму.

Я дал клятву заниматься не жалея сил и, разумеется, свято верил в свою клятву.

...наступал жаркий южный июль, время штилей и мягких бризов...

Медлить было нельзя. Все помутилось в моей голове. И вдруг в один прекрасный день я очутился в городе Николаеве, куда приехал зайцем на маленьком пассажирском пароходе вместе с одним мальчиком Юркой, который ходил за мной по пятам как собака, пока не упросил меня взять его в компанию, за что обещался внести свой пай в размере одного рубля, показал мне этот серебряный рубль, вынув его из подкладки гимназической куртки, и побожился со слезами на

лживых глазах, что будет меня признавать за капитана и свято мне подчиняться.

Он так жалобно смотрел на меня, так горячо давал честное, благородное слово, даже немного пустил сопли, влажно зашмыгав носом, что я согласился; отчасти это мне льстило: наконец-то у меня, как у некоторых других взрослых мальчиков, появится свой собственный клеврет, подчиненный, верноподданный, почти рабски преданное мне существо.

Я верил, что он меня обожает, надеется на меня, как на божество, и готов на все, лишь бы доказать мне свою преданность. Он эту преданность доказал, беспрекословно вручив мне свой рубль, вероятно добытый каким-нибудь не вполне корректным способом, о чем я, впрочем, его не расспрашивал. Я присоединил Юркин рубль к своим восьмидесяти копейкам, о происхождении которых старался не думать; таким образом составилась капитал для покупки лодки и ее снаряжения.

Пройдя по пустому провинциальному южному городу в слабой перистой тени молодых белых акаций, в одном из домиков, выбеленных, как деревенская хата, голубоватым мелом — или, как тут говорили, крейдой,— мы без труда нашли Жорку Сурина, который, как был в ситцевой рубахе, босой, повел нас по пыльным улицам к своим знакомым Кирьяковым, жившим, как выразился Жорка, «на самых плавнях».

Глава семьи Кирьяков, акцизный чиновник, сидел в малороссийской рубахе на террасе и набивал гильзы табаком, складывая готовые папиросы в фанерную коробку из-под сигар, и не обратил на нас никакого внимания; затем появился разморенный послеобеденным зноем мальчик в матроске, его сын Геннадий, долговязый подросток моих лет, и, узнав в чём дело, тут же предложил повести нас «на самые плавни» и показать лодку одного рыбака, собиравшегося ее про-давать.

Рыбака мы не застали на месте, но увидели лодку, задвинутую в густые камыши; лодка напоминала длинный черный открытый ящик, на треть полный тяжелой болотной воды, в которой плавал такой же черный дряхлый черпак с короткой ручкой.

Мы откачали воду, и Геннадий, взяв в руки длинный, серый от времени шест, стал возить нас по неподвижным водяным коридорам среди темно-зеленых, очень высоких, сплошных стен еще не поспевшего камыша со светло-зелеными метелками, на которых сидели синеглазые стрекозы.

...в зеркальных коридорах плавней отражалось вечеряющее небо с розовыми, нежными облаками, а по неподвижной воде быстро бегали на своих высоких ножках водяные пауки, оставляя за собой легкие концентрические круги, долго державшиеся на поверхности. Забыв, для чего я сюда приехал, я погрузился в неведомый мне до сих пор мир плавней, и лодка наша плыла, временами раздвигая своими боками сабельно-острые стебли рогозы и заставляя колебаться на поверхности воды овальные листья белых водяных лилий — неньофар,— цветы которых уже закрывались на ночь и покачивались белоснежными шариками с кое-где проступавшей яичной желтизной тычинок. И все это вместе с сумраком, гнездившимся в непроницаемых стенах камыша, вместе с тишиной, болотисто-пресным запахом речной воды, особо острым ароматом рогозы, ила и, может быть, каких-то ночных болотных цветов, источавших тонкую, смертельную отраву, околдовало меня...

Покатавшись вдоволь по плавням, мы задвинули лодку в камыши и вернулись к Кирьяковым, так и не повидав владельца посуды. Пришлось дожидаться следующего дня, но и на следующий день рыба не показался, а где он жил, никто не знал. Таким образом, мы прогостили у Кирьяковых несколько дней, которые сейчас — через шестьдесят лет — представляются мне каким-то упоительным сном, легким, бездумным и в то же время полным неизвестно откуда взявшимся любовным томлением, страстными «поэтическими грезами», потерей ощущения времени, слившегося в какой-то один нескончаемый июльский полдень — жгучий, одуряющий, — внезапно бьющий откуда-то снизу, сбоку, как бы исподтишка зеркальными отражениями плавней.

Сонная одурь охватила мою душу, лишила меня воли, я забыл обо всем на свете и наслаждался простым, бессмысленным счастьем своего существования на земле, как, вероятно, наслаждались своим коротким бытием роскошные бабочки «адмиралы», синеглазые четверокрылые стрекозы, уцепившиеся лапками за лист камыша и загибающие свой вялый коленчатый хвост, как бы сделанный из бирюзового бисера, или же как уж, извилисто скользящий в почти горячей неподвижной воде, в глубине которой дымчатыми облачками вставал ил, потревоженный какой-нибудь подводной тварью, так же бессмысленно наслаждающейся жизнью, как и я.

...это было нечто вроде приятного и продолжительного теплового удара, лишившего меня понимания — кто я? зачем я? где я?..

Семейство Кирьяковых смотрело на пребывание в их доме двух неизвестно откуда взявшихся мальчиков с терпеливой деликатностью, и лишь однажды мадам Кирьякова спросила как бы невзначай утомленным голосом:

— А ваши родители знают, где вы пропадаете?

На что Юрка не мигнув глазом соврал, что наши родители ничего не имеют против нашей поездки в Николаев, даже, напротив, очень рады, что мы расширим свой кругозор, посетив такой знаменитый новороссийский город, известный своими корабельными верфями и многим другим.

Не без чувства неловкости садились мы вместе со всей семьей Кирьяковых за завтрак, обед и ужин, предварительно долго отказываясь и клянясь всеми святыми, что мы совершенно сыты, что не мешало нам за обедом наворачивать вкусный борщ и голубцы в сметане, которые замечательно готовила мадам Кирьякова с помощью своей дочки, маленькой скучной девочки с бесцветными льняными волосами, подобранными круглой целлулоидной гребенкой из числа тех, какие носили воспитанницы епархиальных училищ и сиротских приютов. Эта девочка была хоть и недурна собой, но так скромна, молчалива, незаметна, а главное скучна, что я даже не обратил на нее внимания, и в моей памяти она так и осталась девочкой без имени, в ситцевом платье, имевшей привычку почесывать одну пыльную босую ножку другой пыльной босой ножкой.

Она осталась в памяти, как те болотные пыльно-голубые цветы, во множестве растущие возле камышей, названия которых я не знал, а про себя называл «голубоглазые-болотные», так скромно украшавшие природу здешнего раскаленного полудня!

Мы ложились спать на террасе и сквозь листья дикого винограда видели бледное звездное небо, изнемогающее от зноя, не проходив-

шего даже ночью и лишь немного смягчающегося перед рассветом, когда вдруг, зашумев камышами, из плавней прилетал ветерок, уже не ночной, но еще и не утренний, а какой-то нездешний, звездный...

...предрассветный...

На террасу выходило одно из окон дома, из комнаты, где семья Кирьяковых выкармливала шелковичных червей. Мы слышали их неутомимое шевеление в ситах, куда для них клали свежие листья шелковицы, которыми они питались. Там же — в этой пустой белой комнате — хранились уже готовые коконы, мертвые, ошпаренные кипятком. Кирьяковы продавали эти коконы на шелкомотальную фабрику, что было для семьи известным приработком, так же как набивка папирос, чем занимался — как мы уже заметили — в свободное от службы время глава семьи, сам не курящий, по заказу табачного магазина. Семья водила птицу и свиней; по двору, испятнанному раздавленной кроваво-красной шелковицей, бегали цесарки, индюшки. Имелись две коровы. Словом, семья была на редкость трудолюбивая, и мы с Юркой чувствовали себя бездельниками и дармоедами.

Однако это не мешало нам наслаждаться упоительными июльскими днями в этом глухом уголке необъятной Российской империи, уголке ни на что не похожем, как будто бы мы заехали в совсем незнакомую страну, в дельту какой-то сказочной реки, страну с аистами на крышах и белыми лилиями, сплошь покрывавшими стоячую воду плавней, где во тьме у самых корней камыша росли рогатые водяные орешки, похожие на маленьких пузатых чертенят, и куда уходили скользкие и прочные плети лилий, качающихся наверху, на своих овальных листьях, сплошь покрывавших поверхность воды, напоминающая плавающие палитры с густо выдавленными на них толстыми звездами белил и хрома, почти обесцвеченных подымавшимися горячими испарениями болотной воды.

...это было задолго до того, когда я впервые увидел «ненюфары» Клода Монэ в Лондоне...

С утра до вечера мы плавали в своем корыте среди камышей, таких высоких, что небо над протоками плавней виднелось лишь как узкая бледно-синяя щель с редкими белоснежными июльскими облаками. Мы раздевались и, раздевшись, плавали вокруг нашего черного ковша в теплой, почти горячей воде, рвали лилии, ныряли на дно, где дымился потревоженный ил, и всюду нас окружала таинственная жизнь болотного мира:

...почему-то вызывали отвращение жуки-плавунцы. У них было всего две лапки; казалось, что остальные лапки у них оторвали и они превратились в калек. Они гребли этими двумя лапками как веслами, были очень неприятного черного цвета и при каждом прикосновении выпускали какую-то белую вонючую жидкость, от которой склеивались пальцы, и потом их трудно было отмыть, уничтожить тошнотворный запах жука-плавунца...

Быстрые водяные змейки... жирненькие каплеобразные запятые головастиков; в них уже намечалось, просвечивало нечто лягушечье: глаз? щечка?... Мальки... какие-то болотные ракушки, открывающие и закрывающие свои створки... Черви...

Отталкиваясь от илистого дна шестом, мы заезжали в такие глухие места, окруженные со всех сторон непроходимой стеной камыша, что делалось жутко, и этот страх, этот ужас уединения, отрешен-

ности от всего человеческого доставляли мне какое-то горькое блаженство неразделенной любви или, во всяком случае, предчувствие ее. Хотелось писать стихи о плавнях, о камышах и о белой лилии, «грезящей счастьем, мечтавшей о нем, страстно считая минуты, летящие вместе с пленительно-огненным днем», и прочей чепухе.

Вдруг однажды появился владелец лодки, дряхлый босой старик с седыми, белоснежными бакенбардами, как я потом узнал, сева­стопольский герой, бывший военный моряк, своими глазами видевший легендарного Нахимова и знаменитого матроса Кошку, а может быть, и молодого артиллерийского офицера Льва Толстого. На нем была старинная матросская бескозырка. Его привел Жорка Сурин.

— Вот они хотят приобрести вашу лодку.

Старичок посмотрел на нас из-под мохнатых бровей бирюзовыми глазами и спросил:

— А сколько дадите?

— Вместе с шестом и черпаком рубль сорок, — с трудом выговорил я, опасаясь, что старичок обидится и начнет драться.

Но сева­стопольский герой радостно согласился.

Мы отдали ему Юркин рубль и два моих двугривенных, и старик, вынув из-за ворота рубахи медный крест на тряпочке, спрятал деньги в холщовый мешочек, висящий рядом с крестом. С достоинством пожав нам руки своей твердой, как будто бы вырезанной из коры рукою, он удалился, дымя маленькой, прокуренной до черноты флотской трубочкой, окованной медным кольцом.

Дальнейшее произошло так быстро и просто, что, собственно говоря, и рассказывать нечего.

...мы приспособили шест в виде мачты, стащили во дворе Кирьяковых с веревки выстиранную, еще сырую скатерть, повешенную сушиться, наскоро привязали ее к мачте и, гребя руками, с большим трудом вывели свой ковш из камышей на чистую воду реки Буга, кажется там, где она сливается с рекой Ингулом. До моря было еще далеко, его даже отсюда не было видно, но едва мы выехали из затишья камышей, как легкий порыв нежного, теплого ветра сразу же перевернул наш корабль, и мы, стоя по горло в воде, видели, как он затонул вместе со скатертью, шестом и черпаком и течение унесло его в недостижимую даль.

Мы вернулись вымокшие с ног до головы. Плети лилий висели на нас, как на утопленниках. Наши ноги были порезаны рогозой. Юрка плелся за мной, пуская изо рта пузыри, а из носа сопли, шепотом меня проклинал и все время канючил, повторяя голосом грызуна, чтобы я отдал ему его рубль или, по крайней мере, полтинник.

Я дал ему по шее, и он замолчал, но затаил на меня злобу.

Семейство Кирьяковых встретило нас в полном составе, строгое, молчаливое, огорченное гибелью скатерти. Вечером сам Кирьяков надел свою форменную фуражку и лично отвел нас на пристань, купил нам палубные билеты, вручил фунт вкусной копченой колбасы и две франзоли, чтобы мы по дороге не сдохли от голода, собственноручно отдал наши билеты третьему помощнику и проследил за тем, как мы поднимались по трапу на пароход. До отхода оставалось еще минут двадцать, и все это время Кирьяков стоял в своей акцизной форме на пристани и следил за тем, чтобы мы не улизнули. Наконец пароход отдал концы и тронулся, и мы еще долго видели на пристани на фоне бледно-зеленого, уже почти ночного неба с одинокой звездочкой и не-

сколькими электрическими звездами портовых фонарей неподвижную фигуру Кирьякова.

Мы издали помахали ему колбасой, но он не ответил.

Я думаю, он вернулся домой, лишь вполне убедившись, что пароход вышел в открытое море.

Я долго не мог заснуть, удрученный гибелью еще одной своей мечты. Наконец сон сморил меня возле машинного отделения, откуда шел приятный горячий воздух, насыщенный запахом стали и масла

...на рассвете началась мертвая зыбь...

Я почувствовал приближение морской болезни. Я выбрался на пустой спардек и лег на холодную решетчатую скамейку. Хотя море на вид казалось совершенно неподвижным, но на самом деле его очень пологие, блестящие при свете начинающейся утренней зари светло-зеленые волны незаметно и широко раскачивали, кладя с борта на борт, утлый пароходик, и было такое впечатление, будто моя скамейка превратилась в качели и глубоко уходила из-под меня, а потом опять возносила мое тело вверх, и холодное зарево восходящего солнца освещало как бы неподвижную водяную пустыню цвета бутылочного стекла. На миг я забывался коротким мучительным сном, в котором было что-то тягостно-любовное, томящее все мое как бы вдруг возмужавшее тело. Я трогал пальцами свои соски: один из них странно вспух и побаливал, и возле него из моего смуглого мальчишеского тела вырос толстый волос, упругий, блестящий, черный. Я почувствовал приступ тошноты, но не от качки, которую я всегда переносил довольно хорошо, а от чего-то другого, как будто бы напился теплой болотной воды, пахнувшей жуками-плавунцами, их липкими молочнобелыми выделениями.

Солнце поднималось из-за горизонта, море, изменив свой цвет, становилось все ярче, как будто бы это была не вода, а расплавленный аквамарин.

...я увидел амфитеатр нашего города...

К этому амфитеатру на всех парах мчался наш пароходик, оставляя за кормой кружевную полосу. Холодный заревой ветер посвистывал в мачтах. Меня бил озноб. Зубы стучали. Кое-как я сошел на пристань, дав еще раз на прощание своему спутнику по шее, как будто он был во всем виноват, и затем поплелся по утреннему, пустынному, еще не проснувшемуся городу домой, где застал папу и Женьку, вчера вернувшихся из Крыма.

У меня обнаружился брюшной тиф.

Бегство в Аккерман.

Мы заплатили каждый по гривеннику и на маленьком паровом катере «Дружок» переправились через Днестровский лиман в город Аккерман. Уже сама по себе поездка на «Дружке» через лиман, достигавший здесь в ширину верст десять, была так прекрасна, что вполне вознаградила за все лишения и усталость, испытанные нами во время хождения пешком из Одессы в Овидиополь, скорее напоминавший деревню, нескладно разбросанную по длинному спуску к лиману, чем уездный город.

Мы устроились на полукруглой скамье на корме катера, так глубоко сидевшего в воде, что поверхность лимана простиралась как бы

поверх наших голов, и лишь став ногами на скамью и положив подбородки на борт, мы могли любоваться движущейся массой глинисто-мутной речной воды, рябившей маленькими меловыми волнами.

Сильный ветер широко дул вдоль лимана, и мое тело покрылось гусиной кожей. Но стоило лишь спуститься ниже борта, как охватывало приятное тепло пыхтящей паровой машины со всеми ее запахами — кипятка, смазочного масла, натертой стали, масляной краски. Все это приводило нас в восхищение.

Медный свисток слегка шипел от напиравшего пара, и мы с нетерпением ждали момента, когда капитан катера, он же и механик, потянет за проволоку, давая гудок встречному катеру под названием «Стрелка», который шел навстречу нам из Аккермана в Овидиополь.

...встреча этих двух судов посередине лимана была одной из главных прелестей путешествия. Оба капитана одновременно в знак приветствия приспускали флаги на своих комически маленьких, коротеньких мачтах с шишкой наверху, а затем тянули за проволоку, называвшуюся у нас «дрот», и вместе с паром из медных свистков вырывался на простор густой, сиплый бас почти пароходного гудка, и оба катера проходили друг мимо друга в щегольской, опасной близости, обдавая друг друга серой речной пеной...

Ради одного этого стоило удрать из дому!

Тем временем вдалеке все яснее и яснее, как переводная картинка, выступали очертания старинной турецкой крепости с ее круглыми и гранеными башнями, как бы висящими над серым обрывом того, дальнего берега.

Прибыв в Аккерман незадолго до заката, мы вылезли из катера и пошли, ступая по прибрежной полосе, состоящей из сырого ила и толстого слоя камышовых щепок, упруго пружинивших под ногами, сомлевшими от неудобного сидения на жесткой скамейке катера.

План наш был таков: переночевать в крепости и незадолго до рассвета пробраться на один из дубков, стоящих у грузовой пристани, спрятаться в трюме и вылезти оттуда, когда дубок, дождавшись утреннего бриза, окажется уже в открытом море по пути в Одессу, а если повезет — то и в Константинополе.

Не выберет же нас штурман в море, не станет же он приставать к берегу, чтобы нас высадить. Самое большее — надерет уши. Впрочем, мы знали, что черноморские торговые моряки хотя народ на вид и суровый, но в глубине души добрый. Таким образом мы рассчитывали совершить замечательное морское путешествие на корабле под парусами, повидать людей и себя показать, что всегда было нашей мечтой.

Обходя грузовую пристань, мы по некоторым признакам поняли, что дубок «Святой Николай» с большими мачтами и совсем маленьким рулевым колесом возле штурманской будочки готов к выходу в море, как только начнется утренний ветер: «Святой Николай» стоял принайтовленный к деревянному пирсу и трап его не был убран. Но даже если его на ночь и уберут, мы сможем пробраться на корабль по толстому швартовому канату.

Еще засветло мы забрались в крепость и стали ходить по ее внутренним дворам, поросшим белой душистой полынью. Мы опускались по разрушенным лестницам в какие-то подвалы, наверное пороховые погреба, где некогда турки хранили свои заряды и ядра. Мы не без труда по обвалившимся лестницам взбирались на хорошо сохранившиеся башни и смотрели в узкие бойницы, проделанные в стенах саженной толщины.

Вблизи крепость оказалась еще более громадной, чем когда мы смотрели на нее издали: целый город, состоящий из пустынных дворов, узких переходов, подземных камер с вделанными в стены ржавыми кольцами и обрывками железных цепей, одноэтажных крепостных казарм для гарнизона и каких-то прочих служб. Кое-где в бурьяне валялись чугунные туши старинных пушек и несколько ядер, на вид маленьких, но таких тяжелых, что их с трудом можно было поднять обеими руками. В одном из глухих дворов, особенно мрачном, заросшем бурьяном, пустынным, мы увидели полусгнившую деревянную виселицу с кольцом в верхней почерневшей балке.

...уже стемнело, и на небе блестела белая летняя луна...

Нам стало страшно. Какие-то черные ночные птицы с криками летали на фоне серебряного неба, и кусты полыни казались тоже отлитыми из серебра, и вокруг сильно пахло желтой ромашкой, и зубчатые тени башен неровно лежали на серебре полыни как выкройки черного колена. Вокруг всей крепости тянулся заросший дерезой и болиголовом ров, из глубины которого иногда долетал шорох какой-то ночной твари, может быть даже гадюки, а наверху, на башнях, время от времени слышался крик совы.

Юрка стоял за моей спиной, хныкал и все время повторял, что лучше, чем ночевать здесь, пойти в Аккерман и просидеть до утра на скамейке в городском саду против гостиницы Гассерта, а еще лучше было бы вовсе не совершать этого путешествия.

Я сам умирал от страха и тоже был бы не прочь похныкать. Но желание командовать Юркой и проявлять железную волю заставило меня процедить сквозь зубы:

— Жалкий трус. Напрасно я с тобой связался. Если хочешь, можешь идти сам в город и ночевать где хочешь, хоть в полицейском участке. А я остаюсь здесь. И не мечтай, что я отдам твои тридцать копеек из нашей общей кассы. Подыхай с голоду.

Это было первое наше путешествие с Юркой, года за три до знаменитой поездки в Николаев.

Юрка поклялся страшной клятвой, что больше никогда не отправится со мной путешествовать, а я поклялся, что никогда его больше не возьму с собой, и оба мы — как видите — соврали.

В конце концов Юрка смирился, покаялся, и мы устроились на ночлег в густой полыни под виселицей — на чем настоял я, для того чтобы мы могли еще больше закалить свой характер. Ночь прошла тревожно. Мы почти не спали от холода и страха, прислушиваясь к зловещим звукам, раздававшимся вокруг нас среди яркой лунной ночи, испещренной черными тенями. Перед рассветом выпала роса; мы вымокли до нитки. Звезды еще не исчезли с побледневшего неба, когда мы решили перебраться на борт «Святого Николая». На наше счастье, пристань была пуста и сходни не убраны. Затаив дыхание мы прошли по узкой доске, прокрались на корму, залезли под какой-то брезент и прижались друг к другу, чтобы как-нибудь согреться.

Небо уже стало заметно белеть, когда послышался густой кашель — судя по звуку, кашлял бородатый человек, — и на мокрой от росы палубе появился пожилой дядька в подштанниках и суровой холщовой рубахе. Зевая и крестя рот, дядька подошел к борту, и мы услышали звук струи, падавшей дугой через борт прямо в воду ли-

мана. Помочившись, дядька снова зевнул, перекрестился, немного покряхтел и посмотрел туда, где на краю неба начинала обозначаться заря. Он попробовал рукой направление ветра, остался недоволен и потихонечку, по-стариковски выругался по матери.

Юрка не сдержался и, закрыв себе рот ладонями, еле слышно хихикнул. Я ткнул его в бок локтем и шепотом приказал ему замолчать. Но было уже поздно. Старик услышал нашу возню и приподнял край брезента.

— А ну, что это за злыдни забрались на мой дубок? — сказал он сердито.

— Дяденька, — жалобно захныкал Юрка.

— Я тебе дам такого дяденьку, что ты у меня быстро очутишься в участке. Тоже мне нашлись жулики лазить по чужим дубкам. Что вы тут не видели?

При свете занимающегося дня он рассмотрел нас, с удивлением увидев, что мы — два маленьких десятилетних гимназиста.

— А еще гимназисты! — с укоризной сказал он. — Чему вас там, в вашей гимназии, учат только!

— Дяденька, — сказал Юрка, — мы хотели, чтобы вы нас взяли с собой на вашем дубке до Одессы. Там нас ждут родители и очень беспокоятся, а у нас нет денег на проезд на пароходе.

— Возьмите нас, дяденька, — сказал я гнусно-подхалимским голосом.

— Я бы вас, конечно, взял, — сказал хозяин дубка, подумав. — отчего не взять? Да мой дубок снимается сейчас не в Одессу, а до Голой Пристани за кавунами, а уже оттуда — если даст бог ветер — зайдем в Одессу, да и то не наве́рняка.

Он осмотрел нас доброжелательно, маленьких, мокрых от росы, дрожащих, и сказал:

— Чего ж вы, гимназисты, мерзнете тут под брезентом. Прогреть вас до меня в каюту, там будет теплее.

Мы пошли следом за стариком и очутились в маленькой, совсем крошечной каютке, сплошь обклеенной изнутри, как солдатский сундук, разными картинками, кусками обоев, старыми стенными календарями, газетами и дамскими выкройками из «Нивы». В углу над деревянной койкой, застланной лоскутным одеялом, с зеленым сундучком в головах виднелся большой темный образ святого Николая Мирликийского, покровителя моряков, — с седой бородой, коричневой лысиной и строгими глазами. Перед иконой горела маленькая синяя лампадка.

— Сядьте, — сказал старик, подвинув нам две обыкновенные кухонные табуретки, а сам, кряхтя, уселся на свою койку.

— Так что вам не имеет смысла идти со мной до Голой Пристани, а лучше вы наведаетесь до старшего помощника парохода «Васильев», может, он поверит вам до Одессы в долг, а до старшего помощника парохода «Тургенев» лучше не суйтесь; он известная на все Черноморское пароходство собака. Но у меня до вас, господа гимназисты, есть одна покорная просьба, как бы сказать — прошение. Как вы есть люди просвещенные, грамотные, имеете в Одессе приличные знакомства, то сделайте для меня доброе дело, похлопочите в управлении торгового порта, чтобы мне выправили диплом штурмана на право капитанского вождения дубков и других малых парусников, а то, верите, я прямо-таки совсем прогораю: приходится держать специального штурмана, а он для меня все равно что пятое колесо. Сколько раз я уже обращался в управление Одесского порта, три раза сдавал экзамен, плаваю в море сорок один год, а бумагу на штурмана мне не дают. Вот вы, молодые люди, гимназисты, образованные, ответьте мне:

где тут справедливость? И есть ли она в нашей империи? Пять раз я подавал заявление, и пять раз мне заворачивали его обратно.

— А экзамены сдавали хорошо? — строго спросил я, принимая несколько начальственный вид.

— Сдавал на «отлично», — ответил хозяин «Святого Николая» и вытер туго согнутым указательным пальцем слезу.

— Тогда это безобразие! — воскликнул я в сильнейшем негодовании.

— Настоящее безобразие, — подтвердил старик. — Я уже два раза писарям хабара давал — и ничего! Не дают бумагу. Так я вот что вас прошу, молодые люди: у вас, верно, там, в Одессе, есть какие-нибудь знакомые в портовом управлении, может, ваши товарищи, гимназисты, дети какого-нибудь портового начальника. Сделайте для меня это дело — буду за вас каждый день молиться святому угоднику Николаю, чтобы он вам послал в жизни счастье.

Старик вынул из сундучка написанное писарским почерком прошение.

— Шестое прошение подаю, — сказал он, пожевав свои седые усы. — Помогите старику. Найдите за ради бога ход к портовому начальству, потому что без хода я так и пропаду!

Я вспомнил, что у нас в гимназии учится сын начальника порта, и выразил уверенность, что мне удастся помочь старику.

— Бог вас наградит, — со слезами на глазах сказал старик и вручил мне прошение. — Передайте в собственные руки. Мое фамилие Бондарчук, меня в портовом управлении каждая крыса знает. Христом прошу.

На прощание мы с Юркой обнадежили старика.

— Сделаете дело, я вам тройка не пожалею, — шепнула с таинственным видом Бондарчук.

— Как вам не стыдно! — сказал я с жаром. — Мы вам и так сделаем, потому что с вами поступили несправедливо. А ваших трех рублей нам не надо.

— И дурак, — голосом грызуна сказал за моей спиной Юрка, но я двинул его локтем, и он прикусил язык.

Уже взошло горячее солнце. Экипаж «Святого Николая» — три человека, спавшие в разных местах на палубе, проснулись и, зевая, стали готовиться к выходу из Днестровского лимана в море: начинался утренний бриз.

Мы попрощались с Бондарчуком и провели прелестный день в Аккермане: купили на базаре несколько саек, две тараньки, маленькую ароматную дыньку канталупку и спустились в винный погребок, еще пустой и прохладный в этот ранний час. Мы устроились за столиком, покрытым клеенкой, и на последние шесть копеек купили немного кислого бессарабского вина, сильно разбавили его водой и отлично позавтракали, налив остатки разбавленного вина в свою походную фляжку.

Целый день мы шатались по малоинтересному, пыльному, скучному Аккерману, по его городскому саду, где на почти выгоревших от зноя газонах в виде украшения были расставлены маленькие фаянсовые гномы в красных колпаках и вокруг них цвели кустики ночной красавицы.

От нечего делать мы с Юркой поссорились на всю жизнь, в знак чего показали друг другу большие пальцы, и я поклялся больше с ним не водиться и никогда не брать его в компанию. Отвернувшись друг от друга, мы спустились в порт, где дымил пароход «Васильев», гото-

вый к отплытию в Одессу. Уже в воздухе пробасил третий гудок, состоящий из одного очень длинного и после него трех совсем коротких, резко обрубленных гудков. Мы поднялись по сходням и, жалобно повесив головы, остановились перед старшим помощником, тут же у трапа продававшим билеты.

— А ну, габёлки, давайте деньги или марш с парохода обратно на пристань.

— Дяденька,— сказал Юрка, вытирая слезы,— мы потеряли деньги, а дома в Одессе нас ждут больные престарелые родители и ужасно беспокоятся. Поверьте нам в долг!

Старший помощник осмотрел нас с ног до головы — маленьких, стриженных, с блудливыми глазами — и потребовал предъявить гимназические билеты. Пришлось их предъявить, и старший помощник прочел вслух первый параграф наших правил: «Дорожа своей честью, гимназист не может не дорожить честью своего учебного заведения». Старшему помощнику стало скучно, и он сказал:

— Хорошо. Пусть будет так, можете ехать на нижней палубе, только чтобы у меня не лазить в машинное отделение, на пол не плевать и вести себя скромно. Но имейте в виду: я вас везу не даром, а в долг. В Одессе вернете пароходству тридцать копеек.

...Пароход «Васильев» конкурировал с «Тургеневым», и конкуренция между этими двумя пароходами — белым и черным — дошла до того, что билет от Аккермана до Одессы уже стоил только пятнадцать копеек, или, как у нас говорили, «злот»...

Мы горячо поблагодарили помощника и дали ему честное благодарное слово вернуть деньги, в знак чего за неимением поблизости церкви перекрестились на старую турецкую крепость. Скоро «Васильев» отдал концы, и началось наше возвращение в родной город хоть и не под парусами, но все же на бойком белом пароходике, который хлопотливо взбивал красными плицами на редкость тихое, прозрачное и красивое Черное море, и мы чувствовали себя во всех отношениях молодцами.

Хорошее настроение немного портил старший помощник; время от времени он подходил к нам и, зловеще нахмурившись, напоминал, чтобы мы по приходе в Одессу не забыли ему отдать тридцать копеек.

...мы обогнали двухмачтовый дубок «Святой Николай», который со своими старыми, темными парусами, надутыми ветром, неторопливо пенил красивые черноморские волны. На корме возле крошечного рулевого колеса сидел на табуретке в рубахе с раскрытым воротом старик Бонарчук и, по-видимому, горестно размышлял о той страшной несправедливости, которую с ним учинили злые люди в управлении Одесского порта. Я помахал ему фуражкой, но он не заметил, и вскоре наш бойкий пароходик, обставив неуклюжий дубок, обогнул белоснежный портовый маяк с медным колоколом, и мы вошли в Одесскую гавань, где в зеркале акватория уже отражался теплый, летний закат...

Не дожидаясь пока два босых матроса подадут с берега сходни, мы с Юркой прямо с кожуха колеса прыгнули на каменную набережную и, слыша за собой скрипучий голос старшего помощника, кричавшего нам вслед: «Эй, мальчики, смотрите не забудьте вернуть за билеты!» — поспешили в город, уже озаренный огнями фонарей и витрин, такой богатый, уютный, красивый, шумный, наш до-

рогой город с извозчиками, каретами, велосипедистами, трескучими гранитными мостовыми, открытыми окнами домов, откуда из-за кружевной зелени акаций с черными рожками семян слышались звуки роялей, скрипок и страстных голосов, певших итальянские романсы, может быть даже «Рассвет» Леонкавалло, всегда вызывавший в моей душе необъяснимый порыв восторженной влюбленности, а в кого — неизвестно.

Видя афишные тумбы, слыша звонки конок, я погружался в очарование города, и мне уже казалось странным, что я куда-то бежал, зачем-то ночевал под виселицей в серебряной пыли, посреди старинной турецкой крепости, сидел, скрючившись, под брезентом на дубке «Святой Николай», а потом беседовал в тесной каюте со старым моряком, выслушивая его жалобы на человеческую несправедливость, и так далее.

Разумеется, помощника с «Васильева» мы надули и денег ему не принесли, считая, что пароходство от этого не обеднеет, да и денег не было.

...что же касается старика Бондарчука, то я свое слово сдержал: пошел к товарищу, отец которого был начальником торгового порта, и товарищ повел меня в управление к своему отцу, в громадный кабинет, выходящий окнами на шумный Одесский порт, на эстакаду, по которой катились красные товарные вагоны с бессарабской пшеницей.

Отец товарища оказался добрым коренастым человеком в форменной тужурке, даже, кажется, с погончиками, с орденом на шее, с крепкой серебряной головой, постриженной ежиком. Он толкнул меня в глубокое, очень удобное кожаное кресло, и я, утопая в нем, произнес горячую речь о несправедливостях, творящихся в управлении портом, и о безобразном случае со старым опытным шкипером, хозяином дубка, который сорок лет проплавал на паруснике, а ему не хотят выдать штурманское свидетельство, необходимое ему до зарезу.

Начальник порта слушал меня внимательно и даже сочувственно, но вдруг его лицо изменилось, по губам, под усами проползла странная улыбка — не то насмешливая, не то горькая, — и он сказал:

— Погодите-ка, молодой человек. Кажется, я вас понял. Дело идет о хозяине дубка «Святой Николай» Бондарчуке? Не так ли? Мы его хорошо знаем. Вы совершенно правы — это прекрасный, опытный моряк-парусник, его дубок приписан к Одесскому порту, но — поймите! — мы просто не имеем права выдать ему свидетельство, так как это строжайшим образом запрещено законом. Не можем же мы идти против закона. За это, знаете ли, можно и под суд угодить.

— Но почему же? Почему? — воскликнул я из глубины кресла.

— Потому что, к сожалению, он дальтоник, — печально сказал начальник порта. — Разве он вам об этом не говорил?

— Нет, не говорил.

— Ну вот видите. Старик никак не может примириться с этой мыслью.

Заметив по выражению моего лица, что я не совсем представляю себе, что такое дальтоник, начальник порта разъяснил мне сущность дальтонизма: неспособность человека, дальтоника, отличать один цвет от другого.

— Подумайте, как же мы можем выдать штурманское свидетельство человеку, который не отличает красного цвета от зеленого, то есть, по существу, красного сигнального огня от зеленого! Ведь

в море это дело нешуточное, тут дело пахнет катастрофой, можно потопить корабль, погубить сотни людей.

— Он мне не сказал, что он дальтоник, — пролепетал я.

— Он, — продолжал начальник порта, — хотя и старый, хороший моряк и душа человек, но непроходимая темнота: не верит в дальтонизм. Он искренне считает, что это все выдумали врачи, чтобы сорвать с человека хабара.

Признаться, я сам впервые узнал о существовании дальтонизма.

— А как же дальтоники видят?

— Видят так же, как и мы, но только не различают цветов. Так что, мой молодой друг, к величайшему сожалению, ничего не могу сделать для вашего протеза.

В этот день я долго думал о старом Бондарчуке, о его печальной участи:

...смотреть на мир и не видеть красок!..

Не знать, что волны сине-зеленые, что солнце на закате и на восходе красное, и видеть все вокруг каким-то бесцветным, однотонным, окрашенным лишь одними оттенками серого и черного. Впоследствии я узнал, что именно таким представляется мир собакам. И ложась спать, я горячо, со слезами на глазах благодарил бога, в которого я еще тогда верил со всем жаром своей младенческой души, за то, что он дал мне счастье не быть дальтоником и видеть мир во всем богатстве его красок.

Модель Блерио.

Как вспомнишь теперь то легкомыслие, ту внезапность, неожиданность для самого себя, с которой в голове моей вдруг, ни с того ни с сего, рождались самые неожиданные идеи, требующие немедленного претворения в жизнь, то не можешь не улыбнуться, а отчасти даже пожалеть, что уже нет в тебе той дьявольской энергии, той былой потребности немедленного действия, пусть даже подчас и весьма глупого, но все же действительного!

Например, история с моделью Блерио.

Почему меня вдруг осенила идея сделать модель аэроплана Блерио? Еще за минуту я даже не думал об этом. И вдруг как молния ударила! И при ее вспышке я во всех подробностях увидел предстную модель знаменитого моноплана, недавно перелетевшего через Ла-Манш. Причем эта модель каким-то образом была сделана моими руками.

Впрочем, тут же я понял, что делать одному модель Блерио будет скучно, а надо непременно найти себе помощника, и тут же мне почему-то представилось, что лучше Женьки — не моего брата, а другого Женьки, реалиста по прозвищу Дубастый — мне товарища не найти. И сейчас же как по мановению волшебной палочки на лице появилась фигура Женьки Дубастого, печально возвращавшегося из своего реального училища, где он схватил две двойки и был к тому же оставлен на час после уроков.

С горящими глазами я ринулся к Дубастому и, еще не добежав до него десять шагов, крикнул на всю Отраду:

— Давай сделаем модель Блерио!

— Давай! — ответил он с восторгом, хотя до этого момента ему никогда в жизни еще не приходила мысль сделать какую-нибудь модель.

Немного поразмыслив и остыв после первого восторга, Женька спросил:

— А зачем?

— Продадим на выставку в павильон воздухоплавания,— немедленно ответил я, сам удивляясь, откуда у меня взялась эта мысль.

— А нас туда пустят без билетов? — живо спросил Женька.

— Конечно, пустят, раз мы покажем модель.

— А где мы возьмем модель? — спросил Женька.

— Чудак! — воскликнул я.— Сделаем.

— Сами?

— Сами.

— А с моделью пустят?

— Безусловно!

— Тогда давай.

— Давай ты будешь делать крылья, а я колеса.

— Идет!

Мы тут же — не теряя времени — побежали в подвал дома Женьки Дубастого и быстро нашли там множество всякой всячины, необходимой для постройки модели: молоток, гвозди, моток шпагата, банку клейстера, проволоку, на которой в царские дни развешивались вдоль дома иллюминационные фонарики, обрезки каких-то досок, пилу, куски коленкора, национальные флаги, вывешивавшиеся у ворот по праздникам (они были необходимы для покрытия «несущей поверхности» нашего моноплана), и в числе прочего тубик универсального клея «синдетикон», весьма популярного в то далекое-предалекое время.

...«синдетикон» действительно намертво склеивал самые различные материалы, но в особенности от него склеивались пальцы, которые потом очень трудно было разлепить. Этот густой, вонючий, янтарно-желтый клей имел способность тянуться бесконечно тонкими, бесконечно длинными волосяными нитями, налипавшими на одежду, на мебель, на стены, так что неаккуратное, поспешное употребление этого универсального клея всегда сопровождалось массой неприятностей...

Разумеется, у нас не было никаких чертежей и планов, а мы просто сколачивали модель Блерио большими гвоздями (за неимением маленьких гвоздиков) из наскоро нарезанных щепок. Мы прикручивали к его фюзеляжу крылья, сделанные из проволоки и обклеенные белым коленкором (хотелось бы желтым, но его под рукой не оказалось!), причем все это тяжелое, неуклюжее сооружение было опутано вонючими нитями «синдетикона», прилипавшими к пальцам и мешавшими работать.

С большим трудом, хотя довольно быстро — за два дня,— мы построили модель. Не хватало лишь колес. Недолго думая мы содрали колеса с игрушечной коляски младшей сестренки Дубастого Люси и приклеили их внизу передней рамы фюзеляжа. Пропеллер мы вырезали столовым ножом из сосновой щепки и намертво приклеили его впереди с помощью все того же универсального «синдетикона».

Мы были восхищены красотой своей модели, казавшейся нам поразительно изящной, в то время как это было чудовищным надругательством над самой идеей летательного аппарата, не говоря уже о неестественных пропорциях. Модель получилась грубой, топорной работы. Единственное, что сближало наше изделие с аэропланом, было то, что он с полным правом мог называться «тяжелее воздуха». Этим свойством своей модели мы очень гордились.

С трудом дождавшись девяти часов утра, мы с крайними предосторожностями, чтобы не поломать, взяли модель за фюзеляж, который сразу же слегка покривился, и отправились на выставку.

По дороге нас удивило, что прохожие не очень обращают внимание на модель, которая — по нашим представлениям — должна была вызывать общее восхищение. Даже уличные мальчишки с моноворыбной, так называемые «новорыбники», игравшие возле стены одного из домов в швайку, не перестали играть, а лишь довольно равнодушно посмотрели на модель Блерио, не сделав никаких замечаний. Я думаю, они даже не вполне поняли, что это за вещь, которую мы держим в руках.

Нечего и говорить, что мы пришли по крайней мере за час до открытия выставки и долго томились возле турникета, поправляя модель, немного деформировавшуюся во время пути, и внося некоторые незначительные изменения в конструкцию моноплана: например, мы более круто изогнули заднюю плоскость и заметно округлили руль.

Рассматривая модель при беспощадном утреннем солнце, мы пожалели, что не смогли вставить в фюзеляж резинку, чтобы пропеллер мог крутиться. Резинка стоила страшно дорого. Ладно, пусть пропеллер не будет вращаться, ведь модель-то не летающая! Конечно, не мешало бы также покрыть поверхность крыльев специальным лаком. Да где его возьмешь?

Наконец появился выставочный сторож в особой выставочной форме, а затем и кассирша — нарядная дама в громадной шляпе со страусовыми перьями и в кружевных митенках с отрезанными пальцами.

Мы бодро двинулись ко входу, стараясь как можно осторожнее держать модель за крылья, но кассирша выглянула из своей будки и сказала:

— Мальчики, куда вы лезете без билетов? Давайте сначала деньги, а потом — милости просим.

Мы объяснили ей, что идем в павильон воздухоплавания выставить свою модель, но кассирша повернулась к нам в профиль и захлопнула окошечко. Мы попытались пролезть через турникет, но сторож погрозил нам пальцем и сказал, что позовет городского.

Удрученные неудачей, мы побрели вдоль высокого выставочного забора, пока не очутились где-то на задах выставки, где сначала Дубастый перелез через забор, потом я перекинул ему на ту сторону модель, которая при этом немножко стукнулась крылом о землю, а уж потом следом за моделью с муками и страхом перелез и я. Тут возле стены рос бурьян. Мы присели на ракушниковые камни, оставшиеся от строительства главных павильонов выставки, и немного починили нашу довольно сильно расшатавшуюся модель, насколько было возможно заделав дырку в задней несущей плоскости, проделав пальцем неосторожного Дубастого. Затем мы отправились разыскивать павильон воздухоплавания и не без труда нашли его, исходяв, вероятно, несколько верст выставочных дорожек, еще пустых в этот час, посыпанных скрипучим дофиновским гравием, среди фонтанов, затейливых павильонов, в открытых дверях которых виднелись разные машины, среди бархатно-зеленых газонов и цветочных клумб с львиным зевом и штамбовыми розами из садаводства Верхмейстера. Выставочные садовники в белых фартуках щедро поливали их из брандспойтов, и радуга светилась в облаке водяной пыли, висевшей над зеленью.

Павильон воздухоплавания представлял собою громадную палатку-шатер из плотного авиационного шелка; его вход был широко

распахнут; мы уже собирались войти, но в этот миг перед нами предстал молодой господин с макслиндеровскими усиками, одетый в новомодный клетчатый жакет, брюки галифе и желтые кожаные краги, ладно облежавшие его выпуклые икры. Тугой крахмальный воротничок высоко подпирал его щеки, и шелковый лиловый галстук цвета павлиний глаз с жемчужной булавкой придавал его спортивному виду оттенок богатства и светского шика, что также подчеркивало строгий пробор его зеркально набриллиантиненных прямых волос. У него во рту дымилась сигара, на которой уже вырос жемчужно-серый пепел, слегка розоватый от внутреннего огня. На мизинце молодого человека блеснул перстень с большим бриллиантом. До сих пор мы видели таких шикарных молодых людей только в карикатурах на страницах журнала «Сатирикон».

— Что вам здесь надо, жлобы? — спросил он на языке одесских окраин с непередаваемой интонацией слова «жлобы».

— Гиродаем для вашего павильона модель Блерио, — сказал Женька Дубастый не моргнув глазом.

— Вот эту? — спросил молодой господин, показывая дымящейся сигарой на наш моноплан.

— А чего? — не без нахальства спросил Женька Дубастый. — Восемь рублей дадите?

Молодой господин показал белоснежные зубы, на щеках у него появились девичьи ямочки и он стал хохотать, пуская из ноздрей сигарный дым.

— Ну хотя бы два с полтиной дадите? — угрюмо спросил Женька.

Макс Линдер продолжал хохотать.

— Так забирайте даром, если вы такие жмоты, — сказал я. — Мы согласны выставить свою модель бесплатно.

Но Макс Линдер не унимался, продолжая звонко и весело смеяться.

Наконец он передохнул, наморщил свой вздернутый носик и сказал:

— Пошли вон, и чтобы я вас здесь больше не видел!

Тут Женька Дубастый жалобно сказал:

— Хотя бы разрешите нам, дяденька, осмотреть ваш павильон.

— А это --- пожалуйста, --- покладисто ответил Макс Линдер. — С удовольствием. Только, во-первых, не тащите сюда свою бандуру, а во-вторых, не лапайте экспонаты.

Мы оставили модель Блерио на траве газона под кустом роз и, сняв фуражки, с благоговением, как в церковь, вошли на цыпочках в павильон.

Это был подлинный храм будущего.

...Утреннее солнце, проникая сквозь шелковое полотно шатра, озаряло ярким, но смягченным светом несколько стоящих на полу и подвешенных в воздухе настоящих, больших аэропланов с моторами и сказочно прекрасными пропеллерами из трехслойного полированного дерева с разноцветными переводными картинками фабричных марок. Мы с замиранием сердца узнали летательный аппарат тяжелее воздуха братьев Райт, как бы лежащий на земле, опираясь на некое подобие лыж, его две плоскости горизонтальные и две вертикальные; перед нами стоял на своих толстеньких колесиках с дутыми резиновыми шинами высокий, стройный биплан «Фарман-16», его латунный бак для бензина сиял, а звездообразный, пластинчатый, стальной мотор фирмы «Гном» мог свести с ума кого угодно своей конструктивной целесообразной красотой: приводили в восторг его загнутые лы-

жи и передний руль высоты.. Несущие плоскости летательных аппаратов из особого авиационного шелкового полотна, туго натянутого на легкие конструкции крыльев, покрытые особым, прозрачным лаком, гонкие стальные тросы, скреплявшие всю легкую и прочную конструкцию аэроплана, ошеломили нас своей мастерской отделкой, аккуратностью, красотой форм. Нам так хотелось потрогать руками гладко обструганные, отшлифованные рейки распорок, сделанные руками замечательных мастеров своего дела, столяров самой высокой марки, из красивых сортов отборного бука, клена, может быть ясеня. Аэропланы одновременно были и летательными аппаратами, и как бы музыкальными инструментами со звенящими, натянутыми струнами стальных проволок...

...но что нас больше всего поразило и унизило, это несколько небольших моделей самолетов, поставленных на специальные тумбочки. Они являлись главным украшением павильона и представляли из себя чудо искусства, точности, глазомера и совершенства пропорций. При виде этих моделей мы с Женькой сконфуженно отвернулись друг от друга и вышли из павильона как побитые собаки, даже не взглянув на свою модель Блерио, которая, заляпанная клейстером, неуклюжая, как табуретка, с полуотломанным крылом, лежала на траве под кустом роз, усыпанным полураспустившимися бутонами, пылающими на ярком солнце...

Мы даже не обратили внимания на все выставочные чудеса, мимо которых плелись к выходу: на знаменитый деревянный самовар известной чайной фирмы «Караван», высотой с четырехэтажный дом и чайником на конфорке, откуда посетители выставки могли обозревать выставочную территорию; не менее знаменитую громадную бутылку шампанского «редерер»; паровую карусель с парусными лодками вместо колясок и медным пароходным свистком; павильон «Русского общества пароходства и торговли» (РОПиТ) в виде черного пароходного носа почти в натуральную величину, с бушпритом, мачтой и колоколом.

Мы даже не обратили внимания на сводящий с ума горячий запах вафель со сбитыми сливками, которые тут же на глазах у публики пекли в раскаленных вафельницах, нагревавшихся электрическим током...

...а сосиски Габербуш и Шилле на картонных тарелочках, с картофельным пюре и репинским мазком горчицы...

Эх, да что там говорить!..

Гостиница «Центральная».

Мне подарили фотографический аппарат марки «Кобальт» или что-то в этом роде. Он представлял из себя прямоугольный ящичек, скорее коробку, оклеенную черной шагреневогой бумагой под кожу, издававшей особый, как мне тогда казалось, «фотографический запах».

Первые мои опыты фотографирования оказались крайне неудачны: я торопился, нередко вставлял пластинку в кассету наизнанку; сквозь не совсем плотно закрытые ставни в комнату проникал губительный луч уличного фонаря, засвечивающего снимок; иногда оказывалось на пластинке два совершенно разных снимка — один вертикальный, другой горизонтальный; я плохо промывал черные ванночки

для проявления и закрепления, отчего пластинка оказывалась грязной, сальной; я путал вираж-фиксаж с проявителем, и тогда с пластинки слезала кожица светочувствительного слоя; я ронял пластинки, и они раскалывались в темноте на полу; словом, прошло довольно много времени, прежде чем я научился, как мне казалось, получать хорошие снимки.

...И вот в один прекрасный день я наконец отправился на стрельбищное поле, где ежедневно происходили полеты аэропланов. Снять аэроплан собственным фотографическим аппаратом было моей заветной мечтой.

Держа за кожаную ручку свой фотографический аппарат и чувствуя приятный солидный вес заряженных кассет с новыми пластинками, тихонько постукивающими внутри, отправился я за город, на стрельбищное поле. Все предвещало удачу: яркое солнце, при свете которого можно было делать моментальные снимки, чистый, прозрачный воздух, жужжание аэроплана, которое я услышал, подходя по бурьяну к стрельбищному полю.

Довольно высоко над землей делал красивый вираж «Фарман-16», желтый, ребристый, весь просвеченный солнцем, блистающий начищенным, как самовар, медным баком для бензина и гудящий, как шмель.

Закончив опасный вираж, авиатор выключил вдруг зачихавший за его спиной звездообразный мотор и сделал одну из самых красивых фигур тогдашней авиации — так называемые «горки», когда биплан с выключенным мотором крутой волнистой линией несется к земле, то как бы опускаясь, то вдруг подсакавая в воздухе и снова взлетая, пока его колеса и лыжеобразные шасси не коснутся земли.

Спуск «горками» был так прекрасен, что, залюбовавшись им, я забыл про свой аппарат и не успел сделать снимок, тем более что и солнце светило прямо в объектив, а для того, чтобы снимок вышел хороший, четкий, надо, чтобы солнце было за спиной.

Аэроплан покатился по степной траве и остановился совсем недалеко от меня. Авиатор в кожаном шлеме, в кожаном пальто и желтых крагах — известный одесский парикмахер Хиони, вечный конкурент Уточкина, — прошел мимо меня, снимая большие кожаные перчатки с раструбами и подвигивая щегольские черные усы, слегка растрепавшиеся во время полета.

Тут же недалеко я заметил посреди степи городской экипаж с откидным верхом. Извозчик в длинном синем армяке навешивал на морду лошади торбу с овсом, а его пассажиры — дама в большой модной шляпе, с легким газовым шарфом на шее и бородатый мужчина в купеческой поддевке тонкого сукна — шли, разминаясь, по бурьяну навстречу авиатору и что-то ему весело кричали, вероятно, поздравляли с красивым полетом, а дама даже аплодировала, как в театре.

Прислушавшись, я услышал, что дама и мужчина просят авиатора прокатить их по воздуху на аэроплане. Дама сняла шляпу, бросила ее в пыльные ромашки и повязала голову газовым шарфом; мужчина повернул свой купеческий картуз козырьком назад.

Я видел, как они вскарабкались по тросам и рейкам на нижнее несущее крыло, а затем уселись на легкое, как бы лубяное сиденье, похожее на те решета, в которых продают на привозе ягоду.

Умирая от страха, дама держалась рукой за полированную распорку, а мужчина прижимал даму к себе изо всех сил, так как они (оба дородные) должны были уместиться в одном решете. Авиатор уселся в своем решете и проверил действие рычагов управления. Моторист

не без усилия качнул пропеллер, мотор зачужфыкал и закружился за спиной авиатора все быстрее и быстрее, пока не превратился в почти незримый диск, по которому пробежали молнии солнечных отражений.

«Фарман», слегка хромая, побежал по ромашкам, отделился от земли, взлетел, набрал высоту метров пятьсот, сделал круг и с выключенным мотором совершил блестящий по красоте сначала очень крутой, а потом пологий «воль-плянэ», а затем мягко сел на землю, побежал по ней, и мы с извозчиком услышали восторженное кудахтанье дамы и хохот ее спутника.

— Ишь ты,— сказал извозчик,— всю ночь прогулял со своей мамзелью в «Альказаре», а теперь догуливает здесь: полетать с похмелья захотелось.— Извозчик добродушно и с большим уважением прибавил несколько неприличных слов и покрутил головой в своей твердой кастровой извозчичьей шляпе с металлической пряжкой; на его ремennem кушаке блестили металлические аппликации в виде лошадиных головок.

— Богатый господин. Приезжий. Купец. Гуляет.

В это время аэроплан подкатил к нам, и дама, покрасневшая, как помидор, от страха и наслаждения полетом, увидела меня с моим фотографическим аппаратом.

— Эй, мальчик, сними-ка нас! — крикнула она.

— С удовольствием,— ответил я, зардевшись от счастья, и шаркнул ногами.

— А ты снимать-то этой штуковиной умеешь? — спросил господин.— А то такие нам рожи сделаешь, что родная мать не узнает.

— Вы, пожалуйста, только одну минуту не двигайтесь, чтобы я мог сделать выдержку,— сказал я строго и, поймав в видоискателе маленькую цветную картинку креплений самолета, а среди них фигуры дамы, господина и авиатора, щелкнул затвором.

— А ты нам снимки дашь? — спросила дама.

— С удовольствием,— ответил я, снова шаркнув ногами по пыльной траве стрельбищного поля.

— Гляди ж не обмани,— сказал господин и, порывшись в карманах своей поддевки, протянул мне большую визитную карточку, на обороте которой тут же написал золотым карандашиком, но довольно коряво: «Гостиница «Центральная», номер 76».

Когда я брал из его рук карточку, то ощутил запах винного перегара.

Затем господин слез с аэроплана, поддержал даму, которая с хохотом прыгнула вниз прямо в его руки и крикнула «гоп!», после чего господин полез в бумажник, отслюнил четвертной билет и сунул его авиатору в перчатку.

— Дозвольте, ваше здоровье, поздравить вас с воздушным крепеньем,— сказал извозчик, снимая шляпу и путаясь в полах своего армяка.

— Ладно, потом сразу получишь за все,— сказал господин,— а теперь вези нас полным ходом в «Аркадию» обедать. А ты, мальчик, не знаю, как тебя звать, не забудь занести снимок, я тебя поблагодарю,— многозначительно добавил он, уже высовываясь из экипажа.

И дама с господином уехали.

Я понял, что мне повезло и я смогу разбогатеть... Ну да, конечно. Ведь, собственно говоря, господин заказал мне снимок своего первого полета на аэроплане. Наверное, он мне здорово заплатит, не поскупится, в особенности если фотография ему понравится. Уж раз сн отвалил авиатору за полет двадцать пять рублей — сумму, в моем

представлении неслыханную,— и даже бровью не повел, то небось за мой снимок не пожалеет пятерки. Ну если не пятерки, то, во всяком случае, трешницы. А ведь это—ого-го-го! Или уж никак не меньше двух рублей. На самом деле: что ему стоит дать человеку два-три рубля. Я же заметил, сколько у него в бумажнике денег! Целая пачка! И все — четвертные билеты! Я столько денег за один раз никогда в жизни не видел. Нет, меньше пятерки не даст. Совесть не позволит. Ведь снимок-то для него памятный. Шутка сказать — первый полет, да еще вместе с женой. Верное доказательство, что они действительно летали. А летали тогда далеко не все. Полетать — было тогда величайшей редкостью. Может быть, на весь город летали три-четыре человека, да и то вряд ли, не считая, конечно, самих авиаторов.

...Нет, за такую фотографию и десятки не жалко!..

Десятка... Даже подумать страшно... Несбыточная мечта... Фантастический сон... И тем не менее дело вполне возможное: надо только постараться сделать фотографию как можно лучше, не торопясь, аккуратно, не залапать пальцами, чтобы была самого высокого качества.

Прибыв домой, я с трудом дождался вечера и приступил к проявлению пластинки.

При красном свете фонаря, кстати сказать, похожего на те красные фонарики с надписью «выход», которые всегда во время действия горели в городском театре над дверями зрительного зала, я осторожно покачивал плоскую ванночку с носиком, в которой, погруженная в едкий проявитель, остро воняющий какой-то кислотой, виднелась невинно-телесная поверхность как бы фарфоровой пластинки. Окна поверх ставней были закрыты одеялами, и дверь заперта на ключ. Самый слабенький пучок белого света мог погубить всю мою работу, и тогда мечта о десяти рублях разлетится как дым. Я впивался глазами в розовую поверхность пластинки, с нетерпением ожидая появления первых намеков на изображение. Мне казалось, что пластинка никогда не проявится. Я уже потерял всякую надежду, думая, что, очень может быть, снимая, я забыл снять с объектива черную крышечку на бархатной подкладке.

Я готов был заплакать.

Меня звали через дверь пить чай, но я угрюмо молчал, обкусывая на пальцах ногти. И вдруг, когда ни малейшей надежды как будто уже не оставалось, я увидел сначала очень слабые, еле заметные, а потом все более определенные темные и белые пятна, которые вдруг начали приобретать форму.

...это было похоже на ночь, проведенную у моря, когда сначала все сливается в однотонную, звездно-серебристую пустоту, но незадолго до рассвета море вдруг начинает слабо отделяться от неба, появляются очертания скал, шаланды на берегу, затем обозначается мутный блеск длинной прибрежной волны, потом силуэт обрыва, на вершине которого понемногу начинают белеть и светиться стены дачи, чернеть кудрявые купы деревьев, белые звезды сонного табака; небо мало-помалу светлеет, проявляется; заря разливается вокруг, и постепенно пейзаж восстанавливается во всех своих подробностях вплоть до мелкой гальки у кружевного шлейфа приюта... И милое, сонное лицо...

Примерно то же самое наблюдал и я. Темные и белые пятна на пластинке стали явно что-то обозначать, какие-то предметы, и через миг я уже с восторгом видел негативное изображение негритянских черных человеческих лиц с белыми глазами, белые косые распорки биплана, даже смутное очертание бензинового бака, палки руля высоты. Еще через миг я уже видел ребристую несущую поверхность, часть пропеллера и черные линии скрещенных тросов. Все это было не так четко, как того бы хотелось, но, несомненно, это был снимок, настоящий негатив, с которого можно будет напечатать на чудесной глянцевой бумаге вполне приличную копию, за которую будет не жалко отдать мне ну если и не десятку, то, во всяком случае, пятерку или три рубля... а может быть, все-таки десятку?

Печатание с негатива само по себе было чудо! Но мне показалось этого мало. Я решил наклеить лиловатый, еще сырой глянцевый снимок на особую картонную рамку, паспарту, с тем чтобы моя работа еще больше понравилась богатому заказчику.

Я выпросил у тети пятнадцать копеек и в магазине фотографических принадлежностей Иосифа Покорного на Дерибасовской купил три серых картонных паспарту шесть на девять, в соответствии с размером моего снимка. Широкие поля паспарту, украшенные декадентскими финтифлюшками, как бы увеличивали размер моего произведения и значительно удорожали его. Особым фотографическим клеем я наклеил на паспарту лучший, наиболее разборчивый экземпляр своего снимка, положил его под стопку учебников, для того чтобы он аккуратнее приклеился, и, взволнованный, лег спать, с тем чтобы завтра как можно раньше отправиться в гостиницу «Центральную» на Преображенской улице.

Еще не было восьми часов утра, как я завернул паспарту в газету, взял ранец и отправился якобы в гимназию, а на самом деле на Преображенскую. По дороге я несколько раз разворачивал газету и рассматривал свой снимок. Говоря откровенно, он был не так удачен, как мне казалось. Второпях я недодержал отпечаток в закрепителе, и теперь он как-то поблек, однако не настолько, чтобы нельзя было понять, что на нем изображено. К сожалению, лица господина и дамы оказались не в фокусе и трудно было их узнать, но меня утешало, что по некоторым признакам одежды их все-таки можно было при желании узнать. Кроме того, размер шесть на девять был слишком маленьким, даже если учесть, что поля паспарту несколько его увеличивали. Кроме того, несмотря на все мои старания, я умудрился во время проявления залапать негатив, и теперь на уже довольно порывшем снимке отчетливо виднелся дактилоскопический отпечаток моего большого пальца.

Но я не унывал, рассчитывая на доброту и щедрость господина и его жены, которые должны были быть довольны хотя бы уже потому, что мой снимок был единственным доказательством их полета на аэроплане.

Я очень торопился, боясь, что не застану их дома. Без четверти восемь я уже был в гостинице и спрашивал заспанного портье, могу ли я видеть господина такого-то и его супругу. Портье, в визитке, с бровями, выкрашенными лиловой краской, посмотрел на меня сверху вниз снисходительно и объяснил, как мне найти номер господина, но при этом прибавил с гнусной улыбкой:

— А насчет супруги не могу вам точно сказать. Это вы у них самих спросите.

Смысл этого замечания я не совсем понял и, поднявшись по чугунной узорчатой лестнице, покрытой красной вытертой дорожкой,

на второй этаж, пошел по темноватому коридору, пропахшему сигарным запахом, мимо множества запертых дверей, возле которых стояла выставленная для чистки мужская и дамская обувь. В воздухе густо пахло смесью пудры, пыли, духов и еще чего-то неуловимо порочного, может быть даже преступного.

Найдя номер семьдесят шесть, я осторожно постучал в грязно-белую дверь с позолоченными багетами. Мне никто не ответил. Я прислушался, приложив ухо к двери; из номера доносились звуки какой-то возни, и это успокоило меня: значит, заказчик дома.

Я постучал сильнее.

— Кто там? — услышал я хриплый мужской бас.

— Это я, — сказал я.

— Кто именно?

— Ваш знакомый мальчик, гимназист, помните, я вас снимал позавчера вместе с вашей супругой на аэроплане?

— Нешто я летал? — спросил голос за дверью.

— Летали, — сказал я, — я принес вам фотографию.

За дверью слышалось нечто вроде добродушно-сварливого ругательства, затем я услышал шлепающие звуки босых ног, дверь открылась, и я увидел господина в длинной ночной рубашке, в подштанниках, со всклокоченной бородой, красным носом и бессмысленными глазами.

— Вот фотография, — сказал я, шаркнув ногой, как вполне воспитанный гимназист, и протянул господину паспарту, завернутое в газету.

— А который теперь час? — промычал господин.

— Около восьми, — сказал я.

Господин развернул газету и вынул паспарту. Он долго его рассматривал, а потом почесал голову.

— Действительно летал, значит. Чудеса! Ну, спасибо, — сказал господин, обдав меня сложной смесью разных спиртных запахов, закрыл перед самым моим носом дверь на ключ, и я услышал шлепанье босых ног и женский, кудахтающий кашель, приглушенные бархатной красной потертой гардиной, пропахшей табаком.

Я постоял довольно долго перед дверью и отправился в гимназию, унося в своем сердце горечь разбитых надежд.

Комета Галлея.

...с быстротой молнии распространилась эта весть. Из глубины мирового пространства по направлению к Земле движется комета Галлея, и некоторые астрономы предсказывают весьма вероятное столкновение ее с нашей планетой, в результате чего человечество погибнет.

Картина гибнущего человечества была весьма неопределенна, даже абстрактна, но тем не менее при мысли о ней мою душу охватывал ужас, потому что это была одновременно и моя гибель. Я испытывал не обычный страх смерти, который время от времени пронзал все мое существо, а потом бесследно исчезал и забывался до новой вспышки, всегда внезапной, а ужас перед каким-то бессмысленным, слепым и неотвратимым физическим законом небесной механики, который имел власть над моей жизнью и над жизнью всех других людей, населяющих Землю; имел власть уничтожить самую Землю, превратить ее в ничто и вместе с тем быть предсказанным за несколько столетий вперед.

Меня ужасали строго научные чертежи в газетах и журналах,

представлявшие все одно и то же, одно и то же: часть параболы, где комета Галлея была изображена во всех фазах своего неотвратимого приближения к Земле, в виде нескольких точек с хвостами, обращенными в сторону, противоположную от Солнца, и возле последней фазы — кружочек нашей Земли, уже наполовину покрытый хвостом кометы.

...в городе увеличилось число сумасшедших...

Появились зловещие старухи, иногда с иконами в руках, с грозными глазами, обведенными траурными кругами. Они обходили дворы и посылали проклятия жильцам, погрязшим в пороках и разврате.

Город задыхался от запаха неслыханно буйно цветущей белой акации. Короткие, темные, душные ночи с распахнутыми окнами домов, откуда неслись звуки итальянских песен, что превращало нашу тихую Отраду в подобие Неаполя или, во всяком случае, Сорренто, где в еще более густой темноте, чем обычно, беззвучно двигались парочки, рдели угольки папирос, слышались в подворотнях «шепот, робкое дыханье» и насвистывание сквозь зубы из «Веселой вдовы» — «тихо и плавно качаясь, горе забудем вполне»... — точно и в самом деле нас всех мучило какое-то горе, которое мы старались вполне забыть.

Над морем светились млечные летние звезды, самые крупные из которых даже отражались в почти неподвижной воде и серебрили море у темного горизонта, откуда из угольно-черной бездны должна была появиться комета.

В городе раздавались гудки маленьких пыхтящих автомобилей, бесшумно пролетали экипажи на дутых шинах, с фонарями на козлах, и я знал, что это богачи со своими дамами едут кутить в «Аркадию» или «Северную», где выступают какие-то не вполне для меня понятные красавицы — шансонетки с красными накрашенными глазами, в платьях, осыпанных блестками, с нагими плечами и подмазанными глазами обольстительных грешниц, а в городском театре шла «Аида» с голубым Нилом, серебрящимся при свете африканской луны, и зловещими восклицаниями: «Радамес! Радамес!»

...И в мире, сошедшем с ума в ожидании расплаты за все его вольные и невольные грехи, чудовищные, окутанные густым каменноугольным дымом супердредноуты американского флота с мачтами из плетеной стали, похожие на Эйфелеву башню, бороздили океаны, и где-то в глубине таинственной океанской воды пробирались подводные лодки — субмарины, — в любую минуту готовые выпустить из своих минных аппаратов самодвижущиеся плавучие мины Уайтхеда. Дирижабль «Граф Цеппелин» поднимался над Боденским озером как громадный граненый карандаш, легкие аэропланы летали над зелеными лужайками Европы, и их уже начали приспособлять для прицельного бомбометания и ставить на вооружение армий. Всюду происходили маневры, и дредноуты стреляли двенадцатидюймовыми снарядами по плавучим щитам, расставленным в божественно синих водах морей и океанов, по которым — пока что — мирно циркулировало золото из Европы в Америку и обратно...

Все это в моем представлении было связано с фантастикой Уэллса, с ледящим душу воем умирающего Марсианина среди вересковых лугов доброй старой Англии, с человеком, который проснулся, с летающими кораблями будущего и со смертью, гибелью, уничтожением, которые несла Земле из неизмеримых глубин не познанного

человеком космоса комета Галлея, с каждым днем приближающаяся со своим светлым ядром и вуалью фосфоресцирующего хвоста, повернутым в сторону, противоположную от Солнца.

Кометы еще не было видно.

Ее видели лишь немногие астрономы в свои гигантские телескопы с шестнадцатидюймовыми рефракторами.

Потом появились фотографии кометы, которая среди рассыпанных звезд выделялась прозрачным хвостом, таким коротким и маленьким, что нужно было обладать большим воображением, чтобы почувствовать опасность столкновения с этим светящимся головастиком с круглым глазом.

Я перестал спать, испытывая чувство неизбежной катастрофы, хотя папа, большой любитель и знаток астрономии, сердито говорил, что все это чепуха и выдумки невежественных репортеров, потому что если даже Земля попадет в хвост кометы, то все равно ничего не случится. Хвост кометы представляет из себя настолько тонкую материю, что Земля совершенно легко пройдет сквозь нее и мы даже ничего не заметим. Если же ядро кометы столкнется с нашей планетой, то также ничего не произойдет, ибо ядро кометы — всего лишь газообразное тело, чуть более сгущенное, чем хвост.

Впрочем, по моим наблюдениям, папа в глубине души, наверное, тоже беспокоился за судьбы нашей маленькой планеты и всего человечества.

Тетя же не исключала возможности мировой катастрофы, но относилась к этому крайне легкомысленно.

«...ну допустим, что все мы в один прекрасный день вспыхнем и сгорим, как бабочки, вместе со всей нашей земной цивилизацией... ну и что ж из этого? Туда ей и дорога!..»

И тетя, надев шляпу и перчатки, отправлялась со знакомыми дамами в оперетку восхищаться Днепровым, который, по слухам, вышел из монахов, или в иллюзион смотреть Макса Линдера или знаменитого Гаррисона из фирмы «Нордиск», эlegantного упитанного господина с пробором и белоснежным уголком платочка в наружном карманчике наимоднейшего жакета, артиста, который всегда изображал трагическую фигуру благородного богача, брошенной красавицей женой, разорившегося и стреляющего из никелированного револьвера, уронив голову на свой громадный письменный стол.

Уходя из дома, тетя беззаботно напевала из «Лизистраты»:

Светлячки всю ночь летают,
Светлячки нам спать мешают...

Наконец наступила ночь, когда комета Галлея должна была либо столкнуться с Землей, либо накрыть ее своим шлейфом, либо пройти вблизи и удалиться в черную бездну, в угольную яму мирового пространства. Улицы заполнились людьми с биноклями и подзорными трубами. Я полез в папин комод и достал маленький театральный бинокль покойной мамы. Я обшарил все летнее небо и ничего не нашел. На улицу вышел взрослый гимназист Серж, у него в руках был массивный цейсовский бинокль, увеличивавший в двадцать или даже в тридцать раз. Серж своей фланирующей валкой походкой сноба и денди отправился к обрывам, откуда открывался более обширный горизонт. Он поискал комету и сказал:

— Вот она. Я ее ясно вижу. Хвост тянется несколько **вверх**.

Я упросил его дать мне посмотреть. Он презрительно улыбнулся своей аристократической улыбкой, но все же сжалился надо мной и дал бинокль. Я обшарил все небо, но ничего даже отдаленно похожего на комету не обнаружил, однако, возвращая тяжелый бинокль Сержу, небрежно сказал:

— Видел. Ничего феноменального. Обыкновенная звезда, только с хвостом.

Так как я кометы не видел, а лишь страстно хотел ее увидеть, то мои слова тут же превратились как бы в правду, хотя они и были чистойшей ложью. Воображение мое создало небольшую голубую звездочку со светящимся длинным хвостом, некое фосфорическое подобие рыбьего малька, которого я рассматриваю в микроскоп и вижу в середине его прозрачной плоти нечто вроде светящейся схемы кровообращения.

Дома я похвастался, что видел комету. Женька сказал, что тоже видел — даже не в бинокль, а невооруженным глазом.

Я опять вышел на улицу, темную от листвы деревьев. Слышался шепот, робкое дыхание. На скамейках возле ворот целовались и тихонько хохотали.

Кого бы я ни опрашивал, все говорили, что видели знаменитую комету, но не нашли в ней ничего особенного.

Через несколько дней газеты сообщили, что комета удалась уже от Земли на колоссальное расстояние световых лет и продолжает удаляться по начертанному ей пути — по своей параболе.

Она не оставила после себя никакого явного следа. Мы даже не заметили вокруг себя тонкого светящегося тумана, когда ее волшебный хвост коснулся Земли. Все осталось по-прежнему. И все же какая-то тревога осталась в моей душе — предчувствие какой-то всемирной катастрофы, которую на этот раз мы избежали лишь благодаря чуду, но которая непременно когда-нибудь разразится и уничтожит человечество.

...комета Галлея растворилась в мировом пространстве, но через некоторое время я услышал название новой кометы, еще более страшной, чреватой войнами и революциями, с трагическим названием Биэлы... Комета Биэлы.. И я ее опять не видел.

Так же точно однажды ночью в Атлантическом океане меня разбудил стук в дверь каюты:

— Идите на палубу, берите бинокль, вдалеке можно увидеть огни Лиссабона.

Дул черный ветер, глаза слезились, как я ни старался, но ничего не увидел в бинокль. Потом говорил всем, что видел огни Лиссабона. И сам в конце концов поверил этому. Я представлял себе во тьме несколько рассыпанных бриллиантов далекого города. О, как волшеббно звучали для всех эти слова: «Огни Лиссабона».

Дорогие игрушки.

Волшебный фонарь с его вытяжной трубой, загнутой назад гармоникой, с его неподвижными разноцветными картинками — диапозитивами, — которые обычно проектировались на белой стене или даже просто на светлых обоях, с его керосиновой лампой с рефлектором и быстро накаляющимся черным железным корпусом, сквозь щели и дырочки которого в разные стороны вылетали зеркальные зайчики, неподвижно пятная стены, пол, потолок темной комнаты, наконец, с запахом горелой краски и копотью, струившейся вверх из

вытяжной трубы, этот традиционный волшебный фонарь, который дома был игрушкой, а в гимназии назывался учебным пособием, уже устарел.

В игрушечных магазинах появился новый проекционный аппарат — синематограф, или биоскоп. Он показывал вместо неподвижных изображений изображения движущиеся.

Он мало чем по виду отличался от старинного волшебного фонаря, пылящегося на шкафу в учительской, если не считать ручки, которую надо было крутить, для того чтобы целлулоидная лента двигалась по замкнутому кругу ритмично, но прерывисто цепляясь за шипы медного барабана.

Та же керосиновая лампа с рефлектором, те же зайчики, зеркально пятнавшие темную комнату, та же копоть и запах горелой краски... но какая разница в изображении!

Сначала мы смотрели как на чудо на движущиеся разноцветные картинки на стене — клоуна в остроконечном колпачке, жонглирующего шариками, или танцующую балерину.

Но зрелище это скоро надоело: замкнутая лента была невелика и чудо движения не могло искупить своей монотонности, бедности, своего механического стрекотания, наводящего скуку.

В городских, общественных иллюзиях движущаяся фотография была куда интереснее. И наша дорогая игрушка скоро попала на шкаф, а оттуда в чулан, где долгие годы пылилась.

В ней не было настоящей жизни...

Маленькая паровая машина тоже считалась у нас дорогой игрушкой, но, по сути дела, она была не игрушка, а настоящая паровая машина — только миниатюрная, сделанная на настоящем машиностроительном заводе. Она состояла из стального вертикального котла со свистком и поршневым устройством, вращавшим тяжелое, хотя и небольшое маховое колесо. В отличие от большой паровой машины, локомотива, она нагревалась при помощи спиртовой лампы под котлом.

Мне купил папа маленькую паровую машину не в виде подарка, не в качестве забавной игрушки, а как наглядное пособие по физике.

Машина стоила очень дорого — рублей пять, но папа мечтал, что мы с Женькой вырастем всесторонне развитыми людьми.

Почему среди сотен тысяч жизненных впечатлений в мою память так прочно врезалась эта маленькая машина. Этот стальной котел какого-то особого, лилового цвета? Не знаю. Это еще непознанная тайна человеческой памяти — одно помнить всю жизнь, а другое навсегда забывать. Наверное, есть какой-то закономерно действующий механизм памяти, законы которого еще не вполне изучены.

Запах горящего денатурированного спирта, его желто-голубое пламя, лизавшее дно парового котла, до сих пор почему-то не могут забыться.

Котел нагревался очень медленно. Каждую минуту мы — Женька и я — прикладывали к нему ладони; он все еще продолжал оставаться холодным, хотя уже не таким, каким был, когда в него только что налили воды из кухонного крана.

Мы как очарованные ждали чуда превращения воды в пар. Казалось, конца не будет этому мучительно медленному нагреванию. И все же оно неуклонно, хотя почти незаметно, совершалось. Вот уже ладонь ощущает явно потеплевшую поверхность котла. Однако

до конечного эффекта еще очень и очень далеко. Котел нагревается, но еще не слышно внутри него никаких звуков. Вода молчит.

Вот уже котел ощутимо жжет ладонь. Вот уже, прикоснувшись пальцами к котлу, инстинктивно отдергиваешь руку. Вот уже котел источает жар, как хорошо нагретый уют. Пробираешь повернуть маховое колесо, оно поворачивается, но потом останавливается. Пар еще недостаточно сильно давит на поршень. Прикусив нижнюю губу, прислушиваешься. Откуда-то из середины котла доносится тонкий, комариный звук. Потом ухо улавливает сварливую музыку закипающей воды; музыка эта переходит в клокотанье, кипяток просачивается сквозь механизм предохранительного клапана и брызжет во все стороны мельчайшими пузырьками. И вдруг маховое колесо неожиданно сдвигается с мертвой точки, повинувшись слабому прикосновению моего пальца. Сдвинувшись с места, оно как бы само собой медленно совершает полный оборот, на миг останавливается, затем снова как бы теряет равновесие и начинает крутиться все шибче, шибче, шибче, повинувшись пришедшему в движение поршню.

Чудо превращения воды в пар, а пара в движущую силу. Количество переходит в качество.

Бешено крутящееся маховое колесо приковывает наши глаза к шипящей, облитой кипятком машине, и мы не можем оторваться от этого на вид такого простого, а на самом деле такого магического явления силы, как бы взявшейся ниоткуда.

Но это было не все. Сила, сжатая в накаленном паровом котле, могла превратиться по нашему желанию также и в звук — стоило только повернуть деревянную крашеную ручку совсем маленького — игрушечного — медного свисточка; раздавался как бы свисток локомотива, такой же чистый, звонкий, зовущий куда-то в дорогу, в горные перевалы, в туннели, на мосты, перекинутые над бурными потоками тающего снега, но только уменьшенных в сотни, в тысячи раз до комнатных размеров.

Маховое колесо можно было присоединить трансмиссией к жестяному бассейну, из середины которого начинал бить игрушечный фонтан.

У одного знакомого гимназиста паровая машина крутила крошечное динамо, от тока которого зажигался электрический фонарик в молочно-белом колпачке, на высоком столбике — точная копия вокзального фонаря.

Потом у нас появился игрушечный паровозик, действующий паром. Он мчался по замкнутому кругу составных рельсов, фыркая и плюясь во все стороны кипятком, а пламя спиртовой лампочки нагревало котел и несло по кругу, распространяя по комнате свой горячий опьяняющий запах...

Казалось, нам никогда не надоест любоваться действующей паровой машиной, вокзальным фонарем, бьющим фонтанчиком и бегущим паровозиком с тендером и вагонами.

...никогда не надоест слушать звук парового свистка, напоминающий темные зимние рассветы и щемящий душу фабричный гудок за морозным окном...

Как это ни странно, но все это нам очень скоро надоело, как всегда надоедают игрушки. Ведь они лишь повторяли в миниатюре то, что уже давно существовало в мире не как игрушки, а как большие, полезные вещи.

Они лишь разбудили наше сознание, которое впоследствии всегда отставало от времени, от моторов внутреннего сгорания, от дизелей. И это отставание было невыносимо, как фабричный гудок, еще невнятно говоривший нашему воображению и нашей совести о нищете рабочих окраин, о забастовках, о стачках...

...скоро паровая машина и паровозик вместе со звеньями своих разобранных рельсов очутились сначала на шкафу, а потом в чулане рядом с другими устаревшими игрушками, покрытыми пылью забвения.

Ограбление газетного киоска.

...строжайше запрещалось чтение Пинкертона. Нат Пинкертон был знаменитый американский сыщик, приключения которого сводили нас с ума. Это были небольшие по объему, размером в школьную тетрадку, так называемые «выпуски», каждый раз с новой картинкой на цветной обложке и портретом знаменитого сыщика в красном кружочке. На этом грубо литографированном портрете голова Ната Пинкертона была изображена в профиль. Его бритое, обрюзгшее лицо с выдвинутым вперед подбородком и несколько мясистым носом, с резкой чертой между ноздрей и краем плотно сжатых губ, его пронзительные глаза (или, вернее, один только глаз, так как великий сыщик был нарисован в профиль), даже косой пробор его немного седоватых каштановых волос и цветной американский галстук — все говорило, что это величайший криминалист XX века, человек опытный и бесстрашный, с железной волей, гроза американского уголовного мира, раскрывший сотни и сотни кровавых преступлений и посадивший не одного негодяя на электрический стул в нью-йоркской тюрьме Синг-Синг.

У Ната Пинкертона был помощник, молодой американец Боб Руланд, обожавший своего великого шефа, его правая рука, парень тоже отчаянно смелый, большой мастер гримироваться и переодеваться, наклеивать фальшивую бороду, для того чтобы, например, представиться большим стариком и в таком виде, как собака ищейка, идти по следу опасного преступника, время от времени звоня Нату Пинкертону по телефону, для того чтобы получить от него дальнейшие инструкции.

— Алло! Мистер Пинкертон! Это я, Боб Руланд.

— Ха-ха, я тебя сразу узнал, мой мальчик. Ну, выкладывай, что у тебя нового.

— Учитель, я наконец напал на след этой кровавой собаки Джека.

— Молодец! Действуй дальше. Алло! Скоро я приеду к тебе на помощь, и мы наконец посадим этого негодяя на электрический стул.

Больше всего нас волновало восклицание «алло», которое то и дело раздавалось из уст великого криминалиста, едва он брал в руку и прикладывал к уху телефонную трубку.

Черт возьми: на каждой странице телефоны, метрополитены, небоскребы в двадцать этажей, кебы, экспрессы, стальные наручники, револьверы, загадочная тюрьма Синг-Синг, одно название которой заставляло содрогаться читателя, наконец, электрический стул...

Однако вскоре после Ната Пинкертона стали появляться в большом количестве другие сыщики: английский криминалист Шерлок

Холмс — рыночное подражание классическому Шерлоку Холмсу Ко-нан Дойля,— затем Ник Картер.

Портрет Шерлока Холмса помещался в канареечно-желтом прямоугольнике. Шерлок Холмс был изображен в профиль, с резко очерченным носом с красивой горбинкой, с прямой английской трубкой в зубах, которая очень красиво и многозначительно дымилась.

Голова Ника Картера помещалась в ярко-синем кружочке; это был совсем молодой человек с по-юношески удлинненным затылком и крутым клоком волос над мудрым, высоким лбом шахматиста.

Приключения Ника Картера отличались большой изобретательностью, он раскрывал запутаннейшие дела, связанные с деятельностью крупных преступных великосветских банд, владевших большим ассортиментом таинственных восточных ядов, снотворных средств, бесшумного огнестрельного оружия, тайнами гипнотизма и даже спиритизма, способного переселять души, не говоря уже о колоссальном количестве награбленного золота, драгоценных камней, например бриллиантов размером с куриное яйцо и жемчужин, больших, как кокосовый орех, что было явным плагиатом из «80 000 льё под водой» Жюль Верна.

Великосветские банды имели собственные паровые яхты, литературные поезда... Они совершали свои чудовищные преступления с непостижимой быстротой фантомов, без труда перемещаясь из одной части света в другую: сегодня Чикаго, завтра Вальпараисо, послезавтра Лондон, затем, разумеется, Париж, Сан-Франциско, Нагасаки,— всюду оставляя за собой множество жертв, отравленных и убитых непонятным оружием, а затем бесследно исчезали, не оставляя никаких следов.

У Ника Картера был не один помощник, а несколько: японец Ген-Итсли, Патси и даже одна помощница — красавица Ирма, при взгляде на которую самый закоренелый преступник терял голову...

Выпуск Ника Картера стоил семь копеек, в то время как выпуск Пинкертона всего пять копеек. У Пинкертона было тридцать две страницы, а у Ника Картера сорок восемь.

Пинкертон был написан дубовым языком и изобиловал такими выражениями, как, например: «Проклятие! — заорал Боб, стреляя в неуловимого Макдональда»—или: «Ага, попался, голубчик,—ледяным тоном сказал Пинкертон, надевая на негодея наручники,—теперь я тебя наконец-то посажу на электрический стул».

Сначала этот мужественный стиль нам очень нравился, но после появления на книжном рынке Ника Картера шансы Пинкертона сильно упали. У Ника Картера сплошь да рядом попадались фразы, волновавшие нас до глубины души, например: «Золотистые волосы красавицы преступницы рассыпались по ее мраморным плечам и покрыли ее с ног до головы сияющим плащом...»—или: «Доктор Дацар с дьявольским смехом вонзил шприц с усыпляющим тибетским веществом в обнаженную руку японца...»

Кроме того, выпуски выходили с продолжением сериями по четыре-пять номеров. Серии назывались «Серия Дацара» или «Инесс Наварро — прекрасный демон».

Прочитав один выпуск и остановившись на самом интересном месте, уже невозможно было не купить следующий выпуск.

А где взять деньги?

Выпуски Ника Картера появлялись в продаже каждую пятницу сразу же по две штуки. Цена — четырнадцать копеек. Их привозил курьерский поезд Санкт-Петербург — Одесса, развивавший, как го-

ворили, скорость до ста десяти верст в час. Тотчас же по прибытии поезда свежееотпечатанные выпуски Ника Картера, манящие своими разноцветными обложками с изображениями эпизодов из его приключений, уже лежали большими стопками на прилавках газетных киосков.

Безумное желание купить эти два новых выпуска терзало мою душу: я остановился на самом интересном месте и теперь представлялась возможность узнать, чем кончилась история Инесс Наварро — прекрасного демона.

...загипнотизированная красавица Ирма сидела в кресле, и вдруг за ее спиной зашевелилась портьера и возникла с коварной улыбкой на устах сама, собственная своей персоной, Инесс Наварро, держа в руке маленький револьвер, бесшумно стрелявший отравленными пулями.

— Ха-ха-ха,— мелодично захохотала Инесс Наварро — прекрасный демон, пожирая глазами белое, как мрамор, лицо погруженной в гипнотический сон помощницы Ника Картера.— Наконец-то ты попала в мои сети, проклятая ищайка.

С этими словами красавица преступница взвела курок, но в это время...

Что произошло «в это время», осталось для меня тайной, так как на этом «выпуск» кончился и дальше было напечатано — «продолжение в следующих выпусках».

Теперь они, эти выпуски, лежали на прилавке киоска, а в карманах у меня было пусто, и не было никаких шансов достать необходимые четырнадцать копеек.

Между тем желание узнать, чем закончилась история Инесс Наварро — прекрасного демона, с каждой минутой усиливалось и наконец превратилось в манию.

Я совсем потерял рассудок.

Я мучительно придумывал, как бы раздобыть новые выпуски, и наконец решился на преступление. Сначала я хотел просто подойти к киоску и открыто, нагло схватить два выпуска и убежать куда-нибудь подальше — на берег моря, и там в уединении под скалой залпом прочесть выпуски. Однако от этого плана пришлось отказаться, так как темный инстинкт самосохранения подсказал мне, что как только я схвачу с прилавка выпуски, хозяин киоска — золотушный еврей с лицом, сплошь засыпанным, как просом, желтыми веснушками, выскочит из киоска через заднюю дверь и устроит такой гвалт, что меня тут же схватят прохожие и как жалкого воришку поведут к постовому городовому, а что последует за этим было так ужасно, что невозможно себе представить.

Тогда злой дух шепнул в мое левое ухо сделать следующее: незаметно для хозяина обойти киоск вокруг и запереть двери на замок. Но так как замка у меня не было, то злой дух посоветовал связать кольца для замка крепко-накрепко какой-нибудь проволокой или шпагатом. Но так как ни проволоки, ни шпагата у меня при себе не имелось, а действовать надо было немедленно, то злой дух посоветовал завязать кольца носовым платком.

Носовой платок лежал у меня в кармане, хотя он был далеко не первой свежести, но в дело годился.

Я на цыпочках обошел шестигранную будку и с замиранием сердца и с различными ужимками пропустил носовой платок сквозь оба кольца и завязал крепчайшим узлом, который для большей прочности еще затянул зубами и облизал языком. Злой дух сказал мне,

что теперь я могу подойти к прилавку и «шóпнуть» выпуски, и даже не убежать, а просто поспешно удалиться. Что должен сделать хозяин киоска? Он, несомненно, бросится к двери, но — увы! — не сумеет ее открыть и останется в западне. Когда же он высунется на улицу и позовет городского, то и следа моего уже не будет — кричи не кричи.

Проверив прочность узла, я подошел с блуждающей улыбкой к прилавку и, не отвечая на ласковый вопрос еврея: «Что тебе надо, мальчик?» — схватил выпуски и бросился наутек, содрогаясь от мысли, что сейчас начнутся крики, свистки городского, погоня, меня схватят за руки и поведут уже не в участок как обыкновенного ворюгу, а как грабителя, потому что я совершил не просто мелкую кражу, а самый настоящий налет на торговое заведение.

Я перебежал как заяц через улицу и шмыгнул в переулок, ведущий к нам в Отраду, прижимая к бьющемуся сердцу липкие выпуски, от которых пахло типографской краской. Меня немного удивило, что я не слышу за собой шума погони и свистков.

Добежав до строящегося трехэтажного дома Мирошниченко, я взобрался по сходням на самый верх лесов, туда, где уже возвели стропила, наполовину покрытые новенькой, звонкой черепицей. Здесь на кирпичном борове сидел, пригорюнившись, Жорка Собецкий, который боялся идти домой, так как у него в дневнике стояло два кола, одна двойка и было записано весьма неприятное замечание. Его круглое толстое лицо лентяя и увальня было покрыто мутными следами высохших слез.

Я с торжеством показал ему заветные выпуски, и мы тотчас, как лунатики, погрузились в чтение продолжения серии «Инесс Наварро — прекрасный демон». Ничего вокруг не видя и не слыша, мы читали до тех пор, пока не дочитали до конца и на чердаке уже стемнело.

...только тут я понял весь ужас своего положения...

Жорка, вздохнув, поплелся домой, с таким трудом волоча свой ранец за оторванную лямку, как будто бы он был набит свинцом. Следом за Жоркой поплелся и я, запрятав под куртку украденные выпуски. Мне казалось, что уже все прохожие знают о моем ограблении газетного киоска. Однако на улице все было спокойно, никто не обращал на меня внимания. Дома тоже все было как обычно.

Неужели, думал я, мой грабеж остался незамеченным? Быть того не может, чтобы хозяин киоска не обнаружил, что дверь надежно завязана платком. Наверное, он давно уже дал знать полиции, и теперь проклятые ищейки из сыскного идут по моим следам и с минуты на минуту в квартире раздастся звонок, дверь откроется, войдут сыщики и полицейские, наденут на меня стальные наручники и поведут в карете под конвоем в Одесский тюремный замок, в одиночную камеру.

Действительно раздался звонок; я чуть не потерял сознание и заперся в уборной; но это пришел папа с заседания педагогического совета.

Голубые тетрадки у него под мышкой напоминали мне выпуски Ника Картера.

Папа, как всегда, посмотрел на меня усталыми глазами, поерошил мою голову и поцеловал в лоб, из чего я заключил, что ему еще ничего не известно.

На сегодня беда как будто бы миновала, но что будет завтра? Страшно подумать! Завтра утром мне предстояло идти в гимназию

как раз мимо газетного киоска — другого пути не было, — и меня непременно увидит ограбленный мною хозяин киоска, и тогда разразится ужаснейший скандал.

Я постарался прошмыгнуть мимо киоска, отвернув лицо в другую сторону, но все же краем глаза я увидел будку и над прилавком рыжее лицо хозяина, смотревшего на меня с неопределенным выражением иронии и деланного равнодушия. Я внутренне вздрогнул. Ох, этот тихий еврей что-то против меня замышляет! Наверное, он уже сообщил о моем поступке в полицию и директору гимназии, и теперь меня арестуют или, что еще хуже, выгонят из гимназии с волчьим билетом.

Ни жив ни мертв я вошел в класс, преувеличенно льстиво расшаркавшись в коридоре с инспектором, который довольно равнодушно кивнул мне своей серебряной, стриженной под бобрик головой.

Все пять уроков я просидел как на иголках, ожидая, что вот-вот меня вызовут к директору на расправу.

Напрасно.

День прошел весьма мирно, благополучно, даже без двоек. Возвращаясь домой, я снова торопливо прошмыгнул мимо газетного киоска и снова увидел краем глаза лицо хозяина, равнодушно, но в то же время как бы двусмысленно смотревшего на меня поверх «Одесской почты», которую читал.

Так прошла неделя и наступила пятница, когда обычно на прилавке появлялись новые выпуски Ника Картера, с новыми завлекательными картинками на обложке, выпуски, полные загадок и тайн. На этот раз с петербургского курьерского привезли новую серию под названием «Серия доктора Дацара». Я не мог выдержать искушения и прошел совсем рядом с газетной будкой, чтобы хоть одним глазом взглянуть на картинку на обложке нового выпуска:

...Ник Картер стоял в дверях роскошной гостиной, где пировали преступники из великосветской шайки доктора Дацара, и в каждой руке великого сыщика из-за бархатной портьеры высывалось по большому револьверу «смит-и-вессон» сорок четвертого калибра. Преступники были бородатые, во фраках, в белых крахмальных пластронах, дамы-преступницы в бальных платьях, все увешанные бриллиантами. Один лишь Ник Картер был одет скромно, корректно, но его юношеское энергичное лицо как бы саркастически говорило: «Попались, голубчики. Руки вверх. Теперь я вас всех упеку в Синг-Синг и посажу на электрический стул!..

— Молодой человек! Псссс, молодой человек! — услышал я голос хозяина газетного киоска. — Я не понимаю, почему вы все время бегаете мимо меня как заяц! Ваш папа уже давно заплатил мне ваш доллар за те два выпуска Ника Картера из серии «Инесс Наварро — прекрасный демон». Ваш папа покупал у меня позавчера «Одесский листок», и я ему напомнил, что за вами четырнадцать копеек. Берите серию доктора Дацара, не стесняйтесь, вы имеете у меня кредит. Может быть, вы выберете еще что-нибудь из Шерлока Холмса? «Кинжал Негуса»? Мальчишки хвалили. Может быть, «Приключения Ирмы Блаватской»? Или «Эльза Гавронская»? Хотя вам еще рано знать что-нибудь про ее любовные похождения...

Дети капитана Гранта.

Билеты в городской театр стоили дорого, в особенности кусались места в партере. Поэтому в те редкие случаи, когда мне удава-

лось попасть в театр, я всегда видел зрительный зал из боковых мест амфитеатра или даже галерки — глубоко внизу, косо, причем знаменитая электрическая люстра на грубо размалеванном потолке — гордость одесской городской управы — была совсем близко от меня — рукой подать! — большая, усыпанная светящимися жемчужинами, как корона, в то время как живописный занавес с изображением сцен из «Руслана и Людмилы» казался не больше цветной открытки, прилепленной боком над совсем крошечной рампой и суфлерской будкой величиной с небольшую рубчатую ракушку. В яме оркестра виднелись пюпитры, люди во фраках, музыкальные инструменты, перелистывались ноты, и оттуда взвивались вверх фиоритуры и гаммы настраиваемых инструментов — какофония звуков, взвинчивающая нервы и обещающая вскоре превратиться в страстную стройную музыку оперы.

Когда же свет в зале мерк и в темноте виднелись лишь фотографическо-красные фонарики над выходами из зрительного зала, и картина занавеса уходила куда-то вверх, я обыкновенно видел только переднюю часть дощатого пола сцены, выступления декораций и артистов в таком ракурсе, что все они были какие-то головастые, коротконогие и передвигались по сцене боком, как крабы, то и дело исчезая из поля моего зрения. Тут не мог помочь даже бинокль.

Но вот однажды на рождестве мы всей семьей отправились в театр на детский утренник по удешевленным ценам. Давались «Дети капитана Гранта», и тетя настояла, чтобы мы сидели, как все порядочные люди, в партере, в креслах, обитых бархатом, и даже не где-нибудь сзади, а в шестом ряду, что считалось большим шиком.

Я думаю, в глубине души тетя мечтала о ложе первого или второго яруса. О ложе бенуара или бельэтажа с зеркалом на косом муаровом простенке аванложи нечего было и мечтать.

Однако и шестой ряд партера было тоже неплохо.

Правда, наши места находились немного с краю, так что сцена была видна все-таки не на всю свою глубину, но совсем незначительно, так что это не раздражало.

...волшебное слово «утренник», от которого холодели руки, падало сердце и свежий крахмальный воротничок под стоячим воротником суконной гимназической куртки охлаждал шею, как ледяной...

Стояли трескучие морозы, редкие для нашего края, в театре было холодновато и пустовато, и я испытывал ни с чем не сравнимое чувство утреннего спектакля, когда в белых фойе стоял голубой дневной свет, проникавший сквозь высокие замерзшие стекла окон, а в зрительном зале царил парчовый электрический свет, и над ложами светились крупные удлиненные жемчужины матовых ламп, отделанных бронзой.

Одна из прелестей городского театра — как говорят, самого красивого европейского театра XIX века — заключалась в том, что в антракте между третьим и четвертым действиями медленно, очень медленно опускался и тут же снова поднимался особый, противопожарный железный занавес, раскрашенный под золотистую парчу с прямыми складками и тяжелыми шелковыми кистями, хотя под ними явственно ощущалась ребристая железа, которое где-то вверху, невидимо для зрителей, накручивалось и раскручивалось, о чем свидетельствовали слегка рыжеватые от ржавчины продольные полосы. Спуск железного занавеса так занимал зрителей, что в антракте между третьим и четвертым действиями почти никто не покидал своих мест и буфет в фойе торговал плохо.

Буфет в фойе бельэтажа привлекал наше внимание и волновал, быть может, еще сильнее, чем действие на сцене. Нигде я не видел таких больших груш дюшес, от одного взгляда на которые рот наполнялся слюной, таких больших, обернутых серебряной бумагой шоколадных бомб с сюрпризами в середине, таких сводящих с ума пирожных, маленьких бутылочек лимонада — газес, которые стреляли своими пробочками, как пистолеты, а потом их горлышки с остатками проволочки слегка дымились, распространяя вокруг влажный, покалывающий запах лимона, наконец, не было ничего прекраснее театральных бутербродов, выставленных на прилавке буфета, в особенности маленьких круглых бутербродиков с блестящей, черной, как вакса, паюсной икрой по двадцать копеек за штуку, чего наше семейство не могло себе позволить.

Вообще цены в буфете были нам недоступны. Как некую легенду я воспринимал слух о том, что большая груша дюшес стоит здесь один рубль. Это было выше моего понимания и окружало театральный буфет каким-то сказочным ореолом.

С большим волнением мы прохаживались мимо буфетной стойки по как бы ледяной поверхности хорошо натертого штучного паркета фойе бельэтажа, боясь поскользнуться и не отводя восхищенных глаз от резного великолепного буфета, похожего на величественный орган, от всех лакомств и закусок, выставленных на его прилавке, от букетов искусственных восковых роз и папоротников, из-за которых выглядывало, отражаясь во многих зеркалах, лицо буфетчика, розовое, как лососина, на котором было написано некоторое презрение, относящееся ко всем зрителям, не имевшим средств, чтобы взять что-нибудь в буфете. Он как бы вскользь оглядывал нас, нашу одежду, наши башмаки, зная наверняка, что мы не подойдем к его буфету и ничего не купим. Здесь мы могли только бесплатно отражаться в громадных холодных зеркалах вместе с лепным гипсовым потолком.

...нет, вы только подумайте: одна груша — пусть даже дюшес — стоит один рубль. Грабеж среди белого дня!..

Рядом с нами в шестом ряду партера сидело еще одно семейство с девочкой моих лет в бархатном гранатовом платье с белым кружевным воротником, который до половины закрывал ее стройную, прямую спину. У девочки были распущены по плечам волосы, что делало ее в моих глазах похожей на русалку. От нее пахло одеколоном, и она от волнения все время мяла в руке маленький батистовый платочек. Башмачки на ней были белые, лайковые, на пуговицах.

Нечего и говорить, я сразу же почувствовал к ней сильнейшее любовное влечение, но так как я был с девочками робок и не осмеливался с ней заговорить, а она была высокомерна, то мы так с ней и не познакомились.

...что касается самой пьесы, то сюжет ее был всем нам хорошо известен, и мы не уставали удивляться, как это все хорошо, наглядно, красиво и убедительно выглядит на сцене: лорд Гленарван внушал почтение своим бритым длинным лицом с большими рыжими бакенбардами; Паганель в клетчатых панталонах, со складной зрительной трубой в руках то и дело спотыкался, падал, был очень рассеян и один раз даже надел на голову вместо своего тропического шлема дамскую муфту, что вызвало в зрительном зале бурю смеха и аплодисментов; подлец и негодяй Айртон вызывал дружное него-

дование... Индеец из длинного ружья выстрелил в летящего картонного орла, который нес в когтях фигуру картонного мальчика, кажется Роберта. Мы все боялись, что индеец промахнется и попадет в мальчика, но все обошлось благополучно. Орел был убит и упал за кулисы, откуда выбежал живой белокурый мальчик Роберт в бархатном костюме, так счастливо избежавший смерти...

...Держу пари, что это была переодетая девочка, даже скорее женщина!..

Это все, конечно, волновало, но еще больше занимал меня вопрос: как все это делается на сцене? самая механика спектакля? И я делал вслух различные предположения, возбуждая недовольство соседей, шиканье в мою сторону и презрительные взгляды обольстительной девочки с распушенными волосами.

Но одна картина по-настоящему потрясла нас до глубины души — это когда герои попали в Патагонию, в антарктические льды и неизбежно должны были замерзнуть среди нагромождения ледяных глыб, зловеще освещенных ртутно-белым полярным солнцем. Пресная вода и продовольствие кончились, топлива не было, ужасный мороз в сто шестьдесят градусов по Фаренгейту леденил дыхание, и не было топлива для костра, тем более что и спичек тоже не было.

Отчаянное положение, совершенно безвыходное!

Они сидели на сугробе, прижавшись друг к другу и поручив себя провидению, так как ничего другого не оставалось делать. Они замерзали на глазах у всего зрительного зала, а провидение медлило! В довершение всего громадный ледяной торос вдруг как-то странно осветился внутри магическим синим светом, и зрители ахнули, увидев во льду Смерть: самую настоящую, доподлинную Смерть с оскаленным черепом, в белом саване, с косой, занесенной над коченеющими героями.

«Как о н и это сделали?» — думал я в одно и то же время с ужасом и удивлением.

Казалось, все кончено. Провидение опоздало. И в этот самый миг вдалеке, за нагромождением полярных льдов на узкой полосе синей воды открытого океана вдруг появилась точка, превратившаяся в совсем крошечный фрегат, на всех парусах идущий на помощь погибающим путешественникам. Иногда фрегат удалялся за кулисы, а затем снова выплывал уже гораздо ближе, делаясь значительно больше. Потом он снова ушел за кулисы, и сейчас же выехал на первый план среди прибрежных льдов его нос в натуральную величину, с бушпритом, якорем и тремя надутыми кливерами — мал мале меньше.

«Ура!» — закричали погибающие и бросились в объятия своих спасителей, выскочивших из корабля на сцену.

Неописуемый восторг охватил зрительный зал. Все кричали «ура», хлопали, хохотали, визжали. Это был настоящий триумф. А несчастной Смерти ничего не оставалось, как, взвалив на плечо свою бутафорскую косу, уйти за кулисы, путаясь в своем белом саване: видно, помощник режиссера забыл выключить синий свет в ледяной глыбе, так что бегство Смерти вызвало в зале прилив злорадного веселья.

Тут тетя, вытирая кружевным платочком невольные слезы, вынула из своей большой муфты коробку шоколадных конфет «от Абри-

косова» и велела своему любимцу, маленькому Женечке, угостить соседей. Женечка, в коротеньких бархатных штанишках и длинных чулках, открыл коробку и, увидев много чудесных шоколадных конфет, посередине которых так аппетитно лежал оранжевый треугольник засахаренного ананаса, не сразу нашел в себе силы приступить к угощению соседей.

— Ну что же ты, Женечка, угощай, не стесняйся.

Тогда Женя, посмотрев из-под своей мягкой челочки каштановыми невинными глазками, поднес открытую коробку красивой девочке и дрогнувшим голосом сказал: «Может быть, вы не хотите конфет?» — чем, в сущности, и закончился наш рождественский выезд в городской театр.

...о зимнее отражение вазы с яркими апельсинами в громадном — во всю стену — зеркале фойе бельэтажа! О маленькие бутерброды с паюсной икрой! О девочка-русалка!

Ловля воробьев.

Среди мальчиков распространилась неизвестно откуда взявшаяся уверенность, что воробьев очень легко и просто ловить на водку: стоит лишь вымочить хлебный мякиш в водке и раскидать его кусочками во дворе или на полянке в тех местах, где они обычно собираются стаями.

Сейчас мне непонятно, для чего понадобилось ловить воробьев. Но тогда этот вопрос казался настолько ясным, что не требовал ответа.

Какой же мальчик откажется от возможности поймать живого воробья, а для какой цели — не имеет значения. Важен самый факт ловли. Это, если угодно, заложенный в каждом человеке древний инстинкт зверолова.

До этого простейшим способом ловли воробьев у нас в Отраде считался такой способ: из четырех кирпичей складывали на земле нечто вроде открытой коробки, а пятый кирпич, приподнятый на палочке, являлся крышкой. От палочки тянулся длинный шпагат. В кирпичную коробку насыпали пшено или какую-нибудь другую приманку. Едва воробей вскочит в кирпичную ловушку, чтобы поклевать приманку, надо дернуть за шпагат, выбить палочку-подпорку, и верхний кирпич накроет воробья в кирпичной западне. Теоретически это было очень хорошо, но на практике всегда почему-то оказывалось, что воробьи не хотят идти на приманку; по всей вероятности, их пугали грубые кирпичи, а палочка с привязанным к ней шпагатом вызывала подозрение, что тут дело нечисто.

Сколько раз я ни пытался поймать воробья таким способом — никогда ничего не получалось.

Ловить воробьев на водку сделалось чем-то вроде общего поветрия среди всех мальчиков нашего города. Появились мальчики, которые божились и ели землю, что собственноручно поймали несколько воробьев на водку. Поддался этому поветрию, разумеется, и я.

Желание собственноручно поймать воробья на водку сделалось моей навязчивой идеей, и я почувствовал, что не успокоюсь до тех пор, пока моя мечта не осуществится.

Но возникал серьезный вопрос: где достать водку? В нашем трезвом доме ее не водилось. Запрещалось даже произносить это слово. Я знал, что обычно пьяницы покупают водку в монополюшке, то есть в так называемой казенной винной лавке, и чаще всего распивают ее тут же на улице прямо из горлышка — буль-буль-буль-буль, — причем водка течет по бороде извозчика-пьяницы.

Я знал, где помещается ближайшая монополька, но не имел представления, сколько стоит водка и продадут ли ее мальчику моего возраста, да еще и гимназисту, что строжайше запрещалось законом.

Я навел справки у дворника и узнал, что водка бывает разная: «белая головка» и «красная головка», то есть запечатанная белым сургучом и красным сургучом. «Белая головка» считалась лучшей очистки и стоила дороже «красной головки» — водки плохой очистки. Я понимал, что воробьям все равно, на какую водку их будут ловить, поэтому решил купить «красную головку», если, конечно, мне ее в монопольке отпустят. Остановка была, как всегда, лишь за деньгами.

...Эх, деньги, деньги! Сколько раз мне приходится упоминать о них в этой книге. Но ничего не поделаешь. Такова жизнь...

Где их достать? Я обшарил доску буфета, на которую кухарка клала сдачу с базара. На буфете денег не было. Тетина комната была заперта на ключ. В шкафу, в старых папиных брюках, тоже ничего не нашлось. Что же делать, как быть? Я посмотрел в окно и увидел во дворе — как нарочно — множество воробьев, которые попрыгивали на тугой осенней земле среди облетевших кустов сирени и клевали всякую дрянь. Была б у меня под рукой водка, я бы им показал!

Надо заметить, что водка продавалась в бутылках разного размера, носивших соответствующие названия: «сотка», «шкалик», совсем крошечные «мерзавчики» и еще что-то в этом же духе. Кажется, шкалик стоил с посудой двадцать одну копейку. Я был уверен, что шкалика вполне хватит на десятка два воробьев.

Тут же я придумал тонкую хитрость, чтобы мне отпустили в монопольке водку: пущу слезу и скажу жалобным голосом, что у меня простудился маленький братик и доктор прописал растирать его водкой, так что с этой стороны все было продумано очень хорошо.

Но деньги, деньги!.. Где их взять?

Между тем желание немедленно приступить к ловле воробьев уже как пожар охватило мою душонку.

Тогда мне пришла в голову мысль обратиться за помощью к жильцу, снимающему у нас комнату. Жилец был препоганая личность, сварливый и придирчивый. Он нигде не служил, целый день валялся в жилете и без сапог, положив ноги в белых несвежих карпетках на железную спинку кровати. Нанимая у нас комнату, он отрекомендовался известным путешественником Яковлевым. Это произвело на тетю некоторое впечатление, и хотя его волосатое лицо, грязное пенсне, несвежий крахмальным воротничок, бумажная манишка и какое-то как бы вогнутое лицо с глазами привередника и склочника тете не понравилось, но путешественнику все же отдали комнату.

...я еще при случае расскажу более подробно про этого жильца-путешественника, а также про других жильцов, которые снимали у нас в разное время комнаты, но сейчас не буду отвлекаться...

Гримасничая от чувства неловкости, я постучал в дверь известного путешественника. Храп, раздававшийся в комнате жильца, прекратился, и я услышал скрипучий, недовольный голос в нос:

— Кто там? Что вам надо от меня? Войдите!

Я вошел и, преодолевая страх перед знаменитым человеком, произнес, не забыв шаркнуть ножкой:

— Здравствуйте. Извините, что я вас разбудил. Дело в том, что дома никого нет, а мне крайне необходимы деньги на водку.

— Вот как,— сказал в нос знаменитый путешественник.— Рановато начал. У меня нету денег.

— Всего двадцать одну копейку,— умоляющим голосом сказал я.

— Ну да, на шкалик,— заметил путешественник.

— Вы не беспокойтесь, я вам отдам. Честное благородное слово, святой истинный крест,— перекрестился я и для большей убедительности прибавил: — Пусть я провалюсь на этом месте.

— М-м-м,— недовольно промычал Яковлев, надевая пенсне, отчего его вогнутое лицо стало как будто бы еще более вогнутым.— М-м-м, довольно странно так бесцеремонно врывать в комнату отдыхающего квартиранта и требовать от него каких-то денег! Н... не по-ни-маю-с!

С этими словами знаменитый путешественник, не вставая с кровати, порывлся в карманах своих полосатых, так называемых «штучных» брюк, пожелтевших по швам и вокруг ширинки, позвенел связкой каких-то ключиков и затем протянул мне на ладони ровно двадцать одну копейку мелочью.

— Но имей в виду, что я даю тебе эти деньги в счет квартирной платы. И не смей меня больше беспокоить.

Я на цыпочках удалился, за моей спиной заперли дверь на ключ, а затем послышался звон пружин и храп, похожий на всхлипывания.

С покупкой водки обошлось не слишком гладко, но все же кое-как обошлось. Сиделица казенной винной лавки, помещавшаяся за провололочной сеткой загородки, напудренная дама с заплаканными вдовьими глазами и толстым жирным лицом с лиловым румянцем, сказала мне грубо:

— Пошел вон отсюда. Как не бессовестно, а еще гимназист, сын интеллигентных родителей, и уже с таких лет начинаешь. Вот я сейчас позову городского, и он отнимет твой гимназический билет. И чтоб я тебя больше не видела. Пошел!

Я выскочил как ошпаренный на улицу, где толпились выпившие извозчики и босяки, откупоривая свои сотки, мерзавчики и шкалики. Делалось это следующим образом: сначала обдирался с головки сургуч; обдирался он о жестяную терку, нарочно для этой цели прибитую к стволу акации, чтобы пьяницы не портили городских насаждений.

Извозчики в своих клеенчатых или касторовых шляпах с пряжкой, в синих армяках до полу, бородатые, с прозрачно-голубыми глазками и красными носами, а также босяки— действительно босые или в каких-то немыслимых бахилках, привязанных к ногам веревочками, в ситцевых штанах и рваных рубахах, сквозь дыры которых виднелось голое тело,— то, что тогда называлось «типы Максима Горького»,— под наблюдением городского толпились возле терки, обдирая об нее сургуч, так что терка казалась как бы окровавленной. Затем пьяницы ловким ударом ладони о дно шкалика выбивали пробочку и, задрвав голову, вливали себе в рот чистую жидкость, распространявшую сладковатый, слегка наркотический запах, от которого у меня кружилась голова; затем они вытирали рукавом волосатые рты и, аппетитно хрустя, заедали желтовато-прозрачным соленым огурцом, истекающим рассолом, в котором блестели бесцветные огуречные семечки.

Я увидел тачечника с мешком на голове, уже немного выпившего, который лежал внутри своей тачки с опущенными оглоблями, ожидая, когда его кто-нибудь наймет. У него были русые мокрые усы и добрые полупьяные глаза. Почувствовав к нему доверие, я попросил, чтобы он купил мне в монопольке водку. Подмигнув мне как своему

брату-алкоголику, он охотно согласился, и вскоре я со шкаликом в кармане шинели, откуда постыдно выглядывало горлышко с красной сургучной печатью, прибежал домой, не раздеваясь накрошил в глубокую тарелку белого хлеба и залил водкой, предварительно отодрав сургуч о подоконник. Затем я вышел во двор и стал разбрасывать кусочки мокрого мякиша под голыми кустами сирени и под яблонями со стволами, уже закутанными на зиму соломой.

Меня удивило, что ни одного воробья поблизости не было, хотя до покупки шкалика они покрывали все кусты и деревья.

Я спрятался за дверь черного хода и стал поджидать, справедливо полагая, что воробьи непременно заметят кусочки белого хлеба и слетятся на добычу. Однако воробьев как не бывало. Прошло не менее получаса, прежде чем прилетел первый воробей, красивый, уже немолодой, по-зимнему пухлый, хорошо отъевшийся, с блестящими перышками, как бы искусно, тщательно, во всех деталях нарисованными на шелку тушью каким-нибудь великим китайским или японским художником. Глазки воробья по-детски блестящие, и головка вертелась во все стороны, в то время как он сам упруго попрыгивал на своих ножках. Сначала он не обратил внимания на кусочки мокрого хлеба, но наконец заметил, подскочил и клюнул один из них, потрепал, с отвращением выпустил из клюва, вспорхнул и быстро улетел: ф-р-р-р!..

«Вот дурак», — подумал я.

Скоро прилетели штук пять отличных воробьев и стали всей стойкой как по команде прыгать среди моей приманки, но почему-то не обращали на нее внимания, клюя землю между кусочками хлеба. А хлеба не трогали.

«Что они, сдурели?» — подумал я.

Воробьи попрыгали немного среди кусочков хлеба, а затем как по команде улетели, катясь по воздуху низко над землей как рассыпанные бусы.

«Фр-р-р-р...»

Я порядком озяб, но твердо решил не уходить, пока не поймаю хоть одного воробья. Больше всего меня интересовало, как будет вести себя опьяневший от водки воробей.

Из своей засады я видел, как тетя привела из детского сада Женьку и как потом пришел папа в драповом пальто, держа под мышкой кипу голубых ученических тетрадок, накрест перевязанных шпагатом.

Я проторчал за дверь черного хода до темноты.

Уже пролетело несколько первых снежинок, предсказывавших скорое наступление зимы.

Воробьи прилетали и улетали — стаями и поодиночке. Некоторые клевали кусочки моего хлеба и даже, случалось, уносили их куда-то в клюве, наконец они полностью расклевали приманку, но ни один из них не опьянел и не свалился с ног — на чем, собственно, и строились все мои расчеты.

Несколько раз мне кричали из форточки, чтобы я шел готовить уроки и пить чай, но я не подавал голоса, будучи не в силах примириться с мыслью, что моя мечта рухнула. Мне все еще казалось, что вот-вот прилетит новая стая воробьев, которые наедятся остатками смоченного водкой хлеба, опьянеют, свалятся с ножек, и я их подберу, вдребезги пьяных, сразу штук пять. То-то все будут поражены!

...увы, мои мечты так и остались мечтами. Способ ловли воробьев на водку оказался полной чепухой. Пришлось возвратиться домой с пустыми руками...

На этом историю еще одной моей разбитой мечты можно было бы и закончить, если бы через несколько дней не произошло следующее.

Едва я, возвратившись из гимназии, переступил порог квартиры, как передо мною предстал отец. Пенсне прыгало на его носу, шея подергивалась, словно ее давил слишком тесный воротничок, на щеках играл гневный румянец.

— Негодный мальчишка! — закричал он, выставив вперед нижнюю челюсть. — Оказывается, ты тайно предаешься употреблению спиртных напитков!

— Папочка, — зарыдал я, — клянусь тебе чем хочешь... Святой истинный крест...

— Не кощунствуй, — сказал отец и, взяв меня за плечи, стал трясти, приговаривая: — Боже мой! У меня сын пьяница! Он пьет водку!

Его борода тряслась все сильнее и сильнее.

— Папочка, откуда ты знаешь? — рыдая спросил я.

— Путешественник Яковлев сегодня рассчитывался за комнату и вычел двадцать одну копейку, которые ты у него тайно выпросил на водку. Так что запирательство твое бесполезно. Ты мне больше не сын!..

...и так далее и так далее...

По-видимому, чаще всего человек говорит правду, когда фантазирует, и больше всего врет, когда старается быть правдивым...

Лекция.

Папе, который преподавал географию, пришла идея попросить путешественника Яковлева прочесть для епархиалок лекцию с волшебным фонарем: было известно, что у Яковлева в большом клетчатом чемодане хранится коробка с диапозитивами, сделанными лично во время многочисленных его путешествий по земному шару.

Яковлев согласился не сразу.

Сделав кислое лицо, он сначала сказал, что публичные лекции в переполненном зале, в духоте слишком утомляют его нервную систему и потом он долго страдает бессонницей. Папа пообещал, что актовый зал, где произойдет лекция, будет хорошо проветрен, а зрителей придет не слишком много — всего четыре старших класса. Тогда Яковлев поставил под сомнение качество училищного волшебного фонаря. Папа уверил его, что фонарь еще почти совсем новый.

— Но, конечно, без электрического источника света? — саркастически спросил Яковлев.

Папа смутился, и лоб его слегка порозовел.

— Да, — ответил он, — но имеется очень сильная керосиновая лампа с зеркальным рефлектором.

— Воображаю, какая от нее будет копоть и жара, — заметил в нос известный путешественник.

— Копоть устраняется специальной вытяжной трубой, — слегка обидевшись за епархиальный волшебный фонарь, ответил папа и подергал шей.

— Могу себе представить эту вытяжную трубу, — фыркнул Яковлев, и его вогнутое лицо стало еще более вогнутым.

— Во всяком случае, я вам обещаю, что копоты не будет,— сказал папа официальным тоном.

Чем больше капризничал путешественник, тем сильнее разгоралось в папе желание устроить лекцию «с туманными картинами», как это тогда называлось. Папа уже заранее предвкушал то впечатление, которое произведут на епархиалок «туманные картины», а главное, лекция такого известного путешественника, как Яковлев, не говоря уже о высоком педагогическом достоинстве всего мероприятия в целом.

Еще немного поупрямившись, Яковлев наконец кое-как согласился.

— Вы окажете нам громадное одолжение и сделаете воистину святой, бескорыстный вклад в дело воспитания молодых девиц духовного сословия, чьи души жаждут просвещения,— сказал папа.

На лице известного путешественника появилась гримаса не совсем понятного неудовольствия. Однако он полез в свой раздутый клетчатый чемодан, набитый грязным бельем, и извлек из него коробку с диапозитивами, сложенными в большом беспорядке.

Папа разложил их по странам, отобрал самые лучшие и впечатляющие (по возможности без обнаженных купальщиц с острова Цейлон), а затем они вдвоем — папа и путешественник — составили краткий конспект будущей лекции и последовательность демонстрации диапозитивов.

Помню, что эта лекция доставила папе массу хлопот и огорчений. Яковлев потребовал, чтобы ему сделали специальный экран, наотрез отказавшись демонстрировать свои диапозитивы на белой стене актового зала, считая это профанацией науки. Экран влетел епархиальному училищу в копеечку. Затем, придирчиво осмотрев волшебный фонарь, специально для этой цели привезенный папой на извозчике, путешественник остался крайне недоволен устройством, в которое вставлялись диапозитивы: во-первых, диапозитивы Яковлева не вполне пролезали в щель, а во-вторых, их надо было вставлять по одному, и Яковлев потребовал, чтобы заказали специальную подвижную рамку, куда можно было бы вставлять сразу два диапозитива, с тем чтобы пока один показывали, другой вставляли и демонстрация шла без перерывов и без задержек. Это было вполне резонно, но обыкновенные столяры не брались за столь тонкую работу, а когда нашли столяра-специалиста, то он заломил за рамку что-то около десяти рублей — сумму настолько огромную, что казначей епархиального училища с большим неудовольствием решил ее выплатить, поставив на вид папе, что его географические затеи обходятся слишком дорого и являются сверхсметными расходами. Услышав эти слова казначея, папа вспыхнул и готов был отказаться от устройства лекции, но любовь к географии все-таки победила.

В день лекции Яковлев потребовал, чтобы его отвезли в епархиальное училище на извозчике на резиновом ходу, так как боялся разбить свои драгоценные диапозитивы. Папа согласился, но так как оплата извозчика не входила в смету, то он заплатил извозчику из своих личных средств.

Меня и Женьку взяли на лекцию при условии, что мы будем себя вести прилично, и мы сидели в актовом зале епархиального училища в волюющей темноте среди девочек-епархиалок, которые шушукались вокруг нас и сдержанно хихикали.

Начальница сидела впереди всех на золоченом стуле, строгая, холодная, с золотыми часиками на золотой цепочке за поясом, с носом и выпуклой грудью, как у индюшки. Классные дамы сидели рядом с

епархиалками, бдительно следя за тем, чтобы не произошло ничего неприличного: ведь все-таки в стенах этого закрытого женского пансиона находился чужой мужчина—путешественник Яковлев, и кто его знает, какие у него моральные устои.

На особом столике помещался черный, уже раскаленный волшебный фонарь, бросая вокруг себя на стены яркие стрелы лучей. Вокруг него хлопотал папа, вставляя в новую рамку диапозитивы, и я испытывал душевную боль и унижение, видя папу в роли служащего.

Сам же известный путешественник в длинном сюртуке, от которого на весь актовый зал пахло нафталином и лежалым бельем, выштался на кафедре рядом с экраном и держал специально заказанную за три рубля—по его категорическому требованию—длинную указку, от которой пахло столярной политуры. Этой указкой Яковлев водил по ярко освещенному прямоугольнику экрана, где с помощью папы появлялись увеличенные фотографии: то кокосовая роща на берегу Индийского океана; то фиорды Норвегии; то буддийский храм в горах Тибета; то группа нагих белозубых негротянок, вызвавших своим появлением на экране тревожное движение начальницы и глухой ропот классных дам; то египетские пирамиды, финиковые пальмы и на переднем плане верблюд с голенастыми ногами и англичанин в пробковом тропическом шлеме, бесстрастно восседавший на его горбе; то заход солнца на Ниле и опять-таки по колено в воде совсем не одетые египтянки...

...Даже в темноте я видел, как густо краснеет папина шея...

А известный путешественник, вяло водя указкой по экрану, скучным голосом бубнил, не забывая всякий раз называть номер диапозитива:

— Номер гм... пятнадцатый. Вид на Неаполитанский залив со знаменитым вулканом Везувием на заднем плане. На переднем плане несколько хорошеньких итальянок с бубнами, танцующих тарантеллу.... Номер шестнадцатый. Базар в Занзибаре. Справа обнаженная фигура местной красавицы с кувшином на голове... Номер тридцать шесть. Купальщицы на берегу Бискайского залива... Всемирно известная мраморная группа «Леда и лебедь» — вокруг пораженные туристы...

Откровенно говоря, мы с Женькой испытывали ужасную муку и, когда лекция наконец по требованию начальницы кончилась, почувствовали большое облегчение.

Начальница поднялась со своего золоченого стула и, как бы неся перед собой свою грудь, подпертую корсетом, величественно и грозно удалилась, а следом за ней классные дамы поспешно увели своих вспотевших девочек.

Папа торопливо укладывал в коробку диапозитивы, а известный путешественник, потирая руки, сказал:

— Я хотел бы получить гонорар за свою лекцию. Обычно я беру тридцать рублей вперед, но ввиду филантропической цели просвещения молодых девиц из духовной среды ограничусь лишь четвертным билетом.

Папа, считавший как само собой разумеющееся, что лекция будет бесплатной, похолодел.

— Позвольте, позвольте...— бормотал он.

— Нет уж, вы позвольте,— сказал путешественник.

— Да, но сметой епархиального училища не предусмотрена лекция...— продолжал бормотать папа.— И я надеюсь...

— И не надейтесь, — сказал путешественник внушительно. — Каждый труд, милостивый государь, должен быть оплачен, особенно труд путешественника. В противном случае — к мировому!

— Но вы меня ставите в ложное положение, — вибрирующим голосом сказал папа. — Я буду принужден заплатить вам из своего кармана.

— И прекрасно! — жизнерадостно воскликнул Яковлев, и я впервые увидел улыбку на его вогнутом лице. — Не возражаю. Могу эти деньги засчитать в погашение моего долга за комнату...

— Милостивый государь! — воскликнул папа, что было признаком его сильнейшего негодования. — Милостивый государь! Я полагаю, что человек науки не делает из этого средство наживы. Во всяком случае, так джентльмены не поступают.

— Очень возможно, — ответил Яковлев, продолжая гнусно улыбаться. — Но я всегда поступаю именно так, хотя и считаю себя джентльменом.

Что оставалось папе?

Через месяц известный путешественник освободил комнату и, ничего нам не заплатив, погрузил свой клетчатый чемодан на извозчика и, поражая прохожих своей черной крылаткой и тропическим пробковым шлемом, отбыл на другую квартиру.

...а может быть, и на другой континент...

Церковное вино.

...вижу круглый крахмальный манжет, высунувшийся из рукава длинного сюртука регента, вижу в его тонких пальцах маленький стальной камертон, издающий приятный, как бы разрешающий все сомнения звук какой-то основной, главной ноты, по всей вероятности «до», и согласное пение хора мальчиков-гимназистов на клиросе нашей гимназической церкви во имя святого Алексея, ангела-хранителя наследника цесаревича Алексея, маленького сына государя императора, будущего владыки Российской империи.

Божьи храмы имелись не только в приходах, но и при некоторых учреждениях, иногда и в частных домах богачей, особняках, так называемые «домовые церкви».

Иметь собственную церковь в собственном доме считалось признаком высшей степени богатства и благочестия.

Были собственные домовые церкви и в некоторых учебных заведениях.

В императорском Новороссийском университете была собственная церковь, в семинарии, в кадетском корпусе — то же самое.

...— Где вы собираетесь стоять пасхальную заутреню?

— В университетской церкви.

— Где состоится свадьба?

— В университетской церкви.

— Где вы говеете?

— В университетской церкви.

Ходить в университетскую церковь считалось весьма шикарным. Это было признаком хорошего тона.

Туда ходили «на двенадцать евангелий», там назначались любовные свидания.

После того как собственная церковь с освященным алтарем открылась в нашей гимназии, мы тоже как бы поднялись на высшую ступень общественной лестницы, хотя гимназия наша до сих пор считалась далеко не из лучших: она помещалась на бедной Новорыбной улице и частью окон выходила на Куликово поле и на вокзал, и в ней получали образование главным образом дети железнодорожников — конторских служащих, иногда даже обер-кондукторов или контролеров, что у некоторых вызывало презрительную улыбку и пожимание плечами.

В нашей Алексеевской церкви не было купола, но она отлично освещалась с двух сторон рядами высоких окон, и в солнечные воскресенья в ней было довольно весело, в особенности потому, что все предметы культа были в ней совсем новенькие, только что из магазина церковных принадлежностей: свеженарисованные образа ярко позолоченного, еще не успевшего потемнеть иконостаса, парчовые и серебряные хоругви, на дубовых полках, окованных по краям серебром, серебряные подставки для свечей, совсем еще новенькое паникадило, не слишком большое, но зато с электрическими свечами, красивая золоченая утварь, златотканое покрывало на алтаре, винно-красная, пронизанная солнечными лучами шелковая завеса, задергивавшаяся за резными церковными воротами в особо таинственные, мистические минуты литургии — когда вино в чаше превращалось в Христову кровь, а хлеб — в Христово тело, — чистенькие, нестибающиеся ризы священника и дьякона, желтая, ясеневое дерева, еще не запачканная чернилами конторка для продажи свечей и просфорок; и серебряное блюдо, покрытое шелковой, вышитой серебром салфеткой, для сбора пожертвований, не говоря уже о кружках того же назначения, прибитых к конторке, куда с тяжелым стуком падали медные пятаки подаяния.

Все это весело отражалось в новеньком, желтом, ярко натертом паркете, где лазурь окон соседствовала с гранатовыми тонами алтарной завесы, рубиновыми огоньками лампад, висящих на широких муаровых лентах, вышитых розами, и при ярком дневном свете жидко золотились не слишком густые костры свечей перед новыми иконами святых угодников.

Нас, гимназистов, приводили в церковь попарно во главе с классными надзирателями и выстраивали по левую руку от клироса, в то время как директор, инспектор и старшие преподаватели в своих вицмундирах и форменных сюртуках, в орденах и медалях становились впереди, а уже за ними все остальные молящиеся: дамы в шляпках, господа в сюртуках, офицеры в мундирах, чиновники, барышни с косами, челками или локонами, украшенными шелковыми бантами — белыми, шоколадными, голубыми.

Все это выглядело весьма празднично и совсем не тревожило душу мрачными предчувствиями неизбежной смерти, как это всегда бывало в старых, полутемных церквях с обветшалой утварью.

В нашей новой церкви царил праздничный, скорее свадебный, чем похоронный, дух радости и веселья, не всегда, впрочем, целомудренного, в особенности когда после причастия, в конце литургии, мы, причастники, по очереди подходили к батюшке для того, чтобы поцеловать в его утомленной руке новенький, еще не успевший облезть золоченый крест, а затем выпить плоский ковшик тепловатого красного вина, разбавленного водой, заесть его кусочком просфоры и положить на блюдо гривенник или пятак.

Уже само причащение как бы вводило нас в мир легкого, божественного опьянения. Поднявшись по ковровой дорожке, закреплен-

ной медными прутьями, по двум ступенькам клироса, я останавливался перед молодым священником с золотистой бородкой, который в одной руке держал святую чашу, а в другой — длинную золотую ложечку, называемую по церковнославянски «лжицею».

— Открой шире рот,— говорил священник заученным голосом.— Как зовут?

— Валентин.

— Причащается раб божий Валентин.— И при этих словах он, ловко выловив в глубине чаши крошечку размякшей в красном вине просфоры, глубоко засовывал мне в разинутый рот лжицу, от чего я ощущал на голодный желудок (приобщаться можно было только натошак!) на языке жгучую каплю вина и тут же глотал мокрую частицу «тела господня», наполнявшую меня, всю мою душу острым, мгновенно улетающим опьянением, в то время как дьякон привычным и довольно-таки грубым жестом вытирал мои губы красной канаусовой салфеткой, уже изрядно пропитавшейся столь же красным вином — кагором, и это опять слегка опьяняло меня.

...ах, как мне нравилось ощущение этого божественного опьянения, как хотелось продлить его, испытать хотя бы еще один раз...

Впрочем, я прекрасно знал, что оно скоро опять повторится, когда я глотну из золоченого ковшика с ручкой в виде двуперстия теплого, сладкого, веселящего вина кагора, вкуснее и желаннее которого — казалось мне — не было в мире.

Этот напиток находился в ведении моих товарищей одноклассников, особо избранных за хорошее поведение в церковные прислужники. Поверх своих гимназических костюмов они через голову надевали газетовые стихари с вытканными серебряными крестами на спине и, прислуживая в алтаре, раздували кадило, подавали его батюшке, предварительно набросав в кадильницу на раскаленные уголья крупинки росного ладана, распространявшего вокруг лилово-меловые облака бальзамического дыма, откупоривали бутылки кагора и смешивали его в серебряном кувшине с горячей водой.

На другой день в классе они давали понюхать нам свои плечи, пропахшие ладаном.

От них зависело, в какой пропорции будут смешаны эти две жидкости — вино и вода. Для своих друзей они умудрялись сделать смесь покрепче и дать не один ковшик, а два или даже три. Эти церковные прислужники были моими друзьями, в особенности Васька Овсянников с простодушным круглым лицом с ямочками на щеках и глазами, невинными, как у девочки, а на самом деле большой пройдоха, который после службы усердно допивал остатки кагора.

У него было прозвище Пончик.

Мы с ним дружили, и Пончик ухитрялся готовить для меня довольно крепкую смесь, красную как кровь, и позволял мне три раза становиться за нею в очередь, а ковшик наполнял до краев, после чего голова моя сладко кружилась, душа испытывала неземное блаженство, как бы плыла в клубах ладана под звуки церковных песнопений, и все вокруг приобретало магический шелковисто-красный цвет, пронизанный горячими лучами солнца, сверкающего в новенькой золотой и серебряной утвари.

Возвращаясь домой после литургии, я пошатывался, делая усилия воли, чтобы не прилечь где-нибудь на полянке, на травке, в зарослях молодой дикой петрушки, пачкавшей коломьянковые летние штаны

на коленях своим остро пахнущим зеленым соком, и не заснуть блаженным сном, дарованным мне светлой христианской религией, великой мастерицей опьянять своих верующих.

...может быть, идея ловли воробьев на водку имела своим истоком именно это божественное, опьяняющее блаженство причастия?..

Японец.

Он выходил на арену, кланялся, по-японски прижав руки к животу, затем сбрасывал с себя легкое серое кимоно и оказывался в коротком трико, с обнаженными атлетическими руками. У него была маленькая приземистая фигура силача. Его номер заключался в том, что он насквозь прокалывал свои руки, обходил арену, показывая публике первых рядов раздутые бицепсы, проткнутые длинными булавами, а затем вытаскивал их одну за другой и бросал на лакированный поднос, который подавала его ассистентка, японка в ярком кимоно с громадным бантом на спине, делавшим ее как бы грациозно-горбатой, как бабочка.

Было удивительно, что на тугих шарообразных бицепсах японца после этого номера не оставалось ни малейших следов, ни одной капельки крови. Следующий номер был еще более жестокий: японка нагревала на жаровне большую ложку-половник, предварительно набросав в нее кусочки какого-то металла, вероятнее всего олова или свинца. и когда металл расплавлялся, она обносила ложку вокруг арены, показывая публике расплавленный металл, белевший в дымящейся ложке как сметана.

Она подносила ложку японцу, причем ее прическа гейши, одновременно похожая и на черную улитку и на гриф какого-то музыкального инструмента с торчащими колками шпилек, склонялась в глубоком ритуальном поклоне, а японец резким движением подносил ко рту раскаленную ложку, вливал в себя расплавленный металл, а через некоторое время на глазах у публики выплевывал кусочки затвердевшего металла, которые один за другим со стуком падали на поднос, подставленный японкой.

Это было непостижимо, и весь цирк разражался аплодисментами, а японец, резко поворачиваясь во все стороны, с натянутой улыбкой показывал свой разинутый рот с высунутым языком, за которым в зеве дрожал еще один маленький язычок. Он также откусывал своими белыми, как жемчуг, и крепкими, как сталь, зубами кусочки металлической палочки, и японка показывала их публике на своей маленькой желто-розовой ладошке.

...Однако самое главное было впереди...

Приседая и кланяясь, японка выносила на арену обыкновенный венский стул и устанавливала его посередине особого дощатого настила. чтобы стул стоял твердо и не шатался. Японец садился на этот стул, раздвинув толстые колени коротковатых ног. Тогда появлялся главный шпрых-шталмейстер в цилиндре и громким, отчеканенным цирковым голосом обращался к почтеннейшей публике с предложением выйти всем желающим на арену и связать японца по рукам и ногам любыми способами: веревками, цепями, стальными тросами, ремнями — у кого что найдется, причем дирекция цирка торжественно обязуется немедленно выдать сто рублей тому, кто сумеет связать японца так, что он не сможет освободиться. В доказательство серьезности предложения шпрых-шталмейстер вынимал из красивого

бумажника новенькую, хрустящую сторублевку и клал ее на подносик японки так, чтобы все видели. Несколько человек из публики, немного смущаясь, выходили на арену и связывали японца по рукам и ногам разными веревками и ремешками, а один даже железной цепью. Я понимал, что большинство этих «желающих из публики» были подсажены дирекцией цирка, но все же зрелище этого связанного по рукам и ногам и, кроме того, прикрученного к стулу цепью японца производило сильнейшее впечатление, тем более что любому желающему разрешалось собственноручно проверить крепость узлов и целость веревок. Я тоже, преодолев смущение, в своей зимней гимназической шинели навыrost побежал с галерки вниз на арену и потрогал узлы веревки, целость ремней и с видом знатока освидетельствовал железную цепь из числа тех, на которые обычно сажают дворовых собак, и убедился, что все правильно: веревки глубоко врезались в надутые мускулы крепкого желтоватого тела японца. Затем ассистентка набрасывала на японца поверх его черной стриженной головы шелковое покрывало, закрывавшее его до самых ног.

Музыка смолкла. Слышалось шипение электрических прожекторов.

— Лаз! Два! Тли! — раздался возглас ассистентки, похожий на крик цапли, в ту же секунду японец, слегка зашевелившись всем своим упругим телом под покрывалом и затрещав венским стулом, могучим движением атлетических плеч сбросил с себя покрывало и предстал перед окаменевшей публикой, стоя во весь свой небольшой рост, а все веревки, ремни и цепи лежали на помосте у его могучих коротких ног, обутых в белые башмаки, а стул валялся на покрытой опилками арене. Японец сделал обеими руками комплимент, раздалась овация, которую японец переждал с невозмутимым выражением своего оранжевого азиатского лица с короткими, но очень густыми черными бровями.

А шталмейстер торжественно положил обратно в бумажник свою сторублевку и, приподняв цилиндр, удалился с манежа.

Стало быть, никто из зрителей не выиграл ста рублей!

«...Эх, — думал я. — Если бы хорошенько все продумать и постараться, то, наверное, можно так заковать этого япошку, что он ни за что не освободится. Жаль, нельзя нигде достать автоматические стальные наручники, как у Ната Пинкертона! Ну да уж ладно, увидим, посмотрим!..»

Прокалывание булавок бицепсов был старый трюк, основанный на хорошем знании анатомии, проглатывание расплавленного металла было хотя и очень эффектно, но тоже вполне объяснимо: папа сказал, что в природе существуют металлы, которые плавятся при температуре плюс пятьдесят градусов по Реомюру, то есть примерно как горячий чай, который может взять в рот любой человек.

Что касается связывания японца цепями и веревками, то никто не сомневался, что это чистой воды шарлатанство, подстроенное дирекцией цирка.

...и вот меня охватило жгучее желание заковать хитрого японца так, чтобы он не сумел освободиться, и тогда я получу сто рублей!..

Я призвал на помощь всю свою фантазию, плохо спал по ночам, и вскоре у меня созрел план посрамления японца и получения сторублевой ассигнации.

План был прост.

Я отвинчу с входных дверей стальную предохранительную цепочку, раздобуду небольшой, но прочный замочек, затем всеми правдами и неправдами достану сорок копеек на входной билет в цирк, храбро выйду на арену, заставлю японца протянуть мне обе руки с тесно сложенными кистями, надену на запястья японца свою дверную цепочку и защелкну ее замочком, а для верности заделаю замочную скважину воском, для того чтобы шпион-японец (а в том, что он шпион, сомнения не было, так как в те времена все японцы считались шпионами) не смог открыть защелкнувшийся замочек своей шпионской отмычкой.

Нечего и говорить, что главная трудность заключалась в отсутствии сорока копеек на входной билет.

...Не будем распространяться о том, каким путем достал я эти деньги. Но я их достал, постаравшись заглушить слабый голос совести, шептавший мне в правое ухо, что не следует продавать старьевщику почти новые Женькины летние сандалии «Скорород». У меня решительно не было времени вступать в спор с совестью: дни лета и гастроль японца могли в любой миг закончиться, и тогда прощай навсегда, быть может, единственный случай в жизни так крупно обогатиться...

Сжимая в кармане шинели дверную цепочку и открытый замочек со скважиной, уже заделанной грязноватым воском от четверговой свечи, я вместе с некоторыми другими «желающими из публики» выбежал на арену и показал знаками, чтобы японец протянул вперед руки, плотно прижав кисти друг к другу.

Японец посмотрел на меня равнодушно-змеиным взглядом своих буддийских глаз, в самой глубине которых я все же уловил насмешливый огонек, и покорно протянул мне руки — толстые, короткие, как бы надутые руки силача с могучими запястьями, плотно сложенными вместе.

Пока другие желающие из публики привязывали японца к стулу, опутывали его веревками и ремнями, я с коварной улыбкой Ната Пинкертон окружил руки японца нашей дверной цепочкой, проделав сквозь ее крайние звенья стальной замочек, похищенный у тети, и защелкнул его, предвкушая минуту, когда японец полезет своей отмычкой в замочную скважину и —

ан нет!.. —

окажется, что скважина надежно заделана восковым кляпом. Вот это будет номер!.. Номерочек!..

Наконец японец, прикрученный к стулу и обвязанный со всех сторон веревками, ремнями и цепями, с вытянутыми вперед голыми руками, надежно закованными моей дверной цепочкой, был торжественно закрыт с ног до головы покрывалом, оркестр перестал играть, и ассистентка-японка, держа на подносе сторублевую бумажку, крикнула в тишине замершего цирка своим пронзительным и в то же время по-детски нежным голосом цапли:

— Лаз! Два! Тли!

После чего покрывало вместе с венским стулом полетело прочь и японец, у ног которого в беспорядке валялись веревки, ремешки и цепи — в том числе и моя дверная цепочка, совершенно целая, так и оставшаяся в виде браслета, запертого замочком, — сделав на все стороны комплимент, под громовые звуки туша убежал за кулисы, а затем вернулся еще раз раскланяться на вызовы публики и, раскланиваясь, посмотрел на меня своими таинственными азиатскими гла-

зами. Причем сказал довольно хорошо по-русски: «Малчик, забели свою двелную цепочку, хе-хе...» — на чем моя надежда получить сто рублей и закончилась.

...долгое время я никак не мог понять, каким образом японцу удалось снять мою цепочку, и даже считал японца волшебником...

Однако впоследствии мне объяснили, что японец просто-напросто обладал способностью сильно раздувать свою мускулатуру. а потом как бы выпускать из нее воздух, так что все веревки и цепи легко спадали с его как бы похудевшего тела. Когда я надевал на его руки дверную цепочку, он расширил свои запястья, а потом сузил их и легко вынул из цепочки свои гибкие кисти, даже не подумав ломать замок или тем более открывать его отмычкой.

И до сих пор я иногда в своем воображении, гуляя по Переделкину, слышу крик японской цапли — цапли Хокусая:
— Лаз! Два! Тли!

Спички.

В то время, когда я еще не достиг четырехлетнего возраста, керосин назывался петролем и фирма Нобеля развозила его по домам в жестянках на небольших тележках, запряженных крошечными шотландскими лошадаками пони, в соломенных шляпках со специально вырезанными круглыми дырками, откуда торчали коричневые ушки маленьких лошадок, нежно-розовые внутри. Именно в это время однажды я стоял в пустой кухне рядом с нобелевской жестянкой петроля, круглое отверстие которой было закрыто хорошенькой блестящей крышечкой.

...«сладко пахнет белый керосин»...

Дело было далеко после полудня — «послеобеда», — кухня уже была прибрана и вымыта и пахла нагретой газетной бумагой, которой всегда после готовки застилали плиту с еще горячими чугунными конфорками. Просяной веник стоял в углу на куче сора. Деревянный крашенный пол и толстый подоконник горели на солнце янтарным блеском, а на подоконнике лежала коробка спичек с канареечно-желтой этикеткой с медалями и краями, оклеенными синей бумагой, что в сочетании с черно-коричневыми шершавыми боковыми терками для зажигания называлось «спички Лапшина».

Я их сразу заметил своими маленькими острыми глазками. Спички уже давно притягивали меня к себе. С некоторого времени притягивала меня к себе также и жестянка с петролем. Спички Лапшина и керосин Нобеля имели между собою некую таинственную связь, которую я никак не мог разгадать.

Дело в том, что недавно я слышал, как папа говорил маме, что ребенка ни в коем случае нельзя пускать одного в кухню, где он — «может бросить спичку в керосин, который тотчас загорится и наделает пожара».

Меня это крайне удивило: как это так — «бросит спичку в керосин, который тотчас загорится»?

Хотя я был мал и носил еще платье, как девочка, но, однако, не настолько глуп, чтобы не понимать, что если зажженную спичку бросить в керосин, то керосин загорится. Это само собой разумелось. Однако ведь папа не сказал за ж ж е н н у ю спичку. Значит, он

знал про спички то, чего я и не подозревал: оказывается, достаточно бросить незажженную, простую, сухую спичку с бархатной головкой, как керосин сам собой воспламенится.

Это была для меня новость!

Мой ум никак не мог себе представить возникновение огня от прикосновения сухой, целенькой, незажженной спички с мокрым керосином. Мне очень трудно было в это поверить. Однако папа лучше меня знает. Неужели же может произойти такое чудо? Теперь меня неудержимо тянуло в кухню, где был керосин и были спички.

И вот канареечно-желтая коробочка Лапшина у меня в руках. В кухне — никого. Во всей квартире такая тишина, что слышны пружинные удары маятника стенных часов в столовой.

...яркий свет предзакатного солнца...

Я снял хорошенькую крышечку с короткого горлышка жестянки Нобеля. Понюхал. Ощутил знакомый приторный запах белого петроля. Неужели же сейчас произойдет чудо возникновения пожара из ничего? Нет, этого не может быть. Папа ошибался. Я вытянул из коробки спичку и опустил ее через горлышко в бидон с керосином. Хотя я и не верил в возможность возникновения огня, я все же из предосторожности отошел на несколько шагов назад и спрятался в угол, где стоял веник немногим ниже меня ростом. Однако — как я и предполагал — ничего не произошло: огонь не вспыхнул. Но ведь не мог же папа ошибиться? Он ясно сказал: вспыхнет керосин и наделает пожар. «Наверное, попала испорченная спичка», — подумал я и со всеми возможными предосторожностями бросил в бидон вторую спичку. Опять ничего. Странно. Или папа ошибся, или вторая спичка тоже оказалась негодной. Я бросил третью спичку, четвертую, пятую. Как загипнотизированный я бросал в бидон спичку за спичкой, ощущая горькое разочарование в мудрости Всемогущего Папы и в то же время наслаждаясь собственной правотой. В коробке осталось всего лишь две или три спички, когда я услышал бегущие шаги и тревожный шорох маминой юбки.

Через миг она уже прижимала меня к себе.

— Ты с ума сошел, ты с ума сошел! — бормотала она, стараясь вырвать из моих сжатых пальчиков коробку спичек.

— Я же предупреждал! — послышался за спиной мамы гневный голос папы.

Они оба, и папа и мама, были в пенсне, и папа тряс бородой, что как бы усиливало их общий гнев.

Разумеется, я стал реветь на всю квартиру, и брыкаться, и заикаться от слез, будучи не в силах объяснить им, что я вовсе не так глуп, как они себе представляли.

Действительно, несмотря на свои три года — дурак бы я был бросать в керосин за жженые спички! Я только хотел опровергнуть утверждение папы, что если бросить в керосин спичку, то наделаешь пожара. Он же не сказал при этом — за жженую спичку!

Клады.

Прочитавши «Тараса Бульбу», мы решили по примеру запорожцев закопать клад. Время было самое подходящее: тихий, жаркий сентябрь, начало учебного года, по календарю осень, а все вокруг как летом, ни одного желтого листика; дни еще длинные; после гимна-

зии, после обеда все еще продолжается знойный день, и время тянется нескончаемо долго, и необходимо что-нибудь предпринять.

Обшарив пустые, уже заколоченные на зиму дачи, мы по колена в бурьяне, осыпавшем наши суконные черные штаны желтым порошком своего позднего цветения, взобрались на глинистый обрыв и выкопали перочинными ножами небольшую нишу.

Несколько дней мы таскали туда все, что попадалось под руку. Конечно, клад должен состоять из золота и драгоценных камней, да где их взять?

Я, правда, нашел у тети на туалетном столе в коробочке с деньгами отломанную от какой-то брошки ювелирную муху, по моим представлениям сделанную из чистого золота и драгоценных камней, может быть даже бриллиантов, двух микроскопических бриллиантиков, вставленных в ее головку в виде глаз.

Драгоценная муха не имела никакого вида и была очень маленькой, но мы завернули ее в несколько слоев бумаги, запихнули в спичечную коробку, и в таком виде муха пошла в дело как главная драгоценность нашего клада.

Потом мы решили, что пусть это будет пещера контрабандистов, и натаскали туда все, что попало под руки из той дряни, которая нашлась у нас в кладовках и на чердаке, даже сломанный турецкий кинжал и заржавленный кремневый пистолет.

Нам представлялись кипы контрабандного табака, тюки шелковых восточных тканей и прочее. За неимением всего этого мы сложились по четыре копейки и купили в мелочной лавочке Коротынского две сигары в мягкой упаковке, самого низшего сорта — три копейки пара. На остальные деньги мы взяли немного халвы, рожков и пряников (ржаных, на патоке), что должно было представлять продовольственные запасы контрабандистов. У нас имелась также бутылка пресной воды, для какой надобности — мы и сами не знали, может быть на случай осады. Мы заделали нашу пещеру кусками глины и замаскировали бурьяном.

По несколько раз в день мы ходили наведаться: не открыл ли кто-нибудь наш клад? Нет, все было в порядке.

А дни тянулись жаркие, скучные, и мы потели на уроках в своей зимней, суконной форме — я в гимназии, а мой друг в реальном училище, — и подоконники в наших классах были одинаково раскалены солнцем, жгучим как летом, и меловая пыль на классной доске была тоже горячей от солнца.

Мы с Женькой Дубастым не находили себе места, решительно не знали, что с собой делать, и это томление продолжалось до тех пор, пока мы не придумали открыть наш клад и покурить «контрабандные» сигары.

Мы открыли наш клад, достали сигары, спички, сели в бурьян лицом к морю, к грустному, голубому, пустынному сентябрьскому морю со светлыми дорожками штиля и дымом парохода на синеющем горизонте, и запалили свои сигары. Мы делали друг перед другом вид, будто нам очень нравится вдыхать сухой, колониально-пряный дым глеющего табачного листа и чувствовать на языке его как бы наждачный вкус. Женька Дубастый даже пытался пускать дым через ноздри, причем его невинно-голубые круглые глаза налились слезами и он стал кашлять, приговаривая:

— А знаешь, здорово вкусно курить сигару. Настоящая гаванна!

Потом у него изо рта потекли слюни. У меня кружилась голова, и я вдруг как бы стал ощущать высоту обрыва, на котором мы сидели, и пропасть под нашими ногами, где глубоко внизу слышалось стеклянное хлопанье тихого моря в извилинах и трещинах прибреж-

ных скал, и звон гальки под ногами рыбака, несущего на плече красные весла.

Мы с трудом выбрались из бурьяна и, полупьяные, ощущая тошноту, поплелись по нашей Отраде, где вдруг перед нами предстал Женькин отец в котелке, с золотой цепочкой поперек жилета, с бамбуковой тростью в руке.

— А ну дыхни,— сказал он Женьке ужасающим голосом.

Женька дыхнул и заплакал.

— Ты, подлец, курил,— сказал Женькин папа и, взяв Женьку Дубастого за ухо, повел домой.

Когда они удалялись, по их фигурам скользили тени акаций, уже сплошь увешанных пучками мелких черных стручков.

Вот за ними закрылась железная калитка, и я услышал рыдающий голос Женьки:

— Что ж вы деретесь, папа? Я больше не буду! Папочка, отпустите мое ухо!..

Кусочек фосфора.

Кусочек твердого красного фосфора, который подарил мне один товарищ по гимназии, имел форму и размер мандариновой дольки, и я, завернув его в бумажку, носил в кармане, с нетерпением ожидая конца уроков, с тем чтобы как следует заняться своим подарком, исследуя его свойства в спокойной домашней обстановке.

Дома я произвел несколько несложных опытов: подставлял фосфор под кран, мочил в блюде, мазал фосфором пальцы. Эффект получался всегда один и тот же: любой предмет, намазанный фосфором, начинал в темноте светиться. Тайнственно светилась моя пятерня — все растопыренные пальцы, светилась вода в блюдечке, и даже струя из-под крана в темной ванной комнате слегка светилась, омывая кусочек фосфора, который я подставлял под кран.

Я завернул фосфор в бумажку, спрятал его в карман и, посвистывая сквозь передние зубы, отправился на улицу.

Кое-кто из мальчиков уже слонялся по полянке, швыряя камешки в воробьев или играя «в шкатуля», то есть ставили ракушниковый строительный камень стоймя, сверху на него клали камень поменьше и, отойдя шагов на десять, бросали в него кусками кирпича — кто первый собьет верхний камень.

До сих пор не имею понятия, откуда произошло это странное слово «шкатуля», кто его изобрел?

Игра в «шкатуля» была самая скучная из всех наших игр, и ею занимались так себе, от нечего делать, пока на полянке не соберется «вся голота» и можно будет предпринять что-нибудь действительно интересное.

Я сразу заметил, что Надьки Заря-Заряницкой еще не было на полянке; наверное, сидела дома и учила уроки.

Необходимо объяснить, что такое полянка. У нас в Отраде полянками назывались еще незастроенные участки, поросшие сорными травами, кустиками одичавшей сирени или перистыми «уксусными» деревцами. Каждая полянка примыкала к глухим ракушниковым стенам старых или новых домов — брандмауерам.

Тут же я и начал свою интригу против Надьки Заря-Заряницкой, с которой постоянно находился в сложных враждебно-любовных отношениях. Мы соперничали с ней решительно во всех областях нашей уличной жизни: кто быстрее бегают, кто выше прыгает, кто лучше

прячется во время игры в «дыр-дыра», громче свистит сквозь передние зубы, умеет незаметней подставлять ножку, скорей всех отгадает загадку и произносит трудную скороговорку вроде «на траве дрова, на дворе трава» и т. д.— а главное, кто кому покорится и признает над собой его власть.

Надька Заря-Заряницкая слыла царицей среди мальчишек, а другие девочки по сравнению с ней ничего не стоили.

Все признавали ее превосходство, один только я по свойству своего характера не желал с этим примириться, хотя она во всех отношениях превосходила меня, даже в возрасте: мы были однолетки, родились в одном месяце, но Надька родилась ровно на одиннадцать дней раньше, и тут уж ничего не поделаешь, это было непоправимо: она была старше. В любой миг Надька могла окинуть меня презрительным взглядом и сказать:

— Молчи, я тебя старше!

В то время, когда нам было по одиннадцати лет, это казалось ей громадным преимуществом.

Иногда мы с ней даже дрались, потом показывали друг другу большой палец, что обозначало ссору навсегда, но скоро с застенчивой улыбкой показывали друг другу через плечо согнутый мизинчик в знак мира и вечной дружбы.

Воспользовавшись отсутствием на полянке Надьки, я сделал все возможное, чтобы перетянуть на свою сторону всех ее сторонников— мальчиков и девчонок. Я повел их в подвал дома Фесенко и показал им в крошечной темноте дровяных сараев свои растопыренные руки со светящимися пальцами и лицо со светящимися бровями, носом и ушами. Мальчики и девочки были так поражены этим необъяснимым явлением, что сразу же стали моими сторонниками и признали меня главным, тем более что в ответ на все их просьбы и даже мольбы открыть секрет моего свечения я сказал, что я сделался обладателем многих тайн знаменитой Елены Блаватской, как известно, причастной к потустороннему миру призраков и духов. Я намекнул, что во сне ко мне часто является сама Елена Блаватская и что она сделала меня волшебником, в знак чего мое лицо и руки стали во тьме светиться. Я также дал понять, что те из мальчиков и девчонок, которые перейдут на мою сторону, могут рассчитывать, что со временем я их всех посвящу в тайны Елены Блаватской и они тоже обретут свойство светиться в темноте и даже, может быть, сделаются волшебниками.

Я не скупился на обещания.

Они поклялись мне в верности, подняв над головой два пальца в знак присяги.

...До сих пор не могу понять, почему ни одному из них не пришла в голову простая мысль, что это вовсе не чудо, а обыкновенная химия. Знали же они, что существует на свете вещество фосфор, обладающее свойством светиться в темноте, наконец, видели же они светляков и море, фосфоресцирующее летом! И все же они поверили в волшебное свойство моего свечения и в то, что я знаю какую-то тайну Елены Блаватской.

Их души жаждали необъяснимого...

Когда мы вылезли из темного подвала, то увидели на полянке Надьку Заря-Заряницкую, которая, прыгая на одной ноге, бросала в стенку мяч, ловко его ловила, затем несколько раз заставляла со звоном ударяться об землю, а потом опять бросала в старый ра-

кушниковый брандмауер, изрезанный различными надписями и рисунками.

Увидев меня, окруженного ее бывшими верноподданными, она нахмурилась, как разгневанная королева, ее золотистые прямые брови, всегда напоминавшие мне пшеничные колосья, сердито сошлись, и, с силой ударив мяч об землю, так что он подскочил вверх до второго этажа, крикнула:

— Ко мне, моя верная дружина!

— Она уже не твоя, а моя,— сказал я насмешливо,— только что они в подвале Фесенко дали мне вечную клятву верности и присягнули двумя пальцами.

— Вы ему присягнули? — строго спросила Надька.

— Присягнули,— ответили ее бывшие верноподданные.

И тут же Надька узнала неприятную новость, что ко мне во сне являлась Елена Блаватская и открыла все свои тайны, в том числе и способность светиться в темноте.

— Он вам врет,— сказала Надька.

— А вот и не врет, потому что мы сами видели, как он светится.

Я посмотрел на Надьку с нескрываемым торжеством и, сложив руки на груди крестом, оскорбительно захохотал ей в лицо.

— Может быть, не веришь? — спросил я.

— Не верю,— ответила она,— потому что ты известный брехунишка.

— Клянусь! — гордо возразил я.

— А чем докажешь? — спросила она.

— Пойдем в подвал к Фесенкам, сама увидишь.

— Будешь светиться? — подозрительно спросила Надька.

— Буду светиться,— ответил я.

— Пойдем!

— Пойдем.

Мы спустились в подвал, пошли ощупью по темному коридору, причем для верности я хорошенько наслюнил себе пальцы, нос и уши и украдкой потер их кусочком фосфора.

Я остановился, внезапно повернулся к Надьке светящимся лицом и поднял вверх растопыренные светящиеся пальцы.

— Теперь ты убедилась? — спросил я.

Надька стояла передо мной, потеряв от изумления дар речи.

...я слышал в темноте, как бьется ее сердце...

— Ты что, на самом деле волшебник? — наконец спросила она.

— А то нет! — ответил я.

Мы выбрались из подвала наверх, и я был поражен яркостью мира, синевшего, зеленевшего, желтевшего, сверкавшего вокруг нас так сильно, что даже стало больно глазам.

Надька стояла передо мной высокая, стройная, длинноногая, с поцарапанными коленками, с прямым красивым носиком с легкой горбинкой, чуть-чуть позолоченным веснушками, с прозрачными голубыми глазами, с тугими локонами, по два с каждой стороны, между которыми жарко горели удлиненные раковины ее небольших мальчишеских ушей. Вообще, в ней было что-то грубо-мальчишеское и вместе с тем нежное, девичье.

...Мы стояли рядом, вечные соперники и враги, влюбленные друг в друга, и я чувствовал себя победителем...

Она смотрела на меня с суеверным ужасом, точно я впрямь был волшебником, посвященным в тайны Елены Блаватской.

— А ты меня примешь в свою компанию? — спросила Надька робким голосом. — Я хочу, чтобы ты посвятил меня в тайны Блаватской.

Я немножко поломался, а потом сказал:

— Эти тайны я могу открыть только тому, кто поклянется навсегда стать моим послушным рабом.

— Мне не надо всех тайн, — ответила она, глядя на меня своими чудными аквамаринowymi глазами с жесткими рыжеватыми ресницами, что делало ее чем-то неуловимо похожей на англичанку, — мне только хочется узнать, как тебе удастся светиться в темноте.

— Чего захотела! Светиться в темноте — это самая главная тайна.

— Ну так открой мне эту тайну. Я тебя очень прошу, — сказала Надька голосом, полным почти женского, нежного кокетства.

Я посмотрел на нее и понял: она вся с ног до головы охвачена таким страстным, непобедимым любопытством, что мне теперь ничего не стоит превратить ее в свою послушную рабу.

— Хорошо, — сказал я, — пусть будет так. Но ты должна признать себя моей рабой.

Надька немного поколебалась.

— А без этих глупостей нельзя? — спросила она.

— Нельзя! — отрезал я.

— Хорошо, — сказала она тихо, — но если я стану твоей рабой, тогда ты мне откроешь тайну?

— Открою, — сказал я.

— Ну так считай, что с этой минуты я твоя раба. Идет?

— Э, нет, — сказал я. — Это не так-то просто. Сперва ты должна исполнить ритуал посвящения в мои рабыни; в присутствии всей голоты ты должна стать передо мной на колени, наклонить голову до земли, а я в знак своего владычества поставлю тебе на голову ногу и произнесу: «Отныне ты моя раба, а я твой господин», и тогда я открою тебе тайну свечения человека впотьмах, завещанную мне Еленой Блаватской.

— И ты даешь честное благородное слово, что тогда ты откроешь тайну свечения? — спросила Надька, дрожа от нетерпения.

Она готова была на все.

— Честное благородное, святой истинный крест, чтоб мне не сойти с этого места! — сказал я с некоторым завыванием.

Надя решительно тряхнула всеми своими четырьмя английскими локонами и стала передо мной на одно колено, немного подумала и решительно стала на другое.

— Ну-ну, — сказал я, — теперь склоняйся до земли.

Надя повела плечами и с некоторым раздражением положила свою голову на сухую, рыжую землю пустыря, поросшего пасленом, на котором уже созрели мутно-черные ягоды.

Вокруг нас стояла толпа мальчиков и девочек, которые молча смотрели на унижение передо мной Надьки Заря-Заряницкой.

...она была в матроске с синим воротником, в короткой плиссированной юбке. Приподняв голову с земли, она смотрела на меня прелестными, умоляющими глазами...

— Может быть, не надо, чтобы ты ставил ногу на мою голову, я уже и так достаточно унижена, — почти жалобно промолвила она.

— Как угодно, — сурово сказал я, — но тогда ты никогда не узнаешь тайну свечения человеческого тела.

— Ну, черт с тобой, ставь ногу на голову, мне не жалко, — сказала Надька, и я увидел, как из ее глаз выползли две слезинки.

Я поставил ногу в потертом башмаке на Надькину голову и некоторое время простоял так, скрестив на груди руки.

— Теперь ты моя раба! — торжественно сказал я.

Надька встала и сбила с колен пыль.

— А теперь ты должен открыть мне тайну, — сказала она. — Открой сейчас же.

— Пожалуйста, — с ехидной улыбкой ответил я. — Вот эта тайна.

При этом я вынул из кармана кусочек фосфора.

— Что это? — спросила Надька.

— Фосфор, — холодно ответил я.

— Так это был всего лишь фосфор! — воскликнула она, побледнев от негодования.

— А ты что думала? Может быть, ты вообразила, что это на самом деле какая-то тайна Елены Блаватской? Вот дура! И ты поверила?

Мальчики и девочки вокруг нас захохотали. Это было уже слишком.

— Жалкий врунишка, обманщик! — закричала Надька и как кошка бросилась на меня.

Но я успел увернуться и пустился наутек вокруг полянки, слыша за собой Надькино дыхание и топот ее длинных голенастых ног в мальчишеских сандалиях.

Она бегала гораздо лучше меня, и я понял, что мне не удастся уйти. Тогда я решился прибегнуть к приему, который всегда в подобных случаях применял младший помощник Ника Картера, японец Тен-Итси. Я должен был вдруг остановиться перед бегущей девочкой и стать на четвереньки, с тем чтобы она со всего маху налетела на меня и шлепнулась на землю.

Однако я не рассчитал расстояния между нами: я стоял как дурак на четвереньках, а Надька успела замедлить бег. Затем она бросилась на меня, села верхом и так отколотила своими крепкими кулаками, что у меня потекла из носу кровь, и я припелся домой весь в пыли, проливая слезы и юшку, которая текла из моего носа, а следом за мной неслись торжествующие крики Надьки:

— Теперь будешь знать, как обманывать людей, брехунишка!

Я успел показать ей через плечо большой палец, она ответила тем же.

Впрочем, через два дня мы снова встретились на полянке, где вокруг кола на веревке ходила коза, и смущенно протянули друг другу согнутые мизинчики, что означало вечный мир.

А вечером я закатал рукав гимназической куртки и написал чернилами на своей руке буквы Н. З-З. (Надя Заря-Заряницкая), и нарисовал сердце, пронзенное стрелой, — и долго ждал, пока высохнет.

На другой день я подарил Надьке половину своего фосфора, и она подобно мне обрела дар светиться в темноте.

Выстрел с крыши.

Теперь никак не могу вспомнить, каким образом у меня в руках очутилось это ружье. Оно было более настоящее, чем «монтекристо», и менее настоящее, чем мелкокалиберный винчестер для спортивной стрельбы.

Я думаю, его привез с собой один приезжий мальчик. Мы провели с ним неразлучно два или три дня, пока он гостил у своих родственников у нас в Отраде.

В памяти моей ничего не сохранилось, кроме того, что у этого странно-безликого мальчика было ружье и мы полезли на чердак нового, только что выстроенного четырехэтажного дома и там примостились возле круглого слухового окна, откуда дул тот особый небесный ветер, который гонит над городом облака и посвистывает в ушах настойчиво и заунывно, вызывая необъяснимую душевную тревогу.

Мы немного постреляли в голубей, которые на своих коралловых лапках ходили по краю новой черепичной крыши, но ни одного не подбили, и у нас остался всего один патрон.

Из слухового окна были видны не только все четыре улицы Отрады с их полянками и белым кителем знакомого городского, стоящего на перекрестке в тени акации, но также внутренность всех дворов с их пристройками, мелкой кудрявой травкой, с протоптанными стезжками, развешанным бельем, но также полоса моря над крышами домов, а с другой стороны часть Французского бульвара с изредка проезжающими экипажами и мачтами недавно проложенной линии электрического трамвая.

Отсюда казалось, до Французского бульвара рукой подать, и когда мы увидели бегущий новенький бельгийский вагончик трамвая, под дугой которого как бы катилась по поющей медной проволоке сапфировая искра, нам вдруг пришла в голову мысль выстрелить в трамвай.

Эта безумная мысль овладела нами не сразу. Сначала она влетела в слуховое окно как еле уловимое, отдаленное дыхание чумы, на один миг погасившее наш разум, но сейчас же здравый смысл победил, и мы, высказав друг другу тайную мысль выстрелить в трамвай, тут же ее с негодованием отвергли как глупую, а главное, преступную.

...но мы были одни на чердаке, никто нас не видел, свидетели отсутствовали, небесный ветер посвистывал в слуховом окне и до косога отрезка Французского бульвара, видимого нам, с рядом новеньких железных трамвайных столбов на фоне глухого, белого, оштукатуренного каменного забора юнкерского училища, из-за которого с равными промежутками раздавались звуки учебной стрельбы в подземном тире, до пробегавших вагончиков трамвая, казалось, рукой подать. Стекла трамвайных вагончиков жарко, зеркально вспыхивали на солнце, и за ними можно было рассмотреть фигурки сидящих в профиль пассажиров. Солнце блестело, эластично скользя туда и назад по новой медной проволоке под кронштейнами трамвайных столбов...

Новый порыв безумия охватил нас.

— Стрельнем? — спросил я.

— Стрельнем, — ответил он, но теперь я решительно не могу вспомнить лица этого мальчика.

Безусловно, он был тогда рядом со мной и в то же время его как бы не было вовсе. Рядом со мной находилось безликое существо, не имеющее формы.

...провал памяти...

— Давай я стрельну, — торопливо сказал я.

— Давай, — ответил он.

Я разломил о колено ружье и вставил в маслянистую дырочку казенной части патрон более длинный, чем у «монтекристо», со свин-

цовой конической пулькой. Затем, щелкнув, я выправил ружье, вынул ствол в слуховое окно, нацелился на косой отрезок видимой части Французского бульвара и взвел курок. Как раз в это время прокатился вагончик трамвая, исчезнув из глаз, прежде чем я успел посадить его на мушку.

Пришлось ждать следующего трамвая — минут пять, — и в течение этих бесконечных пяти минут мое сумасшествие не только не прошло, но еще более усилилось. Ничего не соображая, я нетерпеливо водил мушкой по короткому, косому отрезку Французского бульвара, каждый миг ожидая внезапного появления трамвая. Мое нетерпение дошло до высшей точки. Здравые мысли отсутствовали. Воля вышла из-под контроля разума. Одно безумное желание владело мною: выстрелить в бегущий вагончик.

Едва он появился, новенький, желто-красный, нарядный, с гербом города Одессы на боку, я повел за ним черный вороненый ствол, посадил его на мушку, выстрелил и в тот же миг понял весь ужас совершенного мною поступка. В отчаянии я бросил ружье в угол чердака, и мы вместе с моим безликим товарищем бросились наутек по черной лестнице, благополучно выбрались на улицу, там разбежались в разные стороны, и больше я уже никогда в жизни его не видел, даже забыл, как его звали и какое у него было лицо.

Только очутившись один, я понял, что очень может быть — я не только прострелил в вагоне трамвая окно, но также ранил кого-нибудь из пассажиров или даже убил наповал.

Сделав равнодушное лицо, я не торопясь прошел мимо знакомого городского, с которым вежливо поздоровался, сняв фуражку. Как ни в чем не бывало я свернул за угол и, когда почувствовал спиной, что городской меня уже не видит, бросился бежать к морю, как будто бы оно одно могло спасти меня от ужаса моего поступка. Пока я бежал по тенистым улицам Отрады, а потом по переулкам, ведущим к обрывам, мне все время казалось, что где-то за моей спиной, на Французском бульваре, против забора юнкерского училища, окруженный толпой, стоит вагон трамвая, и из него через переднюю площадку выносят труп человека с простреленным черепом, и кровь льется на рельсы, и толпа молчаливо смотрит вверх деревьев и крыш на далекое слуховое окно нового четырехэтажного дома, откуда был произведен неизвестным негодяем роковой выстрел.

Я живо представил себе, как сыщики взбираются на чердак, находят ружье, изучают через увеличительное стекло отпечатки моих пальцев, как затем полицейская собака Треф нюхает мои следы и стремглав бежит вниз по черной лестнице, волоча за собой на натянутом поводке сыщика в темных очках.

Я притаился в расщелине знакомой мне прибрежной скалы, скрючился, и под моими ногами то поднималась, то опускалась светло-зеленая морская вода с кружевом качающейся пены. Я прислушивался, не раздастся ли на спуске, ведущем из Отрады к берегу, дыхание полицейской собаки, напавшей на мой след.

...но все было тихо...

Подождав до вечера, все время испытывая мучительное искушение пробраться по пыльному безлюдному Юнкерскому переулку на Французский бульвар и хотя бы издали увидеть кровь на рельсах, которую уже, вероятно, успели посыпать песком, меня, как убийцу, неодолимо тянуло к месту преступления, но все же я был настолько благоразумен, что заставил себя не поддаваться этому опасному иску-

шению и не выдать себя неосторожным появлением на Французском бульваре против юнкерского училища, где — наверняка — сыщики уже устроили засаду и ждали, чтобы преступник сам попался в собственную ловушку.

Я вернулся домой к вечернему чаю, когда уже все сидели за столом; замешкавшись в передней, я прислушался к разговору. Наверное, они обсуждают ужасное происшествие на Французском бульваре.

Но нет!

Разговор шел о мирных вещах. Странно. Мне стоило больших усилий воли хладнокровно — как ни в чем не бывало — сесть на свое место и намазать хлеб маслом.

— Что-то ты сегодня бледный, — сказала тетя, мельком взглянув на меня. — С тобой ничего не случилось?

— Ровно ничего особенного, — сказал я с наигранным равнодушием.

...Ночью меня мучили кошмарные сны, в которых я был неопознанным убийцей разных людей: то это была дама в шляпке с вуалью, и кровь текла из ее простреленного виска, то это был вагонновожатый с окровавленным лицом, то это был священник с красным пятном на рясе против самого сердца, и все это происходило возле каменной стены юнкерского училища, смягчавшей злое звуки учебной стрельбы боевыми патронами в подземном тире.

Иногда мне чудилось, что на лестнице слышатся шаги полиции и вот-вот в передней раздастся резкий звук электрического звонка....

Рано утром я пробрался в переднюю и вытащил из-под двери «Одесский листок». Я развернул его и с бьющимся сердцем стал искать отдел происшествий, который по моим представлениям должен был начинаться так:

«Кошмарное убийство в трамвае. Вчера днем неизвестный злоумышленник произвел с крыши близлежащего дома выстрел в вагон электрического трамвая. Пуля разбила стекло и убила наповал студента третьего курса Н... Розыски преступника продолжаются».

Но нет!

Ничего подобного в отделе происшествий не было. Это показало мне хитростью полиции, не желавшей раньше времени спугнуть убийцу.

Осунувшийся, бледный я побрел в гимназию, но по дороге неодолимая сила заставила меня свернуть на Французский бульвар. Ничто не говорило о том, что вчера здесь произошло злодейское убийство. Весело пробегали новенькие вагончики электрического трамвая. Сияло солнце. Я посмотрел в ту сторону, где возвышался дом, откуда я стрелял. Он был еле виден в зелени садов, и до него было никак не меньше полуверсты. И лишь тогда мне впервые пришла в голову догадка, что моя почти игрушечная пулька просто не могла долететь до цели и бессильно упала где-нибудь в саду, хотя бы, например, в саду известного профессора истории Стороженко.

С той поры у меня в душе иногда начинает звучать мучительная струна и я боюсь посмотреть на себя в зеркало, чтобы не увидеть на своем лбу каинову печать неопознанного убийцы... Раскольникова с его опрокинутым лицом.

...а может быть, мне это все вообще только приснилось?

Слон Ямбо.

«Меня уже с пеленок все пупсиком зовут. Когда я был ребенок, я был ужасный плут. Пупсик, мой милый пупсик» — и тому подобный вздор.

В этот год в моде был «Пупсик», песенка из оперетки того же названия.

Мотив из «Пупсика» доносился из Александровского парка, где его исполнял военный духовой оркестр под управлением знаменитого Чернецкого — со вставным стеклянным глазом, в парадном мундире одного из стрелковых полков «железной дивизии», расквартированной в нашем городе.

Этот же мотивчик исполнял возле открытого ресторана на Николаевском бульваре между памятником дядю де Ришелье и павильоном фуникулера другой оркестр под управлением еще более знаменитого маэстро Давингофа, который дирижировал, сидя верхом на жирной цирковой кобыле, все время вертевшей крупом и размахивающей хвостом в такт «Пупсику», причем сам маэстро Давингоф в длинном полотняном сюртуке, в белых перчатках, с нафабранными усами цвета ваксы, со шпорами на коротких сапожках, время от времени привстав в седле, раскланивался со своими поклонницами, местными дамами, высоко поднимая над лысой головой благородного проходимца свой серебристо-белый шелковый цилиндр. Вместо дирижерской палочки у него в руке была ветка туберозы, так что старомодный Чернецкий со своим вставным глазом не шел ни в какое сравнение с маэстро Давингофом, шикарным ультрасовременным дирижером, почти футуристом, хотя мотивчик из «Пупсика» был один и тот же.

«Пупсик» насвистывали студенты и гимназисты, фланируя под шатрами одуряюще-цветущей белой акации; звуки «Пупсика» с криком вырывались из граммофонных труб; «Пупсика» играли в фойе иллюзионов механические пианолы с как бы сами собой бегущими клавишами...

Все это я должен объяснить для того, чтобы было понятно, почему именно на мотив «Пупсика» одесская улица стала петь совсем другие слова, относящиеся к событию, которое вдруг в один прекрасный день потрясло город.

Вот эти слова:

«В зверинце Лорбербаума Ямбо сошел с ума. Говорили очень странно, что виновата в том весна. Ямбо, мой бедный Ямбо...» и т. д.

Эти жалкие куплеты отражали трагедию, случившуюся вскоре после пасхи на Куликовом поле, где уже все карусели и пасхальные балаганы были разобраны, кроме цирка-шапито Лорбербаума, возле которого среди пустынной площади в виде приманки стоял на цепи слон Ямбо. Впрочем, у нас слово Ямбо произносили с ударением на первой гласной: Ямбо. И вот этот слон неожиданно сошел с ума и стал беситься, испуская зловещие трубные звуки, каждый миг готовый сорваться с цепи и ринуться по улицам города, ломая все на своем пути.

Куликово поле вдруг стало опасным местом, и лишь немногие смельчаки решались приблизиться к балагану Лорбербаума, где бушевал обезумевший слон. Они рассказывали разные небылицы, мгновенно облетающие город.

Лично я ничего не видел. Почти ничего. Может быть, самую малость, да и то издали: на фоне затоптанной пустынной площади горой поднимался серый силуэт слона с веерами растопыренных ушей,

с опущенным хоботом, качающимся с угрожающим, маниакальным постоянством, как маятник. Вероятно, это был короткий период депрессии, когда Ямбо, изнуренный порывами бессильной ярости, впадал в тихое безумие и, тоскливо озираясь по сторонам, переминался всей своей громадной тушей на одном месте, оставляя на черной земле Куликова поля, покрытого шелухой подсолнечных и кабачковых семечек, отпечатки своих круглых подошв и месяцеобразных пальцев.

Эти тихие минуты были еще страшнее припадков буйства, когда слон приседал на хвост, пытаясь разорвать короткую цепь, прикованную к его передней ноге, крутился волчком и, подняв к небу хобот, издавал воинственные трубные звуки, заставлявшие всех вокруг дрожать от страха.

Люди обходили стороной Куликово поле, опасаясь, что слон наконец разорвет цепь и начнет все вокруг крошить и убивать своими короткими, наполнину спиленными бивнями.

В течение целой недели город занимался исключительно слоном.

Ходили слухи, делались различные предположения. В газетах каждый день появлялись врачебные бюллетени о состоянии здоровья слона. Оно то ухудшалось, то улучшалось. Печатались интервью с городскими общественными деятелями и популярными врачами, которые в большинстве считали, что слон Ямбо сошел с ума на эротической почве, испытывая тоску по своей подруге слонихе Эмме, оставшейся в Гамбурге у Гагенбека, так как скряга Лорбербаум не захотел купить их вместе.

«Сын Африки тоскует по своей возлюбленной», — гласили заголовки копеечной газеты «Одесская почта», «Сильна как смерть!», «Верните бедному Ямбо его законную половину», «О, если бы люди умели так горячо любить!», «Жители нашего города ежедневно подвергаются смертельной опасности: куда смотрит городская управа?» — и тому подобное.

Странное, любовное волнение охватило меня. Оно было тем более непонятно, что в то время я не был ни в кого влюблен. Влюбленность, загоревшаяся во мне как лихорадка, была беспредметна. Волны необъяснимой страсти бушевали вокруг меня и во мне, приводя меня в состояние почти невменяемости. Можно было подумать, что в меня вселилась душа Ямбо. Мои нервы были натянуты. Меня мучила бессонница, перемежающаяся с короткими любовными сновидениями. Я вертелся в постели, то и дело переворачивая нагретую подушку, а утром вставал разбитый, с синяками под глазами. Я долго рассматривал себя в зеркало. На меня смотрели черные остановившиеся глаза. С отвращением выдавливал я на подбородке пунцовые прыщи, которые тетя со скользкой усмешкой называла «бутоны д'амурами». Я усердно занимался своей внешностью. Я упрямил папу заказать мне диагональные брюки со штрипками и, надевая их, чувствовал себя франтом. Я достал у одного товарища палочку фиксагуара, обернутую в серебряную бумажку, и натирал волосы, отчего они становились сальными, и когда я делил их гребнем и драл щеткой, стараясь устроить себе шикарный прямой пробор, как у английского спортсмена, то жесткие, еще почти детские волосы не слушались и торчали во все стороны сальными вихрями, распространяя жирный цветочный запах фиксагуара.

Я повесил на верхнюю пуговицу своей гимназической куртки жетон в виде крошечной теннисной ракетки на короткой цепочке, что было в ту пору очень модно, и, подняв тулью своей фуражки на прусский манер, шлялся по знойному городу, мучительно пустынно и тихому после шумной пасхальной недели

Суконные штрипки моих брюк то и дело сползали под каблуки, и мне приходилось часто останавливаться, чтобы привести их в порядок. Мальчишки с Новорыбной преследовали меня насмешками.

...Розовое солнце садилось за вокзалом, и прилегающие к вокзалу улицы казались особенно пустынными, порочно-тихими, манящими. Я ходил по ним, волоча в пыли плохо пригнанные штрипки, и прислушивался к тому, что происходит на Куликовом поле.

...ходили слухи, будто ночью у Ямбо был такой припадок ярости, что пришлось вызвать пожарную команду из Бульварного участка, которая из четырех брандспойтов поливала сбесившегося слона до тех пор, пока он не успокоился.

На следующий день припадок бешенства повторился с новой силой. Слон разорвал цепь, и его с трудом удалось снова заковать.

Положение с каждым часом становилось все более трагическим.

Теперь о состоянии здоровья слона газеты выпускали особые листки, словно это был умирающий монарх.

Городская управа заседала непрерывно, как революционный конвент: она требовала, чтобы Лорбербаум убирался из города вместе со своим сумасшедшим слоном или согласился его уничтожить.

Лорбербаум упрямылся, ссылаясь на большие убытки, но в конце концов вынужден был согласиться, чтобы Ямбо отравили: другого выхода не было. В один миг распространились все подробности предстоящего уничтожения слона. Его решили отравить цианистым калием, положенным в пирожные, до которых Ямбо был большой охотник. Их было сто штук, купленных на счет городской управы в известной кондитерской Либмана, — два железных противня, сплошь уложенных пирожными «наполеон» с желтым кремом. Пирожные привез на извозчике представитель городской врачебной управы в белом халате и форменной фуражке.

Я этого не видел, но живо представил себе, как извозчик подъезжает к балагану Лорбербаума и как служители вносят пирожные в балаган, и там специальная врачебная комиссия совместно с представителями городской управы и чиновниками канцелярии градоначальника с величайшими предосторожностями, надев черные гуттаперчевые перчатки, при помощи пинцетов начиняют пирожные кристалликами цианистого калия, а затем с еще большими предосторожностями несут сотню отравленных пирожных и подают слону, который берет их с противня хоботом и проворно отправляет одно за другим в маленький, недоразвитый рот, похожий на кувшинчик; при этом глаза животного, окруженные серыми морщинами толстой кожи, свирепо сверкают неистребимой ненавистью ко всему человечеству, так бессердечно разлучившему его с подругой; изредка слон выпускает могучие трубные звуки и старается разорвать проклятую цепь, к которой приклепано кольцо на его морщинистой ноге.

Съев все пирожные, слон на некоторое время успокоился, и представители властей отошли в сторону для того, чтобы издали наблюдать агонию животного, а затем по всей форме констатировать его смерть, скрепив акт подписями и большой городской печатью.

...О, как живо нарисовало мое воображение эту картину, которая неподвижно стояла передо мной навязчивым, неустрашимым видением трудно вообразимой агонии и последних содроганий слона...

Я стонал в полусне, и подушка под моей щекой пылала. Тошнота подступала к сердцу. Я чувствовал себя отравленным цианистым ка-

ли. Поминутно в полусне я терял сознание. Мне казалось, что я умираю. Я встал с постели, и первое, что я сделал — это схватил «Одесский листок», уверенный, что прочту о смерти слона.

Ничего подобного!

Слон, съевший все пирожные, начиненные цианистым кали, оказывается, до сих пор жив-живехонек и, по-видимому, не собирается умирать. Яд не подействовал на него. Слон стал лишь еще более буйным. Его страстные трубные призывы всю ночь будили жителей подозрительных привокзальных улиц, вселяя ужас.

Газеты называли это чудом или, во всяком случае, «необъяснимым нонсенсом».

Слон продолжал бушевать, и очевидцы говорили, что у него глаза налиты кровью, а из ротика бьет мутная пена.

Город чувствовал себя как во время осады.

Некоторые магазины на всякий случай прекратили торговлю и заперли свои двери и витрины железными шторами. Детей не выпускали на улицу. Сборы в театре оперетты, где шел «Пупсик», упали. Участились кражи. Положение казалось безвыходным.

Но как всегда бывает в безвыходных положениях, в дело вмешалась армия. Генерал-губернатор позвонил по телефону командующему военным округом, и на рассвете, поднятый по тревоге, на Куликовом поле появился взвод солдатиков — чудо-богатырей, — молодцов из модлинского полка в надетых набекрень бескозырках, обнажавших треть стриженных под ноль, белобрысых солдатских голов; они были в скатках через плечо, с подсумками, в которых тяжело лежали пачки боевых патронов.

С Куликова поля донесся до самых отдаленных кварталов города залп из трехлинейных винтовок Мосина, как будто бы над городом с треском разодрали крепкую парусину, — и все было кончено.

Когда вместе с толпой любопытных я робко приблизился к краю Куликова поля, то увидел возле зверинца Лорбербаума лишь вздувшийся горой кусок брезента, покрывавшего то, что еще так недавно было живым, страдающим слоном Ямбо.

...Он был навсегда излечен от своей неразумной страсти...

Город успокоился. Отцветали и осыпались как бы сухими мотыльками розовые и белые грозди душистой акации. Любовный чад рассеялся. И я стал опять хорошо спать и видеть легкие, счастливые сны, которые навевал на меня мой ангел-хранитель, чья маленькая овальная иконка болталась на железной решетке в изголовье кровати, над прохладной подушкой со свежей наволочкой.

Паноптикум.

Главной притягательной силой этого паноптикума, длинного дощатого балагана с парусиновой крышей, построенного на Куликовом поле, было особое, секретное отделение, куда посетителей пускали за дополнительную плату — пять копеек.

Хотя детям и гимназистам вход в это таинственное отделение, занавешенное ситцевой гардиной, был запрещен, но дама, сидевшая при входе за маленьким столиком и собиравшая в блюдечко пятаки, смотрела на это сквозь пальцы, и некоторые подростки, мои товарищи, уже побывали за ситцевой занавеской, но от них нельзя было ничего добиться, они странно молчали, всем своим видом и скользкими, загадочными улыбками давали понять, что они увидели нечто очень соблазнительное, даже, может быть, порочное.

На все вопросы они отвечали:

— Пойдешь — увидишь.

Моя фантазия, подогретая молчаливыми, многообещающими улыбками, распалась, и я решил пожертвовать частью своих скудных сбережений.

Мне представлялись соблазнительные картины, и я жаждал увидеть тайны любви, о которых лишь смутно догадывался.

Я не рискнул идти один и взял с собой Мишку Галия, или, как мы его называли, Галика, уличного мальчика, внука малофонтанского рыбака.

Галик гордо заявил, что заплатит сам за себя, и, вынув из-за пазухи, показал мне громадный расплющенный пятак, побывавший уже на рельсах под вагоном конки. Мы сначала побродили по балагану, без особого интереса рассматривая общеизвестные восковые фигуры в стеклянных ящиках, бледно освещенные дневным, «балаганным» светом, монотонно проникающим сквозь парусиновую крышу: убийство французского президента Сади Карно, бородатого господина с орденской лентой под фракком, с пятнами крови на пикейном жилете; египетскую царицу Клеопатру, время от времени прижимающую своей механической рукой к восковой нарумяненной груди маленькую извивающуюся гадючку; сиамских близнецов, девочек Додику и Родику, сросшихся друг с другом грудными клетками, с длинными волнистыми волосами и стеклянными глазами...

...Мы приближались к задернутой ситцевой занавеске, возле которой под надписью «Только для взрослых» сидела за шатким столиком вполне живая и все же как бы восковая дама со стеклянными глазами, в кружевной шляпке и кружевных митенках на желтых руках. Мы бросили на блюдечки свои кровные пятаки, и дама, хотя и покосилась через механически поднятый лорнет на расплющенный пятак, все же сделала нам таинственный знак, обозначавший, что мы можем войти в запретную комнату...

Чувствуя друг перед другом какую-то неловкость, мы некоторое время переминались перед цветной, цыганской занавеской, словно собирались совершить нечто постыдное, но в конце концов любопытство победило и мы пролезли в запретное отделение, неловко шаркая башмаками по опилкам.

Что же мы увидели?

Дошатая комната была уставлена стеллажами и стеклянными ящиками, в которых помещались восковые подобию различных конечностей человеческого тела, пораженных прыщами, сыпью, гнойными язвами различных кожных болезней. На нас смотрели восковые лица с проваленными носами и губами, раздутыми от страшных фиолетовых волдырей волчанки. С ужасом мы рассматривали женскую грудь, покрытую серо-розовой сыпью, глаза с гноящимися веками. Мы видели круглые язвы, гнойно-желтые в середине и вулканически-багровые по твердым краям. Страшные лишай покрывали мужские и женские головы. Нас пугали бледные, неестественно головастые младенцы со вспухшими животами, пораженные болезнью еще в утробе матери.

Разница между тем, что мы втайне мечтали увидеть, и тем, что увидели, была так разительна, что мы, едва держась на ногах, поплелись вон из этой комнаты, запутались в ситцевой занавеске, насилу выпутались из нее и побежали к выходу мимо умирающего президента, прекрасной египетской царицы Клеопатры с черной змейкой возле нарумяненной груди и слышали за собой назидательный шепот дамы в кружевных митенках:

— Теперь вы поняли, мальчики, что это совсем не то, о чем вы думали!..

Герои русско-японской войны.

Утром на первый день пасхи моя бабушка — папина мама — полезла в свой сундучок и, вынув из свернутого чулка, подарила мне потертый двугривенный: сумма в моем тогдашнем представлении восьмилетнего ученика приготовительного класса — баснословная.

Вспыхнув от радости, я сейчас же ринулся на улицу, с тем чтобы сразу же начать делать покупки.

Напрасно тетя, нагнувшись над пролетом парадной лестницы, кричала мне вслед:

— Куда ты помчался? Сегодня же первый день пасхи — все заперто.

Но я сделал вид, что не слышу.

Зажатый в потном кулаке двугривенный жег мою руку, и я испытывал неукротимое желание как можно скорее его потратить, хотя и сам отлично знал, что на первый день пасхи все заперто.

Я надеялся на чудо: а вдруг где-нибудь что-нибудь да продается!

Я обошел все известные мне мелочные лавочки — они были наглухо заперты. Город казался вымершим. Обыватели отдыхали после пасхальной заутрени в церкви, а затем длительного сидения дома или в гостях за пасхальным столом, украшенным гиацинтами, куличами, пасхами и запеченными окороками, из розового мяса и сала которых выглядывала круглая перламутровая кость.

На пустынных, чисто выметенных улицах не было даже мальчиков: они катали в глубине дворов и пустырей крашенные пасхальные яйца. Одна надежда была на Куликово поле, куда выходили окна нашей квартиры. Куликово поле было уже застроено дощатыми балаганами, каруселями, перекидками, будками со сладостями и рундуками квасников.

Напрасные надежды.

Весь этот праздничный, балаганный городок, построенный во время страстной недели из свежего теса и брезента, разукрашенный разноцветными громадными картинами с изображением диких зверей, жонглеров и клоунов, был еще более мертв, безлюден, чем окружавший его настоящий город. Как бы усиливая его мертвенность, посередине Куликова поля возвышалась выбеленная мелом мачта, на которой завтра, на второй день пасхи — не позже и не раньше, — ровно в полдень будет поднят бело-сине-красный торговый флаг Российской империи в знак того, что ярмарка открыта. В тот же миг все вокруг закрутится, завертится, загремят шарманки каруселей, затрезвонят небольшие медные колокола, зазывающие публику в балаганы, послышатся резкие выкрики клоунов и торговцев квасом, несметная толпа празднично разодетых горожан степенно двинется вдоль лавочек и будок, высоко в небо полетит оторвавшийся от своей нитки первый воздушный шарик — «красный, как клюква»...

Вот тогда-то и можно будет быстро, с толком и удовольствием потратить бабушкин двугривенный.

Но все это лишь завтра, ровно в полдень! А до этого времени ничего не оставалось как бродить по мертвому балаганному городу Куликова поля, не встречая на своем пути ни одной открытой будки.

...А между тем пасхальное небо — прохладное и ветреное — сияло над головой. По его чистому лазурному полю как бы наперегонки с колокольным звоном неслись круглые облака, чуть ли не задевая яркие золотые кресты и синие большие купола Афонских подворий, скопившихся против вокзала и пожарной каланчи Александровского участка, где у входа расхаживал парадно одетый городской в белых нитяных перчатках, натянутых на его толстые лапы...

Я несколько раз прошелся мимо открытых церковных дверей, откуда тянуло ладаном, слышались пасхальные песнопения и пылали золотые костры свечей, озаряя белоснежные и розовые праздничные ризы священников. Единственное место, где чем-то торговали, были церкви: там продавали просфорки и свечи. На миг мне даже пришла в голову глупейшая мысль купить на свой двугривенный четыре пятикопеечных свечи: все-таки какая-никакая, а покупка!

Я уже готов был войти в церковь, как вдруг увидел на паперти среди приличных пасхальных нищих знакомого мне седовласого слепца, на груди которого висела табличка с надписью церковно-славянскими буквами:

«Герой Плевны».

Он был городской знаменитостью, один из славных воинов генерала Гурко. Он был почти так же известен в городе, как другой инвалид, еще более седовласый, очень старый, почти столетний дед, матрос — герой Севастополя, сподвижник адмирала Нахимова. Проходя мимо этих героев, было принято снимать шапки. Я тоже с уважением снимал свою новую гимназическую фуражку номером больше чем надо, сидящую на моих еще совсем детских красных ушах и заставляющую потеть мою остриженную под машинку голову при готовишки.

На этот раз, не успев еще снять фуражки с большим серебряным гербом в виде двух скрещенных веточек, я заметил возле героя Плевны разложенные у его ног на церковных ступенях синие литографические, отпечатанные на глянцевой бумаге портреты героев русско-японской войны.

Чудо-богатырь славного генерала Гурко продавал портреты героев Чемульпо, Порт-Артура, Ляоляна... Каждый портрет стоил две копейки, и я их сразу купил десять штук, бросив мой двугривенный в деревянную чашку, которую держал в своих древних руках седой солдат.

Портреты эти очень мне нравились, и генералы, зернисто отпечатанные в известном заведении Фесенко, вызывали патриотические чувства своими черными лохматыми маньчжурскими папахами, шашками, георгиевскими крестами. Меня восхищали длинная раздвоенная борода знаменитого адмирала Макарова, треуголка адмирала Скрыдлова, его пенсне и мундир, на котором так ярко и отчетливо блестели два ряда орденов и медалей, так что в самом слове «Скрыдлов» как бы уже слышалось их тяжелое позванивание и трение друг об друга.

Я ненавидел затесавшегося сюда генерала Стесселя, предателя, сдавшего врагу крепость Порт-Артур, тем более что, выбирая наско-ро портреты, я каким-то образом взял два портрета этого подлеца, о котором у нас в доме всегда говорили с величайшим презрением.

...Сначала я хотел разорвать оба портрета Стессяля, но пожалел деньги и оставил так...

На одной из картонок я увидел знаменитого героя русско-японской войны, разведчика, рядового Рябова, известного тем, что он пробрался в китайской одежде в тыл японцев, где был пойман и расстрелян.

Японцы расстреляли его со всеми воинскими почестями.

...Рядовой Рябов, в китайской одежде, босой, стоял на коленях возле рокового столба и осенял себя крестным знамением. Я с ужасом и восхищением рассматривал его пальцы, сложенные щепоткой, и глаза, белые как у слепого. Перед ним стоял взвод японских солдат в белых гетрах, наставив свои винтовки системы Арисака в раскрытую грудь героя, на которой виднелся нательный крест. Фальшивая коса лежала тут же рядом. Рядовой Рябов бесстрашно смотрел в глаза смерти.

Я много раз уже раньше видел этот рисунок в газетах и журналах, но каждый раз слезы умиления и гордости закипали на моих глазах...

Вдоволь налюбовавшись подвигом рядового Рябова, я спрятал картинку во внутренний карман своей гимназической куртки, где хранился ученический билет и популярная записная книжка «Товарищ», убеждая себя, что сделал отличную покупку, но в глубине души меня уже грыз червь раскаяния. А поднимаясь по лестнице домой, я понял, что слишком поторопился с покупками и так глупо потратил свой двугривенный. А стоило мне только подождать до завтра, и я мог бы себе закупить на Куликовом поле множество замечательных вещей: длинную леденцовую палочку, обернутую полосатой бумажкой с махрами, дурбан — особый музыкальный инструмент в виде маленькой, сделанной из стали греческой буквы «омега», который надо было сунуть в рот, сжать зубами и дергать пальцем за тонкий стальной крючок, так что получалось густое разнотонное металлическое гудение, незаменимое для тайного утомительного гудения в классе на последнем уроке... Я мог бы покататься на карусели, побывать в балагане, где на маленькой сцене кукольного театра показывали гибель броненосца «Петропавловск». Мог, наконец, полакомиться жареным в сахаре миндалем и съесть костяной ложечкой из толстого, как лампадка, стаканчика по крайней мере две порции сахарного мороженого, наложенного большой горкой, а на самом деле пустого внутри.

...Ах, да что там говорить!..

Меня уже не радовало яркое солнце, бившее в окно и освещавшее красиво убранный пасхальный стол, и колокольный звон, так радостно плывущий над городом вперегонку с белоснежными редкими весенними облаками.

Иллюзион.

В юнкерском училище, где два раза в неделю мой папа преподавал русский язык и географию, была назначена демонстрация нового изобретения — живой фотографии братьев Люмьер. До этих пор съемки живой фотографии производились за границей, а у нас их показывали в иллюзионах. Теперь же, оказывается, и у нас в России открыли секрет живой фотографии. Разумеется, этим прежде всего.

как полагается, заинтересовалось военное ведомство, с тем чтобы по мере возможности применить это изобретение для своих целей.

По этой причине предполагающаяся демонстрация живой фотографии в юнкерском училище имела в некотором роде секретный характер и посторонние не допускались.

Папа обратился с просьбой к начальнику училища, и генерал разрешил папе привести с собой меня, однако с тем условием, чтобы я ни в коем случае не разглашал результаты демонстрации.

Папа строго потребовал от меня соблюдения этого условия, и я побожился ничего не разглашать.

...И вот наступил день, когда мы с папой, поднявшись по холодной парадной лестнице юнкерского училища, где в нише стоял гипсовый бюст государя императора, а недалеко от него сидел на стуле дежурный трубач со своей медной трубой, очутились в громадном сводчатом коридоре, служившем одновременно и церковью, и столовой, и гимнастическим залом, и театром, где на маленькой сцене раза два в год юнкера-любители, загримированные, переодетые, в накладных бородах, усах и париках, разыгрывали разные водевили вроде «Аз и Ферт», «Жених из долгового отделения», «Медведь» и «Предложение» Чехова и прочее, а также устраивались дивертисменты, где те же юнкера декламировали популярные стихи и монологи из «Чтеца-декламатора», например «Сумасшедший» Апухтина, начинавшийся обыкновенно с того, что юнкер-трагик, опираясь на спинку перевернутого перед ним стула, начинал фальшивым, дрожащим баритоном:

«Садитесь, я вам рад. Откиньте всякий страх и можете держать себя свободно, я разрешаю вам. Вы знаете, на днях я королем был избран всенародно...»

Или же другой юнкер, но уже не трагик, а комик, развязным жирным голосом души общества произносил из того же «Чтеца-декламатора»:

«Солнце село за горою. Возвращался с поля скот. А хозяин на коровок любовался у ворот. Колокольчик за плотиной прозвенел, и в тот же миг, глядь, сосед его въезжает в двор на дрожках беговых. К гостю бросился хозяин: — Петр Семеныч! Вот не ждал!.. Я иду встречать скотину, а господь мне вас послал...» — что неизбежно вызывало в публике взрыв здорового хохота.

Или:

«Смотри, свинья какая с поля идет, — заметил Коля Саше, — она, пожалуй, будет, Коля, еще жирней, чем наш папаша». — Но Коля молвил: «Саша, Саша! К чему сболтнул ты эту фразу? Таких свиных, как наш папаша, я не видал еще ни разу!»

Нечего говорить, что тут уж юнкера-зрители валились от хохота с длинных скамеек, а у полковника, инспектора классов, колыхался живот, сотрясая хрупкий стул, поставленный впереди, рядом с креслом генерала — начальника училища, прятавшего улыбку под нафабранными немецкими усами.

Теперь на месте сцены был натянут большой полотняный экран, что придавало всей атмосфере военно-учебного заведения с его запахами солдатского сукна, вареной капусты и светильного газа, с его двумя часовыми-юнкерами возле знамени в темном чехле и дневальным за столиком возле входа нечто весьма таинственное, многообещающее.

Помещение уже было переполнено юнкерами, занимавшими ряды длинных скамеек, впереди на стульях разместилось начальство,

а сзади на специально для этого случая изготовленной деревянной подставке возвышался сложный проекционный аппарат: два медных колеса с намотанной на них перфорированной, легко воспламеняющейся целлулоидной лентой и еще более сложный осветительный прибор вроде спиртово-калильной лампы, распространяющий острый запах эфира; иногда этот прибор издавал пронзительный зудящий звук. Вокруг суетились операторы, с усилиями стараясь наладить свой механизм. Это им долго не удавалось. Начальство выражало нетерпение. Инспектор классов несколько раз вставал со своего стула и подходил к аппарату, проявляя беспокойство и строго отдавая различные приказания на случай, если вдруг возникнет пожар.

...Вообще в основном все боялись пожара, который, без сомнения, может вдруг охватить здание училища...

Мы с папой, как люди штатские, сидели сбоку на стульях, несколько позади начальства, но впереди юнкеров. Это наше полупривилегированное положение хотя и льстило моему детскому самолюбию, но все же оставляло известный неприятный осадок.

Наконец механизм был приведен в порядок и в помещении погасили газовые рожки. Белый луч осветил экран, на котором появились громадные силуэты что-то делающих рук с растопыренными пальцами, стриженных голов, носов, наконец промелькнула тень целлулоидной ленты с четкими квадратными отверстиями перфорации; тень ленты завилась, завинтилась как стружка; тени рук взяли ее за край и что-то с ней сделали, по-видимому, не без труда всунули в щелкнувший аппарат. Кто-то стал крутить ручку барабана, раздалось мерное металлическое стрекотание, и на освещенном экране появилось громадное фотографическое изображение хорошо знакомой всем нам Шестой станции большефонтанской железной дороги. Волшебство заключалось в том, что это фотографическое изображение было живое. Через полотно узкоколейки пробежала собака с хвостом как бублик; по ту сторону полотна шевелилась листва акаций, и среди листвы виднелись белые солдатские палатки: летний лагерь - модлинского полка; несколько человек на перроне, повернувшись к нам лицом, с любопытством, размахивая руками, что-то рассматривали — вероятно, синематографический аппарат, которым их снимали; затем вдали показались клубы пара, вылетающего из головастой трубы паровичка-кукушки, замелькали открытые летние вагончики с парусиновыми занавесками; поезд остановился, и на перрон стали выпрыгивать офицеры в белых летних кителях; замелькали фуражки в белых чехлах и блестящие шевроновые саногы, некоторые со шпорами; прошли дамы в кружевных платьях, с кружевными зонтиками...

...все это было не заграничное, не парижское, а свое, русское, хорошо знакомое, одесское, даже будка с зельтерской водой, из которой с любопытством выглядывала черноглазая продавщица в причудеске а-ля исполнительница цыганских романсов Вяльцева. Я чувствовал прилив патриотизма, гордость за успехи родного, отечественного синематографа и в то же время сожаление, что в то время, когда происходила съемка, меня не было на Шестой станции и я не мог увидеть самого себя — маленького гимназистика на живой фотографии...

Чудо продолжалось минуты три, четыре — и вдруг все кончилось. Зажегся газ.

— Господа, сеанс окончен! — провозгласил чей-то торжествующий военный голос.

И я снова очутился в будничном, несколько сумрачном, несмотря на газовое освещение, мире юнкерского училища.

Начались восклицания, общее восхищение.

Кто-то кого-то узнал на экране, кто-то узнал самого себя и божился, что это был именно он, юнкер, подошедший к киоску с зельтерской водой и выпивший стакан шипучей воды с сиропом ром-ваниль.

...Так впервые в жизни я увидел чудо, и день этот не могу забыть до сих пор...

История с кошками и старым генералом.

Квартира отставного генерала помещалась в первом этаже нового дома товарищества квартировладельцев, но старуха генеральша называла это не первым этажом, а рэ-дэ-шоссе. Она говорила:

— Мы живем в рэ-дэ-шоссе.

Половина генеральских окон выходила на Пироговскую улицу, на длинный каменный забор военного госпиталя, помнившего еще великого военного хирурга Пирогова, а половина — во двор, куда так же выходила небольшая открытая бетонная терраса генеральского рэ-дэ-шоссе.

На этой террасе генеральша варила варенье, а генерал сидел в бархатном кресле и читал черносотенную газету «Русская речь». Впрочем, он не любил сидеть на одном месте и часто, надев свою фуражку времен Турецкой кампании с огромным кожаным козырьком и довольно-таки поношенные штиблеты на резинках, снабженные большими старомодными шпорами, которые производили громкий царапающий звон, выходил на нашу, тогда еще довольно тихую, зеленую, провинциальную улицу, где мы даже один раз с моим двоюродным братом Сашей ловили лягушек.

На улице генерал появлялся в пугающе-зеленых очках, кожа его морщинистой шеи выглядывала из воротничка кителя, напоминающая багровую кожу на горле индюка, крашенные усы, переходящие в седые, сизые александровские бакенбарды, длинная летняя шинель с георгиевской ленточкой в петлице, красные генеральские лампасы и зловещая, шаркающая походка внушали штатским прохожим почтение, а городские и нижние чины испытывали трепет.

Генерала вечно пожирала жажда административной деятельности, и он чувствовал себя как бы комендантом завоеванного неприятельского города, населенного одними турками — нехристями и басурманами, с которыми нечего церемониться.

Он громким, крикливым голосом делал замечания проходящим дамам, в шляпках которых замечал торчащие длинные булавки; он кричал на дворника, плохо подметавшего улицу; он грозил своим костыльком с резиновым наконечником извозчику, едущему в нарушение правил посередине мостовой; он требовал от местных домовладельцев, чтобы они во избежание бешенства домашних животных выставляли против своих владений плошки с водой; он вырывал изо рта курящих гимназистов папиросы и тут же затапывал их своими штиблетами; он набил морду военному фельдшеру, шедшему под руку с модисточкой, за то, что фельдшер не стал ему во фронт; он воевал с велосипедистами, а когда расплодились автомобили, то и с автомобилистами, требуя, чтобы их чертовы машины перестали вонять бензином на всю Пироговскую.

В особенности доставалось от него детям, игравшим против его рэ-дэ-шоссе в классы. Он почему-то терпеть не мог этой игры, а детские чертежи и рисунки, сделанные на асфальте мелом, приводили его в ярость. Однажды он надрал уши моему брату Женьке за то, что тот нарисовал углем на стене дома пароход с дымом и рулевым колесом.

Словом, генерал был всеобщим бедствием и на него нельзя было найти управу. Он превратил жизнь нашего кооперативного дома и даже всей Пироговской улицы, начиная от Французского бульвара и кончая зданием штаба Одесского военного округа возле Куликова поля, в зону постоянных скандалов, оскорблений и опасностей, подстерегавших жителей на каждом шагу. Генерал даже придирался к робким местным гимназисткам из гимназии Белен-де-Балло, известной своими строгими нравами. Он кричал гимназистке, стуча по тротуару палкой:

— Убери свои патлы, паскуда!..

Положение было безвыходное. И все же в один прекрасный день и на нашего генерала нашлась управа.

Как-то ночью весь дом был разбужен отчаянным кошачьим концертом. Два или три кота из числа тех одичавших, невоспитанных, ободранных котов, которыми так славились черепичные крыши нашего города, сидя на генеральской террасе, кричали омерзительными голосами. Несколько раз в течение ночи генерал и генеральша выбегали на террасу и прогоняли котов. Но едва они укладывались в постель, коты снова начинали возню и раздрающе мяукали хором. Ночь была испорчена. Но следующая ночь оказалась не лучше. Можно было подумать, что не только все коты и кошки с Пироговской улицы, но даже множество этих животных из прилегающих переулков и даже из Ботанического сада и дачи Вальтука совершенно непонятной, прямо-таки загадочной причине устремились на террасу генеральского рэ-дэ-шоссе и учинили там вакханалию...

...Вальпургиеву ночь — как выразилась тетьа...

Разнузданные, потерявшие всякий стыд и совесть коты и помятые малофонтанские кошки, крикливые, как торговки с Новорыбной улицы, кучами валялись под генеральскими окнами, оглашая тишину ночи раздражающим мяуканьем. Животные катались по террасе, прыгали, царапались в балконные двери. Ключья кошачьего меха и какой-то подозрительной ваты летали в воздухе. Генерал и генеральша выбегали среди ночи и воевали с кошками, бросая в них пустыми цветочными вазонами, кухонными скалками, щетками, тряпками. Но это не помогло. Коты и кошки буквально сбесились. Испуская страшные проклятия, в одних подштанниках, генерал выстрелил из своего боевого револьвера, но старый, заржавевший «смит-и-вессон» сорок четвертого калибра дал подряд пять осечек, и генерал изо всех сил запустил им в котов, однако вальпургиева ночь не прекратилась. Доведенный до отчаяния, генерал ездил жаловаться одесскому градоначальнику, подавал прошение в городскую управу, обращался в общество покровительства животным и даже в бактериологическую станцию, полагая, что он стал жертвой какой-то странной, еще не исследованной эпидемии безумия среди домашних животных.

Никто не понимал, что же такое происходит. Все были взволнованы, озабочены.

...Только мой братец Женька и его компания как ни в чем не бывало прохаживались под окнами генерала, и по их губам с заедами от дынь скользили странные, блуждающие улыбки...

Но вот в один прекрасный день тетя полезла в свою домашнюю аптечку и обнаружила исчезновение всех запасов валерьянки. Она поймала в коридоре Женьку и взяла его за плечи.

— Что, тетечка? — спросил маленький Женька, глядя на тетю своими святыми шоколадными глазками.

— Это ты взял валерьянку? — спросила тетя.

— Да, тетечка, — ответил Женька скромно.

— Я так и думала! — воскликнула тетя, и вдруг ее губы сморщились, и она стала хохотать.

Я думаю, не нужно объяснять, что Женькина компания, отлично знавшая пристрастие кошек к валерьянке, устроила всю эту курьезу, каждый вечер разбрасывая на генеральской террасе вату, смоченную валерьянкой.

Не помню уже, чем все это кончилось и куда потом девался генерал. Кажется, он мирно дожил до революции и в первые ее годы умер от старости, и его похороны прошли незаметно — без военного оркестра, архиерейских певчих, артиллерийского салюта и прочей чепухи.

Бадер, Уточкин, Макдональд...

Между красивым белым зданием третьей гимназии и Александровским парком находился большой городской пустырь, половину которого занимал обнесенный со всех сторон высоким дощатым забором так называемый циклодром, то есть особое эллипсообразное деревянное сооружение — трек, где происходили велосипедные и мотоциклетные гонки. Это было, пожалуй, самое популярное зрелище в городе. Тысячи обывателей из всех классов общества заполняли циклодром в дни великих гандикапов, и Успенская улица, ведущая из глубины города к этому ристалищу, была покрыта клубами пыли от проезжающих извозчиков, карет и даже автомобилей, тех первых механических экипажей, похожих на извозчицьи дрожки, но без лошади, с маленьким красным радиатором, медными фонарями впереди и сигнальным рожком с гуттаперчевой грушей вроде тех гуттаперчевых груш, которые употреблялись для клизм.

Пыль поднимали также пешеходы, идущие на циклодром из рабочих окраин и слободок, целыми семьями со стариками и детьми, неся кошельки с закуской и бутылки пресной воды.

Кумиром циклодрома был Уточкин, великий гонщик на короткие дистанции, безусловный и постоянный чемпион мира, которого народ любовно называл Сережа Уточкин и обожал как одного из самых великих своих сограждан.

Почему-то в наше время Уточкин считается только знаменитым авиатором, пионером русской авиации. Однако это не совсем верно. Уточкин был вообще прирожденный спортсмен во всех областях: он был не только авиатором, но также яхтсменом, конькобежцем, пловцом, прыгуном с высоты в море, ныряльщиком, стрелком из пистолета, бегуном, даже, кажется, боксером и неоднократно поднимался на воздушном шаре, один раз даже со своим сыном-гимназистом, что у всех нас, мальчиков, вызвало ужасную зависть.

Однако во всех областях спорта он никогда не достигал совершенства и мог считаться скорее талантливым и бесстрашным дилетантом, чем настоящим профессионалом.

Единственный вид спорта, в котором он был действительно гениален,— это велосипедные гонки. Велосипед был его стихией. Не было в мире равного ему на треке. Лучшие велосипедисты мира пытались состязаться с ним, но никогда ни одному не удалось обставить нашего Сережу.

Богатые люди занимали лучшие места в первых рядах, против ровной дорожки у самого финиша, обозначенного толстой белой чертой. Люди менее денежные обычно занимали места возле старта. Остальные наполняли деревянные трибуны, чем выше, тем дешевле. А самые неимущие — мальчишки, мастеровые, заводские рабочие, рыбаки — покупали входные билеты и сами себе отыскивали нумерованные места где бог пошлет, чаще всего на самой верхотуре, с боков, над крутыми, почти отвесными решетчатыми виражами трека, сколоченными из реек лучшего корабельного леса, что делало их несколько похожими на палубу яхты.

Помню день великого состязания между тремя лучшими гонщиками мира: Бадером, Уточкиным и Макдональдом.

Три имени — Бадер, Уточкин и Макдональд — овладели умами, и уже ни о чем другом в нашем городе, казалось, никто не мог думать.

«...Бадер, Уточкин, Макдональд... Бадер, Уточкин, Макдональд... Бадер, Уточкин, Макдональд... Бадер, Уточкин, Макдональд...» — только и слышалось в толпе, это звучало маниакально, как три карты Германна: «Тройка, семерка, туз»...

С большими трудностями мы достали с моим другом Борей Д. двадцать копеек на входные билеты и, полузадавленные праздничной толпой, протиснулись на самый верх, где нам удалось занять места на последней скамейке, а так как оттуда сидя ничего не было видно, то мы встали на скамейку во весь рост, поддерживая друг друга, и тогда поверх бушующего моря кепок, картузов, соломенных шляп-панам и различных форменных фуражек нам удалось кое-что увидеть. Во всяком случае, мы видели небольшую часть трека, который, наверное, с большой высоты, например из гоночной воздушной шары, напоминал овальную бельевую корзину. Под нами хорошо просматривалась добрая половина крутого виража, по которому сострельбой и дымом моторов почти параллельно земле, как бы лежа, пронеслись мотоциклеги, так называемые «лидеры», за которыми как прилипшие следовали велосипеды гонщиков на дальние дистанции. Они должны были сделать десять, двадцать, даже тридцать кругов. Мы узнавали марки мотоциклов: «Вандерер», «Дион-бутон», «Индиана»...

... в особенности «Индиана». Американский мотоциклет «Индиана» был выставлен в витрине автомобильного магазина на Ришельевской улице. Среди скучных, старомодных витрин с пожелтевшей от солнца галантереей витрина с «Индианой» представлялась чем-то как бы появившимся из будущего. Мотоцикл «Индиана», весь ярко-красный, лакированный, с намеками на те формы, которые сейчас называются обтекаемыми, весь устремленный вперед, конструктивно целеобразный, как бы летящий среди сверкающих в витрине запасных частей, вызывал в нас восторг, преклонение перед техническим гением человека, способного создать такую превосходную машину...

И конечно, красная голова индианки с перьями, воткнутыми в ее смоляные волосы, развевающиеся на ветру: вся — движение, вся — полет, вся устремленная в будущее...

Созерцанием мотоциклетов ограничивался наш интерес к состязаниям на дальние дистанции с лидером. Мы ждали появления на треке Бадера, Уточкина, Макдональда, матч между которыми на звание чемпиона мира явился главной приманкой и шел последним номером программы. Мы напрягали зрение, надеясь увидеть в открытую дверь сарая, откуда обычно выезжали гонщики, Сережу Уточкина.

Достаточно было сказать: «Сегодня я видел Сережу Уточкина», чтобы стать на некоторое время героем дня.

Среди пестрой кучи гонщиков, стартеров с флажками, судей в котелках и цилиндрах, репортеров, толпившихся на зеленом лугу циклодрома, мы старались увидеть знакомую фигуру Уточкина — невысокого, страшно широкого в плечах, короткошеего, приземистого, слегка кривоногого, с прямым английским пробором на рыжей, гладко причесанной, как бы несколько кубической голове — нечто вроде циркового эксцентрика в своем клетчатом американском пиджаке и желтых ботинках на толстой подошве фасона «Вэра». Мы услышали, как за забором, где скопилась несметная толпа безбилетных зевак, раздаются крики: «Гип-гип-ура!» — и поняли, что это приветствуют приехавшего в экипаже Уточкина. Через минуту весь циклодром уже ревел: «Гипп-гипп-ур-р-ра!»

Это появился на зеленом лугу Уточкин. Однако мы не могли выделить в толпе его характерную фигуру.

Мы предчувствовали, что именно сегодня к нам снизойдет величайшее счастье: мы увидим Уточкина рядом с собой, услышим его заикающийся голос и он пройдет так близко от нас, что зацепит меня и Борю своими обнаженными руками атлета, усыпанными веснушками.

Мы не ошиблись, и вот как оправдалось наше предчувствие.

...сделавши несколько пробных кругов на своих легких изящных гоночных машинах с низко опущенными рулями и высоко поднятыми седлами, отчего головы гонщиков были опущены совсем низко, могучие спины круто согнуты, а зады подняты.

Циклодром бурно приветствовал появление Бадера—Уточкина—Макдональда, трех величайших велосипедистов XX века, так не похожих и вместе с тем так похожих друг на друга своими короткими штанишками, разноцветными фуфайками и волосатыми ногами, работающими как рычаги какой-то машины, пущенной полным ходом.

Бадер — добродушный, несколько полный, розовый немец с небольшой плешью, по-видимому, любитель хорошего мюнхенского пива и «картофельн залад» — картофельного салата.

Затем — наш Сережа Уточкин с бодливым, несколько выгнутым низким лбом с веснушками.

И наконец, сухой англичанин Макдональд с как бы вырезанным из дерева узким лицом и горбатым носом Шерлока Холмса над выставленным вперед волевым подбородком.

Сделав несколько кругов, чемпионы выстроились на старте, и каждого поддерживал за седло ассистент. Раздался звонок стартового колокола, духовой оркестр грянул вальс, ветер пробежал по трехцветным флагам на белых флагштоках, и Бадер—Уточкин—Макдональд понеслись по треку.

Им предстояло пройти три круга.

На первом круге вперед вырвался Макдональд, самый опасный соперник Уточкина, он обогнал нашего Сережу по крайней мере на два колеса, и когда гонщики взлетели высоко на вираж, несясь почти параллельно земле, то впереди был Макдональд, немного ниже Мак-

дональда и на колесо отставая от него, работая атлетическими, короткими ногами, мчался Уточкин, а немец Бадер потерял темп и отстал от них почти на четыре велосипедных корпуса, опустив к рулю красное лицо, по которому уже струился пот.

Тот факт, что Макдональд занял вдруг бровку и уверенно шел первым, поверг нас в отчаяние.

— Уточкин, Уточкин! — кричали мы с Борей, едва не падая от волнения со скамейки.

А вокруг нас кричала и неистовствовала толпа рабочего люда:

— Уточкин, Уточкин!.. Давай, жми, не посрами матушку Россию! Утри нос англичанину!

Но англичанин уверенно шел впереди, и, казалось, никакая сила в мире не догонит его. Несмотря на все свои усилия, Уточкину не только не удалось хоть сколько-нибудь приблизиться к Макдональду, но даже наоборот: расстояние между ними как будто стало заметно для глаза увеличиваться.

Циклодром весь как один человек ахнул от горя. Некоторые даже не стесняясь плакали. Военный оркестр сбился с такта — музыканты перестали смотреть в ноты, прикрепленные к их трубам.

Однако великие знатоки велосипедного спорта были спокойны. С хронометрами в руках они следили за Уточкинским, понимая, что Сережа хитрит, делая вид, что выжимает из своего велосипеда все, на что он способен. А на самом деле нарочно немножко отстает, с тем чтобы на последнем круге сделать свой знаменитый рывок, и перед самым финишем обойти Макдональда, и своей широкой грудью разорвать бумажную ленту.

Примерно так и получилось.

В конце второго круга, сделав головокружительный вираж и взлетев выше Макдональда аршина на два, Уточкин стал круто спускаться на прямую. Теперь он и Макдональд шли руль в руль, и английский чемпион стал чуть заметно сдавать, в то время как Уточкин все прибавлял и прибавлял ходу.

Циклодром ревел.

Но тут до этого времени как бы незаметный Бадер, ехавший сзади, вдруг рванулся вперед и обошел обоих своих соперников по крайней мере на полтора колеса.

Циклодром замер, а потом застонал.

Мой друг Боря, обладавший уравновешенным, даже несколько флегматичным характером и крепкими нервами, — даже немного фаталист — стоял на скамье, скрестивши руки на груди, изо всех сил сжав зубы, чтобы не застонать, и ноги у него дрожали, а у меня — мальчика более слабонервного — по щекам уже текли слезы, и мне было жалко и себя, и Борю, и Уточкина, и нашу родину Россию, и гривеники, потраченные на входной билет.

Затем все три гонщика — Бадер, Уточкин и Макдональд — ушли из поля нашего зрения и снова появились лишь на середине третьего круга, стремительно опускаясь с виража на последнюю прямую, в конце которой на ветру покачивалась трехцветная провисшая лента финиша.

Порядок гонщиков изменился: впереди, изо всех сил шинкуя своими белыми толстыми ногами, мчался немец Бадер, и его светлые волосы развевались на ветру; за ним еле попевал Уточкин, а грозный англичанин Макдональд отстал на четыре машины и уже, как видно, не имел никаких шансов финишировать не только первым, но даже вторым.

Пролетая под нами, Уточкин опять сделал свой непостижимый рывок и во мгновение ока оказался на полколеса впереди Бадера.

Рев циклодрома заглушал победные звуки оркестра.

— Уточкин, браво! Жми, Сережа! Ура, Уточкин! — неслось со всех сторон, и вдруг среди этого общего гама рядом с нами раздался почти детский, визгливый жлобский голос с сильным пересыпским акцентом:

— Держи фасон, рыжий!

А надо вам сказать, что Уточкин хотя, в общем, был человек довольно добродушный, но, как все рыжие и заики, обладал повышенной чувствительностью ко всякого рода намекам и приходил в бешенство, даже в исступление, если его называли зайкой или рыжим. Непонятно, каким образом до его слуха среди общего гама донеслось слово «рыжий», но только — помнится — вдруг произошло нечто невообразимое. Уточкин оглянулся, сбавил ход, подъехал к обочине и, прислонившись к столбу вместе со своим велосипедом, стал отвязывать ступни ног, намертво привязанные ремнями к педалям. Затем, не обращая внимания на свой упавший велосипед, мерным, но стремительным шагом, согнув по-бычьему голову, пошел напрямик прямо сквозь толпу, шагая через скамейки трибун, мягко расталкивая зрителей голыми локтями, кратчайшим путем к тому месту, откуда раздался крик: «Рыжий!»

Уточкин шагал вверх прямо на нас, и лицо его с широким выгнутым лбом, осыпанным веснушками, было ужасно.

Оттолкнув меня и Борю, он безошибочно отыскал в толпе мальчишку, который крикнул «рыжий», и взял его обеими руками за плечи. Мальчик затрясся, скрючился, слезы брызнули из его глаз и потекли по пестрому лицу с выгоревшими глазами и облупленным носом.

— Дяденька, — взмолился он, — я больше не буду.

Но Уточкин был неумолим.

— Э...то т...ы, байстрюк, з...закричал м...мне р...р...рыжий?

После этих слов Уточкин поднял пересыпского мальчика выше своей кубической головы.

— И ч...чтоб я т...тебя здесь больше н...никогда не видел! Т...тебе н...не м...м...место н...на порядочном ган...ган...ган...гандикапе, — с усилием выговорил Уточкин трудное слово «гандикап» и осторожно выбросил пересыпского мальчика через забор, где пересыпский мальчик удачно сел в мусорную кучу, поросшую пасленом с его мутно-черными ягодами, густо покрытыми августовской пылью, а Уточкин тем же путем возвратился на трек, сел на велосипед, предварительно прислонив его к столбу, и привязал свои ноги к педалям.

Ввиду этого исключительного происшествия судьи остановили гонки и, посоветовавшись, прибавили еще три круга, и Уточкин, обойдя сначала Макдональда, а потом опередив на четверть колеса Бадера, финишировал первым и под овации циклодрома и звуки марша сделал круг почета с куском трехцветной ленты, прилипшей к его атлетической груди, а проезжая мимо того места, где мы стояли с Борей, посмотрел вверх и погрозил пальцем.

Эрнест Витолло.

Папа Юрки Козлова, маленького мальчика, совсем недавно поселившегося в Отраде, был интеллигентный пьяница, бодрый, бородатый, курносый старичок в котелке, модном жакете и золотом пенсне, которое то и дело соскальзывало с его неудобного носика и повисало на черной шелковой ленте.

Юркин папа ездил на извозчике куда-то на хорошую службу, может быть даже в банк, и часто возвращался вечером домой, слегка

спотыкаясь и как бы валясь вперед, с кожаным саквояжем в руках. Проходя мимо нас, он всегда весьма добродушно с нами раскланивался, несколько юмористически приподнимая котелок на белоснежной шелковой подкладке с золотыми буквами, и весело говорил в нос:

— Вот, детки, запасся на вечер пивцом Санценбахера.

Мама Юрки Козлова была гораздо моложе своего старенького мужа и считалась у нас в Отраде шикарнейшей дамой. Она часто ссорилась со своим мужем, и в открытые двери их балкона долетал до нас ее презрительный голос:

— Вы старый, выживший из ума идиот, половая тряпка, и я вас презираю. Кокю!

Что такое значило это загадочное слово «кокю» — мы не знали.

Время от времени мадам Козлова, красивая, намазанная, в боа из страусовых перьев, в большой парижской шляпе, с золотой кольчатой сумочкой в руке, благоухая французскими духами, садилась на извозчика и возвращалась домой уже поздно вечером, когда старик Козлов с тлеющей сигарой в руке на отлете, в одном пикейном жилете спал в гостиной на диване, с блаженной улыбкой на курносом лице.

Брошенный на произвол судьбы маленький Юрка Козлов, милый, как мать, и смешной, как отец, превратился в настоящего уличного мальчишку, знал многое из того, о чем другие мальчишки лишь смутно догадывались, и, случалось, царапал ножом на ракушниковой стене непристойные слова, а также делал всякие неприличные жесты, вероятно, сам плохо соображая, что он делает, мне кажется, он делал это бессознательно, а в общем, был добрый, уживчивый мальчик.

И вот однажды, когда мы с Юркой играли в тѣпки на возилки и я уже собирался сесть верхом на проигравшего Юрку, с тем чтобы он отвез меня от тѣпки до меты, на поляне появился Юркин папа, веселый, курносый, под хмельком, и предложил своей московской скороговоркой повезти нас с Юркой на полет воздушного шара.

Об этом я и мечтать не смел!

Обычно я видел воздушный шар уже в полете, высоко над городом, или над морем, или в небе между домами, и следил за ним до тех пор, пока он не скрывался в облаках, за крышами.

В те времена многие увлекались этим видом спорта, а также устраивали полеты воздушного шара с коммерческой целью. Появилось множество бродячих аэронавтов, которые разъезжали по городам, где имелись газовые заводы для того, чтобы можно было на месте наполнять оболочку своего воздушного шара светильным газом. Обычно они ездили на поезде в третьем классе, а оболочку, сетку и гондолу, проще говоря, особую ивовую плетеную корзину, отправляли багажом малой скоростью. Их развелось такое множество, что они уже почти не делали сборов, тем более что большинство зрителей наблюдали полет шара бесплатно: ведь небо было общее, так сказать, божье, а покупать билеты лишь для того, чтобы присутствовать при наполнении оболочки светильным газом и видеть «старт» — на это охотников уже почти не находилось. Аэронавты прогорали. Для того, чтобы привлечь зрителей, приходилось прибегать к разным цирковым трюкам: один воздухоплаватель поднимался на трапеции, другой обещал, если позволит погода, прыгнуть с парашютом, третий объявлял, что полетит вместе с женой и маленькими детьми.

...Сегодняшний аэронавт выпустил громадную печатную афишу, где говорилось, что он взлетит, сидя верхом на велосипеде.

Несмотря на это, когда мы с Юркой и его папой с шиком подъехали на извозчике с дутыми шинами, то оказалось, публики совсем мало. В дощатой будке жена аэронавта с напудренными щеками продавала билеты, и по ее удрученному виду было заметно, что сбор совсем плохой, не хватит даже на оплату светильного газа.

Юркин папа с благоухающей сигарой во рту открыл портмоне, полное бумажных, серебряных и даже золотых денег, и взял три билета первого ряда, каждый билет по семьдесят пять копеек.

Я никогда не видел столько денег у одного человека!

Я понял, что Юркин папа очень богат, и понял также, на что намекали у нас в Отраде, когда говорили:

— Мама Козлова — красавица; она вышла за господина Козлова, Юркиного папу, старичка и пьяницу. из интересу.

При входе на пустырь, где были вбиты в землю деревянные скамейки для зрителей, стоял пожарный в медной каске, который попросил Юркиного папу погасить сигару: курить строжайше запрещалось во избежание взрыва газа.

И тут я увидел нечто запомнившееся мне на всю жизнь гораздо больше, чем сам полет воздушного шара: Юркин папа вынул изо рта сигару, но не бросил ее на землю и не затоптал ногами, а бережно спрятал в особую серебряную штуку, состоящую из двух створок, где можно было сохранить недокуренную сигару, защелкнув створки, как портмоне.

Юркин папа, сутулясь, спрятал машинку с погашенной сигарой в боковой карман своего бархатного пиджака, откуда торчал кончик шелкового лилового платочка, и я понял смысл того, что молодая красавица вышла замуж за старичка «из интересу».

Мы уселись в первом ряду на нищенскую, дощатую, даже не обструганную скамейку, настолько высокую, что мои и Юркины ноги не доставали до земли; мы стали смотреть на резиновую кишку, которая как змея выползала из-под ворот газового завода, все время пошевеливаясь от напора светильного газа, который тек по ней в шелковую, прорезиненную оболочку воздушного шара, пока еще бесформенно распластанную на земле и покрытую сеткой с тяжеленькими мешочками песка по ее краям. Вокруг шевелящейся оболочки ходил сам аэронавт в пиджаке с поднятым воротником, накинутом на плечи, и внимательно осматривал латки, прилепленные резиновым клеем к прохуdivшимся частям оболочки. Напускание газа тянулось томительно долго и нудно, по крайней мере часа два, и мы решительно не знали, что нам делать, и ерзали на неудобной скамейке, болтая ногами. Зрелище напускания в оболочку газа не представляло никакого интереса.

Наконец оболочка постепенно вспухла, надулась, поднялась и заполнила все пространство стартовой площадки, сделавшись грушеподобной и легкой, покачиваясь под сеткой на фоне старой ракушниковой стены газового завода, посеревшей от времени, и акаций, растущих вокруг пустыря.

...это была малознакомая часть города, где-то в конце Херсонской, за городской библиотекой, где улица как бы висела над портом, и отсюда открывался неожиданно новый, прекрасный вид на Пересыпь, Жевахову гору, Дофиновку и поля за Дофиновкой, а подо мною внизу виднелись черепичные и железные крыши, покрытые, как муха-

ми, людьми, желающими бесплатно наблюдать за полетом. Людей на крышах и на деревьях было несметное множество, в то время как на стартовой площадке платных зрителей можно было счесть по пальцам, и это отражалось на мрачном, худом лице аэронавта, делавшего последние приготовления к полету.

Теперь шар уже заметно округлился, увеличился в объеме, и для того, чтобы он не улетел, несколько пожарных держали его корзину с якорем и гайдрóпом, то есть длинной веревкой, за которую можно было бы подтянуть шар в момент его посадки на землю.

Ветер с залива, видневшегося как на ладони, все сильнее и сильнее раскачивал громадную тушу воздушного шара, надувавшегося так сильно, что под натянувшимися ячейками сетки он казался как бы стеганным.

Аэронавт скинул с себя пиджак, вылез из штанов и оказался в полинявшем лиловом трико, как уличный акробат. Он обошел круг зрителей с высоко поднятой для приветствия худой рукой, а затем начал прощаться с женой, вышедшей к нему из будки. В одной руке она бережно держала проволочную зеленую кассу с выручкой, а другой обняла мужа. Они театрально поцеловались, хотя на стареющем, некрасивом лице жены со следами нищенской жизни выразилось настоящее, неподдельное беспокойство, даже горе. Аэронавт вскарабкался на облезлый велосипед, привязанный на длинной веревке к корзине шара.

— Отпустить стропы! — скомандовал он пожарным, удерживающим шар.

Шар стал не торопясь уходить куда-то в сторону, подниматься, волоча за собой велосипед с аэронавтом. Велосипед с аэронавтом повис в воздухе над нами. Шар стал быстро уходить в чистое осеннее небо, еще более яркое от лимонно-желтой листвы акаций, оставшихся внизу. Маленькая фигурка аэронавта в балаганном трико делала руками прощальные жесты и посылала воздушные поцелуи уходящей вниз земле. Потом он перелез с велосипеда на висящую рядом трапецию и сделал на ней несколько акробатических номеров уже над заливом, куда бриз плавно, почти незаметно уносил уменьшающийся воздушный шар с его якорем, гайдрóпом и мешочками балласта. Затем аэронавт перелез в корзину, и старт был закончен.

...мы следили за шаром, который уносило вдаль, в открытое море, где он стал снижаться и наконец сел на воду, и, как мы узнали на другой день из газет, все обошлось благополучно: его подобрали портовые катера, но оболочка потонула...

Мы ехали домой с Юркой и Юркиным папой на извозчике, и Юркин папа докуривал свою сигару, и его курносое лицо в пенсне напоминало лицо Эмиля Золя, а перед моими глазами стояла картина прощания аэронавта со своей некрасивой, измученной женой, одной рукой обнимавшей голую шею мужа, а другой прижимавшей к груди зеленую проволочную кассу с жалкой выручкой.

И вокруг них кисло пахло светильным газом.

(Продолжение следует)



ЯНКА КУПАЛА

★

СТИХОТВОРЕНИЯ

В июле 1972 года исполняется девяносто лет со дня рождения народного поэта Белоруссии Янки Купалы.

Предлагаемые стихи впервые переведены на русский язык.

ПОД КРЕСТОМ

Стою я с печалью покорной,
Обняв похилившийся крест,
Гляжу я на край свой просторный,
На всю свою землю окрест.

Так много красы несказанной
И света на этой земле,
Хоть старые язвы и раны
Горят у нее на челе.

Плакучие стонут березы,
Листва золотая летит,
Качаются дикие лозы,
Кустарник сухой шелестит.

И кто-то недобрый пророчит:
«Колодою ляжешь на дно...»
Но сердце смириться не хочет,
Забиться не хочет оно.

Грудь впалая трепетно дышит,
Мятеся взволнованный ум
И тысячи в памяти пишет
Навязчивых, горестных дум.

Народ свой в тоске вопрошаю,
Внимая безгласную тишь:
«Зачем ты от края до края
Живою могилой лежишь?»

Иль кони твои истомились
От тягот, дорог и плугов?
Иль косы твои иступились
От дымки кровавой лугов?»

К живым неотступно взываю,
 Но крест обомшелый торчит,
 Стоит тишина гробовая,
 И даже проклятье — молчит.

1912.

ЗДЕШНИЙ

Как кто — не знаю, не могу сказать,
 А я-то сам живу умом своим:
 Дрова рубить могу, косить, пахать
 И сеять — что себе, а что другим.

Я не чиновник и не граф — бедняк,
 Вдобавок и не турок и не грек.
 А если спросят, отвечаю так,
 Что попросту я здешний человек.

Хожу — здоровьем крепок или квел —
 То в церковь, то в костел семьей своей,
 Хоть в церкви мне кричат: «Не смей в костел!»
 В костеле ж: «В церковь, — мне кричат, — не смей!»

Я так скажу, кому охота знать,
 Какой я веры, пахарь, дровосек:
 Я здешней веры, чтобы не солгать,
 Ведь я и сам-то здешний человек.

Не обделил господь и языком
 (А женка — та не закрывает рот!),
 От прадедов он даден мне с житьем,
 С ним ведает меня другой народ.

А как, спроси, зовется мой язык,
 О том и думки нету в голове,
 Я просто здешним звать его привык,
 Как сам я тоже здешний человек.

От прадедов мне и отчизна-мать
 Великая, богатая дана,
 Ее просторов глазом не обнять,
 Как бог один, так и она одна.

А как зовется, забранный в полон,
 Вот этот край моих лесов и рек —
 Запомнил... Видно, здешний он...
 Я ж сын его и — здешний человек.

Вот так живу — дышу и не дышу,
 Гляжу — не верю собственным глазам,
 И что я слышу — слушать не спешу.
 И что я знаю — уж не знаю сам.

Ташу свой крест, что отродясь мне дан,
 Вот так и длится мой на свете век,
 А уж помру, так буду спать как пан
 И видеть сон: я — здешний человек.

1913.

МОЕ СТРАДАНИЕ

Страдание мое, моя живая боль,
 Что ты в сравненье с мукой миллионов,
 Чей общий стон рожден из бесконечных стонов,
 А слезы людям жгут глаза, как соль.

И пусть мой дух, покинувши юдоль,
 Вознесся в небеса о камень бить поклоны...
 Но как же мал он, вздох мой потрясенный!..
 Мой крик перед мольбою мира — ноль.

Я капля, я ничто в потоке бытия —
 Так совесть мне твердит, и нет во мне сомненья...
 Но почему же каждое мгновенье
 Сам, в одиночку, так же стражду я
 И так же беспредельна боль моя,
 Как миллионов слитное мученье?

1915.

ПОЧЕМУ?

Дух человеческий бесстрашен и безмерен:
 Где бы ни реял он, куда б ни воспарил —
 В хаосе мировом, в борьбе вселенских сил
 Он верит сам в себя и сам себе он верен.

Со дна, где темные его терзали звери,
 Как феникс, он восстал, прах отряхая с крыл,
 И тайны бытия он сам себе раскрыл,
 И в тайники сердец сам распахнул он двери.

Дух, кованный у солнц в надмирном горне,
 Что не сгорел в огне и в буре не озяб,
 Он, что коня стихий зауздывать не слаб,—

Зачем он так бессилен, непокорный,
 Там, где под звон кандалный в злобе черной
 Раба огнем и кровью губит раб?..

1915.

СЕЯТЕЛЬ

На завтра — и на век —
 Свой сея загон,
 От батьки мой навывк
 Так сеять, как он.

Севалку из луба
Дед сплел мне давно,
А в ней — глянуть любо! —
Янтарь — не зерно.

С ухваткой старинной
Иду к стороне,
Чтоб ветер мне в спину —
Помощником мне.

Привычной пригоршней
Я зерна кладу,
Где меньше, где больше —
Слежу на ходу.

Слежу, чтоб не вышло
Обсевка нигде,
Ведь это, как слышно,
К нужде да к беде.

Кулями соломы
Досев обложу,
От злого залама
Замятье скажу.

Лежите вы, зерна,
Как следует, в ряд,
Всходите упорно —
Севец будет рад.

Храни наши доли
Ты, Юрий святой,
Ты, добрый Микола,
В ненастье укрой.

Ты, радуга-туча,
Росой упади,
А молнией жгучей
Красы не своди.

Свой град, Градовица,
В ладонях зажми,
Свой гром, Грозовица,
В срок жатвы уйми.

1918.

Перевел Н. КИСЛИК.



ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ

★

ЛЮБА

Северная деревня, серая от валунов,
От серебра сурового редких, сирых домов.
Северная деревня с баньками у реки.
Белоголовые дети, сивые старики.

Меж кустов можжевеловых тропка тянется ввысь,
Соком смолистым ягоды сизые налились.
На падуне избитая, речка мягка, вкусна,
Пенная, будто пиво, свилевата волна.

Вечер. Люба протокою на моторке плывет.
Люба — разнорабочая. Ей семнадцатый год.
Люба глазами светлыми смотрит в вольную даль.
Светел простор обветренный, будто на срезе сталь.
Пальцы Любы от стужи, словно камень, зашлись,
И рюкзак, словно камень, тянет плечи ей вниз.
Мамке — банки с тушенкой, отчиму — литр вина...
Ах, губа-Кандалакша, больно ты холодна;
Ты порато¹ красива, Кандалакша-губа,
Да и Люба красива и совсем не глупа.
Люба перезимует в стылой, скучной избе,
Жарко ночью мечтая о веселой судьбе.
Адреса раздобудет и прикопит деньжат —
И подастся в апреле с рюкзаком в Ленинград.

Но в общаге шумливой, среди красы городской
Люба вдруг заболит непонятной тоской.
И попросится в отпуск, и попросит расчет,
Перманент золоченый под платок заберет.
В бесплацикартном, в туристском, под бреничанье гитар
Ей услышится в дреме стон летящих гагар.
На моторке трескучей Люба вновь поплывет,
Сочный ветер глотая, жадно глядя вперед...

¹ Порато — очень (северный диалект).

СИРЕНЬ

...Сирень томилась, и томила,
И липла, потная, к лицу,
И разливалась, как чернила,
По пересохшему крыльцу;

И, грязь проулка пышно крася,
Спадали наземь лепестки
И сами становились грязью
Своей природе вопреки,

Тяжелую косматой тучей
Она замкнула окоем
И вширь раскинулась летуче
На узком столике твоём.

И омрачался светлый берег.
И, словно чуя бег беды,
Выпрыгивал упругий жерех
Из угнетаемой воды.

Бессонница дышала душно
Душистой сизостью окна.
Смотрела скучно и недужно
Небес глухая глубина.

И ты угрюмо восхищалась
Ночную красотой реки,
И никла, и поработалась
Своей природе вопреки.

И от рассвета до заката
Внушали злую страсть и лень
Июнь, разлукою чреватый,
И грозоликая сирень.



ПУБЛИЦИСТИКА

ФЕДОР БУРЛАЦКИЙ

★

НАДЕЖДЫ И ИЛЛЮЗИИ

(Научно-техническая революция и управление)

Об управлении сейчас пишут представители едва ли не всех наук — биологи и кибернетики, экономисты и психологи, философы и юристы. Я коснусь главным образом социальных сторон многообразного управленческого процесса, а также того, что, на мой взгляд, позволяет интегрировать различные подходы и рассматривать процесс социального управления как единое целое. Речь идет прежде всего о системном анализе управления и руководства.

Эта статья представляет собой не более чем размышления на данную тему. Прежде всего — и надо об этом сразу же откровенно сказать, — наука еще не готова предложить практике вполне зрелые ответы на поставленные перед ней новые вопросы. Использование достижений научно-технической революции в управлении у нас еще только начинается, и осмысление всех ее последствий еще остается большой проблемой для науки. Отсюда и «размышления» как необходимый этап на этом пути.

Естественно, что посвященный этому диалог между наукой и практикой обращен главным образом в будущее. Ценность научного подхода состоит как раз в способности заглянуть в день грядущий, в перспективу. Практическая деятельность неизбежно ориентируется на день сегодняшней. Она должна разрешать возникающие проблемы и ситуации немедленно. Наука имеет привилегию посвящать себя анализу тенденций. Такой подход создает благоприятные возможности для принятия решений: учитываются не только запросы дня, но и коренные проблемы всего процесса социального развития, происходит не только реагирование на ситуации, но и планирование этого процесса.

Совершенствование управления на основе решений XXIV съезда партии — дело сложное, многоплановое и длительное. Оно потребует тесного сотрудничества теории и практики, экспериментов. Пока мы можем говорить лишь о направлении этого процесса, о его экономических и социальных предпосылках.

Теперь несколько слов об основной мысли статьи. Многие полагают, что главное сейчас — внедрение современной техники в сферу управления. По поводу применения техники спора нет. Но, на мой взгляд, главное — применение науки и об управлении и техники. Причем с техникой проще в известном смысле, это вопрос наращивания потенциала электронно-вычислительных машин. С наукой же об управлении, да не покажется это странным, куда сложнее — во многих конкретных аспектах (конкретно-социологических, социально-психологических, математических) ее еще надо создавать.

Большие ожидания и немалые иллюзии связываются с применением современной техники в сфере управления. Практики чаще, а иной раз и ученые, полагают, что использование ЭВМ упростит управление и само по себе решит пробле-

мы его оптимизации. Но между заказом практики и машиной должен лежать мощный пласт науки. Именно она способна сделать контакт практики с машиной эффективным. Именно она призвана определить пределы применимости машины. Именно она должна дать практике то, что никакая машина в обозримой перспективе дать не сможет.

РАЗВИТЫЙ СОЦИАЛИЗМ

В социальной жизни есть узловые идейно-политические понятия, которые концентрированно определяют природу того или иного явления и служат основанием важных для общества решений. К их числу относятся, например, понятия общенародное государство, научно-техническая революция, экономическая реформа, интенсивное хозяйство, социалистическая интеграция, научное управление. Особенно велика значимость идеи развитого социализма. Перед нами наиболее емкая и универсальная характеристика современного этапа экономического, социально-политического и интеллектуального развития советского общества.

Нам уже приходилось высказывать некоторые теоретические соображения по этому поводу («О строительстве развитого социалистического общества». «Правда», 21 декабря 1966 года). В чем же основной смысл этой идеи?

Прежде всего в том, что она связывает в единую систему все названные выше узловые идейно-политические понятия и дает теоретический фундамент экономической и социальной политики. Общество достигло такой степени зрелости, когда в центре внимания оказываются проблемы перехода от экстенсивного к интенсивному хозяйству, гармоничного развития всех его отраслей, повышения производительности труда, оптимизации принимаемых решений в интересах значительного подъема народного благосостояния. Эта идея основана на признании того факта, что социализм представляет собой более или менее длительный этап развития общества на пути к коммунизму. Известны ленинские предвидения о том, что создание нового общества будет знать свои исторические этапы, полосы, ступени. Нынешняя ступень соотносится ретроспективно с менее развитыми формами социализма, а перспективно — с высокоразвитым социализмом.

Развитый социализм — это одновременно и новая ступень в управлении и организации общества. Она характеризуется широким применением электронно-вычислительной техники, новейших достижений науки, в частности системного подхода к принятию решений, комплексного социально-экономического планирования и прогнозирования, все более широким привлечением актива общества и всех трудящихся к контролю и участию в управлении.

Стало тривиальным сравнение строительства нового общества с постройкой дома. Оно имеет в известном смысле право на существование. В частности, тогда, когда речь идет об очередности этапов. Тем не менее аналогия здесь оправдана лишь частично — различий больше, чем сходства.

В преобразовании общества главное — социальное содержание процесса. Строитель дома закончил свое дело, завершив отделочные работы. Он не знает, да и не может знать, как живут люди в этом доме, как складываются отношения между ними. Но именно эти вопросы имеют первостепенное значение для тех, кто строит новое общество. Ибо они строят его не ради фундамента и стен, а ради преобразования человека, его духовной сущности, его образа жизни, ради обновления общественных отношений.

Из разнообразных социальных процессов, характерных для этапа развитого социализма, особое значение имеет усиление влияния рабочего класса как ведущей социально-политической и экономической силы общества. Насчитывая 62 миллиона человек¹, рабочий класс стал и по численности самым

¹ «Народное хозяйство СССР в 1970 г. Статистический ежегодник ЦСУ СССР» (в дальнейшем обозначается «ЦСУ»). М. «Статистика». 1971, стр. 509.

крупным классом общества; его состав постоянно пополняется за счет притока из других слоев общества, прежде всего крестьянства.

Крестьяне и раньше в основном уходили в среду рабочего класса. Сейчас, и особенно в перспективе, они будут по-прежнему пополнять состав рабочего класса, а также работников сферы услуг. Облик самого крестьянства сильно изменился. В деревне появилась такая группа, как механизаторы производства, которые мало чем отличаются с точки зрения характера труда и образа жизни, психологии от рабочего.

Руководящее воздействие рабочего класса на все общество проявилось в преобразовании всей его социально-экономической структуры в соответствии с идеологией рабочего класса, в установлении общественной собственности в городе и деревне. Социальный и нравственный идеал рабочего класса — строительство коммунизма — определяет коренные цели всего нашего общества. Основные социально-политические институты, такие, как партия и государство, приобретая общенародный характер, сохраняют свою социально-классовую сущность.

Другой важнейший признак, характерный для этапа развитого социализма, можно было бы обозначить как постоянную интеллектуализацию общества. Пожалуй, самые значительные сдвиги в последние десятилетия произошли в его образовательной структуре.

Если к 1939 году численность населения, имеющего высшее и среднее (полное и неполное) образование, составляла 15,9 миллиона человек, то к 1970 году она увеличилась до 99,2 миллиона человек². Число рабочих, имеющих полное среднее образование, возросло за этот период более чем в 30 раз. В составе промышленно-производственного персонала число специалистов выросло за десятилетие (1960—1970) почти на два миллиона человек³.

Как же меняется удельный вес и место интеллигенции в нашем обществе?

К 1939 году у нас насчитывалось 1,2 миллиона человек с высшим образованием (законченным). К 1959 году — 3,8 миллиона человек, в 1970 году — 8,8 миллиона человек⁴. При сохранении нынешних темпов роста к 1975 году численность интеллигенции (в нее входят, как известно, и люди со средним специальным образованием) возрастет примерно до 31 миллиона человек (30,1 процента трудящихся) и превзойдет численность крестьянства.

Не менее важны изменения внутренней структуры этой социальной группы в зависимости от различных типов труда. С известной долей условности можно говорить о двух основных типах сложного умственного труда — проектирующем и прикладном.

К первому следовало бы отнести деятельность по созданию новых научных и художественных ценностей и организации общественной жизни и производства. Ко второй — реально конструктивную деятельность, направленную на создание материальных ценностей, а также деятельность в области воспитания, образования, здравоохранения. Конечно, такое деление условно, как и всякое иное. И все же оно позволяет лучше проследить качественные сдвиги в рамках этой социальной категории.

В 1960 году проектирующим трудом (научные работники, писатели, журналисты, художники, артисты, руководящие работники общественного, хозяйственного, государственного управления) занимались 4,8 миллиона человек. В 1970 году эта цифра почти удвоилась — она составила 8,9 миллиона человек⁵.

Число людей, занятых прикладным трудом, менялось следующим образом: в 1960 году — 8,8 миллиона человек, в 1970 году — 16,8 миллиона человек⁶

² «ЦСУ», стр. 23.

³ Там же, стр. 525.

⁴ Там же, стр. 23.

⁵ Исчислено по «ЦСУ»: стр. 511 (культура + искусство + аппарат управления), стр. 631 (исключая учителей), стр. 656 (наука).

⁶ Исчислено по «ЦСУ», стр. 523 (специалисты с высшим + средним специальным образованием в народном хозяйстве).

В первой подгруппе особенно быстро росла численность научных работников: за десять лет — более чем в 2,3 раза ⁷; во второй подгруппе — численность экономистов, товароведов, инженеров и в меньшей мере агрономов и зоотехников.

В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего резкого возрастания численности интеллигенции. В 1926 году у нас насчитывалось менее трех миллионов работников, занятых преимущественно умственным трудом, а теперь их число составляет более 30 миллионов ⁸.

Очевидно, что целенаправленное управление социально-политическими процессами, культурная и идеологическая работа предполагают детальный учет не только макроструктуры, но и изменений в рамках отдельных социальных групп, места каждой группы в общей структуре и ее социально-психологических особенностей.

Социальные изменения, происшедшие на этапе развитого социализма, выдвигают в сфере управления по меньшей мере две серьезные задачи. Первая — постоянное расширение социально-политического актива и привлечение все более широких масс к управлению и контролю в различных формах и на разных уровнях при укреплении руководящей роли рабочего класса. Вторая (она связана с усложнением процесса управления) требует повышения профессионального уровня управления. Только на словах может показаться, что совмещение этих двух тенденций — простое дело. В действительности перед нами одно из наиболее острых жизненных противоречий, рожденных в век научно-технической революции: разные слои и группы населения по-разному подготовлены с точки зрения образования и культуры к тому, чтобы со знанием дела участвовать в решении сложных управленческих задач. Между тем право на участие в решении общих дел имеют все слои и группы.

Это противоречие решается и путем повышения политической культуры всех слоев и групп населения, и путем приобщения их к обсуждению проектов принимаемых решений на уровне цеха, завода, всего общества. Что касается более подготовленных в профессионально-образовательном отношении групп населения, то на них лежит особая ответственность за то, чтобы тщательно изучать и учитывать в практике управления интересы и потребности каждой социальной группы населения, каждого коллектива, каждого человека.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Не так давно мне довелось посмотреть спектакль «Человек со стороны» И. Дворецкого, поставленный в Драматическом театре на Малой Бронной. Я не собираюсь рассматривать достоинства и недостатки спектакля. Меня заинтересовал социальный замысел автора: показать происходящие или даже предполагаемые изменения в методах организации производства и новый тип «делового человека», который приходит во всеоружии научных и технических знаний. По-видимому, этот тип личности должен символизировать требования научно-технической революции и экономической реформы к современному организатору.

Но вот что мне показалось по-настоящему странным, это мотивация новаторской деятельности главного героя. Вся она построена на чисто волевой основе. Работая где-то в научно-исследовательском центре, герой накопил некий багаж представлений и идей об организации производства на новых началах. Он замышляет внедрить эти свои «накопления» непосредственно на предприятии. Он бросает несомненно интересную и хорошо оплачиваемую работу в научном центре, становится во главе отстающего цеха на комбинате и энергично приступает к ломке сложившихся традиций — неритмичности работы, недисциплинированности, расхлябанности, очковтирательства, отсутствия серьезного экономического и технологического расчета и т. д.

⁷ «ЦСУ», стр. 656.

⁸ Там же, стр. 22.

Действует он практически в одиночку. Руководство комбината относится к его усилиям с подозрением, подчиненные бегут, и только любовница (она же грамотный экономист) и некоторые инженерно-технические работники оказывают ему вначале робкую, а затем все более активную поддержку. И вот он сломал традиции, наладил ритмичную работу цеха, укрепил дисциплину, добился повышения производительности труда и экономической эффективности. Вслед за цехом, как это видно из концовки спектакля, весь комбинат перестраивается на новых началах. И все это — усилием воли одного из начальников цехов, работающего к тому же в недоброжелательной относящейся к нему среде.

Чтобы доказать возможность такого организационного скачка, автору пришлось поневоле наделить своего героя чертами поистине демоническими: ради выполнения замысла он рискует быть исключенным из партии, без особого надрыва преступает через смерть жены, отказывается помочь бывшему начальнику цеха, который просился в тот же цех на работу, вооружает против себя начальство, коллег и т. п. И работает герой, по сути дела, по старой методе «давай-давай» (в три месяца он провел коренную перестройку организации всего производства), а не спокойно, разумно, ответственно, деловито, как этого требует научный подход.

Я не исключаю, что перед глазами у автора этой пьесы был живой пример как раз такого рода и произведение выразило правду частного случая. А тем самым привлекло внимание к серьезной жизненной и нравственной проблеме. Но с социальной точки зрения этот герой-одиночка неинтересен. Мне кажется, не такому герою суждено стать носителем более прогрессивных начал в организации производства. Все дело в том, что его замысел и усилия никак не связаны с требованиями самого производства, научно-технического прогресса, экономической реформы. Он не случайно пришел не из производственной сферы — весь его план умозрительен, привнесен извне.

Ни герой пьесы, ни сотни и даже тысячи таких героев, направленных, скажем, из сферы науки в сферу производства, не смогут сколько-нибудь серьезно изменить его организацию, если это не будет вызвано потребностями самого предприятия, экономическими и социальными условиями, в которые ставит его общество. Попытятся они, набьют себе шишек, а потом постепенно вернуться в среду, из которой вышли, убедившись, что от теории до практики «семь верст до небес»...

Почему, собственно, мы говорим теперь — научно-техническая революция, а не научно-технический прогресс, как говорили раньше?

Научно-технический прогресс — это процесс непрерывного накопления изменений в сфере науки и техники, который был раньше и будет всегда. А революция — это коренной, качественный скачок.

В отличие от промышленной революции в XVIII веке современный переворот начинается в науке и технике, а не в производстве. Поэтому он и носит название научно-технической, а не промышленной революции. Кроме того, нынешняя революция имеет всесторонний и даже, можно сказать, всеобъемлющий характер. Она затрагивает все сферы общественной жизни, включая экономику, культуру, управление. Ее социальным содержанием становятся изменения в общественном разделении труда, социальной структуре, культуре, потребностях, интересах людей.

Как же сказывается научно-техническая революция в управлении? Самое очевидное — это изменение технической базы управления. Речь идет о применении — все более широком и прогрессирующем — электронно-вычислительной техники для решения управленческих задач.

Американские специалисты полагают, что сейчас только начинается настоящее царство вычислительных машин. По их мнению, в 70-х годах вычислительные машины станут хозяевами в промышленности как инструмент анализа, управления и принятия решений. Сама же промышленность этих машин превратится в течение десятилетия в третью великую отрасль — после нефтяной и автомобильной. Уже сейчас компьютерами пользуются в экономике США не только для накопления и обработки информации, но и для анализа ситуации в области финансов, сбы-

та, планирования и контроля. Я не говорю о конторской работе, где вычислительная техника используется уже давно и успешно⁹.

Предстоящий этап — создание комплексных систем управления, которые опираются на современную технику, методы обработки информации и принятия оптимальных решений — более сложен. Но он должен привести к преодолению разрыва в уровне автоматизации собственно производственной и административной сферы.

В 1962 году покойный президент США Дж. Кеннеди писал участникам Всеамериканской конференции по проблемам управления: «Все мы признаем роль космонавтов, их заслугу в качестве пионеров, проложивших первые пути в космос, но в основе их подвига и многих других вдохновляющих успехов новой техники и технологии лежат сложные работы по передовой организации и управлению новой системой. Может быть, это менее романтично, но это очень важно для успеха в наших усилиях по подъему и росту обороны, науки, экономики».

С некоторым отставанием начато широкое внедрение ЭВМ в практику управления и в Западной Европе, главным образом в крупнейших капиталистических фирмах. Такие фирмы, как «Юнилевер», «Оливетти», «Шелл», «Филипс», «Фиат» и другие, имеют специальные дирекции по организации планирования и управления, в компетенцию которых входит также внедрение ЭВМ. Уже сейчас общая численность электронно-вычислительных машин здесь достигает 11—13 тысяч штук¹⁰.

«Кибернетический переворот», или внедрение счетно-решающих устройств в управление, — вот первое направление преобразований в управленческой сфере, вызванное научно-технической революцией.

Другое направление, не случайно сопутствующее внедрению ЭВМ, — применение системного подхода для прогнозирования и планирования экономических и социальных процессов. Наконец, третье направление — изменение организационных форм управления на основе эффективного внедрения в экономику достижений науки, техники и теории организации. Все это потребовало обучения и переквалификации кадров управленческого персонала.

В нашей стране применение достижений научно-технической революции переплелось с проведением экономической реформы. Она сама в значительной мере порождена требованиями научно-технического прогресса и повышения эффективности производства. Реформа предполагает — и об этом говорилось глубоко и обстоятельно на XXIV съезде партии, — что вся практика управления и планирования будет существенно изменена. Здесь и дополнение экономического плана планом социальным, и преобразование организационной структуры, и более широкое использование ЭВМ, и внедрение автоматизированных систем управления, и обучение кадров, и т. д.

XXIV съезд КПСС специально отметил важность применения в управлении и планировании таких научно-методологических принципов, как «системный», «комплексный» анализ, моделирование, использование экономико-математических методов, разработка теории информации, теории принятия решений. Применение счетно-решающих устройств и математических методов позволит формализовать, а в известной мере и унифицировать научную символику, обеспечить накопление и обработку естественнонаучной и социальной информации в необходимых объемах, создаст базу для принятия оптимальных решений, прогнозирования и планирования экономических и социальных процессов.

На этой основе произойдет принципиальное усовершенствование системы управления экономикой, а также сферой образования и культуры. Научный реалистический прогноз позволит предвидеть основные тенденции научно-технических

⁹ См. «США: современные методы управления». М. «Наука». 1971, стр. 50. См. также «Современные методы внутрифирменного управления в капиталистических странах». М. «Прогресс». 1971, стр. 99—100.

¹⁰ См. А. А. Модин, Н. В. Махров, Ю. А. Олейник-Овод. Организация управления производством в капиталистических фирмах (Опыт Западной Европы). М. «Экономика», 1971, стр. 75.

изменений, развития производительных сил, их размещения, рациональное соотношение спроса и предложения. Развитие новых, наиболее перспективных отраслей народного хозяйства, централизованное планирование будут сочетаться с широкой самостоятельностью различных звеньев народного хозяйства в решении оперативных проблем.

Тщательное изучение экономических и социальных потребностей откроет дорогу для наиболее полного удовлетворения интересов общества в целом и каждого человека. Внедрение автоматических линий и механизация управленческого труда позволит сосредоточить процесс управления на решении коренных экономических и социальных проблем. В соответствии с этим будет видоизменяться структура органов управления, требования к уровню образованности и компетентности кадров, методы привлечения трудящихся к обсуждению принимаемых решений и контролю за администрацией.

О СРАВНИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ

Не так давно на заседании ученого совета в одном из институтов произошел такой случай. Ученый говорил о проблемах управления. Примерно в таком духе выражал он свои мысли: «Типологические характеристики параметров моделей ценностных ориентаций стереотипного поведения реципиента в процессе управления требуют адекватной, социально значимой, запрограммированной схемы, выполненной вербальным и эмпирическим способами». Хорошо говорил. Весомо. Значительно.

В аудитории оказался руководитель одного предприятия. Он задал вопрос, можно сказать, лобовой: «Какие рекомендации вытекают для практики из вашего исследования?» Докладчик вначале замылся, а потом ответил: «Я этим не занимался. Мое дело дать картину, информировать, а сделать выводы — это ваше дело». А практик опять напирает на свой примитивный вопрос: «А что нового о процессах управления производством в вашей информации?» Снова заминка. Потом докладчик отвечает: «Я излагаю научные сведения, и главным образом на основе зарубежного опыта, а как их внедрять — не моя проблема». Ну, тут товарищ, который практически занят этими проблемами, не сдержался и бросил упрек, что такого рода исследования бессмысленны.

Это он хватил через край, конечно. Практика должна вооружиться терпением в разговоре с наукой, понятийный аппарат и методы исследований которой все более усложняются. Но я за лобовые, «примитивные» вопросы, адресованные науке. Продолав долгий путь в лабиринте самых изощренных методов, сложных понятий и категорий, наука должна сказать практике: так лучше сделать, а так хуже. Социальная информация плюс социальная экспертиза — вот пути «выхода» в практику для современной социальной науки.

Надо признать, что в последние годы среди некоторых наших ученых (подчеркиваю — некоторых) появилась легкость удивительная в обращении с зарубежным материалом. Из огромного моря книг, брошюр и исследований, публикуемых на эти темы за границы, такие ученые черпают ковшиком понятия, термины, категории, даже не пытаясь связать их с анализом нашей действительности. Стало модным щеголять, особенно перед неподготовленной аудиторией, избытком слов, которые при переводе на русский язык оказались бы достаточно тривиальными. Как раз с таких ученых легко сбивает спесь простой вопрос: как применить тот или иной организационный принцип на практике?

Многое из того, что у нас говорится о теории организации управления — и ученые должны признать это откровенно, — приходит к нам из зарубежного опыта. Такие страны, как США, раньше начали внедрять достижения научно-технической революции в сферу управления и раньше были поставлены перед необходимостью разработки экономических, конкретно-социологических и социально-психологических проблем, связанных с этим (теория информационных систем, теория принятия решений, системный анализ и т. п.).

Прежде у нас уделялось недостаточно внимания изучению этого опыта. В последние годы произошел резкий перелом. Опубликовано ряд зарубежных работ по теории организации и управления. Вышли фундаментальные книги советских авторов, анализирующие зарубежный опыт. Назову в качестве примера интересную работу Д. М. Гвишиани «Организация и управление». Если быть кратким, то вот о каких основных течениях идет речь.

Ф. Тейлор считается на Западе основателем науки, менеджмента в промышленной системе. Теория организации для него — главный рычаг повышения экономической эффективности. Человеческая сторона производственных отношений осталась вне поля его зрения. В центре его внимания — «экономический человек». Исходный принцип теории — полное соответствие материального вознаграждения затратам труда. При этом условии, по мнению Тейлора, рабочий будет трудиться с максимальной энергией и отдачей. Не случайно его интересовало главным образом изучение предела физических возможностей человека и формальной организации, способной обеспечить наиболее рациональное распределение работ и разделение труда. Последователи Тейлора, такие, как Гилберт, Эмерсон, положили начало течению, получившему название инженерной психологии. Ее бурное развитие началось с применения электронно-вычислительных машин.

Социологическое направление в исследовании организации было заложено в западной науке работами Макса Вебера, главным образом посмертным трудом «Хозяйство и общество» (1921). Его теория «идеальной бюрократии» легла в основу мощного течения в западной теории организации, которая оказала значительное влияние на пути и формы приспособления буржуазного аппарата управления к современным условиям.

Сравнительно новое течение в теории организации получило название теории «человеческих отношений», которая положила в основу понятие «социальный человек» и сосредоточила внимание на изучении поведения человека в группе, неформальной организации. Это течение связано с так называемым хоторнским экспериментом, ставшим впоследствии знаменитым. Исследовательская группа, работавшая на хоторнских заводах в США, обнаружила, что производительность труда зависит от атмосферы, существующей на производстве, — от отношений между рабочими и управляющими, инженерами и т. д. Ученые пришли к выводу: необходимо внедрение «человеческих отношений» в производство. Это была попытка восстановления социальных связей в интересах повышения производительности труда и усиления эксплуатации. Принципы классической школы организации, основанной тейлоризмом, которая делала упор на «научное управление», во многих аспектах противостоят школе «человеческих отношений», которая делала упор на изучение личности и социальной группы.

Серия социальных законов «нового курса» Франклина Рузвельта, по крайней мере отчасти, была навеяна этими теориями. Многие предприниматели охотно подхватили теорию «человеческих отношений», решив, что им выгоднее «платить» рабочим хорошим отношением на производстве, не повышая заработной платы. Отсюда родилось участие рабочих в прибылях, привлечение их в качестве акционеров. Практический смысл для рабочего в этом ничтожный, но социальные иллюзии таким путем сеются большие.

В последнее время под сильным влиянием системного подхода в США и других странах Запады появилось течение структурализма, или «неорационализма». Оно пытается дать конвергенцию классической или формальной школы и школы «человеческих отношений». Структуралисты обратили внимание не только на экономическую организацию, но и на изучение других социальных институтов — больниц, тюрем, церквей, армий, школ. Представители этого течения пытаются отойти от традиционных чисто функциональных или «линейно-функциональных» форм построения организации и связать структуру с достижениями общей теории систем. Они утверждают, что чисто функциональная система переносит центр тяжести на обеспечение отдельных элементов организации за счет организации как единого целого. При таком подходе руководитель каждого звена склонен считать свои задачи главными, а не исходить из общих целей организации. Слабая

координация функций, отсутствие горизонтальных связей (что затрудняет планирование и контроль), установка на самосохранение каждой структурной единицы — таковы, по мнению современных американских теоретиков, распространенные пороки функционального типа организации.

С середины 60-х годов под влиянием самых последних теорий организации в США были предприняты попытки создания гибких организационных структур для выполнения отдельных программ. Программный, или проектный, принцип организации основан на том, что создаются структурные подразделения для достижения определенных целей или осуществления конкретной программы. Таким путем делается попытка укрепить горизонтальные межфункциональные связи и обеспечить приоритет общих задач перед частными. Однако практика осуществления этих принципов охладила пыл его восторженных почитателей. Возникли свои сложности — нестабильность структуры, отсутствие должной специализации персонала, дублирование в разных звеньях, трудности долгосрочного планирования и прочее.

В последние годы в США получила широкое применение так называемая система ППБ (планирование, программирование, бюджетирование). Вначале она была применена министерством обороны, а затем многими другими министерствами и ведомствами. В 1970 году более 60 процентов различных федеральных программ было проанализировано и рассмотрено с точки зрения системного подхода, на основе применения ППБ¹¹. Эта система ставит своей целью помочь официальным лицам, принимающим решения, более эффективно использовать общественные ресурсы.

Придя к руководству, новая администрация Ричарда Никсона сочла необходимым поддержать дальнейшее развертывание этой системы. При президенте созданы советы по многим проблемам — по улучшению окружающей среды, по проблемам городов, по делам сельской местности. На них возложена задача разработки научных методов и составления программы. Наконец, в 1969 году при Белом доме образована научно-исследовательская группа по национальным целям. Перед ней поставлена задача определения перспектив развития и оценки долгосрочных последствий нынешнего этапа экономического и социального развития, выработки предложений и альтернативных курсов, сопоставления потребностей и возможностей, интегрирования результатов научно-исследовательских работ, которые производятся в стране.

Совершенствование организации управления стало в США одной из сфер большого бизнеса. В этой стране сейчас имеется 150 консультативных фирм, которые берут подряды на разработку конкретных программ для тех или иных фирм, концернов, предприятий. Эти консультативные организации сейчас продают свои услуги клиентуре Западной Европы и других районов мира. Около 20 тысяч ведущих компаний США и сотни крупнейших фирм и концернов в других странах пользуются услугами консультативных фирм.

Сейчас уже нет нужды никому доказывать, что изучение зарубежного опыта представляет собой одну из важных задач для совершенствования нашей теории управления и практики. Хотелось бы высказать, однако, небесполезное, как мне кажется, предостережение. Оно касается попыток механического заимствования тех или иных организационных идей и методик без учета нашего собственного опыта, принципиальных различий не только социальных, но и организационных структур, форм и методов управления в странах социализма и капитализма.

Некоторые ученые считают — использование зарубежного опыта позволит заполнить известный вакуум, который образовался между социальным заказом практики и электронно-вычислительной машиной. Они добросовестно пропагандируют концепции и взгляды, понятия и категории, методику, фактический материал, накопленный американской и западноевропейской науками. И как всегда, среди добросовестных популяризаторов появляются и эпигоны, которые щеголяют мастерством литературного перевода, даже не ссылаясь при этом на источники. Так сеются иллюзии о том, что с наукой все ясно, что теория организации и управле-

¹¹ См. «США: современные методы управления», стр. 217.

ния полностью разработана и что остановка только за практикой, которая должна ее внедрить. Но такой подход может породить иллюзию легкости, вызвать волну непродуманных перестроек, а потом обернуться серьезным ущербом для дела. Здесь хотелось бы сказать словами Ленина: «Надо иметь собственную голову на плечах». Хорошо знать — да, эпигонски копировать — нет.

У нас проблемы организационного совершенствования структуры в сфере управления, с одной стороны, много проще, а с другой — много сложнее, чем в капиталистических странах. Проще, поскольку у нас до сих пор не внедрены еще некоторые несложные усовершенствования управленческого труда. Возьмите, например, телефонную и селекторную связь. Какая огромная растрата времени и сил связана с их недостаточным распространением. Или такая проблема, как огромный перерасход времени на заседания в ущерб реальному делу. Научная среда буквально задыхается от бесконечных коллективных говорений, коэффициент полезного действия которых во многих случаях устремлен к нулю. Ложно понятый коллективизм и недостаточная персональная ответственность несомненно являются одной из причин частых заседательных наводнений. Между тем внедрение элементарных принципов организации, более четкое распределение прав, обязанностей и ответственности может сравнительно легко решить эту проблему.

Общеизвестно, каким бичом на производстве является неритмичная работа предприятия. Это совершенно ненормальное явление с точки зрения структуры нашей экономики тем не менее преодолевается с колоссальным трудом. Хотя для науки об управлении это элементарная проблема, но практически решить ее можно только на основе комплекса мер, затрагивающих всю систему звеньев, включенных в тот или иной производственный и организационный процесс.

Для решения этих и многих других задач не требуется применения кибернетики и математического моделирования. А ведь таких задач множество.

С другой стороны, наши управленческие, организационные проблемы много сложнее, чем в странах капитализма. В этих странах не стоит, да и не может стоять задача экономического и социального планирования в тех масштабах и в том виде, в каком она стоит в странах социализма. Применение системы ППБ является только первой робкой попыткой программирования и прогнозирования некоторых экономико-социальных процессов, и то лишь в масштабах отдельных ведомств. У нас же планируется буквально все — от производства ракет до выпуска бритвенных лезвий, от изменений в социальной структуре до количества мест в детских яслях. Масштабы, содержание и направленность организаторской и управленческой работы в нашей стране совершенно иные, чем, скажем, в США. Возможности внедрения автоматических систем управления несравненно большие.

Американская наука менеджмента до последнего времени касалась исключительно, а теперь все еще главным образом касается фирм, концернов и предприятий. Между тем высокая степень централизации управления экономикой в нашей стране переносит проблему внедрения новых принципов организации на все этажи управления. Невозможно коренным образом усовершенствовать управление предприятием, не приведя в соответствие с новым подходом управление отраслью, методы планирования и т. д. Между тем за исключением системы ППБ американская теория организации в сфере экономики не распространялась на общенациональные институты.

И наконец самое важное. Американский менеджмент имеет главной и единственной целью рационализацию управления для повышения эффективности производства и усиления эксплуатации. Наша теория управления и организации ставит в центр своего внимания социальные проблемы: положение человека на производстве, условия его труда и быта, участие в управлении, удовлетворенность, в целом всестороннее развитие личности. Ленин писал: «...мы должны ввести систему Тейлора и научное американское повышение производительности труда по всей России, соединив эту систему с сокращением рабочего времени, с использованием новых приемов производства и организации труда без всякого вреда для рабочей силы трудящегося населения»¹².

¹² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 141.

«Кибернетический переворот», призванный, по мысли западных ученых, модернизировать всю систему управления, ориентирован исключительно на развитие производительных сил. Между тем автоматизация и интеллектуализация труда, не сопровождаемые развитием демократии и ориентированностью общества на принципы социального равенства, имеют тенденцию к технократическому тоталитаризму, опирающемуся на самый совершенный механизм манипулирования личностью.

Американский социолог Р. Богоулав пишет в книге «Новые утопии»: «Основной особенностью классических проектов утопического общества была гуманистическая в своей основе структура ценностей... И, может быть, наиболее значительное различие, которое существует между разработчиками классических систем и их современными коллегами (специалистами по системной технике и обработке данных, производителями вычислительных машин и разработчиками систем), состоит в том, что гуманистические принципы исчезают. В настоящее время доминантной в системе ценностей является скорее «эффективность», чем «гуманизм».

Есть два понятия, которые для меня по-разному выражают тенденции современного развития культуры. Это интеллектуализм и интеллигентность. Первое родилось в лоне научно-технического элитаризма. Второе имеет глубокие корни в прогрессивной демократической и социалистической культуре.

Интеллектуализм означает максимально высокий уровень знаний и профессиональной подготовленности. Но он может быть наделен как позитивным, так и негативным социальным зарядом. Интеллигентность — это не только высокое профессиональное мастерство, но и культура, служение нравственным идеалам. Для нее как раз важнее это последнее качество.

В сопоставлении этих двух понятий, на мой взгляд, одна из коренных этических проблем века. Более того, прогресс науки и техники сам по себе ориентирует на расширение площадки для интеллектуализма; интеллигентность есть функция не только научно-технического, но и социального прогресса.

Советская научная мысль связывает улучшение управления с системой понятий и представлений о приумножении социальных и культурных ценностей общества. Рационализация и оптимизация управления становятся при таком подходе не самоцелью, а важнейшим способом решения экономических, социальных и воспитательных задач.

Социализм ориентирован не только на экономическую эффективность, но и на социальную справедливость, на очеловечивание общественных отношений. Для нас равно важны и оптимизация и гуманизация управления и социально-экономического планирования.

В силу этих и других причин механическое применение зарубежного организационного и управленческого опыта у нас немислимо. Наша наука может опираться только на глубокий, основательный анализ собственного опыта, сложившихся тенденций и учитывать в то же время все лучшее, что есть в мировом опыте.

Советская наука тщательно анализирует подлинные достижения зарубежной науки, идет ли речь о кибернетике или о применении математических методов для анализа социальных процессов. Имена Винера и других крупнейших ученых Европы и Америки, особенно в области применения достижений научно-технической революции в управлении, едва ли не более известны советским ученым, чем западным. Но мы отвергаем установку на эпигонство, эту анемию творческой мысли.

В нашей стране накоплен огромный опыт организации и управления плановой системой хозяйства в соответствии с заранее намеченными экономическими и социальными целями. Можем ли мы сказать, что научная исследовательская мысль адекватно отразила весь этот опыт в его многообразии? Едва ли кто-либо возьмет на себя смелость дать положительный ответ на этот вопрос.

В последние годы в науке успешно развиваются исследования в области управления экономикой, а также общих принципов руководства. В качестве примера можно назвать такие работы, как: В. Г. Афанасьев. «Научное управление общест-

вом»; Г. Х. Попов, «Проблемы теории управления»; коллективные работы «Проблемы научной организации управления социалистической промышленностью», «Научные основы управления производством» (учебное пособие), «Научные основы государственного управления в СССР». Исследования, связанные с применением экономико-математических методов в управлении, проводятся в таких крупных научно-исследовательских центрах, как Центральный экономико-математический институт АН СССР в Москве, Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР.

Однако простое сопоставление масштаба и направленности исследований показывает, что опыт государственно-монополистического капитализма пока еще находит значительно более широкое и многоплановое отражение в зарубежной науке, чем опыт управления социалистической системой хозяйства в советской науке. Сотни журналов, десятки тысяч публикаций и книг, множество факультетов и специальных школ по управлению — таков ответ буржуазной науки на запросы научно-технической революции к этой сфере жизнедеятельности. И если говорить о сравнительном анализе опыта нашей и зарубежной науки, то первый вывод касается как раз необходимости резкого увеличения объема, тематического разнообразия и глубины исследований по проблемам управления в нашей науке. Надо сказать, что этот вывод уже частично воплощается на практике путем расширения исследований в академических и других научных центрах и путем организации целой сети учреждений и курсов по переподготовке кадров управленческого персонала.

Значительно хуже обстоит дело с развитием конкретно-социологических, социально-психологических, математических и других исследований в области управления и организации. На проходившем осенью 1970 года VII Международном социологическом конгрессе в Варне, который, кстати говоря, был посвящен проблемам прогнозирования и планирования социальных изменений, советская делегация приняла участие в работе всех без исключения групп и представила около 200 докладов и сообщений. Избрание наших ученых в руководящие органы всех исследовательских комитетов несомненно служит показателем возросшего авторитета советской социологической науки. Но как раз проблемам планирования и управления, то есть тому, где мировая наука была вправе ожидать особенно больших результатов от ученых социалистических стран, было посвящено минимальное число докладов и сообщений. Да и те, которые представили советские социологи, к сожалению, не были основаны на серьезном анализе фактического материала и касались главным образом общих принципов планирования и прогнозирования.

И сейчас, полтора года спустя, мы не можем отметить сколько-нибудь серьезных изменений в отношении ориентированности конкретных социологических исследований на проблемы управления и организации. Опыт обнаружил такие крупные недостатки, типичные для многих конкретных социологических исследований, как неумение четко ставить конкретную проблему управления (а это вызывается нередко непрофессиональным знанием объекта), односторонняя ориентация на анкетный метод исследования в ущерб комплексному подходу, недостаточное умение применять на деле системный анализ, и многие другие. Заполнение вакуума в отношении социологических и социально-психологических исследований управления и организации несомненно представляет собой одну из наиболее серьезных проблем, которая требует к себе самого пристального внимания общественности.

Другая проблема касается подготовки кадров специалистов. Здесь нам тоже нелишне прибегнуть к сравнительному методу.

Настоятельно необходим конкретный социологический анализ поведения людей в процессе управления. Наша наука только еще приступает к этому. В книге «Научные основы государственного управления в СССР» рассматривается вопрос о численном и качественном составе работников аппарата государственного управления. Данные, которые здесь приводятся, несомненно интересны. Например, выясняется, что среди руководителей органов государственного управления две трети принадлежат к возрастной группе тридцать — сорок девять лет, среди

руководителей общественных, республиканских, областных и приравненных к ним органов 74 процента представляют люди старше сорока лет; 4 процента — старше шестидесяти лет; в остальных группах руководителей в возрасте шестьдесят лет и старше — 2,3 процента. Среди председателей исполкомов городских и районных Советов депутатов трудящихся люди в возрасте до сорока лет составляют 33 процента, от сорока до пятидесяти лет — 55 процентов, старше пятидесяти лет — 12 процентов. Какой же отсюда делается вывод? Единственный, что на руководящие должности еще недостаточно выдвигаются молодые работники. Точно так же — при анализе образовательного уровня работников управления. Выдвигается единственный критерий оценки: более высокий уровень образования лучше, чем менее высокий¹³.

Очевидно, что этот статистический анализ должен быть дополнен углубленным социологически содержательным изучением кадров управления, их квалификации, их опыта, мотивов поведения, ценностных ориентаций, понимания ими задач и целей организации, характера взаимоотношений в процессе принятия и осуществления решений и т. п.

Широкое применение электронно-вычислительных машин в западных странах вызвало к жизни появление новых профессий — программистов, инженеров-математиков, инженеров-информатиков и других. По имеющимся прогнозам, к 1975 году в США потребуются около 770 тысяч специалистов этого профиля (против 500 тысяч в 1970 году) и примерно полмиллиона инженеров по информационным системам¹⁴. Все они получают подготовку как в области математики и техники, так и в области социальных наук.

Особенно остро стоит вопрос о подготовке специалистов, которые способны формировать социальный заказ практики, прежде чем он попадет в руки программистов. Я имею в виду специалистов по таким наукам, как управление, социология, политика, которых у нас до сих пор не готовит ни один вуз страны. Заметим, что в США в 1968 году готовилось по управлению и коммерции 69,7 тысячи человек, по политическим наукам — 52 тысячи человек, по социологии — 17,7 тысячи человек. Количество социологов в США увеличилось за последние двадцать пять лет почти в четыре раза и превышает сейчас сто тысяч. У нас пока подготовка специалистов по таким наукам, как управление, социология, политика, ведется в рамках других наук. Но ведь именно специалисты этого рода вместе с социально образованными программистами в состоянии и должны разрабатывать тот пласт науки, который лежит между электронно-вычислительной машиной и практикой. Поэтому среди многочисленных задач, вытекающих из требований научно-технической революции в сфере управления, пожалуй, самые неотложные связаны с подготовкой специалистов.

И еще одно соображение. Наш собственный опыт, как и зарубежный, обнаруживает полезность более четкого разграничения научных исследований и прикладной работы по совершенствованию структуры и методов управления в различных звеньях хозяйственного и государственного аппарата. Напомним, какое огромное значение придавал в свое время В. И. Ленин Рабкрину как органу, специально занятому внедрением научных принципов в деятельность аппарата управления.

Опыт организации консультативных фирм в США и некоторых других западных странах подтверждает, что дело практического совершенствования организации и управления должно быть выделено как самостоятельная функция специальных организаций. Наша наука, сосредоточенная главным образом в академиях и университетских центрах, уже в силу самого этого факта ориентирована больше на фундаментальные теоретические исследования. Она не может взять на себя функцию внедрения своих же рекомендаций и выводов в практику деятельности

¹³ См. «Научные основы государственного управления в СССР». М. «Наука». 1968. стр. 303—304.

¹⁴ См. «Перспективы использования ЭВМ в США (По подсчетам исследовательской группы Диболда)» в кн. «Современные методы внутрифирменного управления в капиталистических странах», стр. 100.

сотен тысяч хозяйственных и иных органов в масштабах всей нашей огромной страны. По нашему мнению, было бы целесообразно не только в Москве, но и в республиканских центрах иметь в перспективе специальные научные консультативные организации, работающие на хозрасчетных началах по заказам хозяйственных и других учреждений. Это было бы тем промежуточным звеном между наукой и практикой, которого сейчас явно не хватает и которое могло бы эффективно внедрять новые научные идеи.

Из числа этих идей, на наш взгляд, особое значение имеет системный анализ, аккумулирующий основные современные требования научно-технической революции.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Не так давно мне довелось встретиться с председателем горисполкома одного из городов Украины, который привез интересный документ — план социального развития города, точнее первые наброски такого плана. Но в нем уже содержался основной информационный набросок, который должен найти отражение в плане: демографическая структура населения, жилищный фонд и потребности в нем, транспорт, культурные и бытовые учреждения, образование, здравоохранение и многое другое. Социологи горячо поддержали это начинание и сопоставили с набросками подобных планов, которые имелись у нас. Затем наш гость заговорил о системном анализе — что он означает и как применять его на практике.

Понятие системного анализа вошло не только в обиход специалистов, но и в политическую лексику. К сожалению, о системном анализе у нас нет еще сколько-нибудь серьезного руководства. То, что будет сказано ниже, также представляет собой не более чем размышления по поводу сложного принципа, на нашем опыте, во сути дела, не проверенного и не примененного сколько-нибудь широко.

Начнем с примера простейшего. Как управляется семья? В среднюю семью входит от трех до пяти человек. Казалось бы, жизнь такого небольшого коллектива людей, объединенных родственными узами, должна регулироваться просто. Между тем на своем опыте каждый читатель может сделать вывод, что это далеко не так.

Глава семейства. Как происходит, что именно это лицо выдвигается на роль неформального лидера семейного коллектива? Ведь здесь нет каких-то предписаний, юридических норм. Да и поставить он может себя по-разному. В одном случае глава концентрирует в своих руках все блага и ценности. В другом — он распорядится ценностями, советуясь со взрослыми членами семьи, в третьем — решения о необходимых расходах принимаются коллективно.

Кстати, о решениях. В рамках семьи, как правило, никакой процедуры на этот счет не существует. Решение чаще всего принимается в результате согласования или путем компромисса в отношении желаний, интересов, потребностей каждого из ее членов.

Социологи называют семью самоуправляемой системой. В принципе верно. Но здесь самоуправление такого рода, которое далеко не всегда связано с целенаправленным планомерным взаимодействием. Чаще всего жизнедеятельность регулируется как бы сама собой, стихийно, в духе определенных традиций, эталонов поведения, существующих социальных норм.

Даже семья, эта маленькая и специфическая ячейка общества, обнаруживает основные проблемы процесса управления: сочетание интересов, потребностей, возможностей, выдвижение целей, сопоставление вариантов их достижения, принятие решений, организация их осуществления, ну, и бесчисленные коммуникативные связи в этом процессе.

Основная ячейка в управленческом процессе — производственный коллектив. Одних фабрично-заводских коллективов у нас около 50 тысяч, колхозов — более

30 тысяч, совхозов — около 15 тысяч¹⁵. Кроме того, десятки тысяч коллективов людей объединены в административные, педагогические, военные и другие организации. Сложность управления коллективом в сравнении с семьей увеличивается в геометрической прогрессии по отношению к численному составу.

В рамках заводского коллектива мы имеем дело уже с многоступенчатой структурой организации: завод — цех — бригада. В управлении по-разному принимают участие различные группы коллектива — дирекция, партком, местком, инженерно-технические работники, квалифицированные, неквалифицированные рабочие.

В процессе управления таким сложным коллективом встают сотни задач, которые имеют многовариантные решения. Приведем элементарный пример. В профком избраны восемь человек. Сколькими способами они могут распределить между собой обязанности председателя профкома, заместителя и секретаря? Математики отвечают нам, что искомое число равно 336. Можно представить себе множественность вариантов решения производственных и человеческих проблем, которые в таком изобилии возникают перед коллективом.

Здесь сталкиваются не только разнообразные нужды и интересы разнообразных коллективов и их групп, но и разное понимание способа достижения общих целей. Например, распределение прибылей предприятия. Дирекция, которая несет наибольшую ответственность за производственную деятельность, может быть заинтересована в том, чтобы направить средства в первую очередь в сферу жилищного строительства и таким путем привлечь и закрепить на производстве нужных ему работников. В то же время работницы в большей мере могут быть заинтересованы в строительстве яслей и детских садов, а молодежь — в спортивных сооружениях и т. п.

На уровне производственного коллектива возникает важная проблема управления — изучение механизма выявления потребностей и интересов, их сочетания между собой и с интересами всего общества в целом. Этот механизм разнообразен, он знает различные формы: выступления на производственных совещаниях, обсуждения планов, отчетов, письма, анализ (с помощью научных методов) документов, опросы общественного мнения, интервью и т. п.

Свою специфику имеет научное изучение социальных организаций. Наше общество относится к числу наиболее организованных в современном мире. Каждый его член входит, как правило, не в одну, а в несколько организаций. Изучение законов, по которым функционируют и развиваются организации (хозяйственные, государственные, общественные), представляет одно из наиболее сложных и ответственных направлений в науке управления. Собственно, теория организации — центральная часть этой науки, ибо, как ни важна жизнь семьи, производственного коллектива, главное влияние на человека и общество оказывает социальная организация. Изучение законов ее функционирования и развития раскрывает многие тайны социального прогресса или регресса.

Что дает системный подход к управлению? Прежде всего новый угол зрения. Он дает возможность продумать управленческую деятельность по горизонтали и проблемно.

Мы привыкли анализировать процесс управления главным образом под углом зрения функционального членения. Управление городом расчленяется на ряд функций, которым нередко соответствует и организационное деление — управление промышленностью, культурой, здравоохранением и т. д. Практически каждая из этих сфер рассматривается отдельно. В рамках каждой из них прорабатываются вопросы, принимаются решения, осуществляется контроль. И это естественно для решения текущих управленческих задач.

Но когда продумывается план деятельности на перспективу, такой подход оказывается уже недостаточным. Ведь город существует как единая система, где все взаимосвязано. Когда вы строите завод в городе, вы должны продумать вопросы обеспечения его рабочей силой или за счет перераспределения имеющихся ра-

¹⁵ См. «ЦСУ», стр. 132, 271 соответственно.

ботников, или за счет привлечения новых со стороны. Далее вы должны продумать вопрос о жилье для работников, о транспорте, подъездных путях к строительству, о том, сколько вам понадобится новых кафе, столовых, магазинов, школ, кинотеатров, милиционеров, судей, работников аппарата управления и т. д.

Иными словами, вы должны подойти к решению вопроса о строительстве завода как к некоему комплексу экономических, технических, транспортных, социальных и иных задач. Но это еще не системный подход. Комплексный подход ostанавливается на формуле «принять во внимание», «учесть и эти моменты». Системный же подход — это куда более высокий, качественно новый уровень всестороннего анализа проблемы.

Применительно к городскому управлению он означает установление взаимосвязей между всеми сферами жизни города под углом зрения целесообразности и иерархической дифференциации, упорядочения и равновесия. Но и это не все. Он предполагает конструирование модели, где выделяются цели, средства их достижения (по возможности определяемые в количественных показателях), соизмеримость каждой части, ее связь с системой, взаимное влияние частей в системе. При таком подходе решаются важные практические задачи — куда в первую очередь вкладывать средства и как лучше использовать ресурсы для удовлетворения общегородских нужд.

Мышление «по горизонтали» помогает установить степень важности каждой из задач для правильного функционирования города как единого целого. В сознании городской администрации на основе опыта складывается определенная шкала предпочтений. Если это промышленный город, то на первом месте всегда стоят нужды промышленности, поскольку к ней привлечено больше общегосударственного внимания. При системном подходе иерархия целей и конкретных задач определяется интересами города как единого целого в сочетании с интересами области, республики, всей страны. При таком подходе может неожиданно выясниться, что в том или ином конкретном городе (а мне приходилось встречаться с такими примерами в Сибири) решение многих промышленных проблем не может быть осуществлено без коренного изменения сферы обслуживания, культурной жизни, улучшения дела охраны общественного порядка и т. п.

Американский ученый У. Моррис пишет в книге «Наука об управлении. Байесовский подход»: «Действительная цель системного анализа состоит не просто в том, чтобы изучать все более и более сложные задачи, а в отыскании способов «разрезания» сложных задач на более простые так, чтобы решения этих простых задач могли затем быть объединены каким-то простым способом в решение сложной задачи».

Как видим, системный подход представляет собой в первую очередь выяснение взаимосвязей и свойств совокупности объектов. Он предполагает установление с относительной точностью расположения системы во времени и в пространстве, обозначение ее структуры (объектов) и процессов (взаимодействия), установление отношений к целому в рамках всей системы и уровня интеграции. Иными словами, система обозначает не только набор двух или более элементов, но и способ их взаимодействия между собой и внешней средой системы — методы проникновения в ее механизм и ее функции.

Другой существенный признак системного анализа — проблемный, или целевой, подход. Перед каждой из сфер управления городом стоят свои задачи. Их решение часто предъявляет противоречивые требования к городскому управлению. Скажем, расширение сферы производства требует освоения новых территорий. В то же время в крупных городах выявилась тенденция — жилые массивы, как правило, выносятся за пределы промышленной зоны, что, в свою очередь, предъявляет новые требования к системе транспорта и связи. Решение же этих проблем непосредственно связано с привлечением рабочей силы на новые, как правило, жизненно важные участки промышленного производства.

Системный подход означает установление взаимосвязи между всеми этими сферами управления под углом зрения «дерева целей»: выдвигается главная цель,

затем в соответствии с ней формулируются и остальные цели, построенные как иерархическая лестница.

Что это значит практически, скажем, для городского Совета? Что нужно сделать, чтобы применить системный подход к управлению городом?

Горсовет ежегодно утверждает бюджет. Но для системного подхода недостаточно годичного плана. Необходимо иметь развернутый план экономического и социального развития не менее чем на пять лет, а желательно и прогноз на десять — пятнадцать лет.

Я хорошо отдаю себе отчет во всей трудности осуществления такой задачи. Она требует сбора информации о потребностях и тенденциях развития — точного знания возможностей, которыми будет располагать город как в отношении финансовых, так и в отношении материальных ресурсов.

При таком подходе вся управленческая деятельность городских властей приобретает целенаправленный характер, имеющий в виду не только интересы сегодняшнего дня, но и более или менее отдаленное будущее.

Необходимо определить, чем располагает город в перспективе — деньги, техника, рабочая сила, инженерно-технический персонал. Основное значение приобретает изыскание новых ресурсов путем повышения экономической эффективности деятельности городского хозяйства. В плане должны быть четко определены статьи всей программы и каждая статья в отдельности по таким показателям, как материалы, техника, человеческие ресурсы, место, время, — на основе количественного анализа доходов и расходов. Сама программа решения разрабатывается так, чтобы оставить место для изменения (в определенных пределах) в зависимости от меняющейся обстановки. Скажем, увеличения или уменьшения ресурсов. Процедура такой периодической коррекции должна быть заложена и записана в принимаемом плане и прогнозе.

Схематично системный подход (назовем его условно СПУ — системное планирование и управление) можно представить себе в виде следующей цепочки: цель — ресурсы — план — решение — реализация — контроль.

Для составления серьезного плана экономического и социального развития города необходима новая ориентация в деятельности плановых и иных государственных органов, активное вовлечение в это дело хозяйственных организаций, научно-исследовательских центров, привлечение широкого актива. Не исключено, что в аппарате городского управления нужно иметь специальные службы (что-то вроде штаба), на которые возлагалась бы обязанность разработки целей и задач, а также основных принципов дальнейшего планирования и прогнозирования. Само собой разумеется, что подобные планы могут существовать лишь в рамках всей системы социально-экономического планирования в области, в республике, в масштабах всей страны.

Системный подход открывает возможность с помощью более полного учета информации, обобщения эмпирического материала, составления динамической модели осуществлять управление оптимальным способом. Системный анализ можно было бы сравнить с мощным объективом, который наведен на изучаемый объект. Через объектив мы видим всю структуру как единое целое, во взаимодействии его отдельных частей и между системой и средой.

Этот подход может быть применен в любой сфере управления: на уровне низшего звена — предприятия, колхоза, совхоза; среднего звена — города, района, области; на уровне ведомства, министерства, плановых организаций и т. д. Однако системный анализ необязательно связан с деятельностью определенной структуры как специального института. Он может применяться для разработки программы или проблем, решаемых различными структурными институтами (образование, здравоохранение, общественный порядок).

Таков приблизительно мой ответ председателю горсовета. Конечно, он не рецепт и не панацея. Социально-экономическое планирование ни в малейшей степени не заменит хорошей организаторской работы. Но оно дает для нее более основательную базу. Первые опыты совершенствования социального планирования в

городах требуют внимания и поддержки со стороны партийных и советских организаций.

Однако думается, что применение системного подхода на первых порах может дать больший эффект не на городском уровне, а на уровне министерств и ведомств. В более благоприятном положении при этом находятся те из них, которые располагают устойчивыми гарантиями ресурсов на перспективу, лучшей организацией и дисциплиной.

Применение на практике системного анализа в наших условиях имеет чрезвычайно существенную особенность в сравнении с опытом зарубежных стран. Оно определяется теснейшей взаимосвязанностью любой системы управления, будь то на уровне города, области или министерства, с другими системами на всех уровнях. В сущности, трудно найти сколько-нибудь значительную проблему, которая могла бы быть оптимально разрешена в рамках локальной системы. Поэтому применение системного анализа может давать желаемый эффект, только если оно, пускай постепенно, будет захватывать весь фронт социально-экономического планирования на всех уровнях. Этот процесс неизбежно должен сопровождаться перераспределением прав и ответственности между различными звеньями системы управления с предоставлением максимальной самостоятельности как в отношении ресурсов, так и в решении определенной группы проблем в рамках каждой подсистемы.

Другая существенная особенность касается механизма взаимосвязи планирования, прогнозирования и управления. В нашей структуре прогноз становится существенным элементом самого плана, а сам управленческий процесс также поддается большему планированию, чем в рамках любой другой социальной структуры. Определение рамок программируемых и непрограммируемых элементов в самом плане и в процессе управления — одна из коренных исследовательских задач науки управления.

Разработка путей практического применения системного анализа в условиях планового хозяйства — вот еще один мощный пласт науки, который может быть поднят усилиями экономистов, социологов, социальных психологов, математиков и представителей других специальностей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

Напомню читателю характер конфликта в кинофильме Ю. Райзмана «Твой современник». Герой этого фильма приходит к выводу об экономической нецелесообразности осуществляемого строительства комбината, в которое уже вложены большие силы и средства. Он мужественно отстаивает эту свою позицию перед многочисленными местными и центральными организациями, не преследуя никаких личных выгод, исключительно ради разумного решения проблемы. Помнится, что даже наиболее высокая инстанция, в которую он обратился, не решается закрыть почти законченную стройку, хотя известно, что существует уже более эффективный способ производства того же продукта.

Оставим в стороне психологическую и нравственную сторону проблемы и возьмем, так сказать, деловую. Почему и как могла возникнуть подобного рода ситуация? Причины могут быть разные. Скажем, новый способ производства был разработан наукой уже в то время, когда было начато строительство. Другая, более вероятная, причина — когда принималось решение о стройке, не были учтены какие-то уже известные тогда важные моменты. Еще одно предположение — решение было принято спонтанно: кто-то выдвинул идею, кого-то убедил, а тот не проверил и т. п.

Какая бы ни была причина, с точки зрения системного подхода мы видим типичный пример нарушения процедуры подготовки и принятия решения. Причем беда в том, что обвинить в этом как будто некого: люди, принимавшие решение, руководствовались благими намерениями, хотели добра, а отнюдь не стремились нанести какой-то ущерб хозяйству. И тем не менее нанесли.

Имеется ряд стереотипных причин, по которым может быть допущена ошибка в решении той или иной проблемы. Скажем, неправильно определена функциональная цель, или отсутствует сколько-нибудь удовлетворительный набор альтернатив, или неполностью учтены все будущие расходы, связанные с принятым решением (в практике это наиболее распространенный случай). Кроме того, в самом решении должен быть заложен способ его корректировки, а если необходимо, то и перестройки под влиянием вновь изменившихся обстоятельств (новое изобретение и т. п.). А это делается далеко не всегда.

Что такое принятие решений с точки зрения науки управления? Если ответить кратко, это выбор из нескольких возможных альтернатив определенного образа действий, который позволяет с наибольшим эффектом достичь четко определенной задачи.

Важнейший элемент такого процесса — определение целей. А это при научном подходе отнюдь не легкое дело. Определение цели, вернее целей, поскольку речь идет о целой иерархии взаимосвязанных задач, едва ли не наиболее сложный этап в принятии решений.

Элементарный способ состоит в наращивании количественных показателей. Скажем, нужно увеличить производство угля, нефти, электроэнергии за год или за пятилетие на столько-то процентов. Но мы хорошо знаем, что даже само определение процента этого роста составляет проблему и должно опираться на обширную информацию относительно производственных мощностей, денежных ресурсов, рабочей силы и т. д. Однако дело не только в этом. Системный подход к определению целей предполагает по меньшей мере два существенных дополнения к представлению о простом росте суммы ценностей.

Первое. Вопрос рассматривается в более широком контексте. Применительно к приведенному мной примеру это означает рассмотрение проблемы в рамках категории «топливная база». Может оказаться, что на определенном этапе целесообразнее вложить средства в одну отрасль хозяйства, например в нефтедобывающую или нефтеперерабатывающую, и уменьшить капиталовложения в другую, например в производство угля. И второе — установление того, что называется «деревом целей».

Речь идет об установлении (в зависимости от очередности осуществления) иерархической взаимосвязи задач. Например, определяется главная цель — достигнуть к такому-то году такой-то энерговооруженности народного хозяйства. Затем устанавливаются подчиненные ей целевые характеристики — увеличить на столько-то топливную базу, на столько-то производство электроэнергии, атомной энергии и т. п. Это последнее в свою очередь членится на еще более конкретные целевые установки. Рассмотрение взаимосвязанных целей в рамках общей системы позволяет вносить определенные коррективы — увеличить одни и уменьшить другие показатели для более эффективного решения основной задачи.

Хороший пример нам дает в этом отношении девятый пятилетний план. Он выдвигает в качестве главной задачи — повысить реальный доход трудящихся примерно на 30 процентов. Затем разворачивается целая система конкретных производственных задач, которые должны обеспечить достижение этого уровня. Кроме количественных показателей, характеризующих выпуск металла, угля, тканей, автомашин и т. п., особое место отводится повышению производительности труда, фондоотдачи и других качественных экономических показателей.

Нетрудно представить себе, как усложняется дело, когда определяются конкретные социальные цели и задачи. Конечно, можно представить себе выдвижение социальной цели в виде некоего пожелания. Такое пожелание, если оно благое, вызывает на определенный период известный энтузиазм и в этом смысле имеет некоторое положительное общественное значение. Но потом проходит время — и обнаруживается, что пожелание не удалось осуществить или удалось, но не полностью. Как быть? Можно, разумеется, сослаться на то, что пожелание было благим, а можно признать и несостоятельность самого подхода к формулированию конкретных социальных задач

Немногие, вероятно, знают из литературы, что в 20-х годах в советской юриспруденции был широко распространен лозунг — добиться полной ликвидации преступности в стране. Лозунг сам по себе прекрасный. (Заметим в скобках, что он был примером неслышанной самоотверженности юристов, поскольку ликвидация преступности означала бы в то же время и ликвидацию их профессии.) Но попытка строить работу практических органов под углом зрения этой задачи способна была бы только дезорганизовать их деятельность.

В самом деле, к чему мог бы привести лихорадочный поиск путей, ведущих к ликвидации преступности в короткий срок? Он мог привести, например, к резкому ужесточению наказания, это создавало бы видимость более эффективной борьбы за достижение поставленной цели: выловить всех преступников и упрятать их надолго или даже насовсем — и с преступностью будет покончено.

Однако после многих экспериментов были выработаны более рациональные установки, направленные на достижение конкретных и реальных задач: ликвидировать профессиональную преступность, добиться резкого сокращения преступности среди молодежи, свести до минимума число политических преступлений, полностью ликвидировать преступность, вызванную феодально-родовыми предрассудками, и т. п.

Конкретизация задач и целей, более четкое структурирование проблем дает хороший трамплин для системного подхода к поиску путей их решения. Для того чтобы бороться с преступностью, например, необходимо глубоко проанализировать совокупность всех причин этого явления — социальных, социально-психологических, социально-нравственных — и осуществление целого комплекса мероприятий — государственно-правовых, педагогических, экономических.

Есть сферы социальной жизни, где выдвижение конкретных целей и задач представляет особую сложность, где необходим особенно тщательный анализ информации. Возьмите такую демографическую проблему, как рост населения. Известно, что в последнее время у нас идет некоторое снижение этого роста, как и в других промышленно развитых странах. С 1960 по 1965 год — с 1,78 процента в год до 1,11 процента в год. А к 1969 году — до 0,89 процента. Правда, уже в 1970 году он составлял 0,92 процента¹⁶. Наши демографы подсчитали, что падение будет продолжаться примерно до 1975 года, а затем до 1985 года сменится незначительным повышением — до 1,1 процента.

Можно ли воздействовать на этот процесс и в каких пределах? Ответ на этот вопрос должен помочь нам выдвинуть более или менее реальную социальную задачу. Существующий опыт таких стран, как Франция, Швеция, показывает, что общество может добиться увеличения роста народонаселения с помощью различных поощрительных мер (прибавки к заработной плате на ребенка, улучшение системы услуг, повышение пенсионного обеспечения многодетных матерей и т. п.). Научный анализ позволит конкретно сформулировать целевую установку и в этом случае.

«Дерево целей» включает в себя выработку стратегических, тактических, длительных, ближайших, основных или частичных задач. Примером может служить программа мира, выдвинутая XXIV съездом КПСС. Основная целевая установка исходит из того, что необходим твердый отпор агрессорам в сочетании с конструктивной линией на урегулирование назревших международных проблем и постепенное осуществление программы всеобщего мира.

Эта программа включает в себя и такие сравнительно близкие по времени задачи, как укрепление европейской безопасности, созыв конференции для обсуждения этой проблемы, к работе которой необходимо привлечь США и Канаду. Она включает в себя и такую перспективную задачу, как ослабление, а затем прекращение гонки вооружений и осуществление всеобщего и полного разоружения.

Но выработка цели — лишь первый этап системного подхода. Дальше следует разработка альтернатив.

¹⁶ См. «ЦСУ», стр. 47 (пересчитано в процентах).

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА И МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Проблема выбора — одна из наиболее трудных не только для массового, но и для профессионального сознания.

Посмотрите только, какие усилия тратит сейчас человеческий ум, чтобы снять с себя эту тяжесть и возложить ее на счетно-решающую машину. Поистине голубая мечта иных управленческих работников: заложить под конец рабочего дня в машину задачу, утром вернуться (после приятно проведенного в компании вечера или с рыбалки) — а на столе готовое решение. Тебе остается только подписать и пустить в дело. Но я очень боюсь, что техника еще долго будет обманывать ожидания человека как раз при таком подходе к этой задаче. Как говорят математики, в машину что заложить, то и получишь. Основная трудность ныне и в обозримой перспективе — научное формулирование проблем и их формализация.

Пока еще сравнительно немногие проблемы поддаются такому структурированию, когда их взаимосвязь и взаимозависимость можно выразить в числах и символах, когда можно получить количественную оценку. А решению с помощью методологии «исследования операций», на основе приложения математических методов и моделей (линейное, нелинейное, динамическое программирование, теория игр и т. д.) поддаются только жестко структурированные проблемы.

Но большинство проблем может быть причислено к категории «слабо структурированных». Именно они представляют собой широкое поле для применения системного анализа. Сюда относится большая часть технических, экономических, военно-стратегических, политических задач.

И наконец, имеется большая группа проблем, которая вообще не поддается структурированию. Максимум, что можно сделать для внесения элементов культуры в их решение, это сбор всей необходимой информации, сопоставление экспертных оценок, «профессиональное вживание» в проблему, накопление знаний и интуиции у лиц, принимающих решение. Этот способ носит название эвристического. Как видно, это наиболее древний и, вероятно, пока еще наиболее часто применяемый способ решения экономических и социальных проблем.

Наиболее высокий уровень абстрагирования и упрощения проблем — построение модели. Понятие «моделирование» стало в последнее время едва ли не более ходовым, чем «управление». Как раз здесь больше всего сеется иллюзий и завышенных ожиданий. Как только оратор произносит магические слова «моделирование социальных процессов», зал замирает и трепетно ждет чуда. Но чуда не происходит. Оратор обычно ограничивается доказательством того, как это важно, как это нужно, как это современно и как никчемны и жалки те, кто этого не понимает. На этом он считает свою задачу выполненной и перескакивает «на другую лошадь». Такие упражнения были вполне объяснимы лет десять или даже пять назад. Сейчас уже практика ждет ответа на вопрос: а что сие значит и как этим пользоваться?

У нас есть крупные математики, которые успешно работают над применением математических методов в экономике. К сожалению, пока еще их интерес к социологическим, социально-психологическим и другим социальным аспектам управления ограничен. Здесь только начали экспериментировать молодые математические силы, и нет еще пока уверенности, что они движутся в правильном направлении. Попытаемся в самой общей форме определить рамки применимости — на нынешнем уровне знания — моделирования в процессе принятия социальных решений.

Заметим прежде всего, что имеется несколько способов моделирования и несколько типов моделей. Первый тип носит название физического, или портретного, моделирования. Это довольно традиционный и сравнительно широко и давно используемый способ. Фотография лица, чертеж самолета или даже рисунок художника могут рассматриваться как физическая модель, отражающая определенные свойства объекта, явления процесса или системы.

Второй тип модели — аналоговый. Он предполагает изображение определен-

ных свойств объекта через набор параметров, характеризующих другой,* более известный объект. Например, движение электричества уподобляется потоку воды в трубах, традиционный любовный конфликт — треугольнику и т. п. Наконец, третий тип модели носит название символического, цифрового, поскольку он используется для определения качества объекта математические символы в виде уравнения или системы уравнений.

Академик В. М. Глушков, кроме того, пользуется понятием «информационное моделирование», которое означает, по его мнению, «фиксацию того или иного уровня познания... объекта, позволяющую описывать не только его строение, но и предсказывать (с той или иной степенью приближения) его поведение»¹⁷.

Первые два типа моделей имеют известную ценность. Они дают возможность с помощью изобразительных и логических средств подвергнуть объект более глубокому и основательному анализу. Тем самым вносится элемент культуры в процесс принятия решений. Но только третий тип и представляет собой моделирование в собственном смысле этого слова. Математическая модель, используемая в исследовании операций, призвана точно изобразить взаимосвязи между различными элементами системы, что позволяет прогнозировать ее поведение в каких-либо предполагаемых условиях. Тем самым возникает возможность управлять системой, что и составляет цель моделирования. С сожалением замечу, что эксперименты, которые у нас проводятся, пока еще, как правило, останавливаются на этапе описания социального процесса в математических терминах и практического значения для планирования и прогнозирования процесса не имеют.

Математическое моделирование имеет смысл только тогда, когда на выходе мы получаем прогноз ситуации или конкретную рекомендацию. Если этого нет, можно со спокойной совестью пройти мимо автора модели, унося в душе большую или меньшую степень уважения к его эрудиции. Иными словами, критерий практичности и здесь необходим и уместен — таково всеобщее мнение авторитетных специалистов, которые действительно накопили известный опыт в этой области. Очевидное достоинство математического моделирования в том, что оно позволяет отыскать максимально точное решение; очевидная слабость — трудность формализации реальных жизненных явлений.

Процесс моделирования неизбежно связан с упрощением, и очень трудно определить, какая степень упрощения здесь допустима, какая степень позволяет сохранить сущность объекта. Например, вам надо принять решение о предпочтительности той или иной системы образования. Для этого надо определить понятие образования через отдельные его свойства. Вы приглашаете экспертов, и каждый из них дает разное определение и различный набор характеристик. Уже на этом этапе вам приходится делать выбор, который нередко предопределяет не только математическую модель, но и само решение. Социальная наука еще оказывается недостаточно подготовленной, чтобы предложить четкий набор параметров, необходимых для составления математических моделей. Построение моделей пока еще главным образом используется для углубления понимания того, как функционирует сложная система, для уяснения главных черт проблемы и возможных альтернатив.

Видные американские специалисты, авторы книги «Системы и руководство» Р. Джонсон, Ф. Каст, Д. Рознцвейг пишут: «Предположения, что все проблемы науки управления можно разрешить с помощью ЭВМ, являются опасным заблуждением. Приступая к решению задачи, следует тщательно продумать и выбрать наиболее подходящий в данном, конкретном случае метод решения и способ обработки информации. Поскольку уже разрабатываются методы для автоматизации принятия решений в таких областях, как управление запасами, контроль качества и управление производством, то эти методы математического анализа проблемы могут быть объединены в единую систему обработки данных. В этих случаях математический аппарат, необходимый для автоматической выработки решений, войдет в состав единой информационно-решающей системы, содержащей программы для всех ситуаций, встречающихся в повседневной деятельности (кроме ряда иск-

¹⁷ «Вопросы философии», 1963, № 10, стр. 13

лючений). В таких областях, как долгосрочное планирование, для принятия решений может потребоваться еще более сложный математический аппарат. В этом случае ЭВМ служит в первую очередь как вычислительное устройство, а не как средство обработки данных в информационно-решающей системе».

Как видим, пока еще моделирование главным образом помогает раскрепостить человеческий разум и интуицию и направить его на более эффективное решение проблемы. Оно направляет творческую мысль руководителя в русло новых идей, альтернативных предложений и проектов, но отнюдь не избавляет его от необходимости самостоятельно принимать решение. Это касается даже и экономических проблем. Что же говорить о социальных и политических, которые во много раз сложнее и труднее поддаются учету и формализации.

Мне кажется, что при освоении метода моделирования нам нужно двигаться постепенно от этапа к этапу, если мы не хотим уподобиться человеку, который сдается овладеть высшей математикой, не освоив арифметику и алгебру. Для начала было бы хорошо, если бы мы научились строить аналоговые модели социальных процессов, опирающиеся на социальную статистику, специально обработанную и систематизированную с помощью ЭВМ. И только после этого можно было бы сделать следующий шаг — к созданию работоспособных символических моделей, где точно определены числовые значения для переменных на основе анализа факторов, достаточных для определения той или иной ситуации.

Сошлемся на авторитет академика А. Н. Колмогорова, который пишет: «...если каждый новый шаг исследования связан с привлечением к рассмотрению качественно новых сторон явлений, то математический метод отступает на задний план; в этом случае диалектический анализ всей конкретности явления может быть лишь затемнен математической схематизацией»¹⁸. По остроумному замечанию И. А. Полетаева, «математическое моделирование напоминает плавание по морю, полному рифов, где методические погрешности выбора курса ведут к пробоинам в днище (подчас незаметным сразу) со всеми грустными последствиями».

Электронно-вычислительная машина открыла необозримые ныне возможности не только для накопления информации, но и для сопоставления альтернатив и выбора более предпочтительного решения. Однако эти возможности мы сможем использовать лишь тогда, когда будет разработан понятный машине язык программирования, когда машина будет описывать проблемы с помощью специальных символов или, иными словами, создать наряду с сотнями известных человечеству языков новый язык. Для этого науке понадобятся не только длительные сроки, но и опять-таки органическое взаимодействие и сотрудничество различных областей знания: экономики, социологии, лингвистики, математики.

Но при всем том выбор решения для человека был и остается проблемой разума и интуиции. Системный анализ помогает в двух отношениях. Во-первых, он дает логическую структуру проблемы, систематизируя процесс накопления информации, определения целей, выработки альтернатив, оптимизации решения и т. п. Во-вторых, он позволяет максимально использовать количественные показания, а стало быть, современные счетно-решающие устройства. Но он ни в малейшей мере не заменяет человеческого разума, опыта, способности к интуитивному схватыванию проблемы, организаторского таланта.

ПОТОК ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Не так давно гость Института конкретных социальных исследований профессор Чикагского университета М. Каплан сделал доклад на тему «Разум и интуиция в процессе принятия решений». Надо заметить, что М. Каплан известен как энтузиаст применения количественных методов для анализа международных отношений и внешней политики, применения системного анализа в этой сфере. К удивлению многих слушателей, он, воздав должное применению современной техники

¹⁸ А. Н. Колмогоров. Математика (БСЭ, т. 26, стр. 464).

для сбора и обработки информации различными лицами, принимающими решения, с большой горячностью отстаивал необходимость сохранения более или менее обширного поля для проявления интуиции.

Да и как не понять американского профессора. Многие решения, особенно внешнеполитические, принимаются в сроки, исчисляемые не только днями, но даже часами. Они представляют собой реакцию на возникающую новую ситуацию, которая требует большой оперативности, потому принимаются либо по стереотипу и аналогу со сходными ситуациями, либо интуитивно.

Разумеется, уже сейчас можно себе представить, что с помощью количественных измерений удастся прогнозировать районы наибольшей международной напряженности, кризисные изменения в социальных отношениях на, так сказать, глобальном уровне подобно метеорологу, который предсказывает погоду на длительную перспективу. Но какая машина может предсказать, когда именно и где конкретно произойдут вспышки массовых движений, политические кризисы, начнутся военные столкновения, когда созреет момент для революционного переворота? А может ли разум полностью заменить чувство, когда принимаются решения о вступлении в брак, о разводе, о дружбе, о разрыве с человеком и т. д.? Старый способ — доверять человеческому разуму, чувству и интуиции — вряд ли будет заменен компьютером.

Даже сбор информации, нужный для принятия решений и в целом управления с помощью ЭВМ, представляет собой непростую проблему.

Вот как выглядит в цифрах то, что получило характерное название «информационного взрыва». По имеющимся данным, к 60-м годам было накоплено примерно сто миллионов названий книг и другой печатной продукции. Ежегодно к этому прибавляется четыре миллиона статей и 400 тысяч книжных изданий. Одних запатентованных изобретений насчитывается примерно 13 миллионов. В пересчете на узкого специалиста в день издается примерно сто миллионов авторских листов печатной продукции. Причем цифра эта удваивается в среднем каждые три-четыре года, а по физико-математическим, химическим и техническим наукам — каждые два с половиной года. Практически большая часть этой информации остается неосвоенной. Подсчитано, что в крупнейших книжных хранилищах мира примерно 60—80 процентов поступлений никто никогда не использовал. Немецкий ученый Н. Васс вывел «формулу макулатурности» научных изданий. Эта формула дает соотношение количества никем не прочитанных страниц к общему объему печатной продукции. Опрос читателей показал, что в среднем 85 процентов научной литературы никем не востребуется и может быть засчитано в макулатуру¹⁹.

Отсюда, естественно, возникают новые требования к хранению, обработке и воспроизводству информации. Сейчас эта задача более или менее успешно решается с помощью разного рода технических новшеств, машинного каталогизирования, хранения и выдачи информации. В будущем, по мнению ученых, оригиналы работ есть смысл хранить в информационном центре на микроарточках в виде сильно уменьшенных фотокопий. Если ученому потребуется для работы литература по специальному вопросу, то в соответствии с заданием счетно-решающее устройство сначала найдет по коду аннотации всех имеющихся работ, а затем обеспечит их копирование.

Этот способ полностью заменит научные журналы, в которых будут печатать не оригинальные работы, а преимущественно краткие их аннотации. Уже сегодня появляются примеры перспективного применения этого метода, в частности в ядерной физике и химии. В еще более отдаленном будущем, однако, возможно, еще при жизни многих наших современников, счетно-решающее устройство сможет вести не только поиски уже имеющихся результатов в данной области познания, но и давать им оценку. Автомат сумеет самостоятельно упорядочить имеющуюся информацию в теоретическом смысле и создать в некотором роде собственные научные работы.

¹⁹ См. «Наука и жизнь», 1971, № 11.

В последнее время ученые и практики все более убеждаются, что сейчас одна из коренных задач, связанных с использованием информационных систем для управления, состоит в коренном увеличении объема и «ассортимента» социальной информации. Без этого становится невозможным решать собственно экономические проблемы. Показателен пример крупнейшей американской монополии «Дженерал электрик». Она относится к числу наиболее последовательных сторонников внедрения ЭВМ в управление и контролирует сейчас 40 процентов всего машинного времени ЭВМ в США. Так вот эта фирма едва ли не первой приступила к обширным социальным исследованиям проблем управления. Этому примеру последовали компании «Форд» и «Дженерал моторс». Они систематически проводят социологические обследования общественного мнения, опираются на экспертные оценки для прогнозирования рыночных тенденций в отношении автомобилей различных типов, что позволяет им своевременно перестраивать конвейерные линии.

Для нашей экономики эта задача особенно актуальна в связи с разработкой интегрированной общегосударственной автоматизированной системы управления народным хозяйством. Опыт функционирования автоматизированных систем на уровне министерств и ведомств обнаружил недостаточность чисто экономических и технологических критериев эффективности производства. Важно уже сейчас привлечь внимание специалистов к разработке методики сбора и хранения самой разнообразной социологической информации, характеризующей социальную структуру и положение человека в производстве и процессе управления. Иными словами, нужны не только количественные, но и качественные характеристики поведения человека в экономических системах, социальных и нравственных норм, стимулов, традиций, ценностных ориентаций.

Но диалектика этого процесса такова, что нужна не только максимизация, но и минимизация объема информации путем ее тщательного отбора. Приведу любопытный факт. Проектировщики управляющей системы для фирмы «Вестингауз электрик» попросили высокопоставленных администраторов четко определить объем и характер нужной им информации. Оказалось, что лишь очень немногие могут указать, какая потребуется информация и что они будут делать с ней, когда получат. Мы ни в малейшей мере не хотим умалять значения широкого внедрения ЭВМ для сбора и обработки информации. Нам хочется только предостеречь против преждевременной попытки свести весь процесс управления к чисто формальным или количественным соотношениям.

Факты сами по себе независимо от их изобилия позволяют разнообразно судить о проблемах и открывают дорогу для многовариантных решений. Располагая аналогичным историческим материалом, Александр Дюма написал блистательный приключенческий роман «Три мушкетера», а Проспер Мериме — глубокую социальную драму «Хроника времен Карла IX». Идейное и художественное несходство «Воскресения» Толстого, «Преступления и наказания» Достоевского и «Что делать?» Чернышевского объяснялось, и это каждый понимает, отнюдь не объемом и характером информации, которой они располагали, а свойствами таланта, различным видением мира, ценностными ориентациями. Из одних и тех же фактов гений Ленина делал одни выводы о революционной перспективе России, Мартов — другие, Керенский — третьи.

Известный социолог Ф. Буррико, выступая на II Международном симпозиуме по проблемам «постиндустриального общества» в июне 1970 года в Цюрихе, заметил, что на Западе существует точка зрения, будто идеологические, политические и иные противоречия, вызывавшие до второй мировой войны в капиталистических странах острые конфликты и обострения, могут быть в настоящее время разрешены благодаря чувствительной системе информации и эффективной системе принятия решений. Пример США ясно показывает неспособность правящих кругов справиться с основными социальными противоречиями и ставит под сомнение эту разделяемую многими иллюзию.

Тот, кто думает, что применение ЭВМ унифицирует социальное видение и автоматизирует процесс принятия решений, испытает глубокое разочарование. Думать придется собственной головой. И я не понимаю, почему надо огорчаться,

а не радоваться этому. Откуда такое недоверие к человеческому мозгу, этому универсальному решающему устройству?

«Теперь установился культ компьютеров, — пишет американский профессор Джордж Уолт. — Многие люди даже охотно откажутся от первоначального мнения по какому-либо вопросу, если им сказать, что компьютер придерживается мнения противоположного. Но ведь компьютеры мнения не имеют. Они — пример «разумных идиотов», как те слабоумные, которые проявляют гениальность в математических выкладках». Не знаю, вполне ли корректны сравнения американского профессора, но нельзя не считаться с предостережениями по поводу переоценки самостоятельных способностей ЭВМ, которые раздаются с разных сторон.

Системный анализ кладет в основу выбора информации функциональный принцип. Что это значит? Это означает отбор и обработку таких данных, которые связаны с целью, решаемой данной системой или подсистемой. Эта информация должна содержать компактные характеристики всех тех процессов, результаты которых приводят систему к выработанной цели. Избыток информации так же вреден, как и ее недостаток.

Основное, что может дать наука для оптимизации решений, это методику выработки альтернатив. Я назвал бы это центральным пунктом системного анализа. Как раз здесь находится узел проблем, определяющих эффективность решения да и всего дела управления. Многовариантность осуществления намеченных целей — несомненно, лучшая гарантия оптимального решения.

И наконец, люди. Я не знаю в зарубежной художественной литературе лучшего примера выражения требований, которые предъявляет современная техника к людям, принимающим решения, чем роман Артура Хейли «Аэропорт»²⁰. О художественных достоинствах и недостатках этой вещи можно спорить. Но несомненно — это одно из наиболее современных произведений зарубежной прозы, оно устремлено всей своей проблематикой в последнюю треть XX века.

И дело не только в том, что действие романа происходит в аэропорту и касается авиации, этого самого динамичного элемента среди насыщенных динамизмом элементов технического прогресса. И не в том, что судьбы героев — их труд, поиск, творчество, семейная жизнь, любовь, нравственная позиция — спрессованы на кратчайшем отрезке времени, исчисляемом несколькими часами. И даже не в нарочито модернистском стиле с его острым, «закрученным» сюжетом, в центре которого судьба пассажиров самолета, потерпевшего аварию, с лапидарным, почти протокольным стилем, быстрой сменой ситуаций и стремительным нарастанием событий, хотя и эта стремительность событий, мотивированная с большей или меньшей художественной силой, также подчеркивает современный колорит романа.

И все же, как мне кажется, не менее, а более значительны и интересны линии романа, которые касаются системы «современная машина — человек». Как раз здесь происходит наиболее острое вторжение писательского скальпеля в черепную коробку века ракетной и электронной цивилизации. Какой тип личности — не просто работника, а именно личности — более всего отвечает неустранимым запросам научно-технической революции? Артур Хейли с дотошностью исследователя перебирает все основные профессии гражданской авиации — управляющего крупнейшего аэропорта, диспетчера, работника аварийной службы, летчика, страхового агента, представителя справочной службы и даже полицейского чиновника. Он скрупулезно анализирует их качества, рассматривая то с одной, то с другой стороны. Даже их личная жизнь, в сущности, проверяется писателем на «производственном оселке» — содействует или мешает она выполнению ими их сложных и ответственных обязанностей.

Мысль писателя состоит в том, что только люди выдающиеся в профессиональном и человеческом отношении оказываются вполне на уровне требований подобной ситуации. Именно так — они обладают не только профессиональными знаниями и навыками, но и наделены интуицией, воображением, волей, способны

²⁰ «Иностранная литература», 1971, №№ 8—10.

сконцентрировать все свои усилия в момент опасности и, что особенно важно, наделены чувством высокой ответственности за людей, за технику, за порученное дело.

Артур Хейли выводит вереницу образов, не выдерживающих ускоренного ритма современной жизни и отброшенных или даже раздавленных техническим прогрессом. Мы бы со своей стороны добавили — и социальными условиями, не ослабляющими, а усиливающими напряжение тонов в его кризисных точках.

Современная машинная организация производства безжалостно делает отбор и сортирует людей в американском обществе, вступившем в эпоху научно-технической революции. Она формирует новый тип организации производства и новый тип самого производителя. Американские социологи дают разные варианты картины будущей социальной организации. Даниэл Белл провозглашает торжество научного технократизма. Мельвин Л. Кон рисует портрет «бюрократического человека», который приходит на смену «экономическому человеку». Элвину Тоффлеру будущее видится как «адхократия» — быстро меняющаяся, насыщенная информацией кинетическая организация, состоящая из временных ячеек и в высшей степени мобильных индивидов. Как видим, все эти социологи игнорируют социалистическую модель цивилизации, которая должна соединить экономическую эффективность, технический прогресс и гуманизм.

Капиталистическое производство дошло до черты, за которой стоят требования централизованного планового хозяйства, — на них лишь частично способны ответить методы регулирования экономики и внедрения тех или иных научных принципов в управление и организацию производства.

Плановая социалистическая экономика потенциально в неизмеримо большей степени подготовлена к внедрению достижений научно-технического прогресса и преодолению его отрицательных последствий в тех или иных сферах. Вся проблема в том, как эти преимущества использовать. Вот где необозримое поле для талантливой мысли организаторов производства и ученых.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ПРОБЛЕМНЫЙ ПРИНЦИПЫ

«Мы восприняли с огромным удовлетворением стабилизацию организационной структуры, которая наступила после восстановления функционального принципа в управлении народным хозяйством, — говорил мне заведующий промышленным отделом одного из обкомов партии. — Тем не менее для нас очевидно, и XXIV съезд указал на это, что организационная структура также нуждается в совершенствовании. Нужно обобщать опыт и привносить научное знание в это дело. Какие критерии должны быть положены в основу поисков, экспериментов и планов?»

Эти чрезвычайно важные вопросы нуждаются в серьезном обсуждении и исследовании. Организационная структура — тот элемент управления, который легче всего поддается изменению. Первое, что нам приходит в голову, когда возникает та или иная экономическая или социальная проблема, — создать организацию или звено в уже существующей организации, на которую возложить ее решение. Кто этим занимается? — такова естественная реакция на выявившийся недостаток или новую задачу.

Зато как легко мы успокаиваемся, когда организационная структура создана и соответствующие поручения на нее возложены. Через какой-то срок — обычно через два-три года — часто обнаруживается, что задача все еще не решена или решена не полностью, и тогда мы в первую очередь ищем причины этого опять же в структуре организации. Сама организация чаще всего ставит вопрос о необходимости своего расширения, укрепления, выделения дополнительных средств, а контролирующие ее органы и лица, заинтересованные в более удовлетворительном решении задачи, идут на частичное, а иногда и полное удовлетворение этих запросов. Структурно-организационное реагирование относится едва ли не к числу самых устойчивых способов управления.

У нас сложилось несколько основных критериев, по которым оценивается эффективность организации. Первый можно было бы назвать экономическим, по-

сколькo в подавляющем большинстве случаев исследуются организации народного хозяйства. Общепринято мнение, что существуют огромные возможности для широкого внедрения хозрасчета во всю сферу управления. Само по себе это имеет огромное прогрессивное значение. Создание производственных хозрасчетных объединений позволит лучше подчинить организационную структуру экономическим результатам.

Второй критерий — собственно структурный и функциональный. В практике сложилось несколько аксиом на этот счет. Требование «упростить структуру» пережило едва ли не все организационные перестройки на протяжении десятилетий. Точно так же, как «сократить лишние звенья». Считалось безусловно полезным при всех условиях, скажем, пятизвенную систему сделать четырехзвенной, четырехзвенную — трехзвенной и т. д.

Решения XXIV съезда партии направлены против этой и других догм, они выдвигают принцип перехода от двухзвенной структуры управления министерство — предприятие, к трехзвенной: министерство — производственное объединение — предприятие.

Наконец, имеется третий критерий, который, однако, значительно реже принимается в расчет. Это социально-психологический и социологический. Социально-психологический подход акцентирует внимание на изучении личности и ее поведения в организационной системе; социологический сосредоточивается на социальном процессе формальных и неформальных связей групп людей в этой системе. Укажем еще на изучение организации как элемента более сложной системы, например ее связи с культурным окружением, культурной средой, социальными институтами, правовыми нормами и т. п.

Что может дать применение системного подхода к изучению организации? Прежде всего синтез всех названных выше направлений. Изучение организационной системы как единого целого, ее целей и задач, ее эффективности, ее структуры, ее человеческого состава, ее функционирования и развития. Затем он позволит более всесторонне использовать любой из названных выше критериев.

Явно недостаточно у нас используется принцип измерения социальной эффективности организации. Объясняется это, вероятно, тем, что он хуже поддается количественному измерению. Применение системного анализа поможет преодолеть и эту трудность. Но уже сейчас можно значительно шире пользоваться этим критерием.

Скажем, для предупреждения массовых инфекционных заболеваний предусматриваются какие-то дополнительные меры — медицинские, экономические, социальные, социально-пропагандистские. Вкладываются определенные средства, используются ресурсы. Результативность этих мер легко измеряется статистическими сведениями о резком сокращении или исчезновении заболевания.

Статистика позволяет нам измерять эффективность борьбы с преступностью, алкоголизмом и другими нездоровыми социальными явлениями. Но во многих случаях социальная эффективность с трудом поддается измерению. Как измерить ущерб для здоровья человека, для его эстетического воспитания, радостного восприятия жизни, который наносится истреблением лесов, загрязнением воздуха, уменьшением рыбных богатств в реках, исчезновением животных? На каких весах взвесить соотношение явной экономической выгоды и неявного социального ущерба? В этих целях пока еще можно ограничиться качественными характеристиками.

В нашей стране и теория и практика серьезное внимание уделяли анализу структуры и функций организации. Правда, это в большей мере касалось соотношения функционального и территориального принципа управления, чем изучения целей организации и соответствия ее деятельности этим целям.

Загляните, скажем, в устав наших кооперативных органов — и вы легко заметите, что многие задачи, предусмотренные ими, в действительности игнорируются практикой. Например, использование кооперативных форм в сфере обслуживания. В некоторых республиках имеются прекрасные образцы такого рода. В Эстонии в 1970 году в системе потребительской кооперации насчитывалось около двух тысяч магазинов, сотни ресторанов, кафе, столовых, десятки крупных торговых

центров, мастерские по обслуживанию населения, которые во многих случаях успешно соревнуются с государственными учреждениями такого рода. Между тем в других республиках этот опыт используется мало или совершенно игнорируется.

На XXIV съезде КПСС было обращено внимание на то, что следует более широко вовлекать население, в частности пенсионеров, через кооперативные формы в сферу обслуживания. Такой подход, несомненно, может значительно укрепить кооперативные организации и привести к существенному улучшению деятельности сферы услуг, особенно в малых городах и поселках, где в этом нужда самая крайняя. Но ведь эти формы предусмотрены соответствующими уставными положениями и нормами. Имеются и другие возможности, которые сформулированы в уставных нормах, но пока редко осуществляются.

XXIV съезд КПСС еще раз подчеркнул, что необходимо совершенствовать централизованное руководство производством. Идея широкого применения производственных объединений, работающих на хозрасчетной основе, несомненно, представляет собой одно из наиболее плодотворных завоеваний экономической реформы. Очевидно, что ее осуществление на практике требует глубокой научной проработки — с точки зрения экономической и социальной. В поле зрения организаций, занятых этим делом, несомненно попадут такие проблемы, как четкое распределение функций между министерством, объединением, предприятием, четкое распределение объема финансовых и административных полномочий объединений, новые требования к их кадровому составу, использование электронно-вычислительной техники, новый стиль и методы руководства, отличные как от стиля и методов министерств, так и от того, который характерен для предприятий.

Думается, что создание промышленных объединений дает хорошую возможность для построения аппарата управления на подлинно научных началах и применения системного принципа планирования и руководства. Вероятно, было бы очень полезно, если бы кадры, направленные на работу в объединения, прослушивали специальный курс по применению современных методов управления и использованию электронно-вычислительной техники. Немалую помощь в этом деле мог бы оказать и социальный эксперимент — создание показательных объединений в разных сферах хозяйства и тщательное изучение их опыта.

Мне кажется, что в рамках объединений, так же как на уровнях министерств и ведомств, было бы целесообразно иметь специальные группы, занятые формулированием целей и выработкой социально-экономических программ. Работа такой группы могла бы строиться в тесном контакте с научными учреждениями, выступающими в роли экспертов и советников. Это создало бы реальную основу для осуществления идеи системного анализа и социально-экономического планирования.

Большой пласт не исследованных нашей наукой вопросов открывается и в связи с применением проблемного и программного принципа. Такой подход может внести существенные и важные коррективы в линейно-функциональный принцип организации.

Речь идет о более тесном согласовании и увязывании планов министерств и ведомств (а их у нас сейчас только на уровне Союза около 80). Думается, что многое могло бы измениться к лучшему, если бы, скажем, все транспортные ведомства лучше согласовывали планы деятельности, а в перспективе, возможно, даже работали бы над осуществлением единой программы развития. То же самое можно сказать и о топливно-энергетических отраслях, машиностроительных министерствах и многих других, которые в народном хозяйстве существуют как единый комплекс, а управляются в известной мере разобщенно. Та группировка, которая была дана по отраслям народного хозяйства в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду, представляет хорошую научную базу для разработки комплексного принципа организации и управления.

Группа сотрудников Института конкретных социальных исследований АН СССР в период обсуждения девятого пятилетнего плана выступила в газете «Известия» с важным, на мой взгляд, предложением — создать в системе Госплана СССР на всех уровнях отделы социального планирования. Насколько мне извест-

но, это предложение нашло положительный отклик. Если оно будет принято, понадобится решить не один сложный вопрос: о методах сбора социальной информации, о рамках социального планирования, его взаимосвязи с экономическим и техническим, о формах сотрудничества вновь созданных отделов с научными учреждениями — и многие другие.

Немало структурных проблем возникает и в отношении территориальных комплексов управления. Мы уже касались проблем социального планирования на уровне города. Но оно мыслимо, только если будет осуществляться в едином комплексе с планами социального развития министерств и ведомств, имеющих на этой же территории свои предприятия. Сейчас еще нередки случаи, когда крупные заводы союзного и республиканского подчинения, находящиеся в малых городах и районах, располагают значительно большими финансовыми возможностями для решения социальных задач, чем местные органы власти. Видимо, назрел вопрос о том, как распоряжаться этими средствами. Мне кажется, что их использование не может оставаться делом только самого предприятия, которое не в состоянии взвесить нужды всего города как единого целого. Поэтому должны быть найдены формы проблемного программирования и финансирования всех социальных изменений и соответственно — всех финансовых вложений на данной территории.

* * *

Можно было бы коснуться и многих других сторон, обсуждая такую многоплановую тему, как научно-техническая революция и управление. Из того, что опущено, наибольший интерес, на мой взгляд, представляет все, что связано с обучением и переподготовкой кадров аппарата управления. Но это особый и большой разговор, который требует специального рассмотрения.

Мне хочется надеяться, что, при всем разнообразии затронутых вопросов, я сумел проиллюстрировать мысль, с которой начал свои заметки, — между машиной и практикой лежит мощный слой науки управления и организации, многие важнейшие проблемы которой еще предстоит разрабатывать. Успешно решить эту многотрудную, но исключительно благодарную задачу можно лишь при самом тесном, уважительном и заинтересованном сотрудничестве всех ученых, публицистов и практических работников. Тогда мы сумеем эффективно воплотить в жизнь надежды и попутно рассеивать иллюзии, вызываемые вторжением научно-технической революции в сферу управления.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

*Дважды герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза*
Н. И. КРЫЛОВ

★

ОГНЕННЫЙ БАСТИОН*

6. «БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ СОВЕТСКИМ»

Некоторое время спустя, в начале 1942 года, политотдел Приморской армии, который по мере накопления представляющих интерес трофейных документов, дневников и писем гитлеровцев издавал небольшие сборники под общим заглавием «Враги сознаются», поместил в очередной такой книжечке секретный приказ-воззвание фон Манштейна, датированный 15 декабря 1941 года.

«Солдаты 11-й армии! — говорилось в нем. — Время выжидания прошло. Для того, чтобы обеспечить успех последнего большого наступления в этом году, было необходимо предпринять все нужные приготовления. Это основательно сделано. Я знаю, что могу положиться на мою пехоту, саперов и артиллеристов. Я также знаю, что все другие рода оружия, как и всегда, сделают все от них зависящее, чтобы проложить дорогу пехоте. Наша артиллерия стала сильней и лучше. Наша авиация опять на месте. Непоколебимая уверенность должна сопровождать нас в последнем сражении этого года. Севастополь падет!»

Тон приказа достаточно самонадеянный. Однако командующий 11-й немецкой армией имел основания считать, что к «последнему большому наступлению года» проведена солидная подготовка.

Как ни туго стало у германского вермахта с резервами, Манштейн в дополнение к трем армейским корпусам, с которыми он вторгся в Крым, получил от Гитлера добавочные войска. Вокруг Севастополя сосредоточились шесть пехотных дивизий, укомплектованных до полного штата. Седьмую, а также горнострелковые румынские бригады Манштейн имел в резерве. Развернутая против нас группировка насчитывала до 900 орудий, свыше 150 танков, ее поддерживали более 200 самолетов.

Не все из этих цифр мы знали тогда с такой точностью, с какой узнали потом. Но что у врага гораздо больше, чем у нас, пехоты, а артиллерии, по крайней мере, в три раза, что в танках и авиации у него абсолютное превосходство — это было ясно.

Только ведь цифры и их соотношение не всегда значат одно и то же. После того как Красная Армия отбросила ударные силы Гитлера сперва от Ростова, а затем от Москвы, потеснив фашистов также на ряде других участков фронта, сведения о численном перевесе противника, хотя их, разумеется, следовало трезво учитывать, уже не производили слишком большого впечатления. Изменение в нашу пользу общей обстановки на советско-германском фронте чувствовали в декабре сорок первого все — и генералы и бывалые солдаты. В том, что не так

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 4, 5 с. г.

страшен фашистский черт, как его малюют, убеждал защитников Севастополя и собственный ноябрьский опыт.

Что же касается приведенного приказа Манштейна, то, конечно, было бы нелишне заполучить его не неделю спустя, а до начала нового наступления, которое он возвещал. О том, что Манштейн назначил решительный штурм Севастополя на 17 декабря, мы накануне еще не знали.

Если обратиться к журналу боевых действий и оперативным сводкам за два-три предшествующих дня, в них можно найти свидетельства определенной активности противника. Отмечалось движение в глубине его порядков — перед фронтом и Первого сектора и Четвертого. Группы немецких автоматчиков, в отдельных случаях переодетых в красноармейскую форму — прием, знакомый еще по Одессе, — вновь и вновь пытались прощупывать стыки наших частей. Неприятельская артиллерия производила короткие огневые налеты по переднему краю, по позициям наших батарей (один из этих налетов нанес нам существенный урон — на береговой батарее капитана Матушенко, сыгравшей важную роль в отражении первого вражеского натиска, самой близкой к линии фронта на левом фланге обороны, были повреждены три из ее четырех восьмидюймовых орудий).

Все это безусловно свидетельствовало, что немцы готовятся наступать. И именно так нами расценивалось. Однако за три с половиной недели, прошедшие после того, как мы отбили первое наступление на Севастополь, противник не раз проявлял активность. Как я уже говорил, мы ждали новых атак 26 ноября (позже выяснилось, что Манштейн намечал наступление на 27—28 ноября, но отложил его), ждали и 8 декабря...

А вообще были настороже каждый день, в том числе и 16-го. Хотя, повторяю, сведениями о том, что штурм должен начаться следующим утром, армейская разведка не располагала.

Где-то в середине ночи, оставив у телефонов в каземате майора Ковтуна, я поднялся наверх — подышать, перед тем как лечь спать, свежим воздухом. Все вокруг окутывала холодная непроглядная тьма. Глаза с трудом различали крыши ближних домиков на уходящем вниз склоне, а остальной город и бухты тонули во мраке. Над головой — ни единой звездочки. Редкие вспышки орудийных выстрелов у линии фронта — и те доходили бледными, какими-то смазанными.

Шагая взад и вперед в темноте, я перебирал в памяти события истекших суток.

Прошлой ночью на Северной стороне похоронили артиллеристов с 10-й батареей Матушенко, погибших, когда на нее обрушился внезапный и очень точный огневой налет из района Качи. За 10-ю рассчиталась с врагом мощная 30-я, быстро подавив открывшую огонь немецкую батарею. А в момент похорон двенадцатидюймовые орудия 30-й дали еще три выстрела, и ее грозный салют явился — так задумали комендант Четвертого сектора и береговые артиллеристы — сигналом к удару, который группа наших батарей нанесла по разведанным и пристрелянным целям в глубине неприятельских позиций. На этот удар командарм разрешил израсходовать 500 снарядов.

К тому же часу в 90-м стрелковом полку дивизии Воробьева (им продолжает командовать майор Тимофей Денисович Белюга, удачно выдвинутый из хозяйственников в самую страдную пору одесских боев, когда у нас исчерпались все резервы строевого комсостава) приурочили очередную разведывательную вылазку. Участвовал целый взвод. Разведгруппа вернулась с трофеями вплоть до легких минометов, добыла и кое-какие документы, в частности схему расположения немецких огневых средств на этом участке фронта. На левом фланге оборонительного района против 90-го полка противник прежний — румынский мотополк, а правее — против 8-й бригады морпехоты — 22-я Нижне-Саксонская пехотная дивизия.

Больше как будто ничего особенного за сутки не произошло. Корабли, доставившие с Кавказа последний эшелон 388-й стрелковой дивизии, благополучно, незаметно для немцев ушли. А в самой дивизии выявляются по мере ознакомления

с нею разные нехватки и нужды, позаботиться о которых, казалось бы, проще было все-таки на Большой земле.

То, что дивизия прибыла без положенного автотранспорта, еще полбеды: концы у нас небольшие и подвоз текущего снабжения начальник армейского тыла как-нибудь обеспечит. Но вот во всех ее полках крайне мало шанцевого инструмента, и это уже гораздо хуже. Производство его в городе недавно наладили, да не в таких размерах, чтобы быстро наготовить на целое соединение. А ведь его чуть что — вводить в бой.

Один артдивизион новой дивизии уже выдвинут к переднему краю Четвертого сектора на усиление артиллерии, прикрывающей участок у высоты Азиз-Оба и возвышенности Кара-Тау — наиболее танкоопасный по характеру местности на северном направлении. Позиции для дивизиона выбрал начарт сектора полковник Пискунов. Отмечая их на своей карте, я обратил внимание, как он поставил новый дивизион — между двумя старыми, уже испытанными. Так необстрелянному подразделению легче принимать боевое крещение: бывалые товарищи и пример покажут и огнем подержат, пошефствуют над новичками.

Дмитрий Иванович Пискунов, всегда невозмутимо-спокойный и неторопливый, на первый взгляд даже флегматичный, вообще все делает очень продуманно и предусмотрительно, ничего существенного не упустит. Под Одессой, управляя артиллерией Западного сектора, он без особых на то указаний следил и за флангом Восточного, был готов в любой момент помочь соседу огнем через Хаджибейский лиман. И вот уж кто умеет по-хозяйски использовать каждую поступившую в его распоряжение пушку!

Начальнику штаба не положено фантазировать, да и обстановка для этого неподходящая. Но как хотелось бы иметь возможность дать полковнику Пискунову не один добавочный дивизион трехдюймовок, а еще два-три артполка!.. Как нужны они на восемнадцатикилометровом фронте Четвертого сектора!

Сейчас там 72 орудия, по четыре на километр. Это вместе с зенитной батареей, превращенной в полевую, вместе с дотами, расставленными не везде удачно, а их уже никуда не передвинешь. Словом, негусто.

Привычные тревоги и заботы ненадолго оттесняет приятное воспоминание о том, как несколько часов назад вручались правительственные награды приморцам, отличившимся в ноябрьских боях. Первое в нашей армии награждение с начала войны (представления, посланные из Одессы кружными путями в Москву, как видно, еще не успели рассмотреть) и потому особенно радостное.

Запомнились сияющие лица бойцов-девушек — среди первых орденосцев армии и они. Знаменитая пулеметчица из Чапаевской дивизии Нина Онилова, теперь уже старший сержант, получила орден Красного Знамени. А вместе с конниками Ф. Ф. Кудюрова, отечески подталкиваемая вперед усатыми буденновцами, подошла к командарму, вручившему ей Красную Звезду, худенькая, угловатая, хотя и рослая девчушка — красноармеец Галина Маркова.

Марковой шестнадцать лет. Она сирота, росла в симферопольском детдоме. Решила идти на фронт, набрела на кавалерийский полк и уговорила взять ее медсестрой. А в горячем бою на Балаклавских высотах, где спешившиеся конники отбивали атаку за атакой, заменила убитого пулеметчика — к удивлению всех, она когда-то успела освоить его оружие. Находившийся на переднем крае комдив Кудюров увидел это и, ободряя, крикнул медсестре: «Давай, дочка, давай!» Так появилась в 40-й кавдивизии своя Анка-пулеметчица...

(Двадцать пять лет спустя в Севастополе, отмечавшем четвертьвековой юбилей обороны, в перерыве торжественного заседания в Матросском клубе ко мне подошла стройная женщина.

— Не узнаете, товарищ маршал? — спросила она и представилась: — Галина Маркова, гвардии старшина запаса.

Она прошла в боевом строю всю войну, участвовала в нескольких десантах, стала снайпером и разведчицей, шесть раз ранена... А после победы поселилась навсегда в Севастополе — там, где в шестнадцать лет сделалась солдатом.)

...Как только спустился вниз, в каземат, улыбающийся майор Ковтун общил:

— Освобожден город Калинин. А еще Елец. Это передали сейчас из нашей редакции — они приняли по радио для завтрашнего номера.

От таких новостей сразу расхотелось спать. Решил немедля заняться тем, что назначил себе на утро, — первоначальной наметкой плана нашего наступления в направлении Бахчисарай — Симферополь, предназначенного, как думалось, для отвлечения внимания и сил противника от Керченского полуострова. Там — такая мысль напрашивалась сама собой — предстояла высадка десанта, переправа через пролив.

Правда, что-то не очень верилось, что приказание готовить наступление с нашего плацдарма в глубь Крыма, отданное пока предварительно, без указания сроков, будет подтверждено.

На наш подземный КП не мог донестись гром орудий, который в седьмом часу утра 17 декабря поднял на ноги всех на большей части фронта Севастопольской обороны. Но телефоны, соединяющие нас с командными пунктами секторов, заговорили чуть ли не все разом.

— Обстреливается участок разинского полка и морского полка Гусарова, — доложил из Третьего сектора начштаба Чапаевской дивизии подполковник П. Г. Неустроев.

В Четвертом секторе под огнем артиллерии и тяжелых минометов был весь фронт 8-й бригады морской пехоты полковника В. Л. Вильшанского и 241-го стрелкового полка. Об интенсивном обстреле — пока отдельных участков обороны — докладывали из южных секторов.

Предположение, высказанное кем-то после первого доклада, что немцы задумали крупную разведку боем, тотчас же отпало. Противник вел артподготовку к наступлению, причем одновременно на нескольких направлениях, практически по всему обводу оборонительного района.

В 7.40 фашистская пехота пошла в атаку. Перед фронтом Четвертого и Третьего секторов, а также в Чернореченской долине во Втором — словом, везде, где позволяла местность, появились и танки.

Еще до этого открыла огонь наша артиллерия. Вслед за полевой, сразу вступившей в бой на участках поддерживаемых стрелковых частей, начарт Рыжи ввел в действие береговые батареи и полк Богданова.

В войска немедленно выехали находившиеся на КП направленные. Командарм, не отходя от телефонов, продолжал сам выяснять обстановку. Иван Ефимович держался спокойно, не повышал голоса даже тогда, когда не мог добиться от кого-нибудь вразумительного ответа. Нельзя было, однако, не замечать, как тяжело ему сейчас сидеть в каземате, ничего не видя собственными глазами, как рвется он всем своим существом на поле боя.

Но бой шел и на севере (у горы Азиз-Оба и в долине Бельбека) и на востоке (у хутора Мекензия и под Чоргунем), шел вновь и на балаклавской высоте 212,1. Где наносится главный удар, где главная опасность, понять было пока трудно.

И во всяком случае, до того, как это определится, командарм никуда отлучиться с КП не мог. В том числе и к контр-адмиралу Жукову, временно оставшемуся старшим начальником в СОР.

По мере поступления новых данных, они переговаривались по прямому телефону. С Гавриилом Васильевичем Жуковым, человеком крутоватым, но прямым, у Петрова с Одессы сложились простые и ясные, товарищеские отношения, между ними всегда существовало большое взаимопонимание.

А Жукову везло на острую обстановку. Стоило ему остаться «старшим на рейде», как говорят моряки, и гитлеровцы опять пошли на штурм... Конечно, теперь положение принципиально иное. Создан крепкий фронт обороны, на севастопольских рубежах — Приморская армия. Но и противник накопил силы, несравнимые с теми, какими надеялся обойтись тогда. От имени командарма я вызвал на КП командование нашего резерва — 40-й кавдивизии, 388-й стрелковой, местного

стрелкового полка... Что армейский резерв понадобится вводить в бой, и, очевидно, скоро, уже не подлежало сомнению.

Замысел Манштейна, в тот момент нам неизвестный, сводился в общих чертах к следующему.

Основная атакующая группировка — три-четыре пехотных дивизии 54-го армейского корпуса, усиленные большей частью стянутой к Севастополю тяжелой артиллерии и танками, — должна, нанося главный удар с северо-востока, на участке от горы Азиз-Оба до высоты Кая-Баш, то есть по правому флангу нашего Четвертого сектора и левому Третьего, прорвать фронт обороны вдоль возвышенности Кара-Тау и долины Бельбека. А затем выйти через станцию Мекензиевы Горы к Северной бухте.

Одновременно двумя дивизиями 30-го армейского корпуса наносился вспомогательный удар с юго-востока — вдоль Ялтинского шоссе. Отвлекаящие атаки планировались и на других участках, в том числе на приморских флангах.

Таким образом, ставилась задача расчленить наш фронт, с тем чтобы разгромить силы обороны по частям: сперва отрезанные на Северной стороне войска Четвертого сектора, за ними — обойденные с флангов войска Третьего... Наиважнейшим считалось достичь Северной бухты, парализовать питающую оборону порт.

Не слишком полагаясь на общий численный перевес своей армии, Манштейн был озабочен тем, как помешать нам создать крепкий заслон на участке, который окажется решающим. «Необходимо было, — писал он впоследствии, — напасть на противника по возможности с нескольких направлений, чтобы не допустить концентрации его сил на одном...»

И 17 декабря, не располагая, к сожалению, достаточными разведанными, мы немало ломали голову над тем, какое из направлений вражеских атак считать главным. Вырисовывалось это постепенно.

К середине дня Первый сектор уже особенно не тревожил. Там противник вклинился метров на двести в нашу оборону в районе высоты 212,1, но пограничники Рубцова контратаками отбрасывали его назад. Комендант сектора генерал-майор Новиков заверил, что сегодня же восстановит положение полностью (и вечерняя сводка уже отразила это как совершившийся факт).

Во Втором секторе, усиленном 7-й бригадой морской пехоты полковника Е. И. Жидилова, выдвинутой из резерва на передний край, тоже были настроены уверенно. После очень сильной артподготовки немцам удалось овладеть здесь лишь двумя незначительными высотками. Недавний начопер штарма, а теперь начштаба дивизии и сектора Михаил Юльевич Лернер, оставшийся старшим на КП (полковник Ласкин находился на передовой), докладывал, что новые атаки — в районе горы Госфорта — успешно отражаются.

Я предупредил, чтобы происходящее у них не считали боями местного значения. По оценке обстановки на тот момент это направление — чоргуньско-чернореченское — определялось в штарме как «одно из двух главных».

На другом — бельбекском — положение сложилось гораздо серьезнее.

Здесь противнику удалось в первые же часы наступления сдвинуть наш фронт. В его руках оказались Азиз-Оба и Кая-Баш — две горы с отлогими, как у курганов, скатами, между которыми лежит большой участок Бельбекской долины. Первую обороняли батальоны бригады морской пехоты Вильшанского, вторую — 287-й стрелковый полк чапаевцев.

Упрека в нестойкости эти части не заслужили. На них пришлось самые сильные в тот день вражеские удары. Со своих передовых позиций они были выбиты после рукопашных схваток в траншеях, понеся тяжелые потери. Сказался многократный численный и огневой перевес атакующего противника.

Нашу пехоту самоотверженно поддерживали находившиеся в ее боевых порядках артиллеристы. Они били прямой наводкой по танкам, по цепям наступающих гитлеровцев. Били до последней возможности, нередко с огневых позиций, уже окруженных врагом. Расчеты орудий, вышедших из строя или подорванных, когда не оставалось иного выхода, присоединялись к стрелковым подразделениям.

Так окончила свое существование 227-я зенитная батарея, приданная бригаде Вильшанского в качестве противотанковой. Сражаясь до последней гранаты, истребляя наседающих фашистов врукопашную, пало у своих умолкших орудий несколько расчетов других батарей.

Несомненно, и немцы несли большие потери. Только чапаевцы подбили и сожгли на своем левом фланге свыше десятка танков, а части Четвертого сектора гораздо больше. Но ни поддержка богдановским арtpолком и береговыми батареями, в том числе двенадцатидюймовой 30-й, ни штурмовики с воздуха не помогли отбросить врага назад. Не считаясь с потерями, он вгрызался в нашу оборону.

Вынужденный отход батальонов бригады Вильшанского и 287-го полка поставил в тяжелое положение 241-й полк капитана Н. А. Дьякончука, оборонявшийся между ними в Бельбекской долине. Глубоко обойденный с флангов, он вместе с поддерживающим его артиллерийским дивизионом оказался в полуокружении. Однако свои позиции полк продолжал удерживать. Молодой командир донесил, что перешел к круговой обороне.

Самым тревожным в положении, как оно сложилось через несколько часов после начала наступления, был наметившийся разрыв между войсками Третьего и Четвертого секторов. Оба сектора нуждались в помощи из армейского резерва. Но прежде всего Четвертый, частям которого этот разрыв угрожал быть отрезанными от остальных сил обороны.

К тому времени, когда на КП прибыл полковник Ф. Ф. Кудюров, командарм уже принял решение усилить его кавалерийской дивизией участок бригады Вильшанского. Кроме того, коменданту Четвертого сектора передавался один стрелковый полк 388-й дивизии.

Напомню: 40-я кавдивизия была малочисленной (стрелковый полк, о котором я сейчас сказал, по числу бойцов превышал ее). Но в отличие от этого полка, необстрелянного, только что прибывшего с Кавказа, конники Кудюрова имели боевой опыт. Не впервой им сражаться и в пешем строю.

Мы надеялись тогда, что ввод в бой этих частей, их совместная с 8-й бригадой морской пехоты контратака — она намечалась на следующее утро, — позволит восстановить положение в районе горы Азиз-Оба и вызволить из вражеского охвата полк Дьякончука.

Остальные два полка 388-й дивизии, а также местный стрелковый направлялись в Третий сектор. Эти резервы предназначались прежде всего для прикрытия района Камышловского оврага — большой, со многими ответвлениями лоцины, куда был нацелен один из неприятельских клинъев.

С наступлением темноты, в шестом часу вечера, атаки противника повсюду прекратились. Продолжался только обстрел наших позиций. Над всем обводом севастопольских рубежей непрерывно взлетали осветительные ракеты — по-видимому, немцы ждали ночью наших контратак.

Но предпринять их в сколько-нибудь крупных масштабах мы пока не могли. Из вводимого в действие резерва только полки Кудюрова еще засветло вышли на исходные рубежи. Части, которые провели день в боях, нуждались хотя бы в небольшой передышке для приведения себя в порядок. Да и в обстановке оставалось немало неясного, требовали уточнения данные о противнике, о наших потерях.

Чувствуя, что в донесениях из секторов не все точно, штаб армии потребовал от штадивов выслать в части своих представителей и на месте выяснить положение, проверить связь с батальонами, доставку боеприпасов и эвакуацию раненых, удостовериться, что люди накормлены. Весь фронт обороны предстояло подготовить к отражению новых атак, а на тех участках, где немцы нас потеснили, ставилась задача восстановить завтра прежние позиции.

Около полуночи командарм вернулся с флагманского КП от контр-адмирала Жукова. Исполняющий обязанности командующего СОР донес в Ставку, что противник начал решительное наступление на Севастополь, и испрашивал подкрепление в четыре тысячи человек, а также по четыре маршевых роты ежедневно

для восполнения потерь. У командующего флотом Жуков просил крейсер для огневой поддержки войск (в Севастополе не было в это время ни одного корабля, кроме тральщикова и катеров).

В ту же ночь были отданы распоряжения о формировании резервных батальонов и рот за счет тылов военно-морской базы и вспомогательных подразделений береговой обороны, а внутри Приморской армии — из состава химслужбы и выздоравливающих раненых. Срок назначался к утру 19-го.

Выяснилось также, сколько еще людей может дать армии город.

Последующие трое суток слились в памяти воедино. Подыматься наверх мне почти не приходилось, обычный распорядок жизни на КП, с которым успели связаться представления о дне и ночи, больше не соблюдался.

О том, что снова настает вечер, напоминал главным образом узел связи: когда темнело, бои стихали, и голоса в телефонных трубках начинали звучать спокойнее, а на бумажных лентах, стекающих с аппаратов полевого телеграфа, лаконичные, часто напряженно-тревожные донесения дневных часов сменялись более длинными и обстоятельными.

А приметами утра сделались доклады о возобновляющихся вражеских атаках.

Обстановка становилась все более сложной. Выполнить то, что намечалось на 18 декабря — восстановить и стабилизировать линию фронта в Четвертом и Третьем секторах, — нам не удалось.

Готовившаяся крупная контратака не дала ожидаемых результатов. Морские пехотинцы Вильшанского и спешенные кавалеристы Кудюрова начали ее напористо, но и немцы пошли в атаку — подтянув резервы, они спешили развить успех, достигнутый накануне. Завязался упорный встречный бой, в котором противник имел большой численный перевес.

И все же на центральном участке Четвертого сектора врага на некоторое время остановили, а местами немного оттеснили назад. Однако правее, где в контратаку должен был включиться полк из 388-й дивизии — 773-й стрелковый, — положение ухудшилось. Полк этот замешкался с выходом на назначенный рубеж и, не успев еще развернуться, попал под артиллерийский огневой налет. Атакованный затем пехотой и танками, он начал отходить...

Продвижение противника удалось задержать переброской на этот участок последних резервов соседних частей и их тыловых подразделений. Но немцы успели завершить окружение полка капитана Дьякончука, державшегося на прежних позициях.

Неутешительные итоги дал второй день боев и в Третьем секторе. Вражеский клин на его левом фланге углублялся, и это заставляло оттягивать с передового рубежа другие части — возникла угроза обхода их с тыла. Бои шли уже у Камышловского оврага, в шести километрах от Северной бухты.

У Ласкина, во Втором секторе, разгорелась борьба за гору Госфорта — высоту с Итальянским кладбищем, господствующую над Чернореченской долиной. Склоны ее переходили из рук в руки.

На неровной, пересеченной местности, которая преобладает к востоку и северо-востоку от Севастополя, где заросшие мелким лесом горушки чередуются с идущими во всех направлениях лощинами и оврагами, трудно обеспечить, чтобы фронт, особенно если он пришел в движение, был абсолютно сплошным. А противник, не ослабляя лобового натиска, только и искал щелей для новых вклиниваний в нашу оборону.

Порою возникали весьма неприятные неожиданности. Командир бригады морской пехоты полковник Вильшанский, отправившись в тыл, чтобы собрать часть подразделений 773-го стрелкового полка, внезапно обнаружил, что вернуться на свой командный пункт не может: тот отрезан скрытно продвинувшимися по возвышенности Кара-Тау гитлеровцами. Выбить их оттуда не удалось, и комбригу, оказавшемуся на некоторое время без связи, пришлось развертывать КП на новом месте. Оставшиеся на прежнем командном пункте командиры и бойцы во главе с началь-

ником штаба майором В. П. Сахаровым организовали оборону на промежуточном рубеже и стойко отражали атаки врага, а ночью, оказавшись в окружении, вынуждены были пробираться к своим. Им удалось вынести раненых, которые были на командном пункте.

За два дня боев части, обороняющиеся на направлении главного удара, сильно поредели. Вильшанский докладывал, что в его бригаде находится в строю не более половины бойцов. Когда полк Дьякончука, получив приказ оставить занимаемые позиции, вышел из окружения, людей в нем едва набралось на две нормальные роты...

Общие наши потери убитыми и ранеными за 17 и 18 декабря составили около 3500 человек. Донося об этом в Генеральный штаб наркомом Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецову контр-адмирал Жуков просил ускорить отправку пополнений.

А пока надо было думать, как продержаться наличными силами. Пришлось сделать вывод, что задача, ставившаяся войскам до сих пор — вернуть все позиции, которые занимались до 17-го, — стала нереальной.

Тяжело вздохнув, Иван Ефимович Петров сказал:

— Продолжать контратаки ради восстановления прежнего положения сейчас не можем, не имеем права. Контратаковать будем только в случаях прорыва обороны, и резервы надо беречь для этого. Главное — закрепиться на нынешних рубежах.

В таком духе и был отдан в ночь на 19 декабря боевой приказ № 0012.

Как бывало в Одессе, мы с начальником отдела укомплектования майором Семячкиным распределяли между секторами и соединениями небольшие резервы, набранные в тылах.

Я сообщил генералу Воробьеву, что к нему посылаются 300 краснофлотцев, вывобожденных на береговых батареях, специально для пополнения бригады Вильшанского и, кроме того, батальон саперов в качестве стрелкового. Генерал Коломиец получал две стрелковые и пулеметную роты, сформированные из бойцов ПВО.

Во Второй сектор, в бригаду Жидилова, ведущую бои за гору Госфорта, отправлялся на машинах последний батальон, который мог сколотить уже много давший сухопутному фронту черноморский флотский экипаж, с начальником строевой части капитаном Кагарлицким в качестве комбата. Еще один батальон для усиления этого направления мы снимали с рубежей Первого сектора — единственного, где крупных боев не происходило.

Недостаточность этих подкреплений была очевидна. Тем более что приходилось ограничить поддержку войск артиллерией. В справке о наличии боеприпасов значилось: в полку Богданова осталось 318 снарядов, в 69-м артполку Чапаевской дивизии — 600... Машины артснабженцев дежурили у штолен спецкомбината, ожидая заранее распределенные по частям мины, которые — не более тысячи штук — он мог изготовить в течение дня. А до прихода «Чапаева» (вице-адмирал Октябрьский радиовывозил с Кавказа, что на этот транспорт погружено в Новороссийске 15 тысяч снарядов и 27 тысяч мин) оставались еще целые сутки.

Где-то в глубине сознания шевелилась надежда, что натиск врага начнет ослабевать. Взятые накануне пленные — и из 24-й пехотной дивизии немцев и из 50-й — твердили о больших потерях в их частях, о вводе в бой последних резервов.

Просматривая сводку их показаний, составленную разведотдельцами, я на минуту вспомнил допрос пленного немца несколько недель назад — кажется, самого первого, захваченного под Севастополем. Наглый гитлеровец двадцати лет от роду, но уже с «железным крестом», побывавший в Голландии и Франции, повторял: «Германия победит всех». И хвастался, что, если останется жив, еще получит в России землю...

Прошел какой-то месяц, а пленные немцы запели уже иную песенку. Конечно, гонору им поубавила не только стойкость защитников Севастополя, а прежде

всего изменение общего положения на Восточном фронте. Но чтобы иссяк наступательный порыв дивизий, брошенных Манштейном на штурм города, двух дней боев все-таки было мало.

На третий день артподготовка велась противником сильнее, чем накануне. При этом центр тяжести ее переместился на новые участки — в частности, на район Аранчи — на левом фланге бригады Вильшанского. Туда же затем враг направил при возобновлении атак на всем фронте Четвертого сектора сосредоточенный удар пехотой и танками.

Наша оборона на этом участке, к сожалению, оказалась не самой устойчивой. Подразделения 8-й бригады морской пехоты, ослабленные двухдневными боями, натиска превосходящих сил противника не выдержали. Немцы захватили Аранчи, и, несмотря на то, что полк майора Белюги, оборонявшийся еще левее, у моря, предпринял героические усилия, чтобы удержать стык с соседом, задержать вклинивание врага в нашу оборону удалось лишь ненадолго.

Образовался разрыв также между 8-й бригадой и кавдивизией Кудюрова. На всем левом крыле севастопольского обвода создалось опасное положение, чреватое тяжелыми последствиями.

Огонь нашей артиллерии, штурмовки «Илов» и «ястребков» (многие летчики севастопольской авиагруппы совершили в этот день по семь-восемь боевых вылетов) помогали сдерживать противника. Однако выправить положение уже нельзя было без дополнительного ввода в бой на этом направлении достаточно крупной высокобоеспособной части.

В армейском резерве ее не было. Снятие же сколько-нибудь значительных сил с другого участка обороны, пусть в данный момент и не столь напряженного, командарм исключал: враг, быть может, только и ждал этого, чтобы обрушиться на ослабленный участок, так как имел сейчас возможность атаковать нас с любого направления.

Оставалось, следовательно, одно: отвести часть войск Четвертого сектора в полосу между Аранчи и взорванным Камышловским мостом на запасные позиции. Во второй половине дня генералу Воробьеву передали по телеграфу подписанный скрепя сердце приказ, разрешавший произвести такой отвод в темное время под прикрытием артиллерии. Это касалось бригады Вильшанского, кавполков и группы дотов и дзотов, которые предстояло взорвать, а их личный состав включить в бригаду морской пехоты.

Мы жертвовали узкой полоской, где не было ничего, кроме лесистых холмов и оврагов. На громадных пространствах главных фронтов такое выравнивание линии обороны даже не считалось бы отходом. Однако на нашем «пяточке» шла в счет каждая пядь земли. Крайний левый — приморский — участок обороны приобретал теперь менее выгодную конфигурацию вытянутого выступа.

Либо мы, получив подкрепления, вернем прежние позиции в центральной части Четвертого сектора, либо... Но о том, что, может быть, придется отдать и этот выступ, не хотелось пока думать.

Там — все еще за рекой Кача, в 15—17 километрах от центра города (нигде больше таких расстояний до фронта уже не существовало) — оборонялся полк майора Белюги, которому в этот день в журнале боевых действий армии отвели всего одну, но красноречивую строку: «90-й сп удерживает прежний рубеж, дважды отбив атаки противника».

Немолодой майор, не так давно ведавший в другом полку материально-техническим обеспечением, грубоватый, бесхитростный и очень решительный, оставался на своем отдаленном участке фронта хозяином положения. На его долю, правда, до сих пор приходилось не самые яростные из вражеских атак, но все же довольно сильные. Уже в первые часы штурма тут было подбито восемь немецких танков, а полтора десятка других вынуждены были повернуть назад вместе с остатками пехоты, которую они поддерживали. В таком духе закончилось и несколько повторных попыток румын вклиниться здесь в нашу оборону и оттеснить полк с его позиций.

Тимофей Денисович Белюга, обычно руководивший боем с переднего края, был опять ранен — в третий или четвертый раз за то время, как командовал полком. Но, как и в те разы, не тяжело и остался в строю. Общие потери полка относительно невелики.

Словом, этот полк являлся в тот момент едва ли не самым благополучным, если, конечно, не брать Первый сектор. Отвод соседей на новый рубеж несколько ухудшал позиции Белюги. Зато обеспечивалось восстановление стыков, устранялась непосредственная опасность прорывов фронта.

Кроме северного направления, немцы продвинулись 19 декабря также на юго-востоке. К исходу дня в их руках находились Нижний Чоргунь и высота с Итальянским кладбищем за исключением западного, обращенного в нашу сторону склона, где продолжался бой.

Еще до передачи вечерней сводки из штаба Второго сектора сообщили: разрывом немецкого снаряда у КП 7-й бригады морской пехоты убит ее начштаба майор А. К. Кернер, а комбриг Жидилов серьезно ранен. В командование бригадой вступил комиссар Н. Е. Ехлаков.

Час спустя стало известно, что Жидилову сделана операция и жизнь его вне опасности. Медики обещали вернуть его в строй через три-четыре недели.

— Значит, и не нужно никого туда назначать, — сказал, услышав об этом, командарм. — Ехлаков справится. А начальника штаба пусть выдвигают из своих.

Генерал Петров, разбиравшийся в людях быстро, поверил в Ехлакова с первой с ним встречи.

Потребуется сейчас новый комбриг, подобрать достойного было бы нелегко... С трудом найдя замену командирам, павшим на севере Крыма, мы вновь понесли ощутимые потери в комсоставе уже за первые дни декабрьского штурма. Убиты командир кавполка Н. А. Обыденский, начальник оперативной части штаба 8-й бригады морской пехоты Т. Н. Текучев, прекрасные командиры артиллерийских дивизионов Н. С. Артюх и Г. И. Наумов, герои одесских боев (оба пали, управляя огнем по наступающим танкам, недосказав последней боевой команды). А скольких недосчитывалась армия комбатов, командиров рот, взводов!..

Мы только что узнали о гибели Кернера и ранении Жидилова, когда оперативному дежурному сообщили с верхнего этажа, что там «в обмороке или умер» начальник штаба артиллерии Васильев. Его обнаружили упавшим ничком на стол со схемой огня, с зажатой в руке телефонной трубкой.

Вызванный наверх врач успокоил:

— Просто потеря сознания от перенапряжения нервной системы. Ему надо обеспечить несколько часов сна.

Оказалось, майор Васильев, к которому сходились все нити централизованного управления Севастопольской артиллерией, не отдыхал ни часу с тех пор, как начался штурм, — почти трое суток. Военком штаба Готов взялся выяснять, нет ли на КП таких еще. Действительно, нельзя было допускать, чтобы люди вот так сваливались с ног: штурм Севастополя продолжался.

Основной итог трех дней напряженных боев заключался, конечно, в том, что врагу, как ни велики были введенные им в действие ударные силы, прорвать фронт обороны не удалось. Однако наши войска, встретившие противника на передовом рубеже, уже на очень многих участках отошли ко второму, главному. Севастопольский плацдарм сократился, передний край приблизился к бухтам и городу.

Но больше всего тревожило положение с резервами и снарядами.

Приехав от контр-адмирала Жукова, Иван Ефимович Петров, когда мы остались вдвоем, сказал с горечью, что вице-адмирал Октябрьский, находящийся на Кавказе, кажется, не представляет всей серьезности сложившейся у нас обстановки.

Жуков показал Петрову телеграмму Октябрьского, где говорилось, что корабли отряда поддержки (старые крейсера и эсминцы, которые в принципе должны были постоянно находиться в Севастополе) сейчас прислать сюда нельзя, так как это «грозило бы срывом самой ответственной задачи».

Задача, несомненно, имелась в виду та, из-за которой командующий Черноморским флотом и СОР отбыл на Большую землю. О том, что именно там готовится, мы официально информированы еще не были, хотя по разным признакам чувствовалось: предстоит операция, имеющая целью или одной из целей радикально помочь Севастополю.

Но как бы ни обстояло с этим, неотложно требовалась помощь обычная, прямая — подкреплениями, снарядами, огнем кораблей.

В ночь на 20 декабря контр-адмирал Жуков и член Военного совета флота дивизионный комиссар Кулаков послали телеграмму Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину. В ней излагалось положение под Севастополем после трех дней наступления немцев, говорилось, что у нас нет снарядов наиболее нужных калибров, а остальной боезапас на исходе, что израсходованы резервы и придется вводить в бой на фронте личный состав находящихся в базе кораблей, береговых и зенитных батарей, аэродромной службы.

Содержалась в телеграмме и такая фраза: «Если противник будет продолжать наступление в том же темпе, гарнизон Севастополя сможет продержаться не более трех суток».

Познакомиться с текстом этого документа мне довелось много времени спустя. Прочитав последнюю фразу, я подумал, что подписаться под нею, наверное, не смог бы. Не потому, что не разделял общей оценки положения, дававшейся в телеграмме. Оно бесспорно было тяжелым, грозным. Но вопрос, сколько еще суток мы сумеем продержаться, у меня просто не возникал.

Вопреки всем трудностям и потерям, вопреки тому, о чем говорила лежавшая передо мною рабочая карта, сама мысль, что Севастополь можно не удерживать, тогда, после нашей победы под Москвой, как-то вообще не приходила в голову.

На крутом склоне у Исторического бульвара, увенчанного зданием Панорамы первой обороны, появилась надпись, выложенная трехметровыми буквами из плит инкерманского камня: «Севастополь был, есть и будет советским!»

Кажется, идею выложить лозунг, который читался бы «из города, с фронта и с неба», подал секретарь Крымского обкома партии Федор Дмитриевич Меньшиков (после захвата гитлеровцами Симферополя и остального Крыма обком с аппаратом, сокращенным до нескольких человек, находился в Севастополе, здесь же выходила вместо городской областная газета). И громадные светлые буквы действительно различались и с Корабельной стороны и с Северной. А с неба лозунг выглядел, наверное, особенно броско. Фашистские летчики даже специально его бомбили. Но за ночь поврежденные буквы восстанавливались: говорили, что за ними следят по поручению городского комитета обороны какие-то старики из артели мраморщиков.

Лозунг, видимый тысячам севастопольцев — и горожан и бойцов, — выражал, вероятно, общее настроение, общую уверенность, что новый натиск врага будет отбит, как и первый в ноябре. И настроение это претворялось в славные дела.

...12 дзотов, составлявших пулеметную роту лейтенанта М. Н. Садовникова, растянулись редкой двойной цепочкой по склону долины Бельбека и в сторону от нее — по балке Темной. Главное оружие каждого дзота — «максим» на поворотном столике, обеспечивающем ведение огня через любую из трех амбразур. Боевой расчет — семь молодых краснофлотцев из учебного отряда флота. Все в роте комсомольцы.

Когда начался декабрьский штурм, эти дзоты находились еще на запасном рубеже — пехота располагалась впереди. Но именно тут противник вклинился в нашу оборону, дзоты первой линии быстро оказались на переднем крае, а затем и в окружении. Приказа отходить пулроте не давалось — вражеский клин надея-

лись ликвидировать. И дзоты сражались как маленькие осажденные крепости. Они могли выдержать попадание трехдюймового снаряда, боеприпасов имели порядочно: по 20 и больше тысяч патронов, по 200—300 гранат, много бутылок с горючей смесью.

Дзот № 11 вступил в бой под командой старшины 2-й статьи Сергея Раенко. В дзот перенесли потом еще два пулемета, «гарнизон» огневой точки увеличился до десяти бойцов. С этой горсткой севастопольцев гитлеровцы не могли справиться около трех суток. На дзот ходила в атаку не одна фашистская рота, на него пикировали самолеты... Убит первый командир, убит и тот, кто его заменил... Но пулеметы вновь и вновь открывали огонь, из амбразур опять летели в приближавшихся врагов гранаты.

Когда несколько дней спустя это место отбили у противника, вокруг разбитого дзота еще лежали десятки необрушенных трупов немецких солдат. А в противогазной сумке краснофлотца Алексея Калюжного, который, вероятно, дольше всех из героического расчета оставался в живых и вел бой, наша предсмертная записка — волнующее свидетельство силы духа защитников Севастополя:

«Родина моя! Земля русская! Я, сын Ленинского комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне мое сердце. Я умираю, но знаю, что мы победим... Держитесь крепче, уничтожайте фашистских бешеных собак. Клятву воина я сдержал. Калюжный!»

Подробности длительного неравного боя этого дзота выяснились после того, как обнаружился уцелевший боец из его расчета — он получил приказание прорваться с донесением на командный пункт, по пути был тяжело ранен и подобран людьми из другой части, а в своей долго считался погибшим.

Камышловский дзот № 11 вошел в историю. Надо, однако, сказать, что такую же стойкость проявили комсомольские расчеты и остальных огневых точек этой пулеметной роты. В дзоте № 12 старшины 2-й статьи Ивана Пампухи погибли все до единого, но он почти четыре дня служил опорой стрелковым подразделениям, не дававшим немцам продвигаться на этом участке Бельбекской долины. Дзот, стоявший над Симферопольским шоссе, действовал и тогда, когда у двух последних его бойцов, тяжело раненных, не было сил метнуть гранату: слыша, как подползают гитлеровцы, эти краснофлотцы просто выталкивали гранаты из амбразур, взрывая врагов у самых стен дзота.

В батальоне огневых точек, прикрывавших стык Третьего и Четвертого секторов, куда противник направил в декабре главный удар, бойцы называли себя жигачевцами — в знак любви и уважения к своему комбату И. Ф. Жигачеву. Уважали этого командира и во взаимодействующих с его дзотами армейских подразделениях. Старший лейтенант по званию, но уже немолодой, в прошлом кузнец Судостроительного завода, этот сильный, мужественный человек как бы олицетворял собою надежность и прочность маленьких бастионов, которыми командовал. И людей своих он подготовил к боевым испытаниям достойно.

Рассказать обо всем героическом, ознаменовавшем первые дни отражения декабрьского штурма, я не в состоянии: даже простое перечисление фактов, воплотивших в себе беззаветную отвагу, беспредельную самоотверженность наших бойцов и командиров, составило бы целую книгу.

Геройски дрались конники полковника Кудюрова, получившие трудный участок обороны на возвышенности Кара-Тау. Сейчас требовалась пехота, других резервов не было, и кавалеристы показали, что, раз надо, они могут быть стойкой пехотой.

Ни танками, ни бешеным минометным огнем, ни бомбежками с воздуха врагу не удавалось выбить из окопов спешенные эскадроны. Они отходили на новый рубеж только по приказу, когда это, как было 19 декабря, становилось необходимым по общей обстановке. Особую стойкость вновь, как и в ноябре под Балаклавой, проявлял 149-й кавполк Леонида Георгиевича Калужского. Через штаб сектора к нам доходили его краткие, уверенные донесения: «Все в порядке, держусь прочно». А в строю полка было уже меньше двухсот бойцов...

Нет, пока на севастопольских рубежах стояли такие части, врагу нас было не слюмить!

Несокрушимой опорой войскам, отражающим атаки врага, служил сам Севастополь.

Очень верно написал потом Борис Алексеевич Борисов: «Второй штурм город встретил как старый, закаленный в бою солдат».

18 декабря, когда не оставалось уже сомнений в том, что противник ведет решительное наступление, рассчитанное на захват города, комитет обороны собрал партийный актив — руководителей районов, директоров предприятий, секретарей парторганизаций. С сообщением, ориентирующим в обстановке, выступил от имени командования оборонительного района генерал П. А. Моргунов.

Во что бы то ни стало увеличить производство оружия и боеприпасов, обеспечить срочный ремонт поврежденной боевой техники, выделить максимум рабочих рук на строительство дополнительных укреплений — вот о чем шла на актуальную речь.

Не могу ручаться, что в решениях именно этого совещания было записано: «Все население считать мобилизованным». Может быть, и не совсем такая была формулировка. Но суть принятых решений сводилась к этому. Севастопольская партийная организация, городской комитет обороны мобилизовали на непосредственную помощь фронту всех, кто был способен что-то для него сделать.

Лучшие ремонтные бригады из лучших оружейников стали выезжать на огневые позиции батарей, чтобы прямо там, на поле боя, устранять повреждения орудий и минометов. Все предприятия и цеха, выпускающие военную продукцию, перешли на непрерывную работу. Людей не хватало, тем более что сотни севастопольцев, еще вчера стоявших у станков, влились в войска. Но те, кто был оставлен на производстве, не покидали своих трудовых постов и после двенадцатичасовой смены. Основная часть рабочих переводилась на казарменное положение в убежищах.

В 1.30 ночи 20 декабря в Северной бухте ошвартовался «Чапаев», доставивший из Новороссийска боеприпасы. Он пришел на несколько часов раньше, чем было обещано, и это позволяло подать снаряды на огневые позиции еще до рассвета.

Правда, пополнить боезапас смогли не все батареи. Снарядов для 107-миллиметровых пушек и для гаубиц на этом транспорте не оказалось. Мины прибыли только 50-миллиметровые. Но мы радовались и тому, что привезено, — с этим можно было увереннее начинать новый боевой день.

А незадолго до того, как на фронте должны были возобновиться вражеские атаки, ко мне вошел начальник разведотдела Потапов. Несколько смущенный — таким он обычно бывал, когда считал, что докладывает что-то существенное позже, чем следовало бы, — Василий Степанович положил на стол лист бумаги.

— Показания одного пленного, — пояснил он. — Полагаю, что сроки, которые тут называются, заслуживают внимания...

Пленный из 47-го немецкого пехотного полка заявил на допросе, что, как ему известно, наступающие на Севастополь войска имеют задачу овладеть городом в течение четырех суток, то есть 21 декабря.

«Ну и что?» — хотелось мне сказать в первое мгновение. Ведь в том, что Манштейн рассчитывал завершить нынешнее наступление в короткие сроки, сомневаться и так не приходилось. Однако Потапов, конечно, прав — показания этого пленного заслуживали внимания. Они, если пленный не наврал, как-никак, открывали действующую плановую таблицу противника, точнее ее последнюю графу. А такими сведениями не пренебрегают. Особенно когда речь идет о завтрашнем дне.

Показания пленного доложили командарму.

— Что ж, чего-то в этом роде и следовало ожидать, — сказал Иван Ефимович. — Но, значит, это задумано не только как рождественский подарок Германии. Хотят отметить Севастополем полгода войны с нами...

Помолчав, генерал Петров добавил:

— Из своего графика они уже основательно выбились. Но сегодня еще могут попытаться в него войти. Во всяком случае, коменданты секторов должны об этом сроке знать.

К фронтовым событиям этого дня мне еще придется вернуться. Но он памятен не только тем, что происходило на переднем крае обороны.

Несколькими страницами раньше я говорил о телеграмме, посланной в ночь с 19 на 20 декабря контр-адмиралом Жуковым и дивизионным комиссаром Кулаковым от имени Военного совета Черноморского флота Верховному Главнокомандующему.

О содержании телеграммы я знал тогда со слов Ивана Ефимовича Петрова лишь в общих чертах. Тем более мне не подумалось, что на нее уже мог последовать какой-то ответ, когда днем 20-го после короткого телефонного разговора с Жуковым командарм сообщил, что едет с членом Военного Совета армии М. Г. Кузнецовым на командный пункт СОР.

Вернулись они довольно скоро, оба радостно-возбужденные, хотя на фронте за это время, как мне было точно известно, ничего утешительного не произошло. Скорее наоборот, особенно в Третьем секторе...

— Есть важные новости,— улыбнулся Иван Ефимович, проходя к себе.— Зовите Рыжи и Ковтуна, расскажу всем вам сразу.

Новости оказались действительно поважнее тех местных, о которых я пригласился доложить командарму. Контр-адмирал Жуков, оказывается, вызывал Петрова и Кузнецова, чтобы познакомить с только что принятой директивой Ставки, целиком относившейся к Севастополю.

Ставка приказала командующему Закавказским фронтом (это был не первый пункт, но в тот момент самый для нас главный, и генерал Петров с него начал) немедленно отправить в Севастополь стрелковую дивизию или две стрелковые бригады, а также не менее трех тысяч человек маршевого пополнения и снаряды необходимых калибров, помочь нам авиацией. Вице-адмиралу Октябрьскому предписывалось вернуться с Кавказа в Севастополь. Севастопольский оборонительный район подчинялся во всех отношениях Закавказскому фронту.

Почти каждая фраза директивы содержала слово «немедленно». И требования Ставки начали выполняться на Кавказе (вероятно, там получили директиву немного раньше, чем ее передали в Севастополь) с поразившей нас тогда быстротой.

Еще до конца дня мы узнали, что в Приморскую армию передаются из состава 44-й армии Закавказского фронта 345-я стрелковая дивизия, 79-я стрелковая бригада, отдельный танковый батальон... И что сверх того мы должны в течение трех дней получить десять маршевых рот.

А вечером стало известно: из Новороссийска уже вышел в Севастополь отряд боевых кораблей — два крейсера и эсминцы — под флагом командующего флотом. На борту кораблей, как радовал вице-адмирал Октябрьский контр-адмиралу Жукову, находилась хорошо вооруженная стрелковая бригада.

В фильме, посвященном обороне Севастополя, о котором я уже упоминал, есть сцена, где показано, как, услышав эту новость, мы на командном пункте кричим «ура». Пусть на самом деле было немножко не так: факт выхода с Кавказа группы кораблей представлял такую тайну, что тем, кому следовало ее знать, это даже наедине сообщалось шепотом. Но к автору фильма Л. Н. Саакову у меня тут претензий нет, ибо по смыслу своему эта сцена очень правдива — крикнуть «ура» действительно хотелось. И наверное, не мне одному.

7. НАША ВЗЯЛА!

В какой-то мере повторялось пережитое три месяца назад в Одессе. Тогда тоже, и из того же Новороссийска, посылались по указанию Ставки Верховного Главнокомандования срочная помощь нашей армии — дивизия полковника Томи-

лова. И тоже, пока эта помощь шла, развитие событий приобретало такой характер, что имел значение каждый час.

Но теперь казалось, что в сентябре под Одессой было все-таки легче. Да и не только казалось: наступавший противник был не так силен, не так упорен и в тот момент еще нигде не находился ближе десяти — двенадцати километров от города.

А под Севастополем 20 декабря потребовалось спешно создавать заслон на запасном рубеже вблизи Восточного Инкерманского маяка, еще никогда до того не упоминавшегося в оперативных сводках, — менее чем в четырех километрах от Северной бухты. К Мартыновскому оврагу выдвигались в качестве противотанковых снятые со своих позиций зенитные батареи со строжайшим запретом открывать огонь по самолетам, дабы преждевременно себя не обнаружить.

После моего доклада об обстановке на 14 часов командарм приказал передать коменданту Третьего сектора генералу Коломийцу наш единственный танковый батальон и стрелковый батальон береговой обороны — последний армейский резерв. Они предназначались вместе с небольшими резервами сектора для контратак, необходимых, чтобы пресечь вклинивание врага в глубину обороны.

Задача проложить путь к Северной бухте с востока (в то время как другие соединения пробивались туда же с севера) возлагалась немецким командованием на 24-ю пехотную дивизию. Вскоре мы располагали текстом приказа, полученного ее командиром из штаба 54-го корпуса: «...К исходу четвертого дня боев, используя все возможности, прорваться к крепости Севастополь и немедленно доложить о достижении цели». Таким образом, показания пленного из 47-го полка подтвердились — Манштейн рассчитывал взять город не позже 21 декабря.

В полосе наступления этой дивизии оборонялись 54-й Разинский стрелковый полк майора Н. М. Матусевича и 3-й Черноморский полк морской пехоты подполковника С. Р. Гусарова. За первые три дня штурма они не дали противнику продвинуться ни на шаг. Фашистскую пехоту подпускали на полтора-два метра и встречали сосредоточенным, точным огнем, которого та не выдерживала. Гранатометчики, сидевшие в ячейках впереди траншей, имели приказ не расходовать гранат, пока немцы не подойдут на пятьдесят метров. И атака за атакой захлебывалась. Трупы своих солдат, сотнями лежавшие в ничейной полосе, гитлеровцы не пытались выносить даже ночью. Комендант сектора считал, что 24-я немецкая дивизия потеряла в эти дни не меньше трети своего состава.

И все же два стойко державшихся полка разомкнулись. Нажав на этом участке, прикрывая группы автоматчиков танками, противник врезался между ними. Из нескольких клиньев, которые гитлеровцам удалось образовать в тот день, этот был наиболее опасен.

Прорвавшиеся подразделения могли повернуть на командный пункт Чапаевской дивизии (где он находится, немцы почти наверняка знали), однако не сделали этого. Рискуя оказаться в мешке, они упорно рвались дальше, в сторону Северной бухты. Очевидно, им было приказано продвигаться туда любой ценой — срок, данный командиру 24-й дивизии, истекал...

Генерал Коломиец принимал энергичные меры для восстановления стыков. Разинцы, чтобы соединиться с полком Гусарова, пошли в штыковую атаку. Но ликвидировать разрыв между двумя полками, достигший нескольких сот метров, а может быть и километра, стало не так-то просто.

Для ликвидации мелких групп гитлеровцев, просочившихся на левом фланге, мы перебросили дополнительно в Третий сектор роту автоматчиков из 773-го полка, действовавшего в Четвертом секторе. (Позже в тот же день командарм решил для удобства боевого управления подчинить генералу Воробьеву и два остальных полка 388-й дивизии, которые занимали оборону вдоль Камышловского оврага). Тем самым с Коломийца ответственность за этот участок сейчас снималась, а фронт Четвертого сектора на время расширялся вправо.

Там, в Четвертом, тоже продолжались ожесточенные бои, и самые тяжелые опять на участке кавдивизии Ф. Ф. Кудюрова. Проводная связь с кавдивизией прервалась. Командарм передал в ее штаб по радио: «Сдерживать противника

сколько можно, использовать выгодные рубежи. Утром 21-го ожидайте поддержку. Пока помогу самолетами». По радио же передали благодарность Военного совета армии 149-му кавполку Л. Г. Калужского за особую стойкость и отдельно эскадрону младшего лейтенанта Ткаченко.

Полк этот по числу бойцов соответствовал теперь почти роте, эскадрон — в лучшем случае взводу, но прорвать здесь нашу оборону вражеские танки и пехота по-прежнему не могли. А комэск Ткаченко со своими бойцами сумел захватить при ночной вылазке немецкую противотанковую пушку со снарядами, и она, присоединенная к нашим, тоже была по наседающим гитлеровцам.

Остатки кавдивизии давно следовало бы отвести с переднего края, однако заменить их пока было нечем. Да и требовались эти несгибаемые ветераны сейчас именно на передовой. Ценил их как костяк, способный цементировать оборону, мы пошли на то, что временно присоединили к 154-му кавполку подполковника А. К. Макаренко, у которого своих людей оставалось всего несколько десятков, соседний 773-й стрелковый полк, лишившийся в бою командира.

В отличие от прошлых суток активность противника не прекращалась и с наступлением темноты. Из двух секторов сообщили, что немецкие солдаты идут в атаку без шинелей, в одних мундирчиках. Когда несколько замерзших немцев сдались в плен, они заявили, что шинели у них отобрали перед атакой. «Получите их в Севастополе», — сказали им. В Севастополе обещали гитлеровцам и сегодняшний обед... Командиры фашистских дивизий делали отчаянные попытки выполнить срывающийся план, уложиться в назначенные Манштейном, а может быть и кем-то выше, сроки.

К тому часу, когда мы обычно подводили итоги, этот боевой день еще не кончился и положение оставалось весьма напряженным. Единственное, что можно было сказать себе — наш фронт не прорван. Вклинения, которые произошли в Третьем секторе, прорыва обороны еще не означали.

Мелкие группы противника, оказавшиеся у нас в тылах, в основном ликвидированы. Однако та, что прорвалась между полками Матусевича и Гусарова — батальон или больше, — закрепилась на двух безымянных высотках и в примыкающих к ним лощинах Мекензиевых гор. И поскольку разрыв на переднем крае оставался до конца не перекрытым, она могла даже получить подкрепление.

Покончить с этими гитлеровцами, засевшими очень близко от бухты и города и несомненно имевшими задачу облегчить прорыв сюда всей 24-й дивизии, следовало побыстрее. Характер местности не позволял надеяться, что с ними справятся одни артиллеристы и летчики. Но о том, чтобы генерал Коломиец снял какие-либо подразделения у себя с фронта, не могло быть речи.

Словом, позарез требовался резервный ударный батальон — 500—600 смелых бойцов с грамотным и решительным командиром. Командарм переговорил с контр-адмиралом Жуковым, и Гавриил Васильевич обещал, что людей найдет: в большом хозяйстве возглавляемой им военно-морской базы, должно быть, еще оставались где-то известные ему резервы.

А дать командира в батальон должен штаб армии. Перебрав по памяти возможных кандидатов, мы остановились на майоре-пограничнике Шейкине как на самом надежном. Он формировал наш пограничный полк, а затем, передав его Рубцову, стал у него заместителем.

Я знал Касьяна Савельевича Шейкина и по Одессе. Там его батальон отличался не раз, а однажды перебрасывался на опасный участок фронта, где помог восстановить положение. Из какого-то разговора с Шейкиным запомнилось: на военной службе он, как и я, с девятьсот девятнадцатого года, в Красную Армию пришел с Путиловского завода...

Получив по телефону приказание явиться на КП армии, Шейкин тотчас же прибыл из-под Балаклавы и предстал передо мною в безупречно сидящей, перетянутой ремнями шинели с зелеными петлицами пограничника; на груди — автомат и бинокль, на боку — полевая сумка.

Я объявил майору приказ: вступить в командование батальоном моряков, который только что сформировал и перебрасывается на машинах в район кордо-

на Мекензи № 1, куда доставят сейчас и его. Сколько бойцов — выяснится на месте, командиры рот назначены с батареей береговой обороны, батальону приданы три танкетки.

Вошел командарм и объяснил Шейкину остальное.

— Представитель штаба сектора встретит вас у кордона Мекензи и уточнит задачу и обстановку, — закончил он. — Запомните одно: немцы, прорвавшиеся в наши тылы, должны быть уничтожены.

Вопросов майор не задавал: детали виднее вблизи, а главное и так ясно. Если бы спросить Шейкина (имей мы с ним время для разговора по душам), как он смотрит на неожиданное задание, он, наверное, сказал бы, что трудно вести в бой незнакомых людей.

На знакомство с подчиненными и подготовку их к бою у Шейкина оставались считанные часы.

Командарм и я крепко пожали майору руку, пожелали боевой удачи. Наверху его уже ждала машина.

Отряд кораблей вышел из Новороссийска с таким расчетом, чтобы быть в Севастополе ранним утром 21 декабря, еще до рассвета. Но его задержал сперва шторм, не дававший идти полным ходом, а затем густой зимний туман у берегов Крыма, крайне затруднявший выход на пролегающие среди минных полей севастопольские фарватеры — радиолокаторов флот в ту пору еще не имел.

Прошло утро. Настал день, а кораблей все нет. Чувствовалось, как у севастопольских моряков нарастает тревога за них, передававшаяся и нам. А мы еще не знали, что корабли, маневрирующие где-то в тумане и, очевидно, соблюдающие радиомолчание, не обнаружены высланным им навстречу тральщиком и летавшими далеко над морем самолетами.

А над городом — ни тумана, ни значительной облачности. В таких условиях, среди бела дня, к Севастополю давно уже не приближался ни один корабль. Обеспечение входа в бухты отряда в составе двух крейсеров, лидера и двух эсминцев превращалось в сложную операцию. Береговые батареи и тяжелые артиллерийские артполки получили приказ подавлять всей силой огня неприятельскую дальнобойную артиллерию, как только она начинала обстреливать фарватеры. В готовности прикрывать корабли находилась севастопольская авиагруппа.

Бои на суше становились тем временем все ожесточеннее, и не только на северном направлении. Во втором секторе гитлеровцы ввели в наступление на подкрепление своей 50-й дивизии свежую 170-ю. Переброску с Керченского полуострова наши разведчики установили давно, но в боях, во всяком случае в полном составе, она участвовала впервые.

Итак, Манштейн бросил на штурм Севастополя шестую по счету дивизию (не считая румынских частей) — последнюю, которую сейчас тут имел. Это подтверждало, что враг идет на все, чтобы выполнить свой план. Но свидетельствовало и о том, насколько потрепаны уже его части, перешедшие в наступление первыми.

О состоянии наших войск в боевом донесении, подготовленном в штабе утром 21-го, говорилось следующее: «...За четверо суток армия потеряла убитыми и ранеными свыше 5 тысяч человек. В стрелковых батальонах в среднем осталось по 200—300 бойцов. Всего по армии бойцов до 26 тысяч. Резервов нет, все введены в бой».

Однако главные события дня были еще впереди.

На правом фланге Четвертого сектора на участке, прикрытом, казалось, не хуже, чем соседние, не устояли под вражеским натиском даже полка дивизии Овсенко.

Продвинувшись здесь, противник овладел, в частности, двумя небольшими, однако очень важными высотками, запиравшими, пока они находились в наших руках, выход из Бельбекской долины. Заняв их, немцы получали возможность подтягивать силы к станции Мекензиевы Горы, создавая в то же время угрозу тылам Третьего сектора.

Серьезное ухудшение положения на этом участке не позволяло откладывать бой за возвращение утраченных позиций до того, как в строй армии вступит прибывающее с Большой земли подкрепление. Командарм надеялся, что, пока немцы не закрепились на захваченных высотах, их удастся выбить оттуда наличными силами, и потребовал немедленно организовать контратаку.

Вернуть прежний рубеж поручалось тем же двум полкам Овсеенко, усиленным саперным батальоном и еще некоторыми подразделениями. Но контратака успеха не имела. Отразив ее, немцы возобновили наступление, продолжая теснить части Овсеенко. Связь с ними прервалась, сведения, поступавшие через командный пункт сектора, отставали от развития событий. В конце концов мы оказались перед фактом, что комдив-388 и его штаб, не сумев привести части в порядок после неудачной контратаки, фактически потеряли управление ими.

Фронт обороны на этом участке оказался прорванным.

Напряженная обстановка привязывала меня к средствам штабной связи: то и дело поступали доклады, на которые требовалось немедленно реагировать, и я не смог подняться наверх, когда корабли с войсками входили, а точнее — прорывались в севастопольские бухты.

Корабли подошли к Севастополю около часа дня.

После того как не состоялась их встреча с тральщиком, который вывел бы отряд на нужный фарватер (туман над морем все еще не рассеялся), вице-адмирал Октябрьский принял решение приблизиться к берегу Крыма южнее Севастополя, ориентируясь по приметному, не закрытому туманом гористому мысу. А затем выйти вдоль побережья, занятого противником, но зато при хорошей видимости полным ходом на запасной фарватер.

Этот маневр оправдал себя. Вынырнув из тумана, корабли появились вблизи берега неожиданно, а Севастополь был уже близко, и организовать массированный удар с воздуха немцы не успели.

Первые группы бомбардировщиков настигли отряд, когда до порта оставалось несколько миль. И наши «ястребки» — все сколько их было — уже вступили в охранение кораблей.

На этих последних перед Севастополем милях кораблям угрожала и вражеская артиллерия. А уость стиснутого минными полями фарватера лишала моряков свободы маневра, не позволяла применять зигзаг, уменьшающий вероятность попаданий. Оставалось одно — выжимать из машин всю возможную скорость.

С бруствера над КП наши товарищи видели грозную картину: море, испещренное белопенными фонтанами от бомб и снарядов, схватки десятков самолетов над ним. И колонну кораблей, прорывающуюся на внутренний рейд, в бухты сквозь огонь, в грохоте боя... Маловероятным казалось, что корабли останутся невредимыми.

Однако, как вскоре стало известно, корабли, да и то не все, получили лишь незначительные повреждения палубных надстроек осколками. Потерь в людях ни на одном. Смелый прорыв удался вполне! И как ни много сделали для его успеха севастопольские летчики и артиллеристы, следовало отдать должное прежде всего мужеству и мастерству моряков, командиров крейсеров и эсминцев А. М. Гущина, А. И. Зубкова, П. А. Мельникова, П. А. Бобровникова, В. М. Митина.

В бухтах, которые тоже обстреливались, отряд стремительно рассредоточился. Крейсер «Красный Крым» вошел в Южную, остальные корабли повернули в Северную. «Красный Кавказ» — он имел на борту штаб бригады и наибольшее количество бойцов и техники — ошвартовался в Сухарной балке.

Это место высадки давало сейчас двойную выгоду. Во-первых, Сухарная балка благодаря конфигурации ее обрывистых склонов представляла собой мертвое пространство для неприятельской артиллерии, и те же крутые скалы, нависающие над причалом, затрудняли фашистским самолетам прицельную бомбежку. А во-вторых, обстоятельство в той обстановке немаловажное, войска выса-

живались в непосредственной близости к самому напряженному участку фронта, где ввод их в бой мог стать необходимым с часу на час.

В соседней Клеопальной балке разгружался лидер «Харьков». Высадка людей, выгрузка техники шла в высоком темпе. Представители штарма, встречающие подкрепление, рассказывали, как бойцы с полной выкладкой прямо ссыпались по корабельным трапам.

Так прибыла на защиту Севастополя 79-я морская стрелковая бригада, насчитывавшая около четырех тысяч бойцов. Третью часть их составляли моряки. Это одна из бригад, которые по решению Государственного Комитета Обороны, принятому в октябре 1941 года, формировались из личного состава Военно-Морского Флота (иногда полностью, а иногда, как и в данном случае, только с «прослойкой» моряков) для боевых действий на сухопутных фронтах.

И эта часть всегда оставалась в Приморской армии олицетворением боевого братства красноармейцев и краснофлотцев, сухопутных и флотских командиров. Командовал бригадой полковник Алексей Степанович Потапов, известный приморцам по Одессе.

Там он, еще в звании майора, возглавлял первый присланный из Севастополя отряд моряков-добровольцев, с которым однажды, в ходе жарких боев в Западном секторе, прорвался в неприятельские тылы и совершил по ним на свой страх и риск, не имея такого задания, дерзкий рейд, вызвав в стане врага немалый переполох. За такое партизанство он заслуживал строгого внушения, однако достоин был и награды за нанесенный противнику урон. И надо сказать, получил и то и другое.

В той вылазке ярко проявилась натура Потапова — командира не очень расчетливого, увлекающегося, но отчаянно смелого, лихого, способного с верой в успех идти напролом.

Старым знакомым оказался и военком бригады полковой комиссар Иван Андреевич Слесарев: в сентябре, когда под Одессой наносился контрудар, он был комиссаром морского полка, высадившегося у Григорьевки.

79-я бригада должна была в составе 44-й армии Закавказского фронта участвовать в Керченско-Феодосийской десантной операции и, кажется, предназначалась для первого броска в Феодосию, для захвата порта. Не имея права до последнего момента (который так и не наступил) объявить это подчиненным, Потапов и Слесарев тем не менее сумели подготовить бригаду как ударную часть, где весь личный состав считал, что будет выполнять какое-то особо ответственное задание. С этим внутренним зарядом потаповцы — так они себя называли — и прибыли в Севастополь. Командарм Петров сразу заметил и оценил высокий боевой настрой этой части.

Потапов, как и большинство окружавших его командиров, носил черную морскую форму. От Одессы у Алексея Степановича осталась памятка уже неизглядимая: плохо двигалась левая рука, раненная в той самой вылазке. Потапов как-то посуровел лицом и выглядел теперь лет на пять старше. Очевидно, наложили свой отпечаток и госпиталь, где он вряд ли пробыл положенный срок, и ответственность за доверенную крупную часть. Да и понимал, конечно, что раз бригаду отставили от операции, к которой она специально готовилась, и так спешно перебросили сюда — значит, жди задачу еще потруднее...

В некоторых работах об обороне Севастополя можно прочесть, будто бригада Потапова сразу после высадки чуть не прямо с причалов пошла в контратаку. Но чего не было, того не было. При всей серьезности положения, мы все же не бросали драгоценное подкрепление в бой без элементарно необходимой подготовки.

Верно, однако, что батальоны 79-й бригады немедленно начали выдвигаться к исходным позициям, с которых им предстояло совместно с другими частями контратаковать противника на следующее утро.

Под КП бригады отвели домик дорожного мастера в километре южнее кордона Мекензи № 1, по соседству с передовым армейским наблюдательным пунк-

том. Как-то сразу его начали называть «домиком Потапова» (и это не забылось даже много лет спустя, в чем я убедился, бывая в Севастополе после войны).

Как свидетельствует журнал боевых действий, в этом домике в 18.45 21 декабря командарм отдал полковнику Потапову первое боевое распоряжение: к 6.00 22-го сосредоточить бригаду в районе кордон Мекензи — станция Мекензиевы Горы и быть к 8.00 в готовности атаковать врага.

Зимний день короток. Светлого времени на рекогносцировку уже не оставалось. Но в каждую роту бригады дали проводников, хорошо знающих местность, — командиров подразделений из богдановского полка и других частей.

Прежде чем говорить о дальнейших событиях, доскажу то, к чему потом уже трудно было бы вернуться.

21 декабря достиг своей кульминации подвиг сражавшихся севернее Бельбекской долины спешенных конников, которых в оперативных документах все еще называли 40-й кавалерийской дивизией.

Конники стояли насмерть, и каждое из их подразделений, совершенно условно именовавшихся полками, за этот день вновь отбило по нескольку атак немецких танков и пехоты.

— Держимся и будем держаться, — передал около 16 часов командир 149-го кавполка.

Это его донесение оказалось последним: через несколько минут подполковник Л. Г. Калужский пал смертью героя при отражении танковой атаки.

Бой разгорелся вслед за тем у командного пункта дивизии. В 17 часов младший лейтенант Сапожников доложил оттуда по телефону в штаб сектора:

— Полковник Кудюров убит. Танки противника — у нашего КП. Больше говорить не могу, ликвидируйте мои позывные...

Подробности стали известны немного позже. Командир дивизии Филипп Федорович Кудюров, заменив убитого наводчика, сам встал к противотанковой пушке. Погиб он при прямом попадании танкового снаряда в это орудие.

Танки прорвались у командного пункта комдива и в стыке двух кавполков (в одном из них к этому часу насчитывалось 80 бойцов, а в другом лишь немногим больше). Но бойцы остались на своем рубеже, сумели огнем отсечь от танков наступавшую за ними пехоту, и атака в целом успеха не имела.

Положение на этом участке удалось восстановить, перебросив туда разведбат 95-й дивизии и саперный батальон. В командование остатками кавдивизии (вскоре отсюда отведенными) вступил начальник ее штаба И. С. Стройло.

Гибель Кудюрова, ветерана гражданской войны, тяжело пережил генерал Петров.

— Похороним Филиппа Федоровича на Малаховом кургане, — решил командарм.

Высшая посмертная почест, какую мы могли оказать героическому комдиву! Впоследствии, после войны, прах его перенесли на севастопольское кладбище коммунаров.

Храбрые конники дорого отдавали свои жизни. По самым скромным и неполным подсчетам, они уничтожили в декабрьских боях до полутора тысяч гитлеровцев. Но главное — своей стойкостью они помешали врагу расширить прорыв.

Стойкость на севастопольских рубежах была правилом, нормой. Именно потому гитлеровцы, хотя они вновь завладели такой важной позицией на главном оборонительном рубеже, как высота 192 у селения Камышлы, не смогли до исхода дня существенно развить свой успех. Выстоял, заняв еще раз круговую оборону, малочисленный полк Дьякончука, отбили все атаки на своих участках 8-я бригада морпехоты и полк Белюги, не дали немцам обойти свой фланг чапавцы.

...Докончу и о майоре Шейкине, которому в ночь на 21-е было приказано возглавить батальон моряков и уничтожить закрепившийся в тылах Третьего

сектора неприятельский отряд неизвестной точно численности — авангард 24-й немецкой дивизии.

Когда пишут или рассказывают про этот батальон, обязательно вспоминают курьезную деталь: часть краснофлотцев, доставленных на машинах в исходный район, имела при себе, кроме оружия и боевого снаряжения, скатанные валиком пробковые матрацы. Это, конечно, удивило и Шейкина и коменданта сектора генерала Коломийца. А моряки объяснили: матрацы, мол, казенное имущество, бросать которое не положено.

В подразделениях, где спешно набрали этих краснофлотцев, могли не знать, куда они посылаются, и хозяйственные старшины велели им взять «к новому месту службы» свернутые, как принято на флоте, матросские койки. Кто-то снабдил их даже «культуринвентарем» — гитарами, балалайками...

Большинство краснофлотцев до этой ночи друг друга не видели, но моряки знакомятся между собой быстро. Хуже было то, что они имели смутное представление о том, как воюет пехота. А бой предстоял с опытным противником и вдобавок в горно-лесистой местности, где много значит подготовленность самых мелких подразделений к самостоятельным действиям.

Комбат, комиссар батальона старший политрук Шмидт и начальник штаба старший лейтенант Алексеев (они тоже встретились впервые) разбили краснофлотцев, которых набралось до 500 человек, на три роты. И распределились сами — кому с какой ротой идти в бой.

Начарт сектора организовал артиллерийскую подготовку и обеспечил огневую поддержку по ходу атаки. Но очистить от немцев высотки и лощины, где они засели, мог лишь сам батальон, пройдя этот квадрат Мекензиевых гор насквозь.

Тяжелый бой! Приданные три танкетки оказались бесполезными: они застревали в чащобе и на пнях. Противник, очевидно поддерживавший со своим окруженным отрядом радиосвязь, пытался помочь ему сильным артиллерийским огнем, отряд же имел минометы.

Рота, которую вел начштаба батальона, погибла почти целиком, погиб и старший лейтенант Алексеев, артиллерист с береговой батареи. Не раз сам майор Шейкин возглавлял атаки, ложился к пулемету. Краснофлотцы били фашистов гранатами и штыком, пускали в дело только что захваченные немецкие автоматы.

Как заявил комендант сектора, результаты их действий превзошли все его ожидания. Отряд гитлеровцев, прокладывавший путь своей дивизии, был разгромлен. Там, где прошел наш сборный батальон, остались несколько сот убитых немецких солдат и офицеров, все их оружие. Десятка два уцелевших фашистов сдались в плен. Если кому и удалось уйти по заросшим кустарником балкам, то только единицам.

Словом, батальон выполнил свою задачу до конца, окончательно перекрыв разрыв, возникший между двумя полками Третьего сектора.

«Рубеж, которым овладел батальон Касьяна Шейкина в трудные декабрьские дни, — свидетельствует генерал Трофим Калинович Коломиец, — оставался в наших руках вплоть до последнего, июньского штурма города».

Батальон понес немалые потери. Точных сведений о них мы, правда, не получили. Сомкнув собою разобщенные врагом полки, моряки вливались и в тот и в другой.

Остался в Третьем секторе майор-пограничник Касьян Савельевич Шейкин. Ему суждено было стать чапаевцем, начальником штаба 54-го Разинского полка.

А героический бой батальона, существовавшего как отдельная часть меньше двух суток и не успевшего получить никакого номера или названия, вошел пусть короткой, но яркой страницей в летопись Севастопольской обороны.

К ночи на 22 декабря положение под Севастополем определялось прежде всего тем, что противник, преодолев Камышловский овраг, непосредственно угро-

жал станции Мекензиевы Горы — ключевой позиции на подступах к Северной бухте. Возрастала также опасность прорыва гитлеровцев к Инкерману.

Осложнилась обстановка и у Ялтинского шоссе, в долине речки Черной: введенная здесь в бой свежая немецкая дивизия ценою больших потерь захватила Верхний и Нижний Чоргунь.

Окажись враг на этих рубежах двумя сутками раньше, нам пришлось бы совсем плохо. По уточненным данным, потери защитников Севастополя с начала штурма составляли уже около шести тысяч только ранеными и не менее двух тысяч убитыми. Вышло из строя 22 полевых и 15 береговых орудий... Но срочные меры помощи, принимаемые во исполнение решения Ставки, давали уверенность, что ход событий может быть повернут в нашу пользу.

Вслед за кораблями, доставившими бригаду Потапова, прибыл из Поти лидер «Ташкент» со снарядами, на этот раз самых нужных калибров. В бухтах, еще прошлой ночью пустынных, сосредоточился отряд кораблей, артиллерия которых — около полуста дальнобойных орудий — могла поддержать утром действия наших войск. Крейсер «Красный Кавказ» вел огонь по позициям противника и ночью.

А в Туапсе уже грузилась на суда 345-я стрелковая дивизия. Транспорт «Жан Жорес» шел в Севастополь с батальоном танков.

Мы знали, что и войска и корабли, посылаемые к нам, отрываются от наступательной операции, готовящейся на востоке Крыма (с прибытием многих предполагавшихся ее участников о ней стало кое-что известно). И это еще раз подтверждало, какое значение придает удержанию Севастополя Верховное Главнокомандование.

...Во втором часу ночи закончилось планирование утренней большой контратаки. Документы напоминают, что тогда мы называли ее контрударом. В случае полного успеха он мог закончиться разгромом камышловской группировки противника — частей, вклинившихся в нашу оборону в районе Камышловского оврага. Но важнее всего было вернуть позиции на главном оборонительном рубеже, утраченные накануне.

Как основная ударная сила рассматривалась, конечно, бригада Потапова. Справа от нее предстояло наступать 287-му полку Чапаевской дивизии, слева — двум полкам 388-й. Подготовка последних уделяли особое внимание. Оперативные работники штарма и политотделы провели ночь в их подразделениях, старались ободрить людей.

Понеся значительные потери, дивизия Овсенко все-таки насчитывала не менее штыков, чем свежая 79-я бригада. Как же не принимать ее в расчет? К тому же двум ее полкам не ставилась больше задача отбить прежние позиции одними своими силами.

Однако на участке этих двух полков контратака фактически не началась. Немцы возобновили здесь наступление раньше, причем комдив Овсенко не сумел предотвратить охват своего фланга. Атакуемые одновременно и во фронт, оба его полка не удержались и на исходном рубеже. В общем, повторилось вчерашнее: отход с противником на плечах...

Наступил момент, когда положение фронта за Северной бухтой в еще большей степени зависело теперь от бригады Потапова. Только ее удар по флангу камышловской группировки мог остановить новый прорыв врага, гораздо более опасный, чем вчерашний. Если бы потаповцы не заткнули образовавшуюся брешь, последствия могли оказаться непоправимыми.

К счастью, первые впечатления о 79-й бригаде вполне оправдались. Во встречном бою, с которого ей пришлось начинать, она пересилила, подавила своим напором натиск противника. И, развивая успех, расширяя в ходе боя фронт контратаки, двумя эшелонами двинулась вперед — вдоль шоссе на Бельбек.

Не отставал и наступавший правее полк чапаевцев. Контратаку поддерживали артиллерийские части двух секторов, богдановцы, крейсера и эсминцы из бухты (только корабли выпустили в этот день около ста тонн снарядов).

К вечеру потаповцы достигли западных склонов Камышловского оврага,

выбив немцев с высоты 192 и соседних возвышенностей. Вышел из окружения полк капитана Дьякончука, который вторично за время декабрьских боев попал в него, оставшись на своем рубеже, когда отходила 388-я дивизия.

— Иметь бы вместо той дивизии еще одну такую бригаду!— вырвалось у кого-то на КП.

Что и говорить! Сплоченная, уверенно управляемая, 79-я бригада в первый же день участия в боях показала себя отлично.

Ее успех снимал угрозу с района Инкермана. Но перекрыть весь опасный участок потаповцы все-таки не могли.

Командарм, встревоженный телеграфным разговором с генералом Воробьевым (комендант Четвертого сектора не мог доложить точного положения частей 388-й дивизии, еще не выяснив этого сам), спешно выехал на Северную сторону. Петров взял с собой состоящего в его распоряжении комбрига С. Ф. Монахова — бывшего командира 421-й дивизии и начальника одесского гарнизона.

Новая опасность заключалась в том, что противник продвинулся к стоящей у моря Любимовке, угрожая отсечь наши войска, обороняющиеся за Бельбеком. По данным, которыми штаб располагал в тот момент, немцы находились от Любимовки километрах в четырех—четыре с половиной.

Какое решение примет командарм, уточнив обстановку на месте? Думая об этом над картой, я приходил к выводу, что северным приморским выступом Севастопольского плацдарма, очевидно, придется пожертвовать: удержать его в создавшихся условиях не хватит сил.

И потому не удивился, когда приехавший через несколько часов Петров объявил:

— Воробьеву даны предварительные указания об отводе левофланговых частей к Бельбеку сегодня ночью. Если этого не сделать, они будут окружены. А сокращение фронта, надеюсь, поможет его стабилизировать.

Монахов с Петровым не вернулся — командарм приказал ему вступить в командование 388-й дивизией. После того, что произошло в этот день, оставлять ее под началом прежнего командира было нельзя.

Командование СОР согласилось с решением отвести войска на левом фланге, и во второй половине ночи оно было осуществлено. Это касалось в первую очередь полка майора Белюги, продолжавшего удерживать прежний передний край аж за Качей, морской бригады полковника Вильшанского (теперь на нее возлагалось прикрытие подступов к станции Мекензиевы Горы). Отвод означал ликвидацию 10-й береговой батареи капитана Матушенко, но на ней к этому моменту действовало лишь одно орудие.

Таким образом, с 23 декабря наш левый фланг опирался на третий, тыловой оборонительный рубеж и из самого отдаленного от города участка фронта делался одним из самых близких. Правда, не к центру, а к Северной стороне, за которой еще лежала широкая бухта. Любимовка становилась прифронтовой. Воробьев получил разрешение перенести свой командный пункт из совхоза имени Перовской ближе к бухте, в казематы Северного укрепления, оставшегося от первой обороны. Передний край приближался к 30-й батарее, что очень тревожило Моргунова и Кабалюка.

На сократившемся фронте Четвертого сектора уплотнили боевые порядки. Появилась даже возможность создать кое-какой резерв. Части и подразделения, наиболее измотанные в последних боях, мы рассчитывали постепенно выводить на переформирование.

А прежде всего выводились из района боев подразделения 388-й дивизии. Впоследствии, и притом в обстановке более трудной, 388-я стрелковая, как я уже говорил, сражалась достойно. Добавлю, что и тогда, в декабре, не все ее полки были одинаковы. Но о соединении судят по тому, на что способно оно в целом. Дивизия, прибытию которой мы сперва так радовались, заслуживала в то время именно той оценки, какую дал ей в телеграмме Военному совету Закавказского фронта командующий СОР, — «оказалась нестойкой». От этого факта никуда не уйти.

23 декабря, на седьмой день с начала штурма и через двое суток по истечении срока, который немцы назначили себе для взятия Севастополя, наступило нечто вроде передышки. Атаки немцев на разных участках от Чоргуня до устья Бельбека продолжались, но совсем не такие, как все эти дни, — редко где силами больше батальона.

Их успешно отражали и во Втором секторе и в Четвертом — к утру закончили отвод наших войск из приморского выступа и ликвидировали в процессе сокращения фронта все образовавшиеся в нем бреши. А на левом фланге Третьего, в состав которого вошла теперь бригада Потапова, вновь контратаковали мы.

Не могу не сказать, что 79-ю бригаду исключительно активно поддерживал правый сосед — 287-й стрелковый полк чапаевцев. В этот день его командир подполковник Н. В. Захаров по собственной инициативе, не упустив благоприятный момент, нанес противнику, связанному боем с потаповцами, крепкий удар во фланг, что в конечном счете и обеспечило бригаде и подку возможность продвигаться вперед, сбить врага с выгодных позиций. Имей сектор сильный резерв, этот успех можно было бы развить...

Пауза в штурме Севастополя, конечно, означала перегруппировку неприятельских войск для нового натиска. Атаками фашистских батальонов на отдельных участках несомненно прикрывалось выдвижение к фронту вторых эшелонов, подтягивание свежих сил.

Из песни слова не выкинешь...

24 декабря 1941 года приказом по Приморской армии в командование ею вступил генерал-лейтенант Степан Иванович Черняк, а генерал-майор И. Е. Петров впредь до получения другого назначения являлся его заместителем.

Два дня спустя, 26 декабря, последовал приказ о вступлении в командование войсками армии генерала Петрова и о переводе генерала Черняка на новое место службы.

Эти перемещения, естественно, нуждаются в пояснениях.

Незнакомый генерал, прибывший в Севастополь без всякого предупреждения на каком-то попутном корабле, появился у нас на КП на исходе ночи. На фронте все еще не происходило крупных событий, поэтому Петров и я спали. Бодрствовал майор Ковтун. Ему первому прибывший и назвался новым командующим Приморской армией.

Огорошенный Ковтун разбудил Ивана Ефимовича и меня. Мы застали генерала за просмотром оперсводок. На кителе его блестела Золотая Звезда Героя. Мы поздоровались, и генерал предъявил Петрову предписание, подписанное командующим Закавказским фронтом.

Все это как снег на голову.

Держался Черняк корректно, по отношению к Петрову да и ко всем нам уважительно. Петров, проявив огромную выдержку, ничем не выдавал своих переживаний. Не раз потом доводилось мне видеть военачальников, внезапно узнававших о своем смещении, но мало кто был в состоянии встретить это так, как тогда Иван Ефимович.

Над развернутой картой начался деловой разговор о состоянии фронта. Затем новый и старый командующие отправились вместе в войска.

Выдержка генерала Петрова послужила всем на КП примером. Вздуроченные новостью работники штаба занялись своими делами. Но общее недоумение, понятно, не рассеивалось. Приходившие к нам товарищи не скрывали чувства горечи. Люди, близко соприкасавшиеся с Иваном Ефимовичем Петровым, глубоко уважали и любили его.

О генерале Черняке знали мало. Кто-то из служивших у нас участников войны с белофиннами рассказал, что он командовал дивизией, отличившейся при прорыве «линии Маннергейма», за что и удостоен звания Героя Советского Союза.

В первые часы генерал-лейтенант Черняк вел себя скорее как представитель вышестоящего штаба, знакомящийся с положением дел в армии: всем интересо-

вался, но ни во что не вмешивался. Казалось, что существенных изменений в наши оперативные планы на ближайшее время он вносить не станет.

Да и какие особые изменения могли пока быть? Задача состояла в том, чтобы удержать город, отбить вражеский штурм (что он вот-вот возобновится, так как у немцев сохранилось еще немало сил, сомневаться не приходилось) и постараться затем выйти на прежние рубежи. А дальнейшее, очевидно, зависело от того, как сложится в Крыму обстановка в результате операции, отсроченной ради немедленной помощи Севастополю.

Однако намерения нового командующего оказались не менее неожиданными, чем само его прибытие. Официально вступив в должность, он объявил, что принимает решение перейти частью сил армии в наступление на северном направлении. Участвовать в нем должны прибывающая 345-я дивизия, бригада Потапова, пополненные бригады Вильшанского и полк Дьякончука. Наступление назначалось на утро 27-го, точный час — по особому указанию...

Трудно допустить, чтобы подобное решение возникло в результате ознакомления нового командарма с тогдашней севастопольской обстановкой. Да и не мог еще он успеть в должной мере с ней познакомиться. Очевидно, такую задачу поставили перед ним в далеком Тбилиси, где находился штаб Закавказского фронта.

Приказ есть приказ, но план этого наступления мы с Ковтуном разрабатывали с тяжелым сердцем. Главная опасность виделась в том, что в условиях, когда противник не исчерпал своих возможностей продолжать штурм и сохраняет численный перевес, мы без крайней необходимости введем в бой единственное резервное соединение. Прорывись где-то враг — и серьезной силы, чтобы его остановить, у нас уже не останется.

В ночь на 26 декабря оперативные документы на наступление, включая плановую таблицу, были готовы. К этому времени немцы возобновили атаки на фронте Четвертого сектора в направлении станции Мекензины Горы и овладели высотами в одном километре севернее нее. Назревали и другие осложнения обстановки.

Конечно, командующий Севастопольским оборонительным районом мог вмешаться в чрезмерно рискованные действия своего нового заместителя по сухопутным войскам. Но вице-адмирал Октябрьский и Военный совет Черноморского флота стремились решить вопрос более радикально.

Вот такая телеграмма ушла из Севастополя в 13 часов 24 декабря, через несколько часов после прибытия к нам генерала Черняка:

«Экстренно. Москва. Тов. Сталину.

По неизвестным для нас причинам и без нашего мнения командующий Закавказьем лично совершенно не зная командующего Приморской армией генерал-майора Петрова И. Е., снял его с должности. Генерал Петров, толковый, преданный командир, ни в чем не повинен, чтобы его снимать. Военный совет флота, работая с генералом Петровым под Одессой и сейчас под Севастополем, убедился в его высоких боевых качествах и просит Вас, тов. Сталин, присвоить звание Петрову И. Е. генерал-лейтенанта, чего он безусловно заслуживает, и оставить его в должности командующего Приморской армией. Ждем Ваших решений. Октябрьский, Кулаков».

Решение Ставки Верховного Главнокомандования последовало через сутки с небольшим. Генерал-лейтенантом Иван Ефимович Петров тогда не стал, но нашим командармом остался. С. И. Черняка назначили на не существовавшую до тех пор должность помощника командующего СОР по сухопутной обороне, а вскоре отозвали из Севастополя. после чего и должность эту ликвидировали.

Я сознательно привожу полный текст телеграммы, которую мог бы пересказать короче. Добавлю, что оригинал ее, хранящийся в архиве, написан рукой Ф. С. Октябрьского. Упомяну об этом, дабы отдать должное покойному Филиппу Сергеевичу. Отношения у него с И. Е. Петровым были сложными, срабатывались они нелегко. Но этот документ — свидетельство того, как ценили Петрова и Октябрьский и Кулаков.

Генерал Петров, человек **самобытный** и **талантливый**, **беспорно** принад-

лежит к выдающимся полководцам Великой Отечественной войны. Год спустя после описываемых событий он командовал Северо-Кавказским фронтом. У Петрова бывали, в том числе и в севастопольский период, свои ошибки, просчеты — у кого из военачальников их нет... А одной из сильных его сторон являлась теснейшая связь с войсками, умение чувствовать их настроение и влиять на него. В этом смысле Петров превосходно сочетал в себе командира и комиссара. В начале гражданской войны он, кстати, и был комиссаром кавалерийской бригады.

В самые трудные дни Севастопольской обороны Иван Ефимович возвращался из частей воодушевленным. Стойкость бойцов, мужество командиров, возглавляющих роты, батальоны, полки, заряжали его новой энергией. И должно быть, часто помогали как бы иными глазами взглянуть на оперативную карту, когда обстановка на ней сама по себе выглядела малоутешительно. Фронт для него — не линия на карте, а прежде всего сплоченная масса живых людей, и в командаре, которого под Севастополем редкий солдат не знал в лицо, как бы концентрировалась их воля, твердость духа, общая решимость одолеть врага.

Известие о том, что нашим командующим остается генерал Петров, встретили на командных пунктах соединений как большую радость. О штабе армии нечего и говорить. Все стало на свое место так быстро, что в некоторых подразделениях просто не успели узнать о двойной смене командармов.

Приказ на готовившееся наступление отменили. Нереальность ставившихся в нем задач сделалась к тому времени очевидной.

Противник возобновил штурм. Майор Потапов доложил, что по полученным разведотделом сведениям Манштейн назначил новый срок взятия Севастополя — 28 декабря.

На востоке Крыма уже началась — высадкой первых отрядов со стороны Азовского моря — Керченско-Феодосийская десантная операция. Но о том, что там происходит, мы еще почти ничего не знали, и под Севастополем это пока никак не сказывалось.

Должно быть, Манштейн и его старшие начальники считали себя на нашем участке фронта настолько близкими к цели, что надеялись успеть перебросить подкрепления на Керченский полуостров после взятия Севастополя. (Даже 30 декабря, когда наши десантники высадились в самой Феодосии, начальник генштаба германских сухопутных войск Гальдер, констатировав в своем известном теперь дневнике «затруднительность» положения, создавшегося для немцев в Крыму, далее писал: «Несмотря на это, группа армий решила продолжать наступление на Севастополь».)

С 28 декабря — к этому дню противник завершил перегруппировку, предназначенную обеспечить ему окончательный успех, — за Северной бухтой на нескольких километрах фронта действовали четыре немецкие дивизии.

Еще более возросший численный и огневой перевес врага давал себя знать. Усиливая натиск на станцию Мекензиевы Горы и кордон Мекензи, он одновременно атаковал наш приморский фланг и вклинился там, продвигаясь к Любимовке и совхозу имени Софьи Перовской.

Возникла непосредственная угроза 30-й береговой батарее.

Какую роль играла она с первых дней Севастопольской обороны, я говорил. Недаром немцы столько раз пытались вывести ее из строя — то тысячекilограммовыми бомбами, то обстрелом самой тяжелой своей артиллерией. Однако и для того и для другого 30-я оказалась малоуязвимой. Громады поднимавшихся над складками местности двенадцатидюймовых орудийных башен защищала крепкая броня. Под командный пункт батареи, как рассказывал Иван Филиппович Кабальюк, использовали при ее строительстве боевую рубку разобранного в свое время линейного крейсера. А все остальное хозяйство артиллеристов — глубоко под землей и бетоном.

Но вести ближний бой такая батарея не приспособлена. И если враг достигает не простреливаемого ее орудиями пространства, помешать ему подойти к башням и подорвать их могут только другие артиллерийские части и пехота.

Из-за необходимости сосредоточить силы на правом фланге Четвертого сек-

тора, где все время назревали прорывы фронта, приморский край держал один полк майора Белюги, давно не пополнявшийся.

— Чем мы можем быстро прикрыть подступы к батарее? — спросил командарм, когда мы обсуждали создавшееся положение.

— Быстро только бригадой Вильшанского, — ответил я.

Иван Ефимович задумался. 8-ю бригаду морской пехоты, много дней не выходящую из боев, двадцать часов тому назад в составе двух неполных батальонов отвели в казармы на окраине города на отдых и переформирование.

— Ничего не поделаешь, придется вернуть ее на передовую такой, какая есть, — сказал, вздохнув, Петров. — Поднимайте бригаду по тревоге. Через час я буду на Северной и на месте поставлю Вильшанскому задачу. Подумайте, чем можно его усилить.

Задача, поставленная командиру бригады, с которым командарм встретился в условленном месте у Братского кладбища, заключалась в том, чтобы любой ценой воспрепятствовать захвату 30-й врагом.

В подкрепление бригаде я смог послать батальон, сформированный из выздоровевших раненых, — 250 бойцов (если в резервном подразделении набиралось больше 200 штыков, мы называли его в те дни батальоном). Под начало полковника Вильшанского поступали также две роты из личного состава самой 30-й батареи. И еще одна условная рота — люди с не существовавшей больше 10-й, которых ее командир капитан Матушенко привел сюда берегом моря.

Эти роты еще раньше заняли на подступах к 30-й круговую оборону. По склону, обращенному в сторону врага, артиллеристы выложили крупными камнями надпись на немецком языке: «Смерть Гитлеру!» И кто-то подсчитал, что фашисты, разъяренные этим лозунгом, выпустили по нему за день свыше 250 снарядов. Батарейцы довольны — заставили фрицев лупить по пустому месту...

Манштейн, как признался он потом в своих мемуарах, уже оценил выгоды, которые получит, овладев «фортом Максим Горький» — так называли немцы 30-ю батарею. Но командование СОР не допускало мысли, что она может оказаться в руках врага. Не допускали такой возможности и сами артиллеристы. Командир батареи капитан Александр, с которым генерал Моргунов имел прямую связь по телефону, заверил коменданта береговой обороны: личный состав настроен твердо и сумеет выполнить свой долг при любых обстоятельствах.

Командир 30-й мог, укрыв людей в потернах, вызвать на нее огонь других береговых батарей. Такое решение Вильшанский и Александр предусматривали на тот крайний случай, если бы не удалось остановить противника за пределами батарейной позиции.

До этого, однако, не дошло.

Тем временем на центральном участке северного направления положение ухудшилось.

Командарм, который фактически лично руководил боем на этом участке, в середине дня 28-го приказал комдиву 345-й контратаковать противника вторыми эшелонами полков. Но к вечеру два полка дивизии подполковника Н. О. Гузя, нанеся тяжелые потери, были отжаты к самой станции Мекензиевы Горы. Немецкий батальон с танками продвинулся в обход ее в сторону кордона Мекензи. Вдобавок образовался разрыв между частями Гузя и бригадой Потапова, отошедшей левым флангом на пятьсот—шестьсот метров.

К исходу дня многие детали обстановки оставались не вполне ясными для штаба из-за перебоев в связи. Но и без этих деталей очевидно, что наша система жесткой обороны, особенно в стыке Третьего и Четвертого секторов, серьезно нарушена. Фронт здесь за последние часы перестал быть сплошным.

С наступлением темноты стали обнаруживаться, подчас довольно далеко от передовой, проникшие в глубину нашей обороны группы фашистских автоматчиков. Ликвидацией их занялись отряды добровольцев, быстро сформированные в дивизионных тылах. Выставили охрану у госпиталей. На Северной и Корабельной сторонах городской комитет обороны привел в боевую готовность рабочие дружины, команды МПВО

Весь наш оперативный отдел с майором Ковтуном во главе помогал штабам секторов уточнять фактическое положение войск, восстанавливать локтевой контакт фронтовых соседей. По мере получения необходимых данных командарм подписывал частные боевые приказы. Задачи, ставившиеся в них, сводились к возвращению утраченных за этот тяжелый день рубежей.

Времени до рассвета оставалось уже немного, и генерал Петров физически не успел бы побывать во всех частях, которых эти приказы касались. Но он ощущал особую необходимость подкрепить заочную постановку боевой задачи личным разговором с командирами, от которых особенно много зависело, почувствовать их настроение.

Командарм приказал командирам и военкомам 95-й и 345-й дивизий (а также двух стрелковых полков последней) и 79-й бригады собраться в находившемся уже почти на переднем крае «домике Потапова». Вместе с Иваном Ефимовичем туда поехали генерал Моргунов и капитаны Безгинов и Ковтун (разведчик).

Краткая запись об этом совещании, имеющаяся в штабных документах, зафиксировала, между прочим, такую подробность: подполковник Гузь и старший батальонный комиссар Пичугин — командир и комиссар 345-й дивизии, прибыли с опозданием, из-за того что на пути от своего КП к Потапову вступили в бой с немецкими автоматчиками. Впрочем, описывать происходившее вокруг не берусь, так как сам оставался на командном пункте армии. Знаю, однако, — и не от одного участника совещания: общая его атмосфера и состоявшийся разговор относятся к такому, что запоминается людям на долгие годы, если не на всю жизнь.

Командарм приказал всем поочередно доложить о состоянии вверенных им частей и причинах отхода с рубежей, занимаемых прошлым утром. Вопросы он задавал подчас неожиданные, не в порядке уточнения фактических данных, а такие, чтобы уловить из ответа нечто более важное: можно ли сейчас на этого командира положиться, сознает ли человек, в какой мере сегодня зависит лично от него судьба Севастополя и что значит удержать или не удержать, вернуть или не вернуть назначенную ему позицию?

Потом Петров говорил сам. Он сурово, с резкостью, обычно ему несвойственной, оценил проявленную кое-кем нераспорядительность, командирскую неумелость, строго предупреждая о последствиях, которые при создавшихся чрезвычайных обстоятельствах имело бы повторение таких промахов. Однако командиры запомнили не это. А запомнили горячие, взволнованные слова Ивана Ефимовича о том, что настал решающий момент в обороне Севастополя и судьба его — в мужестве и стойкости наших бойцов и командиров, о том, что выдерживать такой натиск врага осталось уже недолго и если теперь не выдержим — Родина не простит...

Последние, заключительные слова Петрова один из присутствовавших командиров записал по памяти так: «Дороги назад нет. Я прыгать в море не хочу, но, если понадобится, прыгнем вместе. Только пусть все помнят — на дне моря сидеть будем, раков кормить будем, но трусливых, малодушных, тех, кто не сумел выстоять, осудим и там беспощадным презрением!.. Нет у нас права не выстоять — нам доверен Севастополь и о нас помнят!.. Ну, товарищи мои дорогие, от чистого сердца желаю боевой удачи!»

Зная эмоциональную натуру Ивана Ефимовича, я представляю, как это прозвучало, как врзалось в душу тем, на кого к концу декабрьских боев за Севастополь легла тяжелая ответственность за решающие участки обороны.

...Командарм еще не вернулся на КП, когда фронт услышал громоподобные раскаты орудийных залпов, разносившиеся, казалось, из самого центра города. Это открыл огонь по долине Бельбека главным калибром линкор «Парижская коммуна», вошедший после полуночи в Южную бухту.

Крейсеры из «отряда поддержки» были заняты у Феодосии, и черноморцы ввели в бой за Севастополь свой флагманский корабль. Ввели смело, пожалуй даже дерзко: он стрелял не издалека, маневрируя в море, как в тот раз, когда приходил в конце ноября, а действительно почти из центра города — пришварто-

ванный к железным бочкам напротив холодильника, вблизи железнодорожного вокзала.

Линкор находился километрах в семи от линии фронта и вдобавок стоял неподвижно. Вероятно, это противоречило принятым правилам использования таких кораблей. Зато занятая позиция обеспечивала максимальную точность огня. Утром береговые корпосты стали направлять его на видимые с высот группы вражеских танков, на колонны машин, подвозящих боеприпасы.

Вслед за линкором пришел один из новейших черноморских крейсеров — «Молотов». На рассвете он произвел из Северной бухты огневой налет по скоплениям немецкой пехоты, готовившейся к атаке.

Оба корабля доставили с Кавказа снаряды.

Станцию Мекензиевы Горы враг все-таки занял. Это произошло вечером 29 декабря, после дня тяжелейших боев, зачастую встречных: наши контратаки, начатые с утра для восстановления утраченных накануне позиций, сталкивались с атаками рвавшихся вперед гитлеровцев.

Не раз перевес оказывался на нашей стороне. С утра, контратакуя от кордона Мекензи, продвинулся вперед 1165-й стрелковый полк. Оттеснялись немцы и на соседних участках. Сводка, составленная в 17 часов, зафиксировала, что наши позиции проходят в шестистах метрах севернее станционной платформы. Но закрепиться на достигнутых рубежах противник не давал. Бросая в бой резервы — может быть, последние, однако еще значительные, — он опять захватывал отвоеванное у него пространство.

К наступлению темноты наши части, прикрывавшие станцию, оказались на утренних исходных позициях, а затем не удержались и на них. Гитлеровцев удалось остановить лишь на южной окраине станционного поселка.

Глубина нашей обороны на этом участке сократилась до критического предела. Передний край проходил тут уже не по тыловому обводу, последнему из трех укрепленных рубежей, а позади него. И хотя нацеленный к бухте вражеский клин был пока узким, мы не могли наперед знать, что у немцев уже не хватит сил ни существенно расширить его, ни существенно продвинуть дальше.

Линия фронта никогда не подходила к Севастополю так близко. Но в этот день, впервые за многие, в черте города не упало после полудня ни одного вражеского снаряда.

Утром немецкая тяжелая батарея из-за Дуванкоя начала по нему пристрелку. Однако артиллеристы «Парижской коммуны», получив от корректировщиков координаты батареи, буквально разнесли ее несколькими залпами. И уже никакая другая до конца дня не посмела обстреливать ни бухту, ни город..

Ночью, простояв в Севастополе сутки, линкор ушел. Моряки, очевидно, считали, что нельзя чрезмерно искушать судьбу. И действительно, погода менялась — вновь стало подмораживать, редели облака. А защитит от массивного налета бомбардировщиков такой корабль, лишенный в узкой бухте маневра, это не то, что отгонять от него одиночные «юнкерсы», вырывавшиеся иногда из-за туч в течение хмурого дня.

Перед уходом линкор принял на борт более тысячи тяжелораненых. А за эти сутки он, по донесениям наших корпостов, уничтожил не менее 13 фашистских танков, 8 тяжелых орудий и еще много другого, что трудно учесть.

Для жителей города, наверное, немало значило уже то, что главный корабль Черноморского флота, известный тут каждому мальчишке, стоял целый день у всего Севастополя на виду — впервые с тех пор, как он в начале ноября покинул свою базу. Хочу добавить: командовал линкором «Парижская коммуна» капитан 1-го ранга Ф. И. Кравченко, а огнем его артиллерии управлял капитан-лейтенант М. М. Баканов.

Зенитки, стянутые к Южной бухте для прикрытия линкора, сразу же начали выдвигаться на передний край. Большинство подвижных батарей флотского зенитноартиллерийского полка вслед за армейским полком ПВО временно пере-

давалось в распоряжение начарта Четвертого сектора в качестве полевых, противотанковых.

Той же ночью Военный совет армии пришел к выводу, что нельзя более медлить с заменой коменданта Четвертого сектора. Решили назначить комдивом 95-й стрелковой полковника А. Г. Капитохина, командира 161-го полка.

Командование СОР утвердило это решение, и полевой телеграф отстукал соответствующий приказ. Командарм, соединившись с Капитохиним, дал ему первоочередные указания и обещал вскоре быть у него сам.

Василий Фролович Воробьев отзывался в распоряжение штаба армии.

...На исходе ночи, заполненной заботами о подготовке фронта к новому, может быть решающему, боевому дню, я узнал неожиданную новость, которая — так, во всяком случае, показалось в первый момент — не имела ко всему этому никакого отношения.

Заканчивая короткое оперативное совещание, Иван Ефимович Петров почему-то вдруг улыбнулся и, глядя на меня, объявил:

— Как нам только что сообщили, постановлением Совета Народных Комиссаров от двадцать седьмого декабря полковнику Крылову Николаю Ивановичу присвоено звание генерал-майора...

Смысл фразы дошел до меня не сразу. О том, что представлен к генеральскому званию, я не имел понятия.

Товарищи, обступив меня, сердечно поздравляли. Военком штаба Готов принес откуда-то металллические звездочки и взялся прикреплять к петлицам моей гимнастерки, по две с каждой, вместо отколотых шпал.

— Пока хоть так! — приговаривал Алексей Васильевич.

Полная генеральская форма завелась у меня не скоро — не до того было.

Бывают на войне, в тяжелой боевой обстановке, дни, которые, несмотря на то, что пока еще ничего не изменилось, предопределяют близящийся перелом. Правда, сознаешь это обычно только потом. Такой день, мне кажется, под Севастополем — 30 декабря.

Манштейн, конечно, отдавал себе отчет в том, что он вот-вот окажется вынужденным перебросить часть войск из-под Севастополя к Керчи. Одна немецкая дивизия, оставленная там (как после выяснилось, ее командира некоего графа Шпонека, впавшего в панику, сместили и отдали под суд), не могла задержать высаживавшиеся широким фронтом десантные части. И командующий 11-й немецкой армией предпринимал отчаянные усилия, чтобы сломить нашу оборону, пока еще почти все его силы находятся под Севастополем. Он назначил, как дознались разведчики, еще один, «окончательный» срок овладения городом — к Новому году.

Как спешат немцы, как подгоняют командиры солдат, чувствовалось даже по сократившимся интервалам между вражескими атаками, по общему их числу — на некоторых участках до двенадцати одна за другой.

Направление атак на самом близком к Северной бухте участке фронта показывало: от станции Мекензиевы Горы противник пробивает себе путь, во-первых, к Братскому кладбищу, во-вторых — прямо на юг, через высоту 60, в-третьих — вдоль железной дороги. Очевидно, с тем, чтобы бросить затем резервы туда, где наметится успех. Одновременно продолжались попытки прорваться правее, у кордона Мекензи.

Борьба шла за такие позиции, утрата которых нами имела бы непоправимые уже последствия для всего фронта Севастопольской обороны. И отпор наседающим гитлеровцам поднимался до того наивысшего накала, на какой способны советские бойцы, когда знают, что у них нет иного выхода, кроме как остановить и уничтожить врага вот здесь, вот сейчас. «Отступать некуда — позади бухты!» — эти слова, исполненные беспощадной правды, стали на Северной чем-то вроде общего сурового девиза.

На яростные атаки немцев наши части отвечали героическими контратаками — ротой, двумя ротами, батальоном...

Близ кордона Мекензи. у шоссе. повел батальон в контратаку военком

1163-го стрелкового полка старший политрук Василий Максимович Сонин. Молодой комиссар был убит (второй комиссар полка в этой дивизии за четыре дня), контратака вообще обошлась полку дорого, но продвинуться вперед фашистам тут не дали.

Не одно подразделение лишилось своего командира. Но прежде чем успева-ли назначить нового, обычно выяснялось, что бойцами, продолжающими выпол-нять поставленную задачу, уверенно командует умелый сержант, а иногда быва-лый, инициативный рядовой.

Старшина-разведчик коммунист Вениамин Тимофеев возглавил две роты, причем даже не своей, а соседней части, которые, потеряв в бою весь командный состав, дрогнули было под натиском врага. Поверив в нового командира, подчи-няясь его призыву и приказу, они удержали свои позиции. Для Тимофеева этот бой определил дальнейшее его место в армии — штатное командирское.

В течение 30 декабря станция Мекензиевы Горы неоднократно переходила из рук в руки. Полки Николая Олимпиевича Гузя, самоотверженно поддерживаемые артиллеристами и танковыми ротами (они сражались геройски, не выходя из боя даже тогда, когда в пробитой снарядами машине не оставалось ни одного не ра-ненного, и из 26 действовавших тут танков мы за день потеряли 13), овладевали низинкой с платформой и станционным поселком и раз и другой... Это стоило немало. За сутки, с вечера 29-го до вечера 30-го, в госпитали армии доставили 1742 раненых бойца и командира, значительная часть их — отсюда. Однако закрепиться на станции, выйти на гряды холмов никак не удавалось.

К вечеру станция, как и утром, — у немцев. Они немного приблизились к высоте 60, где стойко держалась батарея Воробьева, немного продвинулись в направлении к Братскому — дальше их не пустил сосредоточенный огонь нашей артиллерии и тяжелых минометов, которые полковник Пискунов расставил вдоль кладбищенской ограды.

Но то, что гитлеровцы добились лишь этого и положение в основном оста-лось без перемен, и сделало день 30 декабря в своем роде решающим или пусть одним из решающих. Враг проигрывал во времени, работавшем теперь на нас.

Поздно вечером с флагманского командного пункта флота поступило сообще-ние, передававшееся во все соединения СОР:

«Войска Закавказского фронта и корабли Черноморского флота захватили города Керчь и Феодосию. Операции продолжаются... Наши части выходят в тыл противнику, осаждающему Севастополь ..».

Несколькими часами раньше, когда никто еще не мог наверняка сказать, чем кончится день и на Керченском полуострове и у нас, на КП армии прибыл вице-адмирал Октябрьский. То, что он не вызвал Петрова к себе, а приехал сам, каза-лось необычным и, возможно, означало желание обсудить положение с Иваном Ефимовичем или вообще с армейцами в менее официальной, более товарищеской обстановке.

Перед руководителями Севастопольской обороны не мог не встать вопрос: как действовать, если немцы все-таки выйдут к Северной бухте?

Всякое дальнейшее продвижение врага означало бы непосредственную угро-зу и складам боеприпасов в Сухарной балке, и нашему крупнейшему подземному госпиталю, переполненному ранеными. Не приходилось закрывать глаза и на опасности еще более серьезные: противник очень близок к позициям, откуда обычная полевая артиллерия могла вести прицельный огонь по центру города и закрыть Северную, а значит, и Южную бухту для наших кораблей.

Не знаю, о чем говорили Октябрьский и Петров, пока оставались вдвоем. После того как они пригласили к себе меня, полковника Рыжи и кого-то еще из штабных командиров, предметом обсуждения стало следующее: насколько проч-ной могла бы быть — если не удержим высоту 60, кордон Мекензи и Братское — линия обороны, частично проходящая по северной окраине города?

Рубеж этот представлялся малонадежным, особенно для сколько-нибудь дли-тельной обороны. Очень решительно высказался в этом смысле Николай Кирья-

кович Рыжи. Кажется, и у Ивана Ефимовича Петрова поколебалась прежняя убежденность в том, что, на худой конец, можно держаться достаточно долго, владея пространством между Балаклавой и Северной бухтой. Филипп Сергеевич Октябрьский, не выразив своего мнения более прямо, сказал, что в крайнем случае корабли могут разгружаться в Камышевой и Казачьей бухтах, где оборудуются временные причалы.

Никакого решения о запасном рубеже не принималось. Разговор перешел на то, как удержаться на нынешнем, с тем чтобы при первой возможности восстановить оборону по Бельбеку. Полковник Рыжи, полный, как всегда, горячей веры в свое оружие и получивший за последние дни порядочно боеприпасов, стал излагать свои предложения, уже детально им и Васильевым продуманные, об организации огня на завтра.

А у нас были основания ожидать, что немцы (и в том случае, если они еще сегодня приблизятся к Северной бухте, и в том, если это им не удастся) примут завтра, в канун Нового года, «последний решительный штурм». Причем, возможно, не только с севера.

Мы не могли знать, что где-то в высших звеньях гитлеровской военной машины уже подготовлена директива о переходе под Севастополем к обороне и тем самым признан провал двухнедельного декабрьского наступления. Не знали мы и про полученное командующим 11-й немецкой армией в тот день или накануне указание из штаба группы «Юг»: если невозможно сейчас овладеть городом, то надлежит, по крайней мере, достигнуть бухты и закрепиться на ее берегу...

Но если бы даже знали и то и другое, вряд ли поверили бы, что Манштейн, потерявший под Севастополем уже много тысяч солдат, откажется от новых попыток взять осажденный город, пока отсюда не отведена к Керчи еще ни одна пехотная дивизия, ни один артиллерийский полк. Честолюбивого фашистского генерала должна была еще больше подхлестывать надежда преподнести фюреру, давно не получавшему победных реляций, такой подарок к Новому году.

И радостное сообщение флотского командования о крупном боевом успехе десантников на Керченском полуострове — с каким восторгом встретили это известие в Севастополе, трудно и передать! — тоже не означало, что уже завтра нам станет легче.

Одно стало ясно всем: раз в Крыму открылся «второй фронт», долго штурмовать нас так, как сейчас, немцы не смогут. И надо напрячь все без остатка силы, чтобы не оплошать напоследок.

...Ночь прошла за проверкой готовности фронта обороны к любым неожиданностям. Работники штаба и политотдела армии разъехались по частям. Тыловики обеспечивали доставку на огневые позиции увеличенной нормы боеприпасов. В соответствии с утвержденным командармом планом шла частичная перегруппировка артиллерии. На поддержку войск северного направления «поворачивались» (оставаясь на своих позициях в южных секторах) артиллерийские полки майора А. П. Бабушкина и подполковника И. И. Хаханова, а также 8 береговых батарей.

Полоса фронта, где противник преодолел главный, а местами и тыловой рубеж обороны, составляла в ширину около десяти километров. Но самым опасным мы считали примерно трехкилометровый участок — правый фланг Четвертого сектора и стык его с Третьим. Здесь и создавалась на 31 декабря еще небывалая под Севастополем плотность артиллерии: на три километра — 240 орудий, считая зенитные и корабельные.

А если бы враг попытался прорваться в каком-то другом месте, штаб артиллерии мог перенести массивированный огонь туда. Возможные варианты Рыжи и Васильев детально проработали с начартами секторов.

Когда утверждались схемы огня и расход боеприпасов, командарм сказал полковнику Рыжи:

— Нашим артиллеристам предстоит решить самую ответственную задачу из всех, какие им до сих пор выпадали. Прошу вас, Николай Кирьякович, объяснить это через командиров артчастей всему личному составу

Если наш огневой удар рассчитан правильно, артиллерия должна нанести противнику такие потери, которые уже predeterminedили бы срыв его завтрашних замыслов. Но predeterminedили, конечно, не в том смысле, что отбивать атаки пехоте будет легко, — на это надеяться не приходилось.

Направление главного удара прикрывали полки 95-й и 345-й дивизий, бригада Потапова, чапаевцы.

Возвращавшиеся из войск штабники, доложив о выполненных заданиях, рассказывали, что настроение в частях боевое. За ночь везде, где позволила обстановка, прошли короткие партийные собрания. Их решения, уместившиеся в две-три фразы, звучали как клятвы: «Будем стоять насмерть. Рубеж удержим любой ценой. Фашистов в Севастополь не пустим».

Ощущение особой боевой собранности на командных пунктах оставалось от каждого телефонного разговора с дивизиями и полками.

А проходя гулким коридорчиком нашего каземата, я услышал, как в аппаратной кто-то тихонечко, с чувством напевает «Варяга»:

Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступает.

Песня, перенятая у моряков, хорошо выражала общее состояние духа. Только одной решимости погибнуть со славой нам мало — требовалось выиграть бой наступавшего дня. Выиграть во что бы то ни стало.

Рано утром московское радио передавало предновогоднюю передовую «Правды». В ней говорилось, оказывается, и о нас:

«Несокрушимой стеной стоит Севастополь, этот страж Советской Родины на Черном море... Беззаветная отвага его защитников, их железная решимость и стойкость явились той несокрушимой стеной, о которую разбились бесчисленные яростные вражеские атаки. Привет славным защитникам Севастополя! Родина знает ваши подвиги, Родина ценит их, Родина никогда их не забудет!»

Если бы могли услышать эти слова прямо из Москвы все наши бойцы и командиры!..

Над Севастопольским плацдармом уже гремела канонада. Ее начал в этот день не противник — мы. Артиллерийские полки из всех секторов, береговые батареи, стоящие и к северу и к югу от города, корабли из бухт наносили упреждающий удар по исходным районам вчерашних атак врага, откуда он, как подтверждала ночная разведка, готовился атаковать и сегодня.

Артиллерийская контрподготовка продолжалась двадцать минут. Наблюдать, как ложатся снаряды, возможности не представилось: Мекензиевы горы окутывал туман. Но в штабе артиллерии не сомневались в проверенных многими стрельбами расчетах.

Немцы открыли ответный огонь, пытаются подавить некоторые наши батареи. А по другим за эти двадцать минут не сделали ни одного выстрела — «поворот» их на северное направление, должно быть, оказался для противника неожиданным.

Потом все стихло. Ни артподготовки к атакам, ни самих атак, начинавшихся изо дня в день около 8 часов, в обычное время не последовало.

Прошел час, еще полчаса... Из соединений докладывали:

— Редкий минометный огонь, больше ничего. Видимость улучшается.

— Обстановка без изменений. Тумана почти нет. Мы наготове.

Время текло тревожно. Не замыслили ли гитлеровцы что-то такое, чего мы не смогли разгадать? Только ли из-за нашей контрподготовки вынужденные приводить войска в порядок или подтягивать резервы, до сих пор не атакуют? Может быть, просто пережидают туман?

Но товарищи, побывавшие наверху, сообщали, что горизонт уже чист и проглянуло солнце.

Немецкая артподготовка началась лишь в 10 часов. Началась мощно, причем группу батарей противник за ночь выдвинул вперед. Часть их богдановцы

довольно быстро заставили замолчать, и тогда вражеский огонь несколько ослабел. И, как-никак, два с лишним часа мы уже выиграли.

Но первая атака, хоть и запоздавшая, — очень сильная. Впереди неприятельской пехоты двинулись танки...

Зенитные орудия, перемещенные на передний край, били по ним прямой наводкой. Другая артиллерия ставила заградительный огонь, отсекая от танков пехоту. А тяжелая ударила уже по глубине вражеских боевых порядков, где должен сейчас сосредоточиваться второй эшелон.

Все наши батареи действовали по основному варианту сегодняшнего плана. Менять в нем ничего не пришлось, Манштейн не имел времени куда-то перенести свой главный удар, искать в нашей обороне более уязвимые места. И мы не просчитались, нацелив более трех четвертей наличных орудий на трехкилометровый отрезок фронта вокруг кордона Мекензи и станции Мекензиевы Горы.

Враг стремился продвинуться там же, где его остановили вчера. Он рвался к Братскому кладбищу и Буденновке, штурмовал высоту 60, атаковал у кордона Мекензи. На этих смежных участках обороны разгорелся жестокий бой. С наблюдательных пунктов докладывали, что дым и пыль от разрывов снарядов и мин уже затрудняют прицельный огонь.

А около 11 часов из Четвертого сектора сообщили: к нашим позициям полз густой серо-зеленый дым, не похожий на обычный.

От фашистов можно ждать всего, тем более в такой день. В окопах, куда ветер нес эту ядовитую клубящуюся пелену, на ближайших батареях раздалась команда, которую до тех пор слышали только на учениях и еще никогда в бою: «Газы!» Противогазы имели все, за этим в частях следили.

Сообщение о том, что противник предположительно применил на Мекензиевых горах отравляющие вещества, требовало проверки. Но его сразу передали комендантам других секторов и в береговую оборону, чтобы были настороже.

Оказалось, это все-таки не газ, а дымовая завеса какой-то необычной, непривычной окраски. Немцы, используя потянувший с их стороны ветер, поставили ее в расчете прикрыть новый бросок атаки, ослепить наших артиллеристов и стрелков.

Дым, однако, не помог: вторая атака, как и первая, захлебнулась. Не дрогнули бойцы и в те минуты, когда казалось, что к ним приближается газовое облако. Один командир, находившийся в тот момент на переднем крае, потом, уже в спокойной обстановке, рассказывал:

— Вспомнился почему-то лозунг со старого осоавиахимовского плаката, и я крикнул: «Не страшен газ, если есть противогаз!» Смотрю — люди уже приободрились, натянули маски и опять за оружие. Ну а как разобрались, что немец просто напустил вонючего дыма, ребята совсем повеселели. Без очков, говорят, воевать уже легче!

Бывалый солдат любит шутку, умеет поддержать ею себя и товарищей. И все же, возвращаясь мысленно к тому дню, к первой его половине, когда наш фронт за Северной бухтой напрягся до крайнего предела, невольно изумляешься, как сами эти слова «уже легче» приходили кому-то на ум.

Тяжелее всего пришлось все-таки 345-й дивизии. И не только стрелковым ее частям. Начальник штадива Иван Федорович Хомич вспомнил потом, как командир артиллерийского полка майор И. П. Веденев доложил по телефону, что опасается захвата орудий противником — слишком близко он подступил, — и просил разрешения отвести батареи, пока не поздно, на другую огневую позицию. Командир полка опытный и не трус, и будь позади, между фронтом и бухтой, хоть немного больше пространства, начштаба, наверное, признал бы за благо удовлетворить его просьбу — дивизионной артиллерией без крайности не рискуют. Но теперь Хомич ответил:

— Выкатывайте пушки на открытое место и бейте прямой наводкой. Отходить вам некуда. Если отходит пехота, подчиняйте ее себе и остановите!

Батареи остались на прежней позиции, и враг их не захватил.

На прямую наводку переходили и другие артиллерийские части. А расчеты зенитчиков находились прямо в боевых порядках пехоты. Погода позволила активно действовать летчикам, и генерал Остряков, получая от нас координаты целей, группу за группой посылал на штурмовку вражеских войск «ИЛы» и «ястребки» (немецких самолетов в воздухе мало — их-то, видно, уже оттянула Керчь). Но при всей этой поддержке огнем на центральном участке атаки гитлеровцев отбивались уже из последних сил.

И настал момент, когда подполковник Гузь вызвал огонь артиллерии на свои передовые траншеи на флангах двух полков — там уже были немцы... Батареяцы Воробьева на высоте 60 вели уцелевшими двумя пушками и личным оружием бой уже на собственной огневой позиции, обойденной врагом с двух сторон.

К полудню четко определилось несколько новых вклинений в наши позиции — пока неглубоких... Но в продолжающемся нажиме врага ощущалась вместо характерной для немцев методичности какая-то лихорадочная отчаянность.

Генерал Петров, с утра очень взволнованный, становился все спокойнее. Когда на фронте не произошло еще никакого перелома, Иван Ефимович, постояв над своей картой, сказал почти весело:

— Нет, не выйти им к бухте. Теперь уже не выйти!

Во второй половине дня атаки немцев внезапно прекратились. Неужели все?.. Нет, не может быть. Светлого времени оставалось довольно много, и противник почти наверняка должен предпринять новую сильную атаку, по крайней мере еще одну. Так считали и на командных пунктах соединений, с которыми мы непрерывно держали связь. Поднимать наши войска в контратаку рано: встречного боя уставшие части могли не выдержать.

Командарм вызвал полковника Рыжи, и мы обсудили, как использовать в ближайшие часы артиллерию. Огневые налеты по образовавшимся неприятельским клиньям подготовлены, но Николай Кирьякович советовал объединить их с новым массированным ударом всей артиллерией. Начать надо, как только немцы опять проявят активность. Этот удар — скажем пятнадцатиминутный — он предлагал направить сперва на передний край противника, а затем обработать береговыми батареями, гаубицами и корабельной артиллерией ближние тылы вплоть до Бельбекской долины.

Петров согласился, и Рыжи поспешил к себе. Он и Васильев все это уже спланировали, но надо успеть передать артчастям окончательные указания.

Впрочем, в нашем распоряжении оказался час с лишним. Немцы снова пошли в атаку около 16 часов там же, где наступали и несколько продвинулись утром. Уж не знаю, многие ли из них еще верили, что сумеют встретить Новый год в Севастополе...

Последовавший затем огневой налет сделал свое дело, ослабил этот отчаянный, действительно уже последний натиск врага. И все-таки на каждом из тех участков фронта, где гитлеровцы все эти дни так упорно вгрызались в нашу оборону, пробивая себе путь к бухте, еще несколько десятков минут вела тяжелый бой пехота.

Больше немцы не выдержали. До бухты оставалось около двух километров, но приблизиться к ней еще хотя бы на сотню шагов они уже не могли и стали откатываться назад.

Это был кризис декабрьского штурма, его конец.

Наша контратака кое-где началась почти стихийно — почувствовав, что враг выдыхается, бойцы устремлялись вперед, не ожидая команд.

Командарм приказал Капитохину, Гузю, Потапову готовить и по обстановке вводить в бой ударные группы преследования. Когда это передавалось по телефону, кто-то переспрашивал, просил повторить: слово «преследование» звучало слишком непривычно, люди еще не успели осознать, что штурм Севастополя отбит.

«Генеральный штурм» — так вскоре стали его называть в отличие от ноябрьского, не такого сильного. А что будет еще июньский, кто мог тогда знать!..

В часы, когда на фронте назревал перелом, штаб подготовил боевой приказ, в котором определялась ближайшая задача армии: «Не допустить дальнейшего продвижения противника. Частными контратаками, уничтожая вклинившиеся в боевые порядки части противника, восстановить оставленные позиции путем последовательного захвата отдельных высот и рубежей». Комендантам секторов указывались рубежи, на которые их войска должны выйти в течение завтрашнего дня.

В 17.05 приказ был подписан. Сразу после этого командарм выехал на северное направление.

Там в эти последние часы сорок первого года защитники Севастополя совершали новый массовый подвиг. Части, только что отбившие бешеный натиск врага, понесшие сегодня, как и вчера, тяжелые потери (только ранеными — опять более полутора тысяч человек за неполные сутки), нашли в себе силы сразу же, без передышки, атаковать дрогнувших гитлеровцев, не давая им опомниться.

Наступательный порыв захватывал всех. В поредевшие стрелковые батальоны вливались команды тыловых служб. В дивизии Гузя, сложив свои трубы и взяв винтовки и гранаты, пошли в бой и музыканты оркестра.

Такие подробности узнавались, конечно, после. Но волнующе-красноречивы становились даже самые краткие донесения. Все новые отметки, появлявшиеся на моей рабочей карте, отражали быстро изменяющуюся обстановку.

Противник не такой, чтобы даже после крупной неудачи обратиться в бегство. Оправляясь от недолгого замешательства (да и оно было не везде), он оказывал все более стойкое и организованное сопротивление. И все же на центральном участке мы за считанные часы вернули многое из потерянного за несколько дней.

Еще в старом году очистили от врага станцию Мекензиевы Горы, а затем и первые высоты за нею. Здесь части Гузя хорошо поддержали два полка 95-й дивизии, особенно 161-й стрелковый, которым до вчерашнего дня командовал Капитохин, нынешний комдив-95, а теперь — капитан И. П. Дацко. По уцелевшим путям на станцию ворвался, громя фашистов огнем в упор, бронепоезд «Железняков».

А у моря от Любимовки и выстоявшей 30-й батареи медленно, но настойчиво продвигались, отвоевывая у врага сотню за сотней метров, батальоны бригады Вильшанского, полк Белюги и сводный отряд, собранный из остатков кавдивизии

В Чернореченской долине, где части Второго сектора начали наступательные действия несколькими часами раньше, 7-я бригада морпехоты и полк Мухомедьярова отбили у гитлеровцев Нижний Чоргунь, полностью овладели горой Госфорта.

В потоке донесений, принимаемых штабным узлом связи, поступило, не помню уж от кого, и такое: «Взят в плен немецкий майор, назначенный комендантом Севастополя. Вместе с ним захвачена комендантская команда». Попал-таки «комендант» в город!..

Так заканчивались сутки, месяц и год.

В последний его час в «домике Потапова» вновь состоялось короткое заседание Военного совета армии с участием командиров и военкомов соединений и некоторых частей северного направления. Теперь речь шла уже не о том, как удержать Севастополь, а о развитии первых успехов контратаки, перераставшей в контрудар, — командарм пришел к выводу, что задачи, поставленные войскам на завтрашний день, в значительной мере могут быть выполнены еще в течение ночи.

Я оставался на командном пункте армии. Минут за десять до полуночи генерал Петров соединился со мной по телефону из-за Северной бухты.

— С наступающим, Николай Иванович! Поздравьте от меня всех, кто рядом с вами. Я у Николая Васильевича, от него двинусь дальше налево. Что там у нас хорошего?

«У Николая Васильевича» означало — у Богданова. Артиллеристы — герои дня, от них очень во многом зависело, что он кончился так, а не иначе, и командующий армией, очевидно, решил встретить Новый год на КП нашего главного артполка.

Минуты, когда один год сменяется другим, всегда кажутся особенными, где бы они тебя ни застали. Хочется и оглянуться назад и представить будущее, в мыслях переплетается большое общее и самое сокровенное, твое...

Севастопольцев враг не одолел. На других фронтах успехи тоже не у него, а у нас. И это укрепляло веру в то, что наши военные дела теперь вообще пойдут лучше. Но насколько легче было бы на душе, знай я хоть что-нибудь о жене и детях. Хотя бы одно то, что они живы!

Недели три назад отправился на Большую землю мой адъютант лейтенант Петр Белоусов, получивший отпуск по болезни. Я просил его навести справки в Наркомате обороны: может быть, там что-то известно о семьях начсостава, эвакуированных из Болграда в первый день войны? А теперь стал надеяться, что весточкой обо мне послужит для жены, где бы она ни находилась, присвоение мне генеральского звания -- постановление Совнаркома должно появиться в газетах.

На КП приехал Михаил Георгиевич Кузнецов. Не раздеваясь, он вошел ко мне, заполнив свою огромной фигурой чуть не половину «каюты». Бригадный комиссар сел, положил на колени шапку, улыбнулся устало и облегченно.

Мы не виделись часов шесть-семь, а сколько за это время произошло событий!

— Хорошо встретили Новый год! — сказал Михаил Георгиевич. — Наша взяла!

Он стал рассказывать о заседании Военного совета, на котором я не был, об обстановке у переднего края. Потом, весь просияв, сообщил:

— А знаешь, что я еще видел? Новогоднюю елку!

— Какую елку? — не понял я.

— Да обыкновенную. Был вечером в городском комитете обороны, и там, когда уже уходил, мне посоветовали: «Если есть десяток минут, загляните в одно убежище, тут рядом, на улице Карла Маркса, не пожалеете!» Заинтриговали, пошел. А там елка... Ну, не совсем, конечно, елка — крымская сосна. Но украшена как полагаются разноцветные фонарики горят. И человек сто девчонок и мальчишек хором водят. От такой картины меня прямо слеза проняла. Стою у порога и думаю: ведь на этой улице только что снаряд грохнулся, а немцы еще сегодня утром рассчитывали, что вечером будут по ней маршировать... И вот что интересно — откуда взялась елка? На нашей-то территории, как известно, хвойного леса нет, весь пока что по ту сторону фронта. Так, оказывается, откуда, от немцев, и принесли ее разведчики из полка Горпищенко — по особому, понимаешь, секретному уговору с горкомом комсомола. И не одну ту, которую я видел, а чуть не дюжину приволокли! И на Корабельной, и в Инкермане, где до фронта совсем рукой подать, зажглись для ребят елки. Несмотря ни на что зажглись! А ты, начальник штаба, сидишь тут и таких вещей не знаешь!..

Кузнецов засмеялся, и лицо его уже не казалось усталым.

На северном направлении продолжался бой. Тесня противника, наши войска продвигались к долине Бельбека.

(Окончание следует)



БОРИС ИЗАКОВ

★

ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ, МОСКВА—БЕРЛИН

В редакции задребезжал телефонный звонок. — Говорят из Института марксизма-ленинизма, — произнес незнакомый голос. — Скажите, вы тот самый Изаков, который в свое время работал в системе Красного Профинтерна в Москве и Берлине?

— Да, — несколько озадаченно ответил я.

— Не сможете ли вы к нам зайти? Вы бы помогли кое-что выяснить.

В одной из комнат хорошо известного москвичам серого дома на Советской площади я встретил двух-трех старых знакомых, причастных в разные годы к работе Красного Интернационала профсоюзов. Старшего научного сотрудника института Виктора Абрамовича Кузько, автора содержательных работ о Профинтерне, интересуют даты, факты, люди.

— В документах Среднеевропейского бюро Профинтерна, которое работало в двадцатых годах на нелегальном положении в Берлине, — говорит он, — встречаются конспиративные клички, которые хотелось бы расшифровать. Кто такой был Фриц?

— Фриц Геккерт, — отвечаю я. — Он похоронен у Кремлевской стены в Москве.

— А Макс?

— Макс Цизе. Берлинский рабочий, коммунист, отличный организатор.

— А Роберт?

— Это я, — говорю я с глупейшей улыбкой, сразу почувствовав себя чем-то вроде музейного экспоната.

Виктор Абрамович предлагает мне посмотреть папки, в которых хранятся документы пятидесятилетней давности. Мне вовсе не хочется возвращаться в далекое прошлое, я отвечаю, что не чувствую влечения к архивам.

— Жаль, — замечает он. — У нас есть целые папки с вашими документами.

С тех пор прошло три года. Тот разговор почему-то не выходил у меня из головы. Наконец я снял трубку и позвонил в институт.

...И вот я сижу в просторном читальном зале, окна которого выходят на фасад здания Моссовета. Передо мной аккуратно пронумерованные папки, а в них столь же тщательно пронумерованные, пожелтевшие от времени листки. Некоторые документы читаются с трудом: ленты для пишущих машинок, копировальная бумага не отличались у нас тогда высоким качеством. Лучше сохранились письма, доклады из-за границы.

* * *

Москва тех далеких лет... Когда о ней говорят, вспоминают голодные пайки, безлюдные улицы, фантастические лохмотья беспризорных. Все это, конечно, было. Но у меня в памяти встает другое: Красная площадь, замощенная булыжником, вся в рытвинах и колдобинах, по которым так неудобно было шагать в дни демонстраций. Досками и фанерой заколочены витрины большого серого здания — Торговых рядов. Изредка по площади проедет, раскачиваясь на ухабах, извозчичья коляска да порыв ветра с реки поднимет тучу пыли и сора.

Огромная площадь пуста. Совсем пуста. Еще нет Мавзолея. Нет могил у Кремлевской стены.

А на площади, с восторгом разглядывая красный флаг над Кремлем,— делегаты III конгресса Коминтерна и учредительного конгресса Профинтерна.

Оба конгресса прилежно посещаю и я: первый — с постоянным гостевым билетом, второй — как делегат с совещательным голосом. Это получилось так.

Годом раньше группа деятелей рабочего движения, прибывших в Москву на предыдущий конгресс Коминтерна, создала Временный международный совет профессиональных союзов (Межсовпроф). ВЦСПС тогда же предложил центральному комитетам профсоюзов выделить товарищей для международной работы. Незадолго до этого меня выбрали на съезде кандидатом в члены ЦК Всероссийского союза деревообделочников (моя трудовая биография началась на лесопильном заводе под Казанью, куда я поступил конторщиком; мне было тогда шестнадцать лет). После съезда меня оставили в Москве заместителем заведующего орготделом ЦК союза; чаще всего я колесил по стране, помогая по мере своих возможностей налаживать союзную работу.

Когда от ВЦСПС поступило предложение выделить кого-нибудь для международной работы, собрался президиум ЦК союза.

— Тут надо в срочном порядке научиться иностранным языкам, чтобы разговаривать с иностранцами, переписываться с ними,— сказал председатель ЦК Кабанов.— Это ох какое трудное дело.

Помолчали, в раздумье поглядели друг на друга.

— Назначим кого-нибудь помоложе, ему это будет легче,— сказал заведующий орготделом долговязый столяр Мохов.— Вот хотя бы Изакова.

У меня были совсем другие планы. За плечами всего пять классов, я хотел пойти учиться на рабфак, о чем и сообщил президиуму. Все сочли, что я рассуждаю как зачерствелый эгоист.

— Надо думать не о своих личных интересах, а о рабочем классе в целом,— строго сказал мой друг Мохов, несколько склонный к риторике.

Так — помимо своей воли — я стал международником.

Уроки немецкого, а потом и французского мне давали две пожилые дамы, но больше, чем они, мне помогли зарубежные товарищи, работавшие в Межсовпрофе и Коминтерне.

ЦК нашего союза помешался тогда в Леонтьевском переулке — сейчас улица Станиславского,— в доме № 18, рядом с бывшим зданием Московского комитета партии. Первое время комнаты в Москве у меня не было, и я ночевал в помещении ЦК на кушетке. Иностранные товарищи жили по соседству, в гостинице «Люкс» (ныне «Центральная»). Если погода была подходящая, я шагал с каким-нибудь партнером по бульварному кольцу до Москвы-реки. по дороге туда он — преподаватель, а я ученик, на обратном пути роли менялись. Занятия становились особенно успешными, когда преподавателя из Коминтерна заменяла молоденькая преподавательница из КИМа.

Летом 1921 года я получил гостевой билет на III конгресс Коминтерна — он происходил в Кремлевском дворце и длился около трех недель (с 22 июня по 12 июля). Как-то раз меня спросили: почему международные конгрессы тех лет продолжались так долго? Дело не только в том, что тогда в рабочем движении имелось много неясных вопросов, по которым возникали горячие и длительные дебаты. Международные конгрессы тянулись долго и потому, что еще не существовало синхронных переводов. После выступления каждого оратора на трибуну выходили переводчики. Речи переводились на два, а иногда и на три языка. После каждого выступления часть делегатов и гостей покидала зал и прогуливалась в коридорах и смежных покоях дворца, выжидая, пока кончатся переводы.

В те годы Владимир Ильич Ленин часто выступал на съездах, собраниях, митингах, и вряд ли в московской партийной организации был хоть один человек, который бы его не видел и не слышал. Видел и слышал его и я. На III конгрессе Коминтерна Владимир Ильич делал доклад о тактике РКП(б), выступал с речами, но его можно было видеть и среди делегатов, в широких коридорах, на заседании итальянской комиссии. Вот она собралась рядом с Андреевским залом в углу, у окна — а я смотрю из-за

поворота коридора: кипит спор, взрывается Лаццари, раздается неожиданный смех. И среди экспансивных итальянцев — Ленин, полный жизни, сил.

Тогда же, в июле, открылся и I Международный конгресс революционных профсоюзов. Первое его заседание прошло в атмосфере общего воодушевления: взявшись за руки, делегаты из сорока стран дружно пели на разных языках «Интернационал». Каково же было мое удивление, когда в последующие дни в той же аудитории вспыхнули ожесточенные разногласия.

В то время не было еще ясности относительно роли и задач профсоюзов и при капиталистическом строе и в условиях социальной революции (напомню, что незадолго до этого нашу партию буквально лихорадила дискуссия о профсоюзах). На конгрессе были представлены самые различные оттенки рабочего движения: испанские анархисты, которые признавали одни лишь бомбы и молились не только на Бакунина, но и на батьку Махно; французские революционные синдикалисты — насмотревшись на предательские действия лидеров социалистической партии, они разуверились в политических партиях вообще и считали, что профсоюзы должны сами по себе подготовить и совершить революцию; наконец — правда, в небольшом числе, — откровенные реформисты, сторонники классового сотрудничества.

Во время выступления Ацимонти, деятеля итальянской Всеобщей конфедерации труда, произошел, например, следующий обмен репликами.

Р е п о с с и (с места): Но ты скажи, реформист ты, соглашатель ты или нет?

А ц и м о н т и: Да, я реформист и никогда этого не скрывал.

Реформист был в моем — да и не только в моем — понимании противником революции, соглашателем, прихвостнем буржуазии, и мне было непонятно, как может профсоюзный лидер во всеуслышанье, да еще с бравадой называть себя реформистом. Правда, мне уже случалось встречать наших русских реформистов — меньшевиков; в то время они еще пользовались известным влиянием на некоторых предприятиях, порой выступали на собраниях, но чаще всего предпочитали не провозглашать свои взгляды открыто. Теперь я тарашился на меньшевиков заграничных как на редкие экземпляры в зоопарке (увы, скоро я увидел их в предостаточном количестве).

Что привело тогда на конгресс некоторых деятелей, которые не были нам близки и вскоре от нас отошли? Их повлекла в Москву волна горячего сочувствия русской революции, охватившая пролетарские кварталы за рубежом. Иные лидеры профсоюзов рассчитывали поездкой на конгресс в Москву повысить свой авторитет, укрепить свои позиции. Политическая обстановка на Западе была напряженной, и кое-кто спешил застраховаться на случай революционных событий. Так или иначе, пестрый состав конгресса то и дело давал себя знать.

На этом фоне выделялись фигуры выдающихся деятелей революционного рабочего движения.

В перерыве между заседаниями делегат болгарского союза деревообделочников (он присутствовал на конгрессе под псевдонимом Василев) познакомил меня как-то раз со статным болгаринном — Георгием Димитровым, тогда у него была окладистая борода. Среди делегатов французских унитарных (революционных) профсоюзов был Пьер Сема, лидер железнодорожников; впоследствии его расстреляют гитлеровцы. Активнейшую роль в английской делегации играл Гарри Поллит; десять с небольшим лет спустя, когда я работал корреспондентом «Правды» в Лондоне, он был генеральным секретарем Коммунистической партии Великобритании, и я часто навещался к нему в старый дом на Кинг-стрит, где помещался аппарат ЦК партии: весь этот аппарат состоял тогда из него самого и одной машинистки. Большое впечатление произвел на меня американец Уильям Хейвуд. «Большой Билл» — так прозвали его рабочие — был колоритной фигурой. Одноглазый гигант с искалеченной правой рукой, он обладал исключительной силой, которая не раз выручала его в схватках со штрейкбрехерами и шпиками.

В дни конгресса собирались совещания делегатов по отраслям производства и создавались комитеты для поддержания связи и революционной пропаганды. Это не были международные производственные объединения; такие объединения — металлистов, горняков, транспортников и другие — существовали при Амстердамском (реформист-

ском) интернационале профсоюзов, и никто не собирался их раскалывать и дублировать. Задача заключалась в том, чтобы вести революционную работу внутри реформистских объединений.

В числе других создали и Международный комитет пропаганды революционных деревообделочников. Генеральным секретарем комитета выбрали Кабанова, его заместителем — меня.

Красный Интернационал Профсоюзов, созданный на конгрессе 1921 года, сыграл свою роль. Заложив основы теории и практики международного революционного профдвижения, Профинтерн подготовил почву для деятельности Всемирной федерации профсоюзов.

Ненароком учредительный конгресс Профинтерна задела крылом тяжелая трагедия. Чтобы восстановить ее в памяти, я взял комплект «Правды» за тот далекий июль. «Правда» печаталась тогда на двух страницах очень большого формата; эти огромные листы преимущественно расклеивались на стенах.

Сколько бед обрушилось в том месяце на молодую Советскую страну! 16 июля «Правда» сообщила тяжкую весть о голоде в Поволжье; передовая озаглавлена: «Все на продовольствие!» Стихи Демьяна Бедного:

...И нивы, вспаханные дважды,
Погибли жертвою неутоленной жажды,
Пришла великая народная беда...

23 июля — увеличенный номер, посвященный борьбе с голодом. А в «Хронике» заметка: «Движение холеры»; в ней цифры: «С начала эпидемии в республике отмечено 34 919 холерных случаев».

Вот наконец то, что я искал: в номере за 27 июля на первой странице, над передовой статьей, в черной рамке сообщение о гибели группы горняцких делегатов конгресса Профинтерна. Они отправились по Курской железной дороге в Донбасс на скоростном «аэромоторагоне», изобретенном инженером Абаковским. Произошла авария. Погиб председатель ЦК Всероссийского союза горнорабочих Артем (Сергеев), погибли немцы Гельбрих и Струпат, англичанин Хьюлет, болгарин Константинов, австралиец Фриман, погиб и сам изобретатель «аэромоторагона».

Артем (Федор Андреевич Сергеев) был, пожалуй, самым популярным человеком на конгрессе. Находясь в Австралии, куда он бежал с сибирской каторги через Корею и Японию, он овладел английским языком; на конгрессе ему не требовался переводчик. Его могучая фигура с бритой головой мелькала то в одном, то в другом конце Колонного зала, и всюду он вносил веселое оживление.

Но и катастрофа на Курской железной дороге, происшедшая через несколько дней после закрытия конгресса, была характерной чертой эпохи. Эпохи, когда люди не слишком берегли себя и с легким сердцем садились в еще не испытанную как следует машину...

Исполбюро Профинтерна обосновалось после конгресса в Гранатном переулке (сейчас улица Щусева). Тихий переулок возле Никитских ворот, застроенный особняками, владельцы которых бежали от революции. Один из таких особняков (дом № 13) предоставили Профинтерну. В доме — внутренние лестницы, узкие коридоры, загадочные переходы. Во дворе в сарае базировался транспорт Интернационала — пролетка и гнедая кобыла, при которых состоял старичок извозчик. Когда по утрам генеральный секретарь Профинтерна Лозовский с толстым портфелем на коленях катил в пролетке на работу по залитому солнцем Гранатному переулку, я без труда обгонял профинтерновский транспорт на своих молодых ногах.

На первых порах С. А. Лозовский предложил мне взять на себя, помимо руководства Международным комитетом деревообделочников, заведование организационным отделом Профинтерна. Собственно говоря, «заведование отделом» — громко сказано: я был единственным работником отдела и заведовал только собой (да и в Международном комитете руководил только собственной персоной).

В новом качестве мне приходилось в течение двух-трех месяцев присутствовать на заседаниях исполнительного бюро Профинтерна. Хотя, помимо ра-

ботников аппарата, в них участвовало не больше четырех-пяти членов исполбюро, находившихся в Москве, заседания эти порой протекали шумно. Выработка стратегии и тактики нового Интернационала профсоюзов происходила в борьбе на два фронта — против реформистов справа и анархистов слева. К тому же сказывались субъективные факторы. С. А. Лозовский любил произносить длинные речи, а так как нередко он же сам переводил свои речи на французский, заседания порой приобретали характер монологов. Это выводило из себя раздражительного В. П. Ногина, члена исполбюро от советских профсоюзов, председателя Всероссийского союза текстильщиков. Невысокий подвижной Лозовский с его повадками трибуна и длинный неповоротливый Ногин — в некотором роде антиподы, и пикировки между ними вскоре приняли хронический характер.

Несмотря на уговоры Лозовского, дольше двух-трех месяцев я в орготделе Профинтерна не задержался. Кажется, у меня хватило ума сообразить, что такая работа мне просто не по плечу. Я снова вернулся в здание ЦК союза в Леонтьевском переулке. А может быть, меня влекло туда неведомою силой потому, что на первом этаже, в Московском губернском отделе союза, вела работу среди женщин хорошенькая Катя Х. Когда я встречал ее на лестнице, меня охватывало сильнейшее смущение, и я торопился проскочить мимо, еле выдавив из себя «здравствуйте», хотя целый день ждал этой встречи.

Тем временем Профинтерн решил создать ряд профсоюзных конференций по отраслям производства. Советская Россия все еще находилась в кольце блокады; буржуазные государства хотели не только помешать нам торговать с другими странами, но и не допустить общения с западным пролетариатом, чтобы изолировать таким образом «бациллу большевизма». Советские же люди не собирались позволить кому бы то ни было воздвигнуть стену между ними и зарубежными товарищами по классу. Однако пробиться через блокаду легче одному или двум советским представителям, чем большой группе иностранцев. Потому и решили: конференции по производствам провести на этот раз на Западе.

Первой на очереди — международная конференция деревообделочников, намеченная на середину марта в Берлине. Всероссийский союз послал делегатами на конференцию М. Смирнова-Чубрикова, исполнявшего в тот момент обязанности председателя ЦК, и меня.

Путешествие предполагалось совершить по цепочке курьерской связи, налаженной между зарубежными коммунистическими партиями. Перед отъездом нас окунали критическим взглядом; на мне была кожаная тужурка, которую я носил и летом и зимой (забавно: эта мода революционных лет возродилась в наши дни, и притом на Западе!).

— Придется вас приодеть, — сказали товарищи. — А то вы броситесь в глаза первому попавшемуся шпику и далеко не уедете. Главное — не бросаться в глаза!

Мы получили по orderу костюмы из партии, присланной Американской рабочей помощью, пальто фасона реглан и новенькие калоши. В полу пиджака я зашил мандат на клочке полотна; каким-то чудом он сохранился у меня до сих пор. Несколько дней я ходил по Москве ферт фертом, и меня принимали за иностранца.

До Каунаса — тогдашней столицы буржуазной Литвы — мы ехали поездом с пересадкой в Риге. В Каунасе, согласно полученным инструкциям, мы затерялись в толпе и благополучно прибыли на явочную квартиру. Оттуда нас должны были передать с рук на руки, как эстафету. Дело осложнялось тем, что Смирнов, пожилой человек, страдал одышкой и отличался довольно приметной наружностью, к тому же он ни слова не говорил по-немецки.

Впрочем, наш первый проводник кое-как объяснялся по-русски. Это была швея лет восемнадцати, комсомолка, маленькая дурнушка, горячая и порывистая; вспоминаю о ней с глубокой нежностью. Звали ее Ева. В то время в Литве царил белый террор; арестованных коммунистов, комсомольцев, руководителей революционных профсоюзов подвергали в охранке жестоким пыткам, нередко убивали. Состоять в этих условиях курьером партии значило подвергаться смертельной опасности.

Ева встретила нас в назначенном месте и сообщила, что до пограничного поселка Кибартай мы поедем на извозчике; на поезде нельзя: железнодорожные станции кишат шпиками. С извозчиком она договорилась накануне; она его не знает; извозчиков приходится менять, чтобы они чего-нибудь не заподозрили. Нашему вознице Ева сказала, что она служанка, едет в Кибартай со своим баринном и его сыном. Говорить при нем по-русски нельзя ни в коем случае.

— Отличная погода,— заметила маленькая швея.

Дождь лил как из ведра. Покружив по каким-то кривым улочкам и убедившись, что никто за нами не следит, мы пришли к месту, где нас ожидала коляска с поднятым верхом. Ева усадила Смирнова и меня на укрытое заднее сиденье, а сама примостилась на передней скамеечке. Когда я попробовал поменяться с ней, она на меня зашипела: где это видано, чтобы служанка сидела на барском месте? Так всю дорогу она и мокла под дождем в своем худеньком пальтишке.

А дорога долгая: выехав из Каунаса утром, мы приехали в Кибартай к вечеру. Лошадь плелась неторопливой трусцой; мелькали мокрые поля и деревушки; изредка я перекидывался с Евой двумя-тремя словами; Смирнов молчал, только вздыхал. Единственное приключение произошло в Вирбалисе.

Вирбалис (в царской России — Вержболово) — в то время маленькое захолустное местечко. Извозчик остановил лошадь на широкой и пустой площади как раз напротив казенного здания с вывеской, на крыльце которого стояли двое полицейских. Не требовалось особой проницательности, чтобы понять: это полицейское управление. Сварливым голосом извозчик произнес что-то по-литовски, Ева яростно с ним заспорила. Я спросил, в чем дело.

— Он хочет получить двойную плату,— в сердцах ответила она.

Как видно, извозчик смекнул, что молчаливые господа едут в пограничный пункт не по железной дороге неспроста; скорее всего он решил, что везет контрабандистов. Так или иначе, ему захотелось подзаработать. Речь шла о небольшой сумме, да и выбора у нас не было, и я шепнул Еве, чтобы она согласилась на прибавку.

— Деньги у меня есть,— сказал я.— Передайте ему, что он получит сколько требует, и дело с концом.

— Вы не имеете права швыряться партийными деньгами! — запальчиво возразила она и продолжала корить возницу.

Полицейские на крыльце стали поглядывать в нашу сторону. А тут еще подал голос Смирнов.

— Что здесь все-таки происходит? — спросил он своим густым басом, разумеется, по-русски.

Отстранив Еву, я похлопал извозчика по плечу и дал ему понять, что его ультиматум принят. Он дернул вожжи, лошадь тронулась. Вирбалис вскоре остался позади, но Ева еще долго выговаривала мне за ущерб, нанесенный партийной кассе, и дулась до конца поездки.

Явка в Кибартае находилась в домике на окраине поселка, всего в нескольких стах метрах от границы. Там поселилась портниха, красивая белокурая литовка Анна, вдова солдата царской армии, убитого на войне. У Анны трое детей, и у всех троих — светлые волосы и синие глаза матери. Старшей девочке исполнилось двенадцать, младшему мальчику — около восьми. Хотя вместе с нами в дом вошла опасность, нас, советских людей, приняли в этой семье как желанных гостей. Анне не терпелось узнать все о Москве, детям — о наших пионерских отрядах.

Когда я думаю о героях нашей борьбы, я всегда вспоминаю литовскую солдатку, хозяйку явочной квартиры в поселке Кибартай. Как только Анна вышла из комнаты, Ева рассказала, что явки в этом пограничном поселке, где все у всех на виду, уже неоднократно проваливались, а хозяева явочных квартир исчезали в застенках охраны. Тем не менее когда партия предложила Анне взяться за это рискованное дело, она не колебалась. «Мать троих детей не так скоро заподозрят»,— говорила она. А чтобы как-то объяснить частые посещения ее дома приезжими мужчинами, она сама пустила среди соседей слух, будто поведение ее далеко не безупречно; больше того, она велела и детям поддерживать эту версию. И Анна сумела наладить в Кибартае безотказно действующий перевалочный пункт.

..За ужином продолжались расспросы о Советской России. Когда настала ночь, пришел контрабандист, приземистый крепыш с ног до головы во всем кожаном. Он недовольно качал головой и покряхтывал: дождь, как назло, перестал, сегодня полнолуние, переправляться через пограничную речку слишком рискованно. Но Анна знала, что послезавтра нас ждут в Берлине, и настояла на соблюдении намеченного расписания. Пристыдив проводника, она развеселила его шуткой, поднесла ему стакан горячительного, и он стал собираться в путь.

На прощанье я попытался расплатиться за ужин; в сущности говоря, мне просто хотелось чем-то помочь этой славной семье. Когда Анна от денег наотрез отказалась, я незаметно сунул их под свою тарелку.

Мы вышли на задворки. Луна сияла всюду. Проводник — его звали Янис — велел следовать за ним гуськом и не шуметь. Он двинулся вперед, за ним шел Смирнов, я замыкал шествие. Путь к пограничной речке лежал через картофельное поле. Мы шли, озаренные луной, и ощущение было такое, точно мы шагаем на виду у всего поселка.

Внезапно позади послышался какой-то топот. Мы замерли на месте. В ночной тишине раздался звонкий голос:

— Геноссен! Геноссен! ¹

Перед нами стояла старшая дочь Анны.

— Я так бежала, так бежала,— говорила она, задыхаясь.— Вы забыли у нас деньги!

Она протянула мне деньги, оставленные под тарелкой. Янис чертыхнулся по-литовски...

Но вот мы добрались до речки. Слева вдалеке чернел мост. При лунном свете можно было даже различить на мосту неясный силуэт часового.

Янис широко расставил ноги и наклонился вперед.

— Взбирайтесь мне на спину,— прошептал он.— Вода ледяная. Я в кожаном, мне это нипочем. Брод я знаю как свои пять пальцев. Если поскользнусь или если заметят, бегите к немецкому берегу. Пусть лучше поймают там, чем здесь.

Я перевел его слова Смирнову. Янис перенес его на другой берег и вернулся за мной. Я сел ему на спину, обхватив руками его плечи, и он снова вошел в воду, осторожно, но твердо ступая широко расставленными ногами.

Так мы очутились в Эйдкунене, в Восточной Пруссии, которую отделил тогда от основной германской территории так называемый «польский коридор». Ночь мы провели в большом амбаре на сеновале, а ранним утром звонили у двери курьера германской партии, который держал перевалочный пункт на своей стороне границы.

Как в тумане промелькнул Кёнигсберг. Польский коридор мы миновали в полном смысле слова шутя: наш провожатый предъявил пограничникам какие-то германские паспорта и проронил, кивнув на верхние полки, где лежали лицом к стене мы со Смирновым:

— Ребята напились на проводах.

Пограничники усмехнулись.

Чуть свет мы приехали в Берлин. Широкие прямые улицы пустынно. Такси доставило нас к конечному пункту путешествия. Эта последняя явка находилась в пивной в одном из рабочих кварталов. У двери пивной мы позвонили, потом звонили еще и еще, потом принялись стучать. Хозяин пивной — его квартира примыкала к пивному залу — спал крепким сном и ничего не слышал. Так прошло минут десять... двадцать. К нашему смущению, мы обнаружили, что редкие еще прохожие смотрят на нас во все глаза, а некоторые даже останавливаются, чтобы поглазеть в свое удовольствие. Я забарабанил в дверь сильнее. Тут она наконец отворилась, из нее выглянул усатый хозяин пивной, он поторопился втянуть нас в помещение и испуганно произнес:

— Ум готесвиллен! Ради бога! Снимите скорее эти штуки! Здесь никто этого не носит!

Его палец указывал на новенькие блестящие калоши, которыми мы так гордились.

На международную конференцию мы успели вовремя. Она открылась в тот же

¹ Товарищи! Товарищи! (Нем.)

день в помещении другой пивной. У немецких рабочих традиция: устраивать собрания в пивных, совмещая приятное с полезным. Содержатели пивных охотно шли навстречу прежде всего потому, что это выгодно. Нередко тот или иной из них вступал в рабочую партию, чтобы теснее связать с ней свое предприятие. Тогда он становился «партейгессе» — партийным товарищем, а пивная приобретала характер партийного клуба — «партейлокаля».

В одном из таких берлинских «партейлокалей» и состоялась в марте 1922 года вторая международная конференция революционных деревообделочников (первой считалась та, которая происходила во время учредительного конгресса Профинтерна). Конференция продолжалась два дня. Участники ее заслушали доклады союзов и групп, присоединившихся к Международному комитету пропаганды, обсудили назревшие вопросы.

По решению исполбюро Профинтерна я остался в Берлине, чтобы оттуда вести работу Международного комитета пропаганды деревообделочников, а заодно работать в Среднеевропейском бюро Профинтерна.

В то время работникам революционных профсоюзов Запада часто требовались и совет и помощь. Чтобы вопреки блокаде приблизить к ним свою работу, Профинтерн и создал Среднеевропейское бюро в Берлине, Бюро для романских стран — в Париже, Британское бюро — в Лондоне. Круг деятельности парижского и лондонского бюро был ограничен географическими рамками, их аппарат состоял из одного-двух освобожденных работников. Функции Среднеевропейского бюро значительно шире: фактически это представительство исполбюро Профинтерна, полномочное решать все неотложные вопросы на месте. Оно выпускало брошюры, бюллетени, листовки на нескольких языках, информировало рабочее движение Запада о положении в России и о деятельности советских профсоюзов, наконец, служило передаточной инстанцией в сношениях с исполбюро.

В обстановке Веймарской республики Среднеевропейское бюро находилось на нелегальном положении. Точнее, на нелегальном положении находились его основные отделы — организационный, информационно-редакторский, отдел связи. Что касается издательского отдела, то он существовал полулегально, под маркой личного предприятия Макса Цизе, секретаря бюро, берлинского профсоюзного работника, который поддерживал деловые отношения с мелкими типографиями. Вечно взлохмаченный, куда-то спешащий, казалось, он везде опаздывает и все забывает, но Макс повсюду поспевал вовремя и ничего не упускал из памяти.

Председатель бюро — Фриц Геккерт, член ЦК Коммунистической партии Германии. В прошлом строительный рабочий, активный участник «Союза Спартака», он возглавлял в революционные дни 1918 года Совет рабочих и солдатских депутатов в пролетарском Хемнице. Неизменно веселый, он даже при обсуждении самого серьезного вопроса не мог хоть раз не пошутить и не улыбнуться. Меня он называл «дер клейне» — малыш, не подозревая, как это меня бесило.

Постоянно перегруженный партийной работой, Геккерт мог уделять делам Профинтерна лишь несколько часов в неделю, и практически руководителем бюро, душой всей организации был в тот период его заместитель Наум Маркович Анцелович, известный деятель нашей партии и советских профсоюзов. Ему не было тогда и тридцати грех лет, но он успел пройти через царские тюрьмы и ссылки. Невысокого роста, широкоплечий, весь словно квадратный, он обладал недюжинной силой: позднее мне однажды довелось видеть на Северном Кавказе, как он вытащил застрявший в осенней грязи «фордик», подняв его сзади за бампер. Наум Маркович любил и умел убеждать аудиторию в правоте своих мыслей — все равно, состояла ли эта аудитория из тысячи людей или из одного человека, — убеждать до тех пор, пока с ним не соглашались. Отсюда его привычка пересыпать свою речь вопросами «а? что?», как бы проверяя впечатление, произведенное на собеседников.

Для внешнего мира Анцелович фигурировал как инженер Баум, конспиративные же его клички периодами менялись; весной 1922 года он звался Бернгардтом. Баум-Бернгардт взялся быть моим наставником по части конспирации. Но прежде всего он отправил меня в сопровождении немецкого товарища в магазин одежды, откуда я вышел одетый вполне прилично не по московским, а по берлинским понятиям. Затем он

устроил меня на квартиру в респектабельном буржуазном районе Вильмерсдорф у «танте Мари» — тети Марии. Поселился я у нее на полном пансионе, и она очень могла освоиться с незнакомой обстановкой.

Для прописки понадобился «солидный» документ. Инженер Баум раздобыл его у литовского консула в Берлине. Этот оборотистый делец бойко торговал документами, но всегда требовал встречи со своими «подопечными», утверждая, что с человеком подозрительным связываться не станет.

Мы встретились с консулом в одном кафе на Фридрихштрассе. Баум познакомил меня с необычайно представительным господином, одетым с иголки; его черные волосы блестели от бриллиантина. Я изо всех сил старался выглядеть как можно безобиднее, что мне в мои девятнадцать лет, наверно, вполне удавалось. Баум представил меня как уроженца Каунаса, сына состоятельных родителей, который удрал из дому и хочет учиться в Берлине. Убегая из дому, я впопыхах не позаботился о документах. Теперь, видите ли, родители меня простили, они согласны финансировать мое пребывание в Берлине, но для поступления в университет требуется бумага, удостоверяющая мою личность и мое гражданство.

— Почему вы уехали из дому в такой спешке? — неожиданно спросил консул. Я замаялся. За меня ответил Баум.

— Ах, госюдин консул, — вдохновенно сочинил он, — это такая романтическая история! Его отец вбил себе в голову женить его на невесте с богатым приданым. Но она, бедняжка, уродлива и к тому же хромает. Согласитесь, что от уродины можно сбежать без оглядки не то что в Берлин, но даже на край света. А?

Не думаю, чтобы господин консул поверил этой чепухе, но он удовлетворенно мотнул головой. На следующий день я получил необходимый документ: свидетельство на имя Петера Розенберга, литовского гражданина, студента.

— Как ты считаешь, — спросил я Анцеловича, — за кого все-таки принял нас консул?

— Скорее всего за спекулянтов, — ответил Анцелович. — Во всяком случае, он не подозревает, что имеет дело с русскими большевиками. Если бы он это узнал, его хватил бы кондрашка. А? Что?

Один из уроков Анцеловича по части конспирации чуть не окончился печально. Это случилось при первом нашем посещении квартиры тети Марии. Мы пришли задолго до назначенного времени и ее не застали. На площадке лестницы стоял пожилой человек в рабочей куртке. Анцелович подошел к соседней двери, сделал вид, что нажимает кнопку звонка, бросил мне замечание, что хозяев нет дома, после чего мы оба торжественно удалились, он впереди, а я в его кильватере.

— Учись, — сказал он мне. — Чужому человеку незачем знать, что к тете Марии ходят посторонние, похоже — иностранцы. Что?

Но когда мы вернулись через час, хозяйка моей будущей квартиры встретила нас встревоженная и сердитая.

— Это вы приходили, когда меня не было дома? — набросилась она на нас. — Меня дождался монтер, он мне рассказал, что здесь появились два подозрительных типа: увидев его, один из них сделал вид, что звонит у соседней двери. Но звонка за дверью не послышалось! Монтер заключил, что это грабители, которых смутило его присутствие. Он сказал, чтобы я предупредила полицию!

Я покатился с хохоту. Анцелович же быстро нашелся.

— Хотел тебе продемонстрировать, — заявил он мне, — что во всяком деле можно переборщить. И в конспирации тоже. Что? Если бы мы просто спросили у монтера, дома ли хозяйка, он, может быть, и запомнил бы, что у нее бывают иностранцы, но скорее всего не обратил бы на это особенного внимания. Мы переосторожничали и чуть не влипли. Во всем надо знать меру. А?

Мне присвоили конспиративную кличку Роберт и отвели рабочее место в организационном отделе Среднеевропейского бюро. В целях конспирации его отделы рассредоточили в разных районах города. Орготдел помещался в задней комнате магазина электротоваров. Кроме меня, там работали две машинистки, обслуживавшие все отделы бюро, и экспедитор; орготдел делал только первые шаги. Когда в магазин заходил покупатель, раздавался мелодичный звонок и одна из машинисток выходила к клиенту,

чтобы продать ему батарейки для карманного фонарика или иную мелочь; вторая машинистка прерывала на это время работу, чтобы не слышался стук машинки. Весь технический аппарат бюро, включая этих машинисток, состоял, конечно, из немецких товарищей.

Каждый день у нас появлялся курьер Курт с туго набитым портфелем. Письма для Профинтерна из разных стран приходили по почте на домашние адреса немецких работников бюро; часть этой корреспонденции требовала немедленного ответа, другая переправлялась в Москву. Связь с руководством и другими отделами бюро тоже осуществлялась через Курта.

В памяти у меня встает Берлин 1922 года. Наряду с трамваями и такси по улицам города разъезжали фазтоны и ломовики. Женщины ходили в юбках до пят и широкополых шляпах, на которых умещались целые клумбы искусственных цветов. Мужчины носили целлулоидные воротнички и помахивали тросточками. Меня удивило огромное количество воинственных памятников: Колонна Победы перед зданием рейхстага, статуя на Аллее Победы в Тиргартене, надменный комплекс «Националь Денкмаль» — национального мемориала, бесчисленные монументы полководцев всех времен на конях и без оных.

Эта воинственная симфония в камне и бронзе представляла разительный контраст с бедственным состоянием, в котором находилась побежденная страна, придавленная Версальским договором. Германия испытывала острый экономический и финансовый кризис. Печатные станки рейхсбанка штамповали все новые партии бумажных денег, которые падали в цене, не успев поступить в оборот.

Заработная плата рабочих и служащих быстро обесценивалась. Тетя Мария, которой я отдавал почти весь свой заработок, только вздыхала, сообщая мне о дикой пляске цен. В рабочих семьях был на строгом учете каждый ломоть хлеба, каждый грамм маргарина.

Зато капиталисты быстро научились пользоваться инфляцией. За кулисами совершались колоссальные мошеннические операции с иностранной валютой. Полученные правительственные кредиты возвращались в казну обесцененными марками. В ресторанах и кафе на Курфюрстендамм пировал «шибер» — спекулянт.

Люди роптали. Но сильная и влиятельная среди рабочих, особенно среди их старшего поколения, социал-демократическая партия, мощный аппарат реформистских профсоюзов с их восьмью миллионами членов удерживали рабочий класс от решительных выступлений. Социал-демократические и профсоюзные лидеры занимали важные посты в центральном и провинциальных правительствах, в многочисленных государственных учреждениях, в полиции. По существу, реформистская верхушка прочно вросла в систему Веймарской республики. На всех крутых поворотах буржуазия могла рассчитывать на поддержку со стороны социал-демократической партии и профсоюзного аппарата.

Ждали своего часа силы реакции. Всего за два года до этого рабочему классу удалось отразить контрреволюционный путч Каппа, цель которого заключалась в провозглашении военной диктатуры: капповский путч ликвидировали в результате всеобщей забастовки и вооруженных действий пролетариата. И все же повсюду вырастали фашистские организации, террористические группы. Солнечным июньским утром газеты принесли известие об убийстве министра иностранных дел Вальтера Ратенау; каких-нибудь два месяца тому назад он подписал в Рапалло договор с Советской Россией, который аннулировал взаимные претензии, восстанавливал дипломатические отношения и открывал путь к экономическому сотрудничеству между обоими государствами. Ратенау был убит террористами из организации «Консул».

Развитие революционного рабочего движения шло в Германии, по выражению В. И. Ленина, «особенно тяжелым и мучительным путем»². Коммунистическая партия Германии возникла лишь недавно. И только после присоединения к ней в конце 1920 года независимых социал-демократов она стала массовой партией. На разных этапах в тот период ее Центральный комитет возглавляли случайные люди — анархиству-

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 89

ющий интеллигент Пауль Леви, терявший голову в острые моменты, троцкистские авантюристы Рут Фишер и Маслов, правые оппортунисты Брандлер и Тальгеймер. Марксистско-ленинское ядро партийного руководства еще только начинало складываться.

С огромным интересом приглядывался я к немецкому рабочему движению. Правда, меня связывало нелегальное положение: Анцелович категорически запретил посещать собрания. Но иной раз — нечего греха таить — я нарушал наложенный запрет. К тому же мне часто доводилось встречаться и беседовать с товарищами из профсоюзной оппозиции. Все это служило хорошей школой.

Попутно, слыша повсюду немецкую речь и разговаривая на работе и на досуге с немцами, я научился бегло говорить по-немецки. Это очень пригодилось мне в командировке на конгресс Международного объединения деревообделочников, состоявшийся в Вене в конце июня 1922 года.

В Москве приняли решение: несмотря на отсутствие приглашения, послать советскую делегацию на этот конгресс. Делегаты Урманский и я. Урманский поехал в Вену легально, с австрийской въездной визой. Что касается меня, то мое сомнительное литовское удостоверение продиктовало необходимость путешествовать нелегально.

Однако на этот раз приключений с участием контрабандистов не предвиделось. Буржуазная Европа стерегла со всей строгостью лишь границу с Советской Россией; границы между европейскими странами охранялись слабо.

Чтобы попасть из Германии прямо в Австрию, требовалось сделать крюк через Баварию, где проходила германо-австрийская граница. Но следовало экономить время и деньги, а потому мне предложили двинуться «по прямой»: Берлин—Дрезден—Прага—Вена. Единственное неудобство этого маршрута заключалось в том, что предстояло ехать через Чехословакию и, следовательно, вместо одной границы пересечь две. На помощь снова пришла курьерская связь компартий.

Путешествие походило на простое туристское турне. Выехал я из Берлина утром. В Дрездене меня ждал на вокзале проводник — я узнал его по газете, которую он держал в руке. Мы обменялись паролем и отзывом, после чего поездом доехали почти до самой границы. На предпоследней станции мы слезли и двинулись пешком по немногочисленной холмистой местности. Был жаркий солнечный день; мы шли налегке, минуя деревни; весь мой багаж состоял из зубной щетки. Прогулка доставила большое удовольствие.

Через каких-нибудь три часа после того, как мы слезли с немецкого поезда, мы уже сидели в поезде чехословацком и вскоре очутились в Праге. На явочной квартире где-то в центре города проводник-немец передал меня проводнику-чеху. Тот продержал меня до вечера взаперти («Соседи не должны видеть у меня иностранцев»), а когда стемнело, мы пошли на вокзал. Около полуночи мы сошли с поезда в каком-то городе недалеко от австрийской границы. Помню городской сад, где мы постояли за деревьями, пока не удостоверились, что никто за нами не увязался, потом спуск с очень крутого пригорка — приходилось держаться руками за кусты, чтобы не скатиться вниз, — потом ночной переход по тропинкам и проселкам. Когда начало светать, я увидел кругом редкий лес, могучие дубы, а впереди — мелкий, но довольно широкий ручей, который весело бежал по камням. Мы разулись, закатали брюки и перешли через ручей.

— Вот мы и в Австрии, — сказал проводник.

В австрийском поезде я задремал, примостившись в углу купе. Сидевшая напротив веселая старушка (австрийцы — веселый народ) заметила с улыбкой:

— Наверно, молодой человек гулял всю ночь со своей девушкой.

Мой проводник подхватил:

— Ну конечно! Он большой повеса.

Старушка залилась смехом. Я покраснел.

В Вене я явился на квартиру к руководителю революционного «блока» (оппозиции) в Австрийском союзе деревообделочников Тоберу: в гостинице показываться без документа не следовало. Тобер и его жена — оба коммунисты — приняли меня с распростертыми объятьями. Урманского я нашел в одной из венских гостиниц.

На другое утро минут за десять до открытия международного конгресса два непрошенных советских гостя предъявили свои мандаты у дверей зала заседаний. Дежур-

ные с красной повязкой на рукаве — профсоюзные «орднеры» (дословно — блюстители порядка) — по-видимому, были предупреждены заранее о возможном появлении советских делегатов. Они нас в зал не пустили, а вызвали для переговоров генерального секретаря Международного объединения Вуденберга.

К нам вышел грузный голландец лет пятидесяти, с крупными чертами лица, массивным подбородком, болезненно белой кожей, белесоватыми волосами и взглядом исподлобья. На жилетке его добротного костюма красовалась массивная золотая цепочка (просто удивительно, до чего социал-демократические лидеры любят в своем внешнем облике подражать буржуа!). Рядом с Вуденбергом высился долговязый человек с темными усами и столь излюбленной прусскими военными короткой стрижкой бобриком: это Тарнов, председатель Германского союза деревообделочников, впоследствии председатель Всегерманского объединения профсоюзов.

Я назвал себя, представил Урманского (он не знал иностранных языков).

— Мы вас не приглашали,— мрачно изрек Вуденберг.

— А мы все-таки приехали,— бодро откликнулся я.

— Ну и уезжайте обратно,— со злостью бросил Тарнов.

— Вы не очень-то любезны,— сказал я.— Но что скажут члены ваших союзов, когда узнают, что вы не пустили на конгресс представителей русских рабочих?

Разговор происходил у самого входа в зал, прибывающие делегаты останавливались и прислушивались к нему с любопытством. Мы с Урманским не трогались с места, стояли как вкопанные. Запахло скандалом. Именно на такую ситуацию мы и рассчитывали.

Перекинувшись несколькими словами с Тарновым, Вуденберг проворчал:

— Ладно, вы можете войти в зал и сесть в задних рядах на местах для гостей. Но имейте в виду: слова вы не получите.

Войдя в зал, мы, конечно, сели рядом с другими делегатами. В небольшом зале собралось человек сорок участников конгресса, не считая «блюстителей порядка». Хотя конгресс открылся в воскресенье, венских рабочих не пригласили — таков уж стиль реформистских международных съездов. Да, собственно говоря, рабочего и не могли интересовать дебаты этого конгресса: на нем даже косвенно не затрагивался ни один из острых вопросов тех дней. Речи сводились к перечислению статистических данных о составе союзов и собранных взносах.

Единственную нотку оживления вносило присутствие советских представителей. Время от времени я посылал в президиум записки с напоминанием, что прошу слова, без надежды получить его: просто хотелось лишний раз досадить Вуденбергу и Тарнову.

Большинство участников конгресса, засидевшиеся на своих постах профсоюзные чиновники, смотрели с неприязнью на советских делегатов как на возмутителей спокойствия. Другие обходили нас с подчеркнутым равнодушием.

Меня брала злость. И когда в конце заседания Австрийский союз пригласил участников конгресса на встречу с венскими рабочими, я решил, что буду говорить во что бы то ни стало: даром, что ли, я выучился немецкому языку и проделал весь путь из Берлина!

Собрание происходило вечером в огромном пивном зале размером с целое футбольное поле. Участники собрания сидели за круглыми столами; президиум конгресса разместился на возвышении, на котором в обычные вечера, вероятно, играл оркестр. У дверей стояли «орднеры» с красными повязками, другие «орднеры» циркулировали по залу. Участников революционного блока во главе с Тобером в зал не пустили. Мы с Урманским устроились за одним из столиков недалеко от президиума. К нам тут же подсели двое рабочих средних лет — как я потом понял, приставленные к нам «орднеры». Еще до начала собрания я послал в президиум записку, что хочу передать привет от русских рабочих австрийским товарищам.

Собрание открыл председатель Австрийского союза деревообделочников Мрквичка. С речами выступили Вуденберг, Тарнов, кто-то из скандинавов. Лились речи, лилось пиво. Слышимость плохая: зал большой, а в то время помещения для собраний еще не радиофицировались. Все же я вынужден был отметить про себя, что социал-демократические ораторы неплохо умеют разговаривать с рабочей аудиторией, переме-

жая риторику с шуточками, в которых наряду со злой тещей фигурировал и жадный хозяин.

Я подошел к президиуму и спросил, дадут ли мне выступить.

— Нет! — хором отрезали Мрkvичка, Вуденберг, Тарнов.

«Хорошо же!» — подумал я, возвращаясь к своему месту. Вместо того чтобы сесть за столик, я вскочил на него и принялся говорить, а точнее, кричать, стараясь перекрыть голос очередного официального оратора. Не успел я выкрикнуть несколько фраз, как поднялась несусветная кутерьма. «Орднеры» бросились стаскивать меня со стола. Урманский, томившийся от бездействия, с восторгом бросился на «орднеров». Я продолжал надирать горло, отбиваясь ногами. Но это продолжалось недолго. Стащив таки меня со стола, «орднеры» принялись лупить меня пивными кружками — по плечам, по голове, как попало. Досталось и Урманскому.

Президиум поспешил объявить собрание закрытым и... затянул «Интернационал». Зал подхватил. Большинство присутствующих даже не видели, что происходит вдалеке за одним из столиков. Под пение международного пролетарского гимна меня продолжали молотить увесистыми кружками.

Но и противнику это не прошло даром. Происшествие на собрании деревообделочников получило огласку, заметка о нем появилась в печати, и многие рабочие выразили свое возмущение приемом, оказанным социал-демократическими лидерами советским представителям. А когда на следующее утро мы с Урманским пришли в здание, где проходил конгресс, нас встретил на лестнице высокий широкоплечий англичанин с седой головой и седыми же усами. Он представился: Алекс Госсип, генеральный секретарь Британского союза мебельщиков. Через переводчика он сообщил, что заявил при открытии заседания протест против избития советской делегации и в знак протеста покинул конгресс.

— Уйдем отсюда,— продолжал он.— В зал вас все равно больше не пустят: президиум дал такое распоряжение. Лучше обсудим, как нам установить контакты между нашими союзами. Все мои симпатии принадлежат Советской России...

Вскоре после возвращения в Берлин я стал собираться в Москву, где шла подготовка ко II конгрессу Профинтерна и новой — третьей по счету — международной встрече революционных деревообделочников.

Обратный путь домой я проделал в августе на немецком пароходе, который совершал рейсы между Штеттином и Петроградом. Чтобы достать выездную визу, меня снабдили каким-то не очень солидным документом, но все сошло благополучно.

Короткий путь от Штеттина в Петроград продолжался тогда трое суток. Финский залив еще кишел минами — наследием империалистической войны и антисоветской интервенции. Суда шли по узкому фарватеру, а к вечеру бросали якорь и дожидались рассвета.

В ноябре 1922 года я присутствовал на IV конгрессе Коминтерна. Владимир Ильич делал на конгрессе доклад «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции». Ленин говорил по-немецки, но я понимал каждое слово.

На II конгрессе Профинтерна обсуждали главным образом тактику единого фронта. Речь шла о том, чтобы вовлечь в борьбу против наступления капитала, фашизма и опасности новой империалистической войны самые широкие массы рабочих...

Недавно я слышал, как один молодой критик, разбирая словарь Маяковского, неодобрительно отозвался о выражении «паспортина», которое встречается в «Стихах о советском паспорте». Между тем выражение это очень точное. наш красный паспорт, который выдавался для поездок за границу (других паспортов у нас тогда вообще не имелось), был огромного формата — намного больше нынешнего. Паспорт-гигант, именно «краснокожая паспортина» или краснокожий паспортище. Вот только носить при себе такую громадину было не очень удобно.

В этом мне пришлось убедиться, когда Центральный комитет деревообделочников получил приглашение прислать делегацию на съезд Шведского союза рабочих лесопильных заводов и сплавщиков, который собирался в июне 1923 года в городе Сундсвалле. Решили послать на съезд председателя ЦК союза Кабанова и меня. Поскольку у нас имелось приглашение одного из сильных и влиятельных шведских союзов, мы

ехали вполне легально. Впервые я имел «краснокожую паспортину» с официальными визами: шведской — въездной и финской — транзитной.

Сундсвалль оказался небольшим, очень живописным городом на побережье Ботнического залива, у устья полноводной реки. Он стоял среди густых хвойных лесов — вероятно, значительную их часть с тех пор вырубili, ведь здесь находился центр шведской лесопильной промышленности. На главной улице высился памятник королю Густаву II Адольфу; этот воинственный король успел за двадцать с небольшим лет своего правления повоювать с Данией, Польшей, Россией и, наконец, впутался в Тридцатилетнюю войну, в ходе которой и был убит. Меня всегда удивляло, почему чтут память таких драчунов потомки людей, которых те уложили в немалом количестве на полях чужих стран.

Переводчика с русского в Сундсвалле не оказалось; я говорил по-немецки и перешел на немецкий выступление Кабанова, а один из участников съезда переводил с немецкого на шведский.

— Скажи спасибо,— заметил Кабанов,— что два года назад мы предложили тебе изучать языки.

— Скажи спасибо, что я не бил баклуши,— ответил я.

Политика пролетарского единства оправдала себя в Сундсвалле самым убедительным образом. Нам с Кабановым хотелось провести на съезде два решения: одно — о дальнейшем сотрудничестве между шведским и всероссийским союзами, другое — в поддержку присоединения Всероссийского союза к Международному объединению деревообделочников. На совещании делегатов, примыкавших к революционной оппозиции, мы предложили обсудить возможность внесения таких резолюций, однако руководители оппозиции высказались против. По их мнению, это было бы бесполезным и даже вредным шагом, так как большинство делегатов провалит наши предложения и тогда пойдет насмарку удачное начало съезда. Все наши аргументы отклонили вежливо, но решительно. Казалось, нас постигла неудача.

Наступил последний день съезда. Председатель Шведского союза Свенсон и присутствовавший на съезде член исполкома Международного объединения датчанин Петерсен повели нас в перерыве обедать в отдельную комнату ресторана. За обедом фигурировала скандинавская водка «аква витэ» (я выпил первый раз в жизни). Пошел разговор по душам. Понизив голос, старичок датчанин поведал, что втайне сочувствует Октябрьской революции и Советскому Союзу. Свенсон к нему присоединился. По-видимому, руководителей съезда увлекла царившая на нем атмосфера братства и дружбы с советскими рабочими. Тогда я достал из кармана проект резолюции о контактах с Всероссийским союзом и протянул его Свенсону, второй проект — о приеме Всероссийского союза в Международное объединение — вручил Петерсену. Мы пошли в зал, где Петерсен и Свенсон действительно зачитали оба проекта резолюций, принятые с восторгом.

В германском консульстве в Стокгольме нам автоматически выдали транзитные визы: наш обратный путь лежал через Берлин.

Германию 1923-го трудно сравнить с той, которую я оставил меньше года назад. Ссылаясь на задержки с уплатой германским правительством репарационных платежей, Франция и Бельгия оккупировали в январе Рурскую область. Богатейший промышленный район Германии с его угольными шахтами и сталелитейными заводами оказался отрезанным от страны. В ответ германское правительство полностью прекратило репарационные платежи и провозгласило так называемое «пассивное сопротивление», призвав рурское население к бойкоту оккупационных властей, к невыполнению их приказов и неуплате налогов. Со своей стороны, франко-бельгийские оккупанты обрушили на жителей Рура тяжкие репрессии, вынося тюремные приговоры тысячами и десятками тысяч, высылая участников «пассивного сопротивления» за пределы области.

Лишенная Рура, экономика страны окончательно подломилась. Закрывались заводы. Катастрофически росла безработица. Курс марки падал не по часам, а по минутам. Когда я очутился в Берлине в середине лета, один американский доллар котировался по официальному курсу в сотни тысяч марок, позднее счет пошел на миллионы и миллиарды. Германская буржуазия сознательно шла по пути «политики катастроф»: она

делала ставку на то, что державы-победительницы не смогут допустить краха Германии, хаоса или революции в центре Европы и вынуждены будут спасти побежденного противника (в конце концов так и случилось).

Положение сложилось отчаянное. Стихийно возникали забастовки, демонстрации. Полиция все чаще пускала в ход огнестрельное оружие.

В этих условиях, естественно, возрос объем деятельности Среднеевропейского бюро Профинтерна. Мне снова предложили задержаться в Берлине и приступить к работе в организационном отделе бюро. Мой красивый заграничный паспорт отправили в Москву, я опять стал литовским студентом Петером Розенбергом. Вот только квартиру пришлось сменить: теть Мария очутилась на подозрении у полиции.

Н. М. Анцелович — теперь его конспиративная кличка Вильгельм — ввел меня в курс очередных дел. Вся деятельность бюро Профинтерна ориентировалась в те дни главным образом на германское рабочее движение.

За время моего отсутствия орготдел Среднеевропейского бюро переехал в заднюю комнату писчебумажного магазина в одном из рабочих районов города; покупатели — главным образом дети школьного возраста, что имело свои преимущества. Но теперь мне приходилось все чаще выбираться за стены нашей конспиративной квартиры, встречаться с немецкими товарищами, рабочими.

Люди изголодались. В обеденный час в рабочей семье на стол подавалась миска кашлятка, в которой плавали две-три картофелины; суррогатный хлеб делился на крошечные ломтики. Поскольку деньги таяли буквально на глазах, положение даже высокооплачиваемых категорий рабочих, чиновников, лиц интеллигентного труда оказывалось ненамного лучше положения мусорщика.

Рейхсбанк печатал все новые партии бумажных купюр с фантастическим количеством нулей. На какой-нибудь бумажке в сто миллионов марок, которой нельзя было расплатиться даже за обед, немецкая педантичность по-прежнему помещала предупреждение, что изготовление фальшивых банкнот карается тюрьмой. Излюбленным персонажем невеселых берлинских анекдотов стал фальшивомонетчик, который прогорал потому, что не мог угнаться за печатным станком рейхсбанка.

У меня до сих пор сохранились толстые пачки купюр в 50 и 100 миллионов марок.

В середине августа Берлин охватила всеобщая политическая стачка. Исполнительные комитеты фабзавкомов, куда наряду с коммунистами входили беспартийные и социал-демократы, возникали по всей стране и пользовались растущим авторитетом. Множились вооруженные рабочие отряды — «пролетарские сотни». В Саксонии и Тюрингии возникли рабочие правительства из левых социал-демократов и коммунистов, опиравшиеся на большинство, которым рабочие партии обладали в ландтагах этих земель.

Августовская стачка свалила правительство крупного капиталиста Куно. Как и всегда в критические минуты, на помощь буржуазии поспешили социал-демократические лидеры. Они вступили в коалиционное правительство Штреземана, возглавлявшего так называемую народную партию, партию магнатов промышленности и финансовых тузов. Первым делом правительство запретило Всегерманский и берлинский исполнительные комитеты фабзавкомов, закрыло «Роте Фане» и другие коммунистические газеты. В конце сентября оно объявило всю Германию на осадном положении, приостановило действие конституции и передало исполнительную власть командующему рейхсвером генералу фон Секту, кумиру военщины. Одновременно правительство объявило о прекращении «пассивного сопротивления», капитулировав перед франко-бельгийскими оккупантами.

В стране складывалась революционная ситуация. Массы тянулись к коммунистической партии, но партия, которую в тот момент возглавляли правые оппортунисты Брандлер и Тальгеймер, медленно поворачивалась к массам. Брандлер и его коллеги искали решения не в подготовке революционного переворота, а в некоей договоренности с социал-демократической верхушкой.

Все же под нажимом ленинцев в Центральном комитете КПГ — Тельмана, Пика, Ульбрихта, Шнеллера и других — приняли решение о подготовке вооруженного восстания, создали группу по руководству восстанием. Она перебазировалась в Саксонию, где действовало рабочее правительство

Как-то само собой получилось, что в те горячие дни работа Среднеевропейского бюро вышла из нормальной колеи. Нас затягивал водоворот событий. После запрещения коммунистических газет возросло значение наших изданий.

Немецкие работники бюро получали срочные партийные задания. Появляясь время от времени на наших нелегальных квартирах, эти товарищи часто забывали об элементарных предосторожностях. Да и основное ядро работников бюро все меньше заботилось о правилах конспирации. А тут еще сказалось отсутствие Анцеловича: его арестовали в сентябре при попытке нелегального перехода германской границы — он направлялся в Голландию для переговоров с левыми деятелями Амстердамского интернационала профсоюзов о помощи назревавшей германской революции (предполагалось обсудить возможность парализовать забастовкой транспорт в случае иностранной интервенции).

В условиях нелегального положения дорого обходится малейшее пренебрежение правилами конспирации.

Еще в августе нашему орготделу пришлось спешно убраться из лавки канцелярских принадлежностей: туда зачастил какой-то подозрительный тип. Как потом выяснилось, он просто по ушам влюбился в одну из наших продавщиц-машинисток. Так или иначе, переезд состоялся, и мы перебрались на запасную квартиру в центре города: две большие комнаты в просторной квартире частнопрактикующего врача, который считался сочувствующим и, кроме того, не прочь был подзаработать. Квартира имела то удобство, что у врача — солидная клиентура и появление на лестнице каких-то незнакомых людей не могло вызвать подозрений. Неудобство же заключалось в том, что в передней мы нередко сталкивались с пациентами.

И вот однажды утром в середине октября в разгар работы меня вызвал в прихожую взволнованный хозяин квартиры. Он сообщил, что его только что посетили два господина, которые назвали себя представителями городской жилищной комиссии и задали ему уйму вопросов о том, как он использует жилплощадь, не сдает ли комнаты и если сдает, то кому и т. п. Мы знали, что под маской представителей жилищной комиссии часто орудуют агенты полиции.

Я исполнял в те недели обязанности секретаря Среднеевропейского бюро и являлся старшим по должности среди тех шести-семи человек, которые работали на квартире у врача. Не теряя ни минуты я предложил всем разойтись, захватив с собой переписку, документы адреса секретного характера. Сам же я глупейшим образом решил уйти последним — кажется, я воображал себя капитаном, который последним покидает тонущий корабль.

Большинство людей разошлось мгновенно, без суеты. Все сошло бы благополучно, если бы не Георг — работник одного из советских профсоюзов, незадолго до того прибывший из Москвы на международную конференцию и оставленный в аппарате бюро, так как он свободно говорил по-немецки. Милый, смешной увальень, добродушный, неуклюжий, рассеянный. Сейчас он копался, шарил по столам, разглядывал своими близорукими глазами какие-то бумажки.

Тут в комнату хлынуло человек десять в штатском. По-видимому, «представители жилищной комиссии» ходили за подкреплением.

— Предъявите документы! — приказал юркий человечек. И добавил: — Вы арестованы.

...О молодости! Ты само легкомыслие! Отчетливо помню, что я не был особенно огорчен провалом. В те годы мне постоянно встречались старшие товарищи, прошедшие через тюрьмы и ссылки, и я немного завидовал их интересному прошлому с арестами, тюрьмами, каторгой. Нечто похожее предстояло теперь испытать и мне, так что же было огорчаться? К тому же я был уверен, что серьезные последствия нам не угрожают; если не выручит германская революция, которую мы ждали со дня на день, это наверняка сделают наши товарищи: они нас не оставят. Вероятно, такие же чувства и мысли владели и Георгом. Со свойственной ему сконфуженной улыбкой и нескрываемым любопытством он наблюдал за обыском, который производили шпики, и, кажется, даже пытался их расспрашивать об особенностях их профессии.

Юркий человечек — как видно, старший в группе агентов. — вызвал по телефону полицейскую машину. Когда мне предстоит некоторый период безделья — например,

длительная поездка или отпуск, — я всегда прежде всего думаю о книгах для чтения. На этот раз я потихоньку подошел к одному из книжных шкафов хозяина квартиры, стащил с полки и сунул в карман маленький томик в зеленом переплете: «Айвенго» Вальтера Скотта в немецком переводе, изящное издание на тонкой бумаге: теперь я обеспечил себя литературой, по крайней мере на первое время. Затем я незаметно подошел к вешалке, где висело мое пальто, достал из кармана перчатку и затолкал в отделение для указательного пальца находившуюся при мне десятидолларовую бумажку (с предыдущей недели мы стали получать часть зарплаты в твердой валюте).

Нас вывели на улицу, где уже ждала полицейская машина — черный фургон с зарешеченным окошком в задней двери; внутри вдоль стен тянулись во всю длину фургона две скамьи; снаружи у двери помещался конвойный полицейский, другой полицейский сидел рядом с шофером. Такой автофургон — его прозвали «черной Марией» — был той осенью неременной деталью берлинского уличного пейзажа.

«Черная Мария» доставила нас в полицейское управление — «полицайпрезидиум» — на Александерплац. Мне часто доводилось проходить мимо этого громадного мрачного здания, сейчас мне представлялась возможность ознакомиться с его недрами.

В этих недрах нас с Георгом сфотографировали анфас и в профиль, сняли отпечатки пальцев и наконец ответили в большую камеру предварительного заключения с нарами в два этажа. Тут же находилось свыше тридцати человек: воры, сутенеры, проститутки мужского пола; впрочем, здесь было и несколько безработных, разгромивших хлебную лавку. Я устроился поближе к решетчатому окну и углубился в Вальтера Скотта.

Поздно вечером нас по одному вызвали к следователю. Я ожидал встретить в его лице этакого держиморду, а увидел стареющего лысого человека, усталого и озабоченного. Собственно говоря, допрос был чистой формальностью: меня поймали, так сказать, с поличным на конспиративной квартире нелегального представительства Красного Интернационала профсоюзов, о чем неопровержимо свидетельствовали найденные там печатные материалы и документы. Но закон есть закон, и следователь скучным голосом вел допрос по всей форме: имя, фамилия, род занятий?.. Мое литовское удостоверение лежало на столе перед следователем, и я плел вздор, впрочем, не имевший никакого значения: Петер Розенберг, уроженец Каунаса, гражданин Литвы, студент, зашел к частнопрактикующему врачу лечиться от головной боли, по ошибке попал не в ту комнату... Следователь только хмыкал, записывая все это. Не знаю, было ли так на самом деле или мне это показалось, но в голосе следователя я улавливал некоторую растерянность. Это не вызывало удивления: в те критические октябрьские дни чиновник «полицайпрезидиума», допрашивавший коммунистов, неизбежно должен был думать о том, что со дня на день роли могли и перемениться.

Вдруг позвонил телефон. Следователь снял трубку и долго слушал чью-то взволнованную речь, временами восклицая: «ну и ну!», «неслыханно!», «скажи на милость!». Мне подумалось, что это звонит ему из дома жена с сообщением об очередном скачке цен.

После этого звонка допрос пошел еще быстрее, и вскоре следователь отпустил меня восвояси. По дороге в камеру я представил себе, какое лицо будет у литовского консула, когда полиция спросит его, почему он снабжает липовыми документами большевиков.

Допрос Георга, судя по его рассказу, в точности походил на мой. Ночь мы с ним провели на верхнем этаже нар. Оберегать карманы не пришлось, так как по прибытии на Александерплац бумажники с деньгами у нас отобрали.

На следующий день нас снова вызвали к следователю, где все тот же чиновник дал подписать протоколы допроса, а на третий день велели спуститься во двор здания. Там снова ждала «черная Мария». На этот раз мы ехали не одни: в фургоне уже теснились какие-то мужчины и две женщины.

— Ты в первый раз попался, дружок? — спросила меня одна из них.

— Не разговаривать! — рявкнул в окошко полицейский.

Нас доставили в тюрьму Моабит и развели по одиночным камерам. Томик «Айвенго» мне разрешили сохранить, десятидолларовую бумажку я припрятал в корешке.

Тюрьма представляла собой громадный, растянутый в длину прямоугольник, полый посредине; вдоль внутренних стен шли в несколько этажей галереи, куда выходили двери камер. Обстановка камеры состояла из убирающейся в стену откидной койки с жиденьким тюфячком и выдавшим виды одеялом, крошечного столика, умывальника и унитаза. Хочу — с некоторым запозданием — отдать должное тюремной администрации: здесь строго соблюдалась хваленая немецкая чистота.

Минус заключался в том, что заключенных практически почти не кормили. Конечно, в условиях, когда люди голодали и на воле, наша диета не могла удивить, но от этого было не легче. Утром давали кружку коричневого пойла, даже отдаленно не напоминавшего кофе, и маленький дневной паек суррогатного хлеба, в обед — жиденькую баланду, именовавшуюся супом, на ужин — кружку все того же коричневого пойла. Правда, дежурный по этажу из уголовников сразу же шепнул мне, что если я раздобуду иностранную валюту, он сможет приобрести для меня через надзирателей любые продукты — разумеется, с некоторой наценкой. Я намотал себе это на ус, но решил расстаться со своими десятью долларами только тогда, когда основательно проймает голод: ведь неизвестно, сколько времени мне предстоит тут провести.

Из этих же соображений я растягивал чтение «Айвенго»: каждый день я позволял себе поглощать всего семь страниц, перечитывая их по три раза: утром, после обеда и вечером. Какую-то душеспасительную книжонку религиозного содержания принес мне из библиотеки дежурный, но читать ее оказалось невысказанно даже в тюрьме.

В общем, я находился в ожидании весточки с воли. И она вскоре пришла: меня вызвали в канцелярию на свидание с адвокатом.

В тюремной канцелярии ожидал щегольски одетый господин лет сорока, с холеной черной бородкой и ироническим взглядом живых глаз. Он назвал себя; это был Р., известный деятель левого фланга социал-демократической партии, член рейхстага, занимавший до недавнего времени крупный пост в министерстве юстиции. Я знал, что Р. в недавнем прошлом добился освобождения ряда арестованных товарищей. Лучшего адвоката я не мог и желать.

Нас оставили одних. Р. сказал, что он обо мне хлопочет, долго сидеть в тюрьме не придется. Дело скорее всего кончится высылкой за пределы Германии.

— Хоть вы и литовский гражданин, — сказал он, — вас, вероятно, вышлют в Россию. Вы не возражаете?

Он подмигнул.

Я не возражал. Через неделю Р. навестил меня снова, сообщив, что мое дело подвигается нормально. А после этого он явился неожиданно скоро с постановлением об освобождении Петера Розенберга и высылке его из Германии в двадцать четыре часа. Как раз в то утро я наконец-то передал свою американскую ассигнацию дежурному с наказом приобрести для меня масло и сахар; оставалось только пожелать приятного аппетита надзирателям. Да и «Айвенго» остался недочитанным. Мой тюремный стаж ограничился всего-навсего тремя неделями. Георга освободили еще раньше, и он уже был в Москве.

Р. ждал меня в канцелярии. У тюремных дверей стояло такси. Мой избавитель казался на этот раз каким-то сникшим и сидел в машине как в воду опущенный.

— Как вы полагаете, мой молодой друг, где выход для Германии? — внезапно спросил он.

Зная установку ЦК КПГ, я заикнулся было о вооруженном восстании.

— Они уже испробовали это на днях в Гамбурге, и ничего не вышло, — с досадой сказал Р. — Всегерманское вооруженное восстание? Невысказанно! Это была бы кровавая баня! Эйн Блутбад!

Так думали не только социал-демократы, даже лучшие из них, но и Брандлер со своими единомышленниками в руководстве компартии. Это они отменили уже назначенное начало восстания, предоставив сражаться в одиночку красному Гамбургу, куда директива об отмене вооруженного выступления не успела дойти.

История показала, что если уж дело дошло до революционной ситуации и взять власть иным путем невозможно, пролетариат должен смело идти в бой, не страшась жертв. В конечном счете это обойдется дешевле, чем бездействие в критический момент. Предательство социал-демократической верхушки, капитуляция брандлеровцев

осенью 1923 года дорого обошлись рабочему классу и всему народу Германии. Поставив у власти Гитлера и его банду, крупный капитал учинил немцам такую кровавую баню, какая никому и не снилась. Кстати сказать, я слышал, что мой бывший адвокат Р. окончил свои дни в гитлеровском концлагере...

В тот раз, когда мы обсуждали с ним судьбу Германии, он впервые улыбнулся, когда остановилось такси и я вынул из вновь обретенного бумажника толстую пачку банкнот в 50 и 100 миллионов марок, чтобы расплатиться с водителем.

— Сохраните эти деньги как сувенир о Германии двадцать третьего года,— сказал Р.,— они больше не имеют хождения...

За углом в кафе меня ожидал мой друг Ганс из бюро Профинтерна. Он обнял меня и вручил железнодорожный билет: поезд уходил рано утром.

— Прости, но у нас не было времени устроить тебе советскую въездную визу,— извинился Ганс.— Зато все другие визы в полном порядке. Можешь ехать спокойно, мы дадим знать в Москву, чтобы предупредили ваших пограничников. В конце концов, не выгонят же тебя из России.

Он рассмеялся.

В сутолоке тех дней что-то не сработало. Нет, наши пограничники не показали мне от ворот поворот. Они только сняли с поезда литовского гражданина Петера Розенберга, не имевшего въездной визы, и отправили его в лагерь для нарушителей границы под Витебском. «Там разберутся»,— сказали мне. Свою первую ночь дома я снова провел на нарах.

Зато на другой день, когда снеслись с Москвой и «разобрались», я делал доклад о событиях в Германии на собрании профсоюзного актива Витебска. А еще через несколько дней я докладывал о международном рабочем движении на Всероссийском съезде деревообделочников.

После съезда я сделал новую попытку пойти на учебу, о чем подал письменное заявление в бюро фракции РКП(б) Центрального комитета союза. Состоялось неприятное заседание бюро. Мне доказывали, что я эгоист, себялюбец, называли чуть ли не дезертиром. Я устыдился, обещал исправиться. Тогда мне сказали, что союз решил выпускать еженедельную газету и мне, помимо работы в международном комитете, придется ее редактировать.

— Я не журналист,— возразил я.

— Но ты не был и международником,— сказали мне.— А вот мы постановили — и ты им стал.

Так — помимо своей воли — я стал журналистом.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСАНДР ЯНОВ

★

ДВИЖЕНИЕ МОЛОДОГО ГЕРОЯ

Социологические заметки о художественной прозе 60-х годов

Критик А. Ланциков трижды опубликовал статью «Исповедальная проза и ее герой»¹. Сам по себе факт этот говорит, казалось бы, лишь о том, что критик А. Ланциков считает эту статью для себя программной. Но разве не говорит он, с другой стороны, что указанные в сноске издательства и редакции были искренне заинтересованы, чтобы эта статья увидела свет три раза подряд, наверно, сочувствовали ей, солидаризировались с нею, намеревались привлечь к ней общественное внимание. Но коли так обстоит дело, то статья А. Ланцикова перестает уже быть, что называется, частным достоянием А. Ланцикова и вырастает в известное литературно-критическое событие, общественную в некотором роде позицию. И представляет она уже в этом случае не только литературный, но и социологический, обществоведческий интерес. Тем более что и сам А. Ланциков претендует здесь не столько на художественный, сколько, говоря его собственными словами, на «социальный анализ», который «как раз нам и поможет проследить пути формирования общественных типов, сложившихся в недрах нашего поколения».

Задача абсолютно аналогичная задаче моей статьи. «Словно величественные дредоуты — пишет А. Ланциков о своих предшественниках, — прошли критики один за другим параллельными курсами, не обнару-

жив ни малейшего желания к взаимодействию». Так приличествует ли, скажите, мне после этого уподобиться еще одному такому дредоуту и не обнаружить желания взаимодействовать с А. Ланциковым.

1

«Не пора ли нам разобраться в нашем же литературном хозяйстве, — пишет А. Ланциков в первой главе своей работы, — когда мы имеем уже и достаточное число писательских имен и немалое число литературных героев? Не пора ли, наконец, разговору о прозе «молодых» выйти из состояния одной только лихой предположительности суждений? Пожалуй, настало время обзавестись нам и обоснованными выводами». «Нас в основном будет интересоваться «четвертое поколение», — пишет он далее. — ...Что же характерно для нашего поколения? Во-первых, трудности военного детства. Во-вторых, трудности послевоенной юности. В-третьих, невозможность вовремя получить образование (нарушение нормального пути развития). Это касается большей части поколения. А меньшая его часть, оказавшаяся в относительно благоприятных условиях, получила даже неожиданную льготу — почти бесконкурсную возможность поступить в вуз».

Итак, два поколения в одном поколении. Первое — действительно пострадавшее от войны, и второе — несмотря на все трудности от нее выигравшее. Первое — ушедшее, не получив образования, в «общепользительный физический труд», и второе — устремившееся сквозь открытый ему льготный ка-

¹ «Октябрь», 1968, № 2; А. Ланциков *Времен возвышенная связь. Статьи*. Библиотека «Огонек», 1969, № 41; *Жить страстями и идеями времени*. Сборник статей о литературе и искусстве М. «Молодая гвардия», 1970

нал в «интеллектуальную элиту». Судьба первого ущербна, второго — благополучна. И хотя вслед за этим А. Ланщиков вполне благонамеренно добавляет: «Разумеется, я не собираюсь винить другую часть поколения за ее относительную удачливость», это нисколько не мешает ему тут же поставить перед «благополучным поколением» коварный вопрос: «А кем ты не станешь после окончания вуза?» Тут, полагает он, должны последовать ответы: не стану рабочим, крестьянином, солдатом. «Оказывается, больше всего героев «исповедальной» прозы беспокоит не вопрос их призвания, а вопрос их благополучного (разрядка моя.— А. Я.) социального будущего. Кем угодно, но только не рабочим, не крестьянином, не солдатом».

Здесь уже, согласитесь, в наше сознание закрадывается некоторое сомнение. И дело не только в том, что А. Ланщиков все-таки винит «благополучное поколение», злонамеренно создавшее, по его мнению, «свой» литературный жанр — «исповедальную прозу», и своего «исповедального» героя. Дело в том, как он его винит и за что он его винит.

Рассмотрим сначала первый аспект.

«Исповедальные» герои, говорит А. Ланщиков, «переходят в решительное наступление, обосновательно претендуя на особую роль в общественной жизни. Они выдают себя за страшных новаторов, самоуверенно принимают самые неестественные позы с небескорыстной целью ошеломить всех новизной и оригинальностью. Прикинув еще на школьной скамье или на первых курсах вуза, какие льготы (разрядка моя.— А. Я.) сулит им эта новая роль, они решили биться за нее не на шутку. Вот тут-то и начинаются страдания новоявленных вертеров. Безусловно, свои истинные намерения они ловко закамouflировали, придали своим «страданиям» видимость мировой скорби, дабы возбудить к себе общественный интерес. И Ф. Кузнецов уговаривает нас принять весь этот маскарад за чистую монету».

Как видим, тут уже и следа не осталось от провозглашенного только что благого намерения не винить. Тут перо А. Ланщикова исполняется такой сатирической желчи и обличительного пафоса, что легко предвидеть: просто обвинить «удачливую часть поколения» в гигантском маскараде, предпринятом для достижения

«льгот» и «благополучного социального будущего», ему покажется мало.

И действительно. «Явление «исповедального» героя,— предупреждает он дальше,— не так уж и безобидно, как может показаться на первый взгляд. Только поняв общественную сущность и психологию этого героя, можно объяснить появление в нашей жизни различного рода тунейдцев и других деклассированных элементов». И еще: «Раскрой социальное инкогнито этого героя, которое всеми правдами и неправдами старается сохранить Ф. Кузнецов,— и перед нами предстанет психологический тип, лишенный социальных связей с трудовыми классами», явится «откровенная тенденция к элитарности». И еще: «Эгоцентризм и необоснованные претензии на исключительность... предубеждение к труду, особенно к «черному», на какое-то время ставило их в положение деклассированных элементов...».

Они поразительно единодушны и в своей активной неприязни (разрядка моя.— А. Я.) к трудовому народу». И еще: «По Толстому, наш герой оказывается... зверем».

Право, не принято как-то в социальном анализе столь откровенно браниться, обзывая злосчастный предмет своего исследования и «тунейдцами», и «деклассированными элементами», и даже «зверями». Но А. Ланщикову все мало. Ему еще нужно придать своему «социальному анализу» некоторый псевдополитический, что ли, оттенок, и поэтому завершающий аккорд его инвективы звучит поистине зловеще. «А не с того ли,— не без коварства спрашивает он, — начинали и «юные борцы» одного из сопредельных государств, которые потом попросту стали называться хлестким, словно бич, словом хунвейбины?»

И вот теперь, когда нам ясно, как винит А. Ланщиков «удачливую часть поколения», особенно любопытно посмотреть, за что же винит он ее так бескомпромиссно и яростно. В самом деле, то, что мы сейчас цитировали, касается более формы, нежели сути дела. Пусть форма нехороша, пусть А. Ланщиков предлагает нам желчные, угрюмые наветы на «часть поколения» — в словах ли дело? Простим ему и агрессивность и «угрюмство». Оставим форму и рассмотрим лучше содержание вопроса.

В каком именно «маскараде» обвиняет А. Ланщиков этих молодых «зверей» и какие именно их «тунейдческие» козни наме-

ревется расстроить? В чем состоят они, эти козни? Вспомним уже процитированное выше. «Героев заботит их социальное будущее — и только. Вуз — значит, ты уже не рабочий, и не крестьянин, и не солдат, остальное не важно», они «уже предвкушали тот миг, когда они без труда перешагнут порог вуза и станут членами «интеллектуальной» элиты».

Признаюсь, я нарочно, рискуя утомить читателя бесконечными цитатами, стараюсь точно и недвусмысленно изложить концепцию А. Ланщикова его собственными словами. Итак, козни «благополучного поколения», того, что явилось причиной создания «исповедального героя», состоят в том, что оно стремится незаконно проскочить в некую привилегированную «эли́ту». На том, что это за такая «элита», «лишенная социальных связей с трудовыми классами» и в то же время обеспечивающая молодым людям «благополучное социальное будущее», А. Ланщиков подробно не останавливается. Он только дает понять, что элита эта интеллектуальная, что ждет она молодых людей за «порогом вуза» и что, естественно, рвутся в нее эти молодые люди, дабы не стать «трудовым народом».

И напрасно мудрит, запутывая эту кристально ясную для А. Ланщикова картину, критик Ф. Кузнецов, взявший на себя сомнительную роль адвоката и, как сказано, апологета «исповедальной» прозы. Напрасно пытается он объяснить происхождение этой прозы какими-то ссылками на время, которое «разбудило мысль, и в первую очередь мысль молодых».

Какая там мысль! При чем здесь мысль, когда, как нам уже известно из слов А. Ланщикова, просто рвались эти молодые к благополучному социальному будущему, которое ждало их за порогом вуза, — и вдруг на этом привычном пути в вуз встала преграда — конкурсный отбор! Семафор на пути в «эли́ту» опустился, перед «благополучными» молодыми людьми зажегся красный свет — и благополучие их в мгновение ока рухнуло. «В эли́ту интеллектуалов, — торжествует А. Ланщиков, — они не попали, теперь им предстояло сделать выбор между рабочим классом и классом крестьян. Но именно эта альтернатива их и напугала... они предстали перед принципом «конкурсного отбора»... и их «голубые параллели» неожиданно были разбиты вдребзи».

Вот как все произошло, по А. Ланщико́ву,

на самом деле. Именно конкурс в вузы, грозный и нелюбезный конкурс карающей дланью судьбы настиг наконец и «благополучное поколение», настиг и положил предел его «элитарной тенденции». И «поколение», привыкшее к благополучию за счет своих братьев, занятых «черным трудом», взбесилось! Взбесилось и бросило в «исповедальной прозе» свой туеядческий вызов «трудовому народу»!

Вот до каких мрачных глубин докопался при помощи «социального анализа» А. Ланщиков, обнаружив, что в фундаменте столь злонамеренной «исповедальной прозы» лежит такой на первый взгляд невинный «конкурсный отбор». Но это еще что! Допустите на минуту, что с аргументацией А. Ланщикова, приведшей к такому паразитическому выводу, познакомился бы какой-нибудь проницательный и вьедливый читатель, которому захотелось бы непременно поставить все точки над «и». Право, он пришел бы бог весть к чему! К тому, например, что у нас существует некая белая кость, какая-то «элита интеллектуалов», — разве А. Ланщиков не утверждает это на каждом шагу? К тому, что только она, эта «элита», обеспечивает молодым людям благополучное социальное будущее, и, следовательно, не попасть в нее, стать рабочим, крестьянином или солдатом означает не обеспечить себе будущее. К тому, что если попасть в «эли́ту» можно только через вуз, то, стало быть, именно образование дезинтегрирует общество, служит не обязательным условием его процветания, но всего лишь легальным способом добиться социальных привилегий, стать над «трудовым народом». И не только «стать над», вспомним слова об «активной неприязни к трудовому народу». Ну просто невозможно перечислить, к каким еще мрачным выводам мог бы прийти такой проницательный читатель, принявший всерьез аргументацию А. Ланщикова. Но в том-то и дело, что брать ее всерьез нельзя!

В самом деле, хотел ли молодой критик потрясти мир столь зловещими «обоснованными выводами»? Да конечно же нет! Просто социальный анализ — вещь обоюдоострая, и браться за него без достаточного научного обеспечения — затея неблагоприятная и опасная. Просто для социального анализа нужно и кое-что еще, кроме, употребляя удачное выражение А. Ланщикова, «авторского возбуждения», вызванного к жизни справедливым негодованием по поводу не-

которых литературных лоботрясов. Просто коварную шутку сыграла с критиком его, чтоб мягко выразиться... недостаточная осведомленность. Право, довольно было самого беглого знакомства с реальным положением вещей в современной экономике и социологии, чтобы понять всю призрачность и вульгарность предлагаемых нам «обоснованных выводов».

Обратим внимание еще на одну сторону дела. А именно на то, что А. Ланщиков вообще не считает нужным доказывать свою более чем странную, а потому особенно нуждающуюся в доказательствах концепцию не только жизненным, но и литературным материалом. Может даже создаться впечатление, что он, кроме «Хроники времен Виктора Подгурского», принадлежащей перу А. Гладилина, рассказов В. Аксенова да статей Ф. Кузнецова, мало что знает о предмете своего исследования. Это неверно. Предмет А. Ланщиков знает. Не прибегает он для доказательства своей концепции к более или менее широкому материалу современной литературы совсем по другой причине. По какой же?

Да просто по той, что литература-то современная — пусть и содержащая ошибки и недостатки, но это ошибки и недостатки сегодняшнего толка, концепция же А. Ланщикова — анахронизм, заимствованный, списанный, взятый напрокат из арсенала консервативной литературы прошлого века. Вель это именно в ней, в этой литературе и нигде более, выработана была идея о том, что образование суть фактор социальной дезинтеграции общества. И это именно из нее исходил в свое время знаменитый русский консерватор К. Леонтьев, заявляя: «Да! В России еще много безграмотных людей; в России много еще того, что называют «варварством». И это наше счастье, а не горе»².

Впрочем, здесь не место анализировать генезис этой, мягко говоря, неудачной концепции. Полезней задуматься над самой возможностью воскрешения отживших гипотез, гальванизации бесплодных концепций, над возможностью выдать их за нечто актуальное, за социальный анализ. Этим-то по-настоящему и интересна трижды появившаяся на свет статья А. Ланщикова.

Естествен вопрос: не свидетельствует ли

этот факт о некоторой, скажем, неразработанности в нашей критике методологических аспектов действительного социального анализа формирования и смены ведущих общественных типов, сегодняшних и вчерашних героев литературы, сложнейшей диалектики их взаимоотношении, конкретно-социологических очертаний этого формирования и этой смены? Бесплодная концепция А. Ланщикова — одна из тех, что возникают из такой методологической неразработанности. Нисколько не претендуя на решение столь глобальной задачи, мне здесь просто хотелось бы провести какую-то предварительную, можно сказать, черновую работу. А именно — рассмотрим некоторые произведения прозы недавних 60-х годов, приглядеться, какой материал дает она нам для анализа движения, если угодно, взросления, возмужания ее молодого героя.

2

Аксиоматично, что каждый новый этап общественного развития — или даже подготовка к этому этапу, даже предчувствие его — выдвигает своего литературного героя, который в наибольшей степени соответствует времени чертами своего характера, своим интеллектуальным, нравственным, социальным обликом. Героя, который может служить его двигателем. Иными словами, сама общественная атмосфера, сам дух времени производит незримо своеобразную селекцию необходимых человеческих черт героя. Евгений Базаров сменил когда-то в литературе Евгения Онегина, а Павел Власов — Базарова. И это было закономерно, было в порядке вещей. И вовсе не означало, что во времена Базарова Онегина вдруг перевелись. Отнюдь. В жизни, в натуре их было и тогда предостаточно, многие из них процветали и добивались любви своих Татьян. Исчезли они лишь в качестве определяющих героев литературы, ибо потеряли свою позитивную социальную функцию, перестали служить двигателями общественного сознания.

И у Писарева были поэтому объективные основания обрушить на них свои сверкающие эскапады, расчищая дорогу новому герою, реалисту, акцентируя на не замеченных раньше отрицательных сторонах характера старого героя; на его слабостях, сдирая с него ореол поэтического обаяния, обличая его нефункциональность в новых

² К. Леонтьев. Собрание сочинений. Спб. 1913. т. 7. стр. 23.

условиях бытия, сближая его с Обломовым. Потому что в новой социальной ситуации Онегин, оставаясь Онегиным, объективно играл в жизни роль Обломова, роль граждански индифферентную и консервативную. Ибо социальная роль обуславливает характер, и каков человек в мире, таков и мир в человеке — одно неотъемлемо от другого.

Да, мятущийся, разочарованный и несчастный Онегин мог быть положительным героем дореформенной России, когда, по словам Герцена, «все печально сидело по шелям, читало книги, писало и, по большей части украдкой, показывало потом статьи»; сама никчемность жизни Онегина была протестом против социального убожества системы, была ей приговором: нерационально устроенное общество не только не могло найти употребления лучшим силам нации, но и отталкивало их от себя.

В пришедшей в движение пореформенной России одного протеста было уже недостаточно, социальная функция граждански индифферентного, так сказать, косвенного протестанта была исчерпана, нужны были протестанты прямые, нужны были борцы, социальные реформаторы, деятели. В литературе общество и пытается представить себе, наметить, осознать свой собственный, как говорится, социальный заказ на характер, на личность в которой испытывает оно сегодня живую потребность. Нет, «заказ» этот — еще не результат сознательного анализа. Именно оттого и делается он в литературе, а не в науке, что общественное сознание еще не готово его логически сформулировать. Общество уподобляется здесь скорее дитяти, которое еще не может выговорить, где ему больно, знает только, что болит...

Наука придет потом, обобщит, облечет в железные формулы, превратит живую плоть характеров в хрестоматийные каноны и нравственные стереотипы.

А вот роль социологической критики, этого соединительного звена между литературой и наукой, в том, видимо, и состоит, чтобы в гигантском многообразии и переплетении созданных литературой характеров уловить первую, еще туманную тенденцию и закономерность. Зафиксировать только еще нарождающуюся логику формирования нового героя. Определить схему селекции его человеческих черт. Выяснить его сегодняшнюю социальную функцию. Создать на этом основании гипотезу или, если угодно, прогноз дальнейшего движения такого характера.

Условимся, однако, сначала о терминах и дефинициях. Для меня герой литературы вовсе не просто «хороший человек» — не трус, не мошенник, не сутяга, не дурак. Важна деятельность героя, преобразующая общество, его причастность к историческому творчеству — та, что вырабатывает в человеке гражданина, личность. Без приобретения, как говорил Чернышевский, «привычки к самобытному участию в гражданских делах» человек не то что героем, даже просто мужчиною не становится. «Не делают подлости, не трусят, имеют обыкновенные честные убеждения, стараются действовать по ним, и только — экое геройство, в самом деле!»

А между тем масштаб исторической деятельности общества, энергия его и динамичность, сами его перспективы измеряются тем фактом, сумело ли оно сформировать своих героев, своих деятелей, тем, какую массу хороших людей смогло оно пробудить, мобилизовать для активного жизнетворчества, каковы каналы этой мобилизации, не загружены ли они, не затруднены ли. Путь от положительного персонажа к положительному герою — путь сложнейший. Именно он, путь этот, должен стать одной из главных тем литературной критики. Нам чрезвычайно важно различие между двумя этими ипостасями хорошего человека. «Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало», — заметил Чернышевский.

Проблема литературного героя далеко выходит за рамки собственно литературы, — речь идет о кардинальных тенденциях общественного развития, представляющих (или не представляющих) возможность для «самобытного участия в гражданских делах». И если положительный герой есть не просто хороший человек, а носитель позитивной социальной функции, если он причастен к историческому творчеству, то, стало быть, здесь проблема литературного героя становится еще и предметом социологии. Это первое, о чем мне хотелось бы условиться с читателем.

Второе заключается в том, что каждая конкретная эпоха выдвигает свой, и строго определенный, объективный, набор социальных функций или общественных ролей (как хотелось бы мне вопреки общепринятой терминологии выразиться), за рамками которого никакая позитивная историческая деятельность невозможна.

Нет, художник, конечно, волен взять в герой своего произведения любой приглянув-

шийся ему характер. Волен он и поставить этот характер в любые обстоятельства. Но на этом «произвол» его и кончается. Князь Мышкин не станет революционером, а Дон-Кихот жандармом. Брут может убить или не убить Цезаря, но сам стать Цезарем не сможет. Почему? В чем причина? Что ограничило здесь свободную волю художника? Какова вообще природа социальных ограничений художественной свободы? Разве не может художник просто заявить, что «так он видит» своих героев, «так чувствует их» — и басга! Разве по отношению к собственным созданиям не равен он в силе и власти богу?

Равен. Только и в божественный промысел вкрадывается холодная необходимость. «Люди сами делают свою историю, — говорит Маркс, — но они ее делают не самопроизвольно, не при обстоятельствах, выбранных ими самими, а при обстоятельствах, непосредственно данных заранее и унаследованных». И если, например, в середине прошлого века объективно не существовало уже во Франции роли великого Наполеона, то французы, которых «от опасностей революции... тянуло назад к египетским горшкам с мясом», могли бы при желании обзавестись лишь горшечником вместо героя, лишь терниями вместо лавров, лишь фарсом вместо трагедии. Больше того, «у них есть не только карикатура старого Наполеона — у них имеется сам старый Наполеон в карикатурном виде, каким он должен быть в середине XIX столетия».

И ничего тут не поделаешь! И если бы даже нашлся художник, пожелавший изобразить посредственность, скрывающую «свое пошло-отвратительное лицо под железной маской мертвого Наполеона», в виде торжествующего героя, и если бы даже художник этот был бесконечно талантлив — ничего, кроме карикатуры, у него не вышло бы. Ибо там, где роли нет, ее не придумаешь. Ибо разрешить такую задачу не в силах ни бог, ни царь и ни герой. Ибо свободная воля художника уперлась бы здесь в тот самый объективный набор социальных ролей, обусловленных своеобразием эпохи, о котором мы вели речь и который вовсе не всегда дает реализоваться всему бесчисленному многообразию характеров, сотворенных своенравной природой.

Например, для тургеневского Рудина вообще не нашлось роли в 40-е годы. И человек, который — кто знает? — мог бы стать блестящим оратором в Конвенте, выродился

в салонного красноречивца. А поставьте в рудинские обстоятельства громовержца Дантона — и получите гоголевского Констанжаго. Князь Мышкин, быть может, был бы пророком во времена раннего христианства, а в пореформенной России ему была уготована лишь роль идиота. Говорить ли о Чаадаеве, который «в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, а здесь он офицер гусарской»?

И что же из всего этого следует? Не то ли, что как бы ни был субъективно симпатичен тот или иной характер — вне его общественной роли, вне позитивной социальной функции, носителем которой он сегодня, в конкретных обстоятельствах конкретной эпохи, выступает, героем литературы он быть не может? Еще раз: роль определяет личность, а не наоборот. Такова вторая методологическая посылка, из которой намерен я исходить, говоря о движении молодого героя в прозе 60-х годов.

Третья состоит в том, что время этого героя знаменовало собой вопреки концепции А. Ланщикова вовсе не раскол поколения, не отбрасывание какой-то части поколения прочь от света науки, учения, а, напротив, знаменовало прогрессивный процесс интеллектуализации, укрепляющий и консолидирующий поколение на основе новых жизненных реалий, именно то, что в прошлых своих заметках о «рабочей теме» («Новый мир», 1971, № 3) мне пришлось обозначить как «образовательную революцию». И возникновение героя исповедаальной прозы, которого А. Ланщиков трижды предал анафеме как «тунеядца» и «зверя», на самом деле давало нам знак о бурном развитии этой «образовательной революции», о вступлении страны в эру научно-технической революции и развитого социализма. Конечно, герой этот был еще слаб и противоречив, конечно, недостатков была у него тьма, и мы еще будем подробно о них говорить, но интеллигентность его ничего общего не имела с «тунеядством», а недостатки — со «зверством», которое с такой бессильной агрессивностью пытался инкриминировать ему А. Ланщиков.

Можно ли забыть, что одна из черт действительного своеобразия нашей эпохи заключается в сложном воссоединении научно-технической революции с социалистическим способом хозяйствования? Что именно этим конкретным обстоятельством во многом определяется сегодня селекция человеческих черт литератора эпохи? Что именно здесь

наиболее отчетлива его причастность к историческому творчеству? И именно этим процессом, наконец, определены социальные роли, которым должен сегодняшний герой соответствовать?

По расчетам академика В. А. Трапезникова, затраты на научные исследования и разработки в СССР в четыре—шесть раз эффективней, нежели инвестиции в основные производственные фонды. Да и вообще в сегодняшнем производстве, как свидетельствует крупнейший американский экономист Джон Гэлбрейт, «доллар, затраченный на повышение интеллектуального уровня людей, как правило, увеличивает национальный доход больше, чем доллар, затраченный на железные дороги, плотины, станки и другие материальные ценности». Другими словами, сегодня даже экономика соглашается обслуживать интеллект, поскольку он соглашается обслуживать ее. Как можно предположить, что в наши дни, тем более в нашем социалистическом обществе, образование способно стать дезинтегрирующим обществом фактором?

Но если вложения в науку намного превосходят по своей эффективности вложения в любую отрасль «общепольного физического труда», то главной производительной силой общества становится труд интеллектуальный, а не физический, независимо от того, приложен ли интеллект к рабочему станку, чертежной доске или письменному столу литературного критика. Рабочий класс, и в особенности молодое его поколение, сам народ становится все интеллигентней. Становится таким, каким должен быть рабочий класс эпохи научно-технической революции. Не случайно на XV съезде профсоюзов подчеркнуто было, что «современный советский рабочий класс отличается не только от дореволюционного пролетариата, но и от рабочего класса 30-х годов, когда была одержана победа социализма в СССР» («Правда», 21 марта 1972 года).

60-е годы были поистине ключевым десятилетием, когда вступление в эру развитаго социализма, сплетаясь с мощным разворотом научно-технической революции, превращало современную эпоху, говоря словами М. А. Сулова, в «наиболее революционную эпоху в истории человечества». Удивительно ли, что именно в это десятилетие так стремительно утрачивали свою позитивную функцию одни литературные герои и столь же стремительно формировались и выходили на литературную арену другие?

И если Онегин не мог в качестве положительного героя столкнуться с Базаровым, Печорин не имел возможности лоб в лоб сойтись с Рахметовым — их действительно разделяли поколения, — то сейчас различные, условно говоря, типы героев функционируют в литературе и в общественном сознании одновременно. Только одни из них на наших глазах превращаются из героев просто в положительных персонажей (возможен и такой процесс!), а другие из персонажей вырастают в героев. Именно синхронность этого противоречивого, как сама жизнь, процесса и составляет действительную сложность современного литературно-критического и социологического анализа.

В том-то, между прочим, и заключается одна из методологических ошибок А. Ланщикова, что он пытается анализировать героя «исповедальной прозы» как некое обособленное, статичное, изолированное от предшественников и окружения явление, вызванное к жизни лишь «конкурсным отбором» и «авторским возбуждением» некоторых сочинителей. Критик изъяс предмет своего анализа из системы социальной жизни и литературных явлений, из исторического контекста. И тем самым исказил картину.

Жизнь не стоит на месте, и молодой герой эпохи научно-технической революции не мог быть таким, каким, скажем, был молодой герой «производственного романа» прошлых десятилетий. Просто герой должен соответствовать новым требованиям, которые предъявило ему новое время, новым социальным ролям, создаваемым стремительной общественной динамикой второй половины XX века.

Молодого героя «производственного романа» взрастил период количественного накопления индустриальной мощи, когда сколько ты произвел было важнее того, как ты произвел, когда, если можно так выразиться, арифметика производства господствовала над его алгеброй. «Можно сказать, что в годы нэпа и первых пятилеток, — говорил по этому поводу Л. И. Брежнев, — мы проходили начальную школу социалистического хозяйствования. Сейчас перед нами — задачи высшей школы экономики социализма». И еще: «Многие проблемы связаны, по существу, с самим нашим ростом, с тем, что мы вступили в такой этап развития, который уже не позволяет работать по-старому, требует новых методов и новых решений. Прошлый опыт здесь плохой советчик, а до

нового приходится дорабатываться упорными усилиями и поисками».

В жизни, в непосредственном бытии период «начальной школы социалистического хозяйствования» давно миновал. В общественном сознании, в литературе, отражающей эту кардинальную смену требований общества к его работникам, к его деятелям, процесс перехода к «высшей школе экономики социализма» происходил медленней и противоречивей. И если мы упустим из виду этот исторически противоречивый процесс, если мы исключим из нашего анализа развитие молодого героя, то никакого социального анализа поколения у нас не получится. А получится хула на него, нелепая и бессильная карикатура. Вот почему не намерен я вовсе в своих заметках строить, отталкиваясь от схемы А. Ланщикова, некую «антисхему»: серьезный спор на предложенной им платформе просто невозможен. Ибо совсем не от того зависит положительность героя, получил он диплом или нет, занимается он интеллектуальным трудом или физическим, — всякий труд равно почетен у нас, право, неловко даже повторять эту школьную прописку. Физический труд долго еще будет служить обществу свою полезную службу, но сам по себе он, естественно, не может быть свидетельством положительности молодого героя абсолютно так же, как и труд интеллектуальный. Можно иметь докторскую степень и академические лавры, как Денисов из «Иду на грозу», и не иметь никакого «социального будущего». И можно быть простым сельским механизатором, как Пастухов из «Разорванного рубля», и быть двигателем общественного развития, быть его надеждой и героем.

Вот почему спор на платформе А. Ланщикова нелеп и бесплоден: по-настоящему определяет положительность героя не род его занятий, а наличие у него за душой самостоятельной жизненной программы, способность его к позитивной борьбе за реконструкцию производства и коллектива. Вот почему вообще не в «исповедальной прозе», этом маленьком островке на большой карте нашей литературы, нужно искать ответа на кардинальный вопрос о том, что представляет собою на самом деле молодой герой 60-х годов. Ибо она отразила лишь один из первоначальных эпизодов его становления. И интересна она в этом смысле не сама по себе, но лишь как звено, как элемент, как переходный этап большого

литературного процесса, как косвенное свидетельство внутреннего движения в недрах молодого поколения. Как свидетельство того, что и в это время — в начале 60-х, — как и во все времена, в них не только что-то «закипало», нарождалось, но что-то и «остывало», сдавало позиции.

3

Двух молодых героев отчетливо видели мы в прозе 60-х годов — ровесников и современников, работавших за соседними станками. Только в характере одного из них преобладали черты «прошлого опыта», про который сказано, что он «плохой советчик», а характер другого формировала на наших глазах «высшая школа экономики социализма».

Сначала о первом. Первый умел вкалывать, как никто, он проходил сквозь непроходимые чащи и пролезал сквозь непролазные болота, он выдерживал порою сверхчеловеческое напряжение, он был самоотвержен и честен, но сопоставить эффект своего частного, локального усилия с общим, глобальным он не умел. Сложные, без преувеличения — решающие в современном производстве проблемы управления и организации труда оставались вне сферы его деятельности, его интересов, его компетенции.

Он всем был хорош, кроме одного. Кроме того, что не посягал на участие в управлении своим коллективом, своим микробществом, был неспособен к выдвиганию позитивных программ его реконструкции, приспособлялся к нему, вместо того чтобы приспособлять его к новым условиям бытия. Иными словами, он был социально инфантилен, этот юноша, он пытался по инерции решать задачи «высшей школы экономики социализма» методами «начальной школы социалистического хозяйствования». Да, он тоже был, как всякий положительный персонаж, функционален, но лишь в ограниченной сфере локального производственного эффекта. И он вовсе не сошел механически с литературной сцены, доказывать его несостоятельность как ведущего литературного героя нужно не словами, не заклинаниями — в литературе это плохой аргумент — но демонстрацией человеческих характеров, но живыми коллизиями, действительной плотью бытия.

Очень заманчиво было бы обратиться для исследования его характера к каноническим персонажам «производственного романа»

50-х годов. Но поскольку мы ограничены рамками 60-х, удовлетворимся бригадиром Несидой из повести А. Приставкина «Записки моего современника». Повесть эта вообще любопытна как сплав двух жанров: это одновременно и «исповедальная проза» и «производственный роман». И соответственно, здесь присутствуют и маленький благородный, но инфантильный герой-рассказчик, и традиционный положительно-производственный герой Несида. Причем Несида этот — бог для героя-рассказчика. Несида — свет, пример, образец, на которого он хотел бы походить и на которого, по его мнению, должны походить другие молодые строители. Так что же он такое, этот Несида, в чем привлекательность, в чем смысл и доминанта этого характера, в чем его сила и в чем слабость?

Когда мы встречаем его впервые, мы видим только его «богатырскую» грудь и крупное округлое лицо». Следующая встреча — в разгар трудового процесса на строительной площадке. «С самого начала я слышал: — Несида, нет машины! — Несида, позови крановщика! — Несида, помоги поднять скалу! — Несида, скажи, чтоб дали воздух! Несида! Несида! Несида! — И он, здоровый, круглолицый, прыгает между камней и вызывает машину, ищет крановщика, взваливает могучими руками валун, прицепляет бады...»

И при этом Несида успевает подумать и об инфантильном рассказчике: пожалеть его кожаные ботинки, поменять ему лопату, спросить, не болят ли с непривычки руки. И опять штурм, треск, гул, мощь гигантской стройки. «И в этой надрывной, немного дикой суматохе как ось, как центр нашей маленькой вселенной — круглая спина Несиды, натянута перекатывающимися кругляшками мускулов...» И так до конца. Несида округл, но в то же время и мускулист. Несида суров, но в то же время и чуток. Несида честен, отважен в труде, вкальвает до изнеможения, любое производственное затруднение разрешает сам: руками, спиной, сноровкой, интуицией.

Но что чувствует при этом Несида? Что он думает? Какова его жизненная позиция, какова философия? Что станет он делать, столкнувшись с конкретной иррациональностью производства, с такой, например, коллизией, которая действительно происходит в повести? «Смотри, вот этот бичевник вдоль скалы... Насыпали его зимой, да, оказалось, насыпали на лед. Как пошло поло-

водье, так и уплыла наша дорога, и денег миллионы уплыли... А сейчас опять возим, расширяем...» Но уплыли ведь не только миллионы — уплыли итоги самоотверженного труда, уплыл подвиг, то, ради чего не жалел здесь герой своей единственной, неповторимой жизни. А если он ее здесь, на этом фальшивом бичевнике, потерял — ведь рисковал же он ею ежечасно, ежеминутно, — то, может быть, уплыла и сама жизнь. И так ведь бывает...

Сознает это герой или не сознает? Что делает, как поступает он, сталкиваясь с этой иррациональностью в повседневной жизни?

Хоть автор излишне скуп в характеристике его духовной жизни, мы можем судить о ней, собрав воедино некоторые эпизодические конфликты Несиды с действительностью. В формах его социальной активности, когда он сталкивается с отрицательными явлениями, особенно отчетливо видно, сколь осмысленна его реакция.

«Смирный парень в первый же день приезда... с восхищением повествует герой-рассказчик, повздорил с милиционером и в доказательство своей правоты два раза стукнул его. И милиционер чуть-чуть не скончался». Так воевал Несида с бюрократизмом.

Когда происками прораба Парменкова нелепо и бессмысленно разгоняют передовую бригаду Несиды, сам бригадир сказался больным:

«... Не верите, что я заболел? Ну и не верьте. Я, может, и не болею. Только всю эту бюрократию я терпеть не могу!

При этом он, говорит, вдребезги разнес чернильницу у начальника на столе, а потом, успокоившись, через пару дней написал другое заявление, чтобы перевели вместе с его ребятами в рядовые бурильщики».

Тут вся мощь протеста и вся глубина смирения. Разнести чернильницу — и попроситься в бурильщики. Как угодно, но даже такие легкомысленные «исповедальные герои», как «коллеги» В. Аксенова, например, нашли бы в себе душевные силы, чтобы, усомнившись в нелепом приказе, до правды добратся, до дела свой протест довести (как и довел, впрочем, до дела историю в портовом складе с заведующим-ловкачом Леша Максимов, как не уступил ни пяди Саша Зеленый убийца Бугрову)... И пусть «Коллеги» еще незрелая книжка, пусть герои ее действительно не знают ответа на свои вопросы, как принято говорить на их счет в критике. Но уже самим своим существованием «кол-

леги» как бы открывают поразительную социальную инфантильность безупречно положительного с виду Несиды, открывают его интеллектуальную несостоятельность и гражданскую беспомощность.

Откуда берется эта инфантильность в молодом человеке, чистосердечнейшим образом рассказывает еще один собрат нашего Несиды — Костя Барбин из повести С. Сартакова «Горный ветер»: «Прежде я не мучил себя размышлениями. Поймал одну какую-нибудь мысль по радио, другую подцепил из газеты, третью подсунил Вася Тетерев (комсомольский секретарь.— А. Я.), четвертую — Илья Шахворостов (хулиган и спекулянт.— А. Я.). И пожалуйста, как говорится, программа жизни на текущий день. Что твои войлочные туфли: удобно, тепло, нигде не жмет!» «И еще мне подумалось: почему я до сих пор живу как-то не сам по себе, а кто поманит за собой, за тем и иду?»

Это, так сказать, автобиографическое признание тем более для нас важно, что оно объясняет, почему всюду, где нужны мышечные усилия, где нужно не жалеть себя, вздымая на круглой спине десятипудовые валуны, герой, подобный Несиде, прекрасно справляется с делом. Но там, где нужно проявить гражданскую отвагу, социальную зрелость, силу духа, он пасует, ступенькается. Что ж удивительного, если коварный прораб Парменков ломает могучего Несиду, как тростинку? Если хулиган и спекулянт Шахворостов вертит Барбиным как пожелает?

И мы, привыкшие вместе с героем-рассказчиком А. Приставкина восхищаться мощной спиной и железными руками Несиды, его великолепной способностью безупречно «вкалывать» в любых, самых нечеловеческих, условиях, мы вдруг — из-за появления на каком-то этапе литературного процесса художественно несовершенных «Коллег» и произведений, похожих на них, — начинаем замечать и совсем иные стороны характера Несиды, его тени, его слабости. Явился иной герой, еще бледный, еще абстрактный, но он уже действует; он уже меняет погоду в литературе — и Несида, могучий, непогрешимый Несида, на которого молится герой-рассказчик А. Приставкина, оказывается вовсе не олимпийцем, каким он всем нам еще недавно представлялся, а по-своему слабым и незрелым парнем. И уж менее всего героем...

Это наше удивление, а быть может прозрение, совсем не случайно стало предме-

том специального художественного исследования в рассказе М. Рощина «Мой учитель Гриша Панин». Разве не смотрели мы с восхищением и на этого Несиду, который носит здесь другое имя, но на самом деле тот же старый наш знакомец, наш образец, наш герой? Разве не увидели мы его глазами иного героя, тоже молодого, романтического, инфантильного паренька, пришедшего в цех со школьной скамьи, готового восхищаться своим учителем и желавшего «делагь жизнь с него»? И разве не прозрели мы вместе с ним, найдя в этом учителе нечто такое, что заставляет задуматься и паренька и нас?

4

Паренек из рассказа М. Рощина приходит на завод преисполненный самого высокого почтения ко всему цеховому, машинному. И даже спешка и суета, перебои цехового ритма, поглощенность людей планом и нормой кажутся ему романтическими, принадлежащими какому-то другому, бесконечно более значительному, чем тот, из которого он пришел, миру. Миру, к которому он страстно жаждет приобщиться, «мне тоже хочется давать норму, спешить, — исповедуется он, — а не слоняться и не сидеть с Томой на ящике...». Но, к его удивлению, делать ему приходится преимущественно это, ибо в манящем и загадочном мире, который его влечет, существует такая странная, на взгляд паренька, личность, как мастер Дмитрий Дмитрич. Самые невинные привычки героя, то, что он «таскал с собой в цех книги, читал в трамвае или в перерыв... мечтал об университете, об истфаке, учил самостоятельно латынь», превращаются вдруг в повод для насмешек, для презрительной клички «интеллипуция», «профессор».

«Больно много ученых развелось, работать ни черта не хотят. — Мастер снял очки, мясистое лицо его покраснело, он перевел теперь глаза на меня и глядел, ей-богу, с ненавистью. — Вот ты? Я тебя насквозь вижу. Книжки в голове. Рабочим, что ль, будешь? Как вон он, — толстым пальцем в Панина, — или как я? Что в колхозе, что здесь. Все учатся, учатся... А горб гнуть — дядя...» И на робкое возражение героя, что «ученые тоже нужны»: «А! — Он махнул в сердцах рукой. — Ученые! Чужой хлеб жрать вы нужны!»

Право, невозможно избавиться от ощущения, что простодушный и не обременен-

ный литературным бонтоном Дмитрий Дмитрич прямо, как говорится, по-стариковски в лоб высказал здесь то, что при помощи запутанных периодов и словосочетаний настойчиво внушал нам в своем критическом эссе А. Ланщиков. Да, А. Ланщиков пишет изящно, он употребляет такие неведомые Дмитрию Дмитричу выражения, как «претензии на исключительность», «элитарная тенденция», но говорит он в действительности то же самое: чужой хлеб жрать вы нужны!

Нет слов, мозоли — вещь почтенная и уважаемая. Но ведь и голова в современном производстве не последнее дело. Факт, что называется, доказанный. Конкретные исследования свидетельствуют, что число рационализаторов среди рабочих со средним образованием в полтора раза выше, нежели среди остальных рабочих того же возраста и стажа работы. И случаи аварий, брака и поломок инструментов у них вдвое реже. И смежные профессии, новое оборудование и новую продукцию осваивают они намного быстрее. По данным, например, полученным на машиностроительных заводах Ленинграда в 1965 году, доля работников, уволенных за нарушение трудовой дисциплины, среди молодых рабочих с аттестатом зрелости оказалась почти вдвое меньше, чем среди рабочих без семилетнего образования.

Есть такая проблема, социологи называют ее проблемой адаптации, а проще говоря — приспособления: вращение образованной молодежи (то есть практически прототипов нового героя) в индустриальный коллектив. И рассказ М. Рощина как литературное свидетельство, как тонкое исследование современного индустриального конфликта неоспоримо доказывает, что процесс этой адаптации — дело вовсе не простое и не безболезненное.

Это тем более серьезно потому, что в 1980 году большинство работников индустрии будет состоять из этих молодых людей с десятилеткой, читающих в перерыве классиков мировой философии, а не забивающих «козла», из молодых людей, которые не потерпят философии Дмитрича и сопутствующей ей нерациональности производственного процесса.

Нельзя же забывать, что именно сейчас, на наших глазах, среднее образование становится не только правом, но и обязанностью молодого человека. Вдумайтесь в то, что это означает: общество обязывает

каждого члена своего молодого поколения быть образованным. Обязывает потому, что не может без этого жить, развиваться и процветать. Это, стало быть, закон социальный. Именно в 60-е годы это становится законом государственным.

К концу нынешней пятилетки каждый восьмой гражданин СССР будет иметь диплом об окончании высшего или среднего специального учебного заведения. Каждый восьмой! Согласитесь, что эти объективные процессы огромной силы просто не могут не отразиться на молодом герое, вступающем на литературную сцену.

Но покуда-то им, этим юношам, порой приходится трудно. Покуда еще попрекают их «чужим хлебом» и чествят «интелипуцией» или «тунеядцами». Но общество заинтересовано в них, они нужны ему. Ибо они — его будущее...

Вернемся, однако, к Грише Панину, герою рассказа М. Рощина. В том, что Панин герой, не может быть сомнений. Панина еще нет на сцене, Панин в отпуске, но «Панин, Панин...» — только я и слышал», — признается наш бедный отверженный десятиклассник. «Панин, Панин...» Где ж ты, Панин? — зовет он его как мечту, как надежду. «Не тушуйся. Панин — человек!» — утешают его в трудную минуту. Мы ждем Панина вместе с героем нетерпеливо и даже в некотором роде с сердечным трепетом.

И вот он является. И он действительно человек. «И симпатичный такой, не старый... У меня даже сердце заколотилось. Надо же, Панин!» Панин — семиразрядник, первоклассный в своем деле мастер, добавок добросовестный, почти непьющий, станок любит, как жену, душевно чист и чуток. Он уважает человека даже в бессловесном ученике и никогда не скажет «интелипуция» по поводу записок Цезаря.

Но, как быстро выясняется, и мастера Дмитрия Дмитрича Панин в обиду не даст. «Чего-чего, а за производство Дмитрич болеет как за свое, это каждый скажет». «За производство он болеет! — почти крикнул я. — А с людьми он как обращается? За людей он болеет?» «Ну это что... — просто сказал Гриша. — У него главный план. А люди — что ж... Уж он так привык, не переделаешь...»

Первый удар по бескорыстному восхищению героя наносит простенький факт, который как-то не всегда замечали в своем

герое авторы «производственных романов». Но нашего десятиклассника он потрясает. «Как я вдруг выяснил, он Горького не читал». Дальше — больше. Оказывается, Гриша вообще не читает. «Не привык я, понимаешь, как-то все некогда, да и книжки попадают муровые, — бесхитростно исповедуется он. — Пока приедешь, пообедаешь, газету прочтешь, с дочкой там поиграешь, а там телевизор или в кино жена потащит — уже и спать надо. А в воскресенье тоже — то сад, то братаны приедут в гости, то там матрас надо перетягивать. Я за все лето на футболе-то всего раза три был, все некогда...»

Можно посочувствовать герою, на его глазах рушится идеал, меркнет ореол вокруг Гришиной головы. Но удары, которые наносит познание, беспощадны. Гриша включает музыку, Гриша никогда не был в опере, Гриша в ответ на пылкий рассказ о беспорядках в колхозе отзывается: «Ладно, не думай много, мозгов не хватит». Гриша равнодушен ко всем самым главным для героя жизненным ценностям. Одним словом, Гриша некультурен.

Нет, с точки зрения Дмитрия Дмитрича Гриша даже излишне культурен. Потому что брать чужие деньги, участвовать в «шахер-махере» явно стесняется. Потому что в «шалманчик» справлять обязательный ритуал после полочки ходит неохотно. Потому что не только не требует от ученика угощения, но и сам его угощает. Потому что не казнит его презрением за Костомарова и Ключевского, за «элитарную тенденцию». Потому что не только не видит в образованности «претензии на исключительность», но и сам испытывает неловкость за свою необразованность.

На то Гриша и умница, чтобы понять все, чего поборники такого героя в литературе не поняли. «Тебе учиться надо... — говорит он ученику... — Ты не втягивайся, понял?.. А то вот будешь как я... Я сам живу, живу, а потом, бывает, подумаю... Ну да что тут!»

Послушайте, ведь это поразительно, он учит героя не быть на себя похожим, он не хочет лепить своего ученика по своему образу и подобию, предостерегает его — «не втягивайся». Куда не втягивайся? Во что не втягивайся? Да в рутину обыденности и необразованности, в собственный домик, в котором «тесно от вещей», где наш герой сидит, переводя ошеломленный взор «с укрытого вышитой салфеткой телевизора

на диванные подушки-думочки, на этажерку с немногими книгами, на большой сундук, покрытый ковриком, на швейную машину и выпиленную лобзиком полку с вазочкой, в которой стояли восковые розы». Словом, на все, что еще недавно служило для удачных фельетонистов обязательными атрибутами «мещанства» и уж никак не вязалось с обликом самоотверженного производственника, «маяка», излюбленного положительного героя.

Не втягивайся! — говорит Панин. Не отказывайся от философских книг. Пусть стены в твоём доме будут уставлены книжными полками, а не восковыми розами. Пусть будут у тебя пластинки с операми, а не подушки-думочки. Живи не так, как я, живи шире, свободней, живи мыслью, а не только перетягиванием матраса. Вот же чему учит нового героя добрый человек Гриша Панин. Честь ему и хвала за это. Истинно он — учитель.

5

Та разновидность героя, тот несида, которого показал нам здесь М. Рождян, как, впрочем, и подлинный приставкинский Несида и Костя Барбин из «Горного ветра», — люди по натуре хорошие, бесхитростные и душевные. Нравственный их облик безупречен. И не вина, а беда их в том, что они несамостоятельны в своих суждениях и поведении, а значит, не способны к творческому освоению действительности, к исполнению позитивной социальной функции. «Ладно, не думай много, мозгов не хватит», — говорил, как мы помним, во всех выходявших за пределы его опыта и непосредственного интереса случаях Гриша Панин. «Кто помнит за собой, за тем и иду», — вторил ему Костя Барбин.

И откуда художники не выходят за пределы чисто психологического исследования душевной природы своих героев, недостаток этот выглядит вполне безобидно. Но совсем иное дело — ситуация острого социального конфликта, порожденного сегодняшней научно-технической революцией, где герой должен (обязан!) занять определенную позицию, где он вынужден самоопределиться в жизни. Вот тут, в кризисной, переломной, ключевой ситуации, сама жизнь ставит подобного героя перед категорическим выбором: либо обрести в этой борьбе новую жизнь, развивать в себе способность и привычку «к самобытному

участию в гражданских делах», стать, другими словами, героем новым, либо уступить ведущее место на литературной арене герою более глубокому и самостоятельному. Одни оказываются способны к такой метаморфозе, требующей огромного душевного напряжения, другие — нет. Что ж, это само собой разумеется.

Проблема в том, что именно в таких ситуациях характерная слабость, в которой признался Костя Барбин — «кто помянит за собой, за тем и иду», — может сыграть с человеком поистине роковую шутку. Как втягивал Шахворостов в свои махинации того же Барбина, так сегодня иной «поводырь» может втянуть его в орбиту настоящего консерватизма, даже помимо его воли заставить исполнять консервативную функцию. И тогда хороший, но несамостоятельный, социально не ориентированный человек объективно, силою обстоятельств превращается в отрицательного персонажа, как говорится, растет «не туда». И тогда глубина и неоднозначность коллизии многократно усиливается: ведь в отрицательной роли выступает хороший, нравственно безупречный человек, выступает, лишая эту роль очевидности и, как ни парадоксально это на первый взгляд, способствуя консерватизму куда больше, нежели сам его носитель — отрицательный герой.

Разве не эту именно поразительную ситуацию, не эту неожиданно консервативную функцию положительного персонажа с большим пристрастием и азартом исследует в своих повестях и очерках В. Тендряков? Не будем говорить о пространно истолкованной в критике «Поденке». Возьмем для анализа хотя бы самую простую из его вещей — опубликованный в начале 60-х годов очерк «Тяжелый характер».

Собственно, история, рассказанная Тендряковым в этом очерке, сейчас, в начале 70-х, может прозвучать и тривиально. Ну, был Зыбун, директор совхоза с «тяжелым характером», но с еще большими, перевешивающими тяжесть характера заслугами. Заслуги у него те же или почти те же, что у Вальгана из «Битвы в пути». Во всяком случае, говорит он о них теми же словами: «Свинарники, телятники, ветеринарный пункт, детские ясли, дома жилые. Город... Легко сказать! А я в сорок третьем с котомочкой за плечами вместе с нашими солдатами пришел. Весь совхоз — кирпичная каша, кое-где печные трубы торчали.

Вот этими руками.. из пепла поднял». Да этого у Зыбуна не отнимешь.

Но не отнимешь и того, что быстро обнаружил новый парторг Павлищев, того, какой ценою все это делается. «Почти все корма покупаются у государства. Раздуты штаты. Есть такие, что только числятся на работе и получают оклады. Семейственность... Директор окружен приятелями. Они на каждом шагу расточают ему похвалы, за это он пристраивает их на теплые, часто бесполезные для совхоза, местечки, строит приятелям дома-коттеджи, а много рабочих не имеет хорошего жилья». Словом, как выражается Павлищев, «вотчину из совхоза устроил».

Это все по нынешним временам известно. Не тривиально другое. А именно то, что здесь Тендряков впервые, сколько я знаю, в 60-е годы нащупал и исследовал социальную функцию одной из возможных модификаций нашего приятеля Несиды, выступающего здесь в облике знатной свинарки, «маяка», единственного на весь район Героя Социалистического Труда, работающей и добросовестной Дружковой Дарьи Панкратьевны. «Смотрите, какую орлицу вырастил! — говорят по этому поводу о Зыбуне. — По всей области слава идет!»

Но зачем, зачем, спрашивается, понадобилось Зыбуну «выращивать» из Дарьи Панкратьевны «маяка», зачем воспитывать собственную, «вотчинную» орлицу? Да очень просто. Парторг Павлищев быстро понял вместе с читателями, что «и самому Зыбуну выгодно: намекнет — Дружкова за него грудью встанет. А она-то Герой, золотая звездочка... Тонкий расчет».

Расчет-то, может, и вовсе не тонок, самый обыкновенный, старый как мир, коммерческий расчет. Просто в программу устройства вотчины Зыбуна наряду с коттеджами и свинарниками входило и «выращивание» положительного героя. Им и другим глаза колоть можно, и за спину его в случае нужды можно спрятаться. Ведь он простой человек, труженик, руки у него в мозолях. Устраивать такие спектакли прехосходно, как, может быть, помнит читатель, умел Вальган. Умеет и Зыбун. И социальная сущность этого демагогического маневра незамысловата: человек по видимости остается «внизу», формально не двигаясь вверх, не меняя в отличие от зыбун своей, так сказать, страты, остается вроде бы «обыкновенным», занятым «общепольным физическим трудом». А на са-

мом деле он получает реальные преимущества, как Дружкова: «Сразу же дом поставили на казенный счет, премии, пособия, живи — сыр в масле катайся».

И вот тут уже, когда Несида в этом новом для него обличье сделал свой выбор, когда он согласился на роль «вотчинного» орла или орлицы, тут уж начинает меняться и самый психологический строй его личности, обретая совсем иные, вовсе не свойственные ему до сих пор черты. Ибо, как мы уже говорили, именно социальная роль определяет личность, а не наоборот. И именно в этой ситуации конфликта, самостоятельно исследовать которую ему не под силу, он и может стать таким, каким мы его еще не знали. Может стать опасным и агрессивным. Своими натруженными руками, своим заслуженным трудовым престижем может прикрыть манипулятора, «вотчинника», который натравит его на «крамолу» в лице парторга, угрожающего разрушить сей слаженный дуэт, и этот выступающий в отрицательной роли несида оказывается вдруг оборотной стороной «вотчинников» зыбунов, обязательным условием их «вотчинности», псевдомократическим прикрытием их мощи, их консерватизма — вот в чем его настоящая тайна, открывшаяся нам в очерке В. Тендрякова.

Критик И. Золотусский в своей недавно вышедшей в свет интересной и острой книжке «Тепло добра» уже исследовал эту ситуацию. И пришел к любопытным выводам. «Павлицев видит эти отношения дружковых и зыбунов. Это отношение почвы и растущего на ней сорняка. Зыбуны порождают дружковых, но и дружковы порождают зыбунов. Они взаимосвязаны, они не могут быть друг без друга»³. Но основа этого явления только отчасти заключается в отмеченном И. Золотусским факте, что «это действительно рабочие люди, действительно «труженики», но труженики, которые не знают ничего, кроме своего труда, кроме выделенного им зыбунами участка». Основа эта — в отсутствии у дружковых и несид, обладающих всем обязательным набором добродетелей и, к сожалению, не замеченными раньше функциональными недостатками, самостоятельной жизненной программы. В том, что она вполне исчерпывается, как говорил Костя Барбин,

«текущим днем», сугубо локальным эффектом.

И только поняв эти доминирующие черты характера такого героя, познав его силу и слабость, можем мы по-настоящему представить себе всю громадность задачи, которая ожидала другого молодого героя уже в самом начале его формирования, у самых его истоков.

Он не мыслит без самостоятельно выработанной жизненной программы, она нужна ему как воздух, без нее он просто не мог жить, не мог ориентироваться в возросшей сложности производственной и социальной жизни. Ибо, как говорит профессор Ю. Замошкин, «личные проблемы все отчетливее выступают как социально-политические проблемы»⁴.

Он не сможет доверяться зыбунам и парменковым, увязая в консервативных предрассудках и стереотипах, он должен обладать даром критического мышления и критического отношения к окружающей действительности, к ее теневым, отрицательным, отживающим сторонам, должен воплотить здоровое критическое начало, которое тоже надо уметь поддерживать.

Ему обязательно нужно уметь сопоставить, соизмерить этот частный эффект с общим, с государственным эффектом. Ему нужно знать, какой ценой выращены свинюшки, на какой грунт насыпается дорога, зачем замерять паводок в бурю и почему именно здесь строить гидростанцию и строить ли ее вообще. Он не отождествляет себя с молекулой дела, он желает выступать как Субъект этого дела, как его творец. Другими словами, у него должна быть своя глобальная стратегия, во всяком случае, он должен принимать участие в ее выработке. Иначе он лишит ее своего доверия.

Если единственной формой протеста, известной Несиде, была разбитая чернильница или бессмысленный бунт тендряковской «поденки» — несчастной Насти Сыроежиной, развенчанного «маяка», то нравственные и интеллектуальные ресурсы позволяют иным героям выставлять против зыбунов свою собственную программу реконструкции производства и коллектива, ибо они и дух и живая плоть научно-технической революции в социалистическом обществе.

³ И Золотусский Тепло добра. М. 1970, стр. 37.

⁴ «Общество и молодежь». М. 1968, стр. 66—67.

Таков сегодня объем генеральных проблем, которые необходимо разрешить, чтобы стать подлинно героем. Таковы черты характера, которых потребовала жизнь, сама динамика, сама стремительность нашего развития.

Конечно, сейчас, когда 60-е годы с их литературными и всамделишными бурями и грозами становятся достоянием истории, когда резко проявляются прежде смутные черты и тенденции, легче обобщать и формулировать. И наивно сейчас упрекать своих предшественников, что они чего-то недоглядели в этом процессе, недопоняли и недоформулировали. Тем более что и сейчас нельзя высказать ничего иного, кроме гипотезы, кроме первоначальной попытки хоть слегка прояснить процесс формирования молодого героя. Ведь речь идет о процессе, который далеко еще не завершен, который прошел лишь несколько своих дебютных стадий. Вот о них-то мы сейчас и поговорим.

6

Поразительная вещь: главное, чем озабочен был молодой герой, явившийся миру, скажем, в аксеновских повестях, это приходиться на Несиду, быть от него неотличимым. «Я хочу жить взволнованно! — с вызовом ответил Максимов». То есть именно так, как ответил бы на вопрос «а ты чего хочешь?» и наш приятель Несида. «Думаешь, я боюсь отсутствия электричества и теплого клозета? Ерунда все это! Я готов», — исповедуется он. Хотя одному богу известно, почему нельзя жить взволнованно при электрическом свете и почему, напротив, нельзя стать Ионычем при отсутствии теплого клозета.

Нет, молодого врача Максимова смущают вовсе не предрассудки, не консерватизм, смущает полудетское: а какая нас ждет романтика в сельской глуши? «Вот если бы мне сказали: лезь в эту ракету, и тобой выстрелят в космос, и ты наверняка рассыплешься в прах во имя науки, — я бы только «ура» закричал». Студенческая дискуссия, которую представляют собой «Коллеги», поставив вопрос «какая романтика лучше?», указала на две ее модификации: романтика эффектно самоотверженная (когда тобой выстрелят в космос) и незаметно самоотверженная (когда ты тихо приносишь себя в жертву в сельской глуши).

Первый способ доверила она отстаивать Максиму, а второй — Зеленину. И в конце концов присуждается первенство программе Зеленина (романтика сельской глуши)... только потому, что, оказывается, и там, в глуши этой, можно жертвовать собою достаточно эффектно, состязаясь с бандитом Бугровым и прыгая с вертолета на помощь больному. Иначе говоря, побеждает программа Зеленина, незаметно деформируясь при этом в программу Максимова, причем неизменным атрибутом обеих дискутирующих программ является жертвенность. Словно бы для жертвы, а не для борьбы рождается на свет человек. Словно бы жить достойно можно лишь пожертвовав собою. Приходится только удивляться, как осталась незамеченной в критике эта скорбная доминанта аксеновского повествования.

Однако кое в чем герои Аксенова существенно отличаются от Несиды. А именно, в качестве объекта жертвенности выступает здесь уже не конкретная гидростанция, но понятия глобальные. Максимум готов пожертвовать собою лишь «во имя науки», Зеленин — во имя «цепочки поколений», концы которой теряются в необозримой мгле времен. Но в том-то и дело, что введение исторического и глобального элемента в жертвенную философию вносит в нее принципиальные и необратимые изменения, которых не замечают сами герои, но которые обязаны заметить их критики и истолкователи. Нет, при всем искреннем желании новых героев походить на Несиду, они не могут вызвать в себе его мироощущения, не могут не мыслить, не сопоставлять слово с делом, локальный эффект с глобальным, не могут без остатка раствориться в деле, ибо дело для них не кумир, но предмет их собственной деятельности. Они хотят владеть делом, а не подчиняться ему. «Пускай Чивилихин кричит, что трудности не страшат нас, молодых романтиков. Все знают, что он-то обеспечил себе местечко в клинической ординатуре», — проговаривается Максимов. Противоречие между высоким вербальным «штилем» и реальным золотым обеспечением этой бумажной «романтики» безжалостно вторгается в испытанную философию жертвенности, взрывая ее изнутри. Оно порождает вопросы, которых не ведал Несида, град вопросов, бурю вопросов, мучительно требующих ответов. Ответов, которых аксеновские герои, сколько бы они

ни декламировали, что «нас теперь научили смотреть правде в глаза», не знают. И все-таки между ними и Несидой та разница, что они не ведают ответов, а он не ведал и вопросов.

Пусть не знают на них ответов ни Максимов, ни Зеленин, ни сам автор, но раз вопрос поставлен, значит, ответ на него есть — есть у общества, есть у истории, есть у будущего. Разве когда Гоголь писал свои «Мертвые души», знал он ответы на свои вопросы? Разве действительный ответ на них был хоть сколько-нибудь похож на печальный лепет философа-дилетанта, которым пытался он на них отвечать в «Выбранных местах из переписки с друзьями»? И разве у будущего не было на них действительных ответов? Боже упаси, я не провожу никаких параллелей между «Коллегами» и «Мертвыми душами», я только хочу сказать, повторяя Маркса, что история ставит перед собою вопросы лишь тогда, когда знает на них ответ. Вот почему именно в этих вопросах, обнаживших несостоятельность философии Несиды, и заключалась историческая ценность, подлинная социальная функция иного молодого героя на этой первой, дебютной стадии его развития.

Его половинчатость, его положение кентавра, стремившегося рассуждать по-новому, а поступать по-старому, не понравилась критикам. И критики обрушились на него. Одни за то, что он рассуждает по-новому, другие за то, что он только рассуждает по-новому.

Но в том-то и дело, что аксеновские персонажи были всего лишь первым карандашным эскизом.

Иронии, скептицизма, юмора и сатиры, критичности у этих героев хватало. Но скептицизм их был вселенским, ирония — глобальной, а объектом критики выступал не иначе как мир божий со всеми его параллелями и меридианами. У них и оппонента достойного не было. Конкретного. Живого. С социальной характеристикой и реальными анкетными данными. Если не считать, конечно, воришку Яручка и уголовника Бугрова, то есть официальных, можно сказать, признанных врагов общества, которых оставалось лишь схватить за руку. Если бы «коллеги» хотели продолжать свою деятельность на этом поприще, им следовало бы пойти служить в ОБХСС или в угрозыск, как и сделали их сверстники, бывшие «молчаливые бородачи» из

ранних рассказов Ю. Семенова. И зачем им понадобилось движение личности «к убеждениям, вырабатываемым знанием и собственной мыслью» (о котором писал, защищая их от А. Ланщикова, критик Ф. Кузнецов)? Не очень ясно.

Как видите, и сам я не устоял перед могучим искушением поиронизировать над высокопарной, но, увы, беспредметной иронией молодого героя. Что ж, может, тем и ограничилось бы наше отношение к нему, если бы не явилась вдруг на литературной сцене совсем новая ипостась этого героя, знаменующая следующую эпоху его формирования, — Виталий Пастухов, «бригадир комсомольской бригады, культурный парень со средним образованием» («Разорванный рубль» Сергея Антонова).

Приглядитесь к нему внимательно, ведь это же второй Саша Зеленин! Он так же, как и Саша, отважен и так же застенчив и неуклюж. Он такой же беглец от благоустроенной городской квартиры, от «электричества и теплого клозета», сурово противопоставленных банальной романтике, в сельскую глушь, в несчастный, дышащий на ладан колхоз, где за труд в ту пору еще «платили докладами» и где, как рассказывает комсомольский секретарь Маруся Лебедева, «бывает, соберем правление, бьемся-бьемся, ищем-ищем, за какое звено уцепиться, да так с чем пришли, с тем и расходимся». И родители у него такие же трогательно хрупкие старомодные интеллигенты. И отец, как у Саши, врач. И «мечта» есть у них обоих как высшая ценность, которой строго подчинена жизнь...

Но тут начинаются различия.

Мечта Зеленина — некий нравственный постулат общего порядка: стать достойным звеном в «цепочке поколений» русских интеллигентов, идущей от Сенатской площади в неизмеримую даль коммунистического далека.

Мечта Пастухова предельно заземлена и конкретна — «поднять производительность в колхозе. Резко и решительно. В один год».

Всплощение мечты Зеленина зависит только от его личного энтузиазма. Оно предполагает необходимость самоусовершенствования, чувство «собственного окопчика» и множество других прекрасных, но субъективных вещей.

Воплощение мечты Пастухова — технической реконструкции хозяйства — упирается в трудности объективные. В част-

ности, как станет ему позже понятно, в социальную реконструкцию коллектива, в проблему управления им, в проблему его рационального устройства.

Если исходный постулат Зеленина предполагает необходимость приспособиться к условиям, поставленным жизнью, перестроить себя в соответствии с ними, то исходный постулат Пастухова принципиально противоположен — перестроить жизнь в соответствии со своей «мечтой».

Если главный принцип Зеленина поэтому — адаптация (к провинциальной глуши, к правилам и стереотипам сельского общепития), то главный принцип Пастухова — борьба (борьба с теми же стереотипами, оказывающимися на поверку консервативными тормозами реконструкции).

Как Зеленин хочет быть похожим на Несиду, так Пастухов жалеет походить на Зеленина. Но он уже не Зеленин. Ибо у него есть конкретная точка приложения своей «мечты». Ибо в практической своей реальности «мечта» Зеленина вполне сводится к добросовестному, если угодно, подвижническому исполнению профессионального долга. Ему надо поставить на ноги свою заудалую больничку. Заставить дремучего фельдшера Макара Ивановича освоить «Пособие для сельских фельдшеров». Командировать кого-нибудь из сестер на курсы рентгенолаборантов. Хорошо, но что дальше? Право, мы сочувствуем Саше, когда он «начинал придирчиво выискивать недостатки, раздумывая, что еще можно сделать. Заменить центрифугу и микроскоп, кое-какие детали рентгеновского аппарата. Вырвать у снабженцев новый комплект белья и пижам». Но ведь всё это никак не соотносится с социальной динамикой того микрообщества, в котором он живет. Вырвет он у снабженцев новый комплект пижам или не вырвет, динамичней от этого общество не станет.

А вот осуществлению «мечты» Пастухова предназначено перевернуть это микрообщество с головы на ноги, заставить его функционировать иначе, рациональней, эффективней. Пастухов отважно хватается за ведущие рычаги его механизма, за самое его ядрышко, за двигатель прогресса.

Ибо Зеленин и по характеру и по функции — подвижник, а Пастухов — революционер. Он пришел сюда со своей «мечтой», он жив ею и не успокоится, покуда

не воплотит ее. Лишите его этой «мечты» — и вы вынете из него стержень. И дух отлетит от него. И вы уже не отличите его от местной колхозной разновидности Несиды, «уважаемого маяка Зиновия Павловича, товарища Белоуса».

И тут, как это на первый взгляд ни казалось бы странным, в этом зеленом, незрелом юнце, в его несформировавшемся, но уже непреклонном характере, в его неукротимой мятежности проявляются вдруг черты Чумаловых и Маргулисесов, того доблестного поколения борцов эпохи индустриализации, бури и натиска, когда всякий сколь угодно локальный эффект имел непосредственно глобальное значение, когда казалось: еще одна гидростанция, еще один цементный завод, еще одна узкоколейка — и революция спасена, фундамент социализма заложен. Да, здесь мы отчетливо видим, что именно новый герой, именно Пастухов, а не самодовольный его оппонент «уважаемый маяк», не герой «старого опыта» унаследовал непримиримость, одну, но пламенную страсть от героев революционной первоэпохи. Именно он их наследник, а не Несида. Ибо в нем воплотилась эта героическая преемственность сегодня. Ибо он делает для своего времени, для своей эпохи то главное, без чего она не может идти вперед, так же, как самозабвенно делали это для своей эпохи Чумаловы.

Хотел или не хотел того С. Антонов, он показал нам в «Разорванном рубле», в произведении, разумеется, тоже далеком от совершенства, столкновение, подлинно гражданский конфликт нового молодого героя с хозяйством консервативного склада, с консервативным, как говорят социологи, микрообществом. На Несиде оно, это общество, держится. От Зеленина оно откупится лишним комплектом пижам. С Пастуховым оно ужиться не сможет.

Заметно это становится, когда на сравнительно спокойное течение жизни в колхозе перед самым его юбилеем ложится тень настоящей драмы — самоубийство Груни Офиеровой. Пастухов, как и следовало ожидать, реагирует на это однозначно: он себя не пожалеет, он готов драться за справедливость до конца, готов вместе со всеми, готов в одиночку.

«Многоуважаемый маяк» Белоус реагирует, естественно, иначе. Во-первых, «гостей назвали, из области приедут руководящие товарищи. А у нас заместо надыя

такая склока между собой». А во-вторых, осточертел ему вообще Пастухов с его «претензиями на исключительность», с его справедливостью. Там, понимаешь, «химия мокнет», ему, «многоуважаемому маяку», спать хочется, а Пастухов тут опять со своей справедливостью колобродит. Перед нами, всмотритесь, не только различное поведение двух героев, перед нами принципиально различное мировосприятие.

Еще яснее становится это, когда мы узнаем мнение о Пастухове председателя Ивана Степановича. «Есть,— говорит он на суде,— у Пастухова один недочет... Больше уж он торопится вперед людей проскочить, пролезть, как бы сказать, не замаравшись в историю. Не нравится ему быть как все люди. Этого ему мало... Только приехал — прямо с порога запустил гранату: скоростная механизация — и больше ничего! А если не согласны, значит, вы отсталие консерваторы и петроградцы. Те же рацеи читает Пастухову и запрограммированная председателем Маруся Лебедева: «У нас, к твоему сведению, не капиталистическое общество, чтобы у каждого мысли кривуляли по собственным зигзагам. А если ты такой исключительный... так дождись по крайней мере, когда тебя народ станет признавать. А сам не выставляйся. Будь поскромней. А то много об себе понимаешь».

Да ведь это же целая философия консерватизма. Здесь все ее испытанные аргументы: и «не нравится ему быть как все люди», и «много об себе понимаешь», и «образованность свою хочут показывать», и даже «претензия на исключительность». Не хватает только «элитарной тенденции», чтобы мы опять столкнулись с подстрочным переводом работы А. Ланщикова с языка «интелипупции» на язык «трудового народа».

Но зачем, зачем ему, Пастухову, быть как все? Зачем мало об себе понимать? Кому это нужно? На кого работают все эти аргументы — в повести, в критической ли статье? Простодушная Маруся бесхитростно выдает эту страшную тайну, отвечая на печальный монолог Пастухова.

Пастухов жалуется:

«— Одного не пойму... Какая тебе польза доказывать, что я самый что ни на есть середняк... Ну ладно, убедишь ты меня.. и стану я походить на тех замороженных человечков, у которых... серая мас-

ка через глаза просвечивает. Легче тебе будет?»

— Ивану Степановичу с тобой легче будет»,— выдает ему тайну Маруся.

А что будет легче Ивану Степановичу? Оставить все как есть, жить как вчера, как тридцать лет назад, торжественно утвердить свое консервативное кредо. Для этого ему нужен «многоуважаемый маяк», а не Пастухов, покорная Дружкова, а не мятежный критикан, который «не только своего родного председателя, но и отдельных районных руководителей позволяет себе высмеивать и наводить критику где не положено».

И ему удается, Ивану Степановичу, сломить Пастухова, «выпустить пар» из этого бунтующего, но наивного бригадира со средним образованием. Дорогой, правда, ценой. Ведь кончается повесть все-таки бунтом. Бунтом смирной и послушной Маруси Лебедевой, из которой Иван Степанович многие годы пытался сделать несуду которую Пастухов в два каких-нибудь года перевел на иные, свои рельсы. Значит, хоть и силен Иван Степанович, и опытен, и мудр, но победа его была пирровой победой. И Пастухову, при всей его неловкости и неопытности, тоже было чем похвалиться.

А ведь история Пастухова — всего лишь второй шаг молодого героя. Это птенец, едва выдупившийся из яйца новой прозы, едва начавший расправлять крылья. Но он уже не только умел критически мыслить, как аксеновские персонажи, он уже научился прилагать эти свои мысли к делу. Он уже выработал вместо монологов позитивную программу реконструкции производства. Он уже попытался ее реализовать. Он уже продемонстрировал нам воочию свои преимущества перед Несидой И если бы кто-нибудь вздумал теперь спросить, зачем нам нужен новый герой, мы могли бы ответить: затем, что, не умея и не желая приспособляться к предложенным ему условиям «вкальвания», он отваживается вступить в конфликт со своим коллективом во имя коренного изменения этих условий. Затем, что он не хочет быть «как все». Затем наконец, что нужен сейчас обществу не один количественный рост индустриальной мощи, но изменение ее качественное, принципиальное, революционное. И осуществить его может лишь качественно новый человек, который не только реконструирует мир, но и преобразует в процессе этой реконструкции себя само-

го. Разве не о том говорил на XVI съезде ВЛКСМ Л. И. Брежнев, указывая, что «вся разнообразная, многогранная» деятельность молодых рационализаторов, изобретателей, новаторов производства — формирует новый тип труженика (разрядка наша.— А. Я.) — поборника всего передового? Этот новый тип труженика и есть, по сути дела, молодой герой современной литературы.

Такова, на мой взгляд, столбовая дорога формирования молодого героя — не в монологах, а деятельном преобразовании жизни, не в созерцании, а в реальной борьбе с консерватизмом, не в пассивном накоплении знаний, а в самостоятельном социальном творчестве. Здесь программа, которая может привести его к подлинной гражданской зрелости, превратить из обычного положительного персонажа в действительного героя литературы.

И здесь нам следует внимательно рассмотреть и проанализировать иную, альтернативную изложенной здесь и, по существу, конкурирующую с ней программу становления нового молодого «героя нашего времени». Программу, которая, как считают некоторые критики, развернута в известных «Барбинских повестях» С. Сартакова.

Разумеется, я не буду касаться здесь их художественных достоинств и просчетов, всего множества моральных и бытовых проблем, которые в них затрагиваются. Интересует меня лишь одна их, можно сказать, социологическая сторона, исключительно то, что представляется мне программой становления нового молодого героя нашей литературы. И не согласен я с упомянутыми критиками тоже лишь в единственном пункте.

А именно в том, что становление это и мужание может происходить вне деятельного преодоления действительных общественных противоречий, вне кардинального преобразования жизни, вне борьбы за коренную техническую, организационную и социальную реконструкцию коллектива — в одной только бытовой сфере, в одном только созерцательном накоплении опыта и знаний. словно бы не живем мы в самую революционную в мировой истории эпоху. словно бы научно-техническая революция не преобразует стремительно все общественные связи, открывая каждый день новые перспективы и порождая новые коллизии. словно бы делает она это автоматически — не человеческими, не нашими ру-

ками, словно бы она, эта революция, не мы сами, не наши современники, не наши герои...

7

Автор «Горного ветра» и не отрицает, как мы видели, что начинал свою трудовую деятельность его герой без самостоятельной жизненной программы, «не мучая себя размышлениями». Но путь его к этим размышлениям вовсе не лежал через самостоятельное осмысление жизни, через поиски и тревожные вопросы героев «исповедальной» прозы, через разочарование рошинского героя, через страстную позитивную борьбу Пастухова. Нет, Косте встретился случайно на жизненном пути добрый и умный академик, который открыл ему глаза на его бесхарактерность и гражданскую инфантильность. И герой нравственно прозревает — сжигает то, чему поклонялся, и поклоняется тому, что сжигал. Но эта решительная метаморфоза носит характер чисто психологического кризиса, ибо вокруг него все как было, так и остается в самом образцовом порядке, преобразовывать и реконструировать тут абсолютно нечего, бороться всерьез не за что. Одним словом, реализуется свое прозрение герою остается лишь в самообразовании да разве еще в разоблачении очевидного спекулянта Шахворостова, о котором и без того уже известно, что он подонок и ничтожество. Вот и вся социальная задача, которая встает перед Костей Барбиным, когда он уже прозрел и почувствовал себя настоящим человеком.

Но согласитесь, что есть все-таки принципиальная разница между рождением героя в процессе революционной практики, когда, преобразуя мир, тем самым преобразует он и самого себя, и безбидным просветительством, в результате которого человек в лучшем случае осознает необходимость в самоусовершенствовании. Ибо, писал Маркс, «совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика»⁵.

Можно понять затруднения иных критиков, которым хотелось во что бы то ни стало увидеть в прозревшем Косте героя. Конечно, это заманчиво, ведь Костя и

⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 2.

впрямь милый парень. Но нельзя все-таки согласиться, например, с критиком, который, провозгласив в своей рецензии, что «Костя Барбин. Алеша Костянок, Андрей Корнев — герои середины XX века», доказывает это таким своеобразным способом. «Из-за поломки механизма,— рассказывает он,— теплоход на несколько часов задержался в одном порту. 500 пассажиров толпились на берегу, ожидая посадки... Барбин видит нелепость такого положения и горячо говорит об этом строгому капитану. И тот, махнув рукой на инструкцию, дает сигнал на посадку. Костя Барбин сделал доброе дело для пятисот человек... Вот что значит быть на земле человеком. Делать людям добро — равносильно подвигу»⁶.

Ну, во-первых, если «махание рукой на инструкцию» на самом деле можно приравнять к подвигу, то совершен он все-таки не столько молодым героем, вся роль которого ограничилась лишь тем, что он «горячо говорит», сколько старым капитаном, который самолично «махнул рукой», взяв тем самым ответственность за подвиг на себя. А во-вторых, если уж говорить серьезно, от какой, право, бедности можно самое невинное движение души приравнять к подвигу!

Уже по «Горному ветру» логично было предположить, что если Костя еще глубже погружится в узкий круг чисто бытовых, лишенных какого бы то ни было оттенка серьезности и социальности интересов, то, утратив юношеское обаяние, он окончательно превратится в созерцателя, безнадежно потеряет возможность стать «героем середины XX века».

И вот появляется «Не отдавай королеву», и повзрослевшему Косте снова отчаянно везет. Работает он в идеальной бригаде, где ребята все на подбор, притерлись, «как колесики в хороших часах», где нет ни текучести кадров, ни проблем трудовой дисциплины, ни «избыточного образования», где труд организован образцово и технология производства, хоть и сводится только к лопате и «кублу», всех устраивает, где, словом, никаких реальных проблем, которые волнуют сегодняшнюю индустрию, просто нет. Судя по Костиным рассуждениям, производительность труда в бригаде тоже, невзирая на лопату и «кубло», на уровне мировых стандартов, так что, мож-

но сказать, неизвестно, куда идти дальше по пути прогресса, да и стоит ли, собственно, идти. Недаром же об отсталости технологии говорит в повести один только бузотер Кошич. И Косте ясно, что разговор о новой технике по самому своему существу нелепый и бузотерский. Словом, в главной, социальной сфере в трудовом коллективе все обстоит идеально, никаких конфликтов не существует, и преодолевать их по этой причине нет решительно никакой надобности. Удивительно ли, что если среди героев повести еще и находятся возмутители спокойствия вроде маленького путаника рабочего Кошича или большого путаника поэта Жужжина, то претензии их начисто лишены позитивности — перед нами просто смутьяны, сбитые кем-то с толку и неизвестно зачем мутящие прозрачную енисейскую воду.

В результате получается то, что и должно было получиться. А именно, оппонируя глупому бузотеру Кошичу, положительный Барбин невольно становится в оппозицию к тому молодому герою, бессильной пародией на которого выступает здесь Кошич, к герою типа Пастухова, одушевленного идеей реконструкции своего коллектива, живущего мечтой о мировых стандартах нашего производства, об абсолютном превосходстве нашей техники, к герою, своей непосредственной деятельностью отважно приближающему это превосходство. Ведь в конце концов, как писала в передовой статье «Правда», для прогресса науки и техники сегодня исключительно важно «добиваться создания в каждом производственном и исследовательском коллективе атмосферы массового творческого поиска, нетерпимости к техническому и научному консерватизму»⁷.

Нет, Костю Барбина такой «творческий поиск» совершенно не интересует. Ни о каком консерватизме он и не слыхивал и, стало быть, о необходимости борьбы с ним просто не подозревает. Он не прочь, конечно, пометчать о времени, когда мы будем летать на Луну и другие небесные тела, он много и охотно говорит о будущем, но ему даже в голову не приходит мысль о том, что же именно он лично, он, Барбин, собственной персоной должен для ускорения этого исторического движения сделать. Какова его функция в научно-техническом, а следовательно, и в обществен-

⁶ «Литературная газета». 26 августа 1958 года, стр. 2.

⁷ «Правда», 12 октября 1971 года.

ном прогрессе. Неужто только в добросовестной утилизации лопаты и «кубла», в том, чтобы «знать все о своей работе»? Для чего, однако, знать? Для того, чтобы ее усовершенствовать, двинуть вперед или для того, чтобы просто любоваться ею, чтобы лично ему, Барбину, работать было приятней? Ведь уже в «Горном ветре» он сообразил, что «у него все для себя. То есть не так уж чтобы совсем только для себя — любая его работа, конечно, и другим пользу приносит, но для Барбина это не цель. У него цель — чтобы в мускулах сила играла, свежий речной ветер бил в лицо, перед глазами красота Енисея стояла». Иначе говоря, он уже тогда понял, что он созерцатель. И что же изменилось в следующей повести? Разве и здесь не признается он: «Я сейчас тоже отсекаю одно за другим свои «не знаю». Но когда у меня накапливаются мои «знаю», я не собираюсь делать из них что-то новое и большое. Они пока просто лежат у меня в уме, в памяти, одни полезные, другие такие, что и снова забыть не жаль?»

Но мало того, что он безнадежный созерцатель, — в отношении к Кошичу он играет точь-в-точь ту же роль, что Маруся Лебедева в отношении к Пастухову: «Будь как все, говорили ему. — А почему? — отвечал он. — У меня своя индивидуальность». Конечно, Костя легко смеяться над «индивидуальностью» Кошича. Ведь индивидуальность эта проявляется вовсе не в смелых идеях технической реконструкции, но исключительно в завиральной болтовне, в пустячном и беспредметном обличительстве. То он обличает коменданта общежития, «зарабатывающего» на постельном белье, то заведующего столовой, который питается в ней бесплатно. И если Кошич поднимает бокал за «самостоятельность мысли», то можно быть уверенным, что речь пойдет лишь о старом мастере, которому надлежит ходить пешком, а не ездить на казенном грузовике.

Эта странная мистификация, это пародийное «снижение» героя — превращение его из борца и социального реформатора в коммунального склочника — происходит в сознании Барбина ненамеренно, совершенно искренне. Ведь если в сфере производственной, общественной все обстоит великолепно, то жизненные конфликты действительно могут возникать лишь в сфере бытовой, кухонной, мелочной, в сфере цен на картошку и критики горсовета о которой

Барбин говорит с самодовольным презрением. Просто конфликты лишаются социальнойности. Просто Барбин смотрит на Пастухова глазами Ивана Степановича — и видит соответственно вовсе не Пастухова, а Кошича, болтуна и скандалиста.

Такова философия созерцателя. Такой она должна быть и такой она выступает в изложении самого Барбина. «Вот я вошел в комнату вашу. Хорошая комната. Умей я рисовать, я бы все, и койки с никелированными спинками написал бы, и радио, и занавески, и солнечный свет в окошке... а окурки в стакане... не изобразил бы. Не место им в стаканах. И на картине тоже не место. Хотя вон они плавают... Жизнь! А я окурков этих на картине видеть не хочу. И в комнате тоже... На, выплесни за окно. Гляди! Превосходно и без каленого железа получилось. И как раз осталась та картина, которую раньше я видел: хорошая комната».

Вот же каковы основы этой мистификации, этого превращения: для выплескивания за окно окурков герои попросту без надобности. Для этого достаточно уборщицы. Достаточно положительного персонажа. И больше того — такой положительный персонаж, утверждая себя, как бы выступает против самой социальной роли героя, пытается подменить ее собственной ролью: «Превосходно и без каленого железа получилось». Поистине безгранична социальная безграмотность, инфантильность такого персонажа. Барбин, например, заявляет: «Шахматной теории я не знаю. Знаю только правила игры. И это лучше — не знать теорию, потому что игра тогда интереснее». И когда партнер взволнованно возражает: «Так не защищаются, Костя! Если ты хочешь играть староиндийскую защиту, тебе надо ходить конем», — он самодовольно парирует: «Я играю новобарбинскую защиту. Вперед. По-шел!»

Но ведь это модель всего его жизненного поведения, его позиция, если угодно, credo самоучки-эмпирика, желающего собственным, узкопрактическим опытом заменить нажитый в трудах и муках опыт общества, сконцентрированный в теории.

Читатель, должно быть, помнит единственную доступную Несиде форму протеста, его универсальный способ разрешения любых общественных коллизий — кулак. Мы уже раньше пришли к выводу, что эта форма реакции — не индивидуальный, а родовой признак героев определен-

ного типа. Барбин представляет этому выводу еще одно живое подтверждение. Точно так, «коротким тычком», разрешает он свой конфликт с Шахворостовым. Точно так намеревается разрешить его с Кошичем. «Во всяком случае,— простодушно признается он,— я не видел уже ничего, кроме красного уха Кошича, которое так и тянуло к себе мою ладонь. Я даже с дрожью где-то в горле чувствовал, как тяжело пошатнется Кошич, как станет он цепляться тонкими пальцами за скатерть, за кромку стола». И не в этом даже сладострастном предвкушении кулачной расправы беда, а в том, что весь арсенал общественного преобразования исчерпывается для Барбина кулаком, что никаким логическим аппаратом он не обладает, что он начисто лишен дара позитивного анализа ситуации, а самое главное, в том, что в его характере, как и положено истинному созерцателю, нет чувства коллективизма. В том, что он заурядный индивидуалист. И мы постараемся доказать это, анализируя главную коллизию повести «Не отдавай королеву».

Но сначала о том, как судили о повести некоторые критики. Вот отзыв: «Уже в повести «Горный ветер», события которой предшествуют событиям повести «Не отдавай королеву», заметно ощущалось дуновение свежего, волнующего и будоражащего сердца ветра, олицетворяющего собой нашу социалистическую новь. В повести «Не отдавай королеву» напор его стал крепче, это ветер горных вершин коммунизма, на которые мы восходим. Под парусами, наполненными этим благодатным ветром эпохи, положительные герои повести — и в первую очередь главный ее герой Костя Барбин — идут по реке жизни полноводной, могучей, то со спокойной, ровной поверхностью, то вздыбленной волнами, зовущей человека померяться со стихией своими силами...»⁵

Конечно, все это верно. Но верно абстрактно, вне конкретного времени и даже вне конкретной книги. Ибо подставьте сюда имена, скажем, Дымшакова или Балужева или даже Увадьева и Давыдова, это все равно будет верно. Как говорят кибернетики, при максимуме «шумов» здесь нуль «информации» о конкретном герое. Разве это не те самые «словеса», не тот

«высокий стиль», который обличали в своих страстных монологах «исповедальные» герои? Однако в том же самом сборнике «Герой современной литературы», откуда заимствовано цитированное «шумовое» суждение, есть и весьма здравые и имеющие самое прямое отношение к интересующей нас проблеме мысли. Есть, но только в других статьях.

Например, В. Тимофеева пишет там, что «в литературе последних лет заметно обозначилось стремление... под прикрытием рассуждений о так называемом простом, обыкновенном человеке оттеснить на второй план образ подлинного героя современности, активного строителя коммунизма». Разве это не прямо о Барбине? Между тем В. Тимофеева о нем почему-то не упоминает.

Справедливо пишет в том же сборнике и Л. Ершов, что «негоже ограничиваться указанием на такие недостатки, которые попадают в категорию «пережитков прошлого», и проходить мимо противоречий и трудностей нашего собственного роста. У нас долгое время процветало поверхностное обличительство. Мелкие и случайные объекты вроде коммунальных неурядиц или дворника в несвежем фартуке, глуповатого продавца и нерасторопного завхоза составляли предмет негодующих сентенций».

Опять о Барбине. И опять не о нем! О нем, увы, лишь шумы вместо информации. Вот и В. Чалмаев, оспорив какие-то мелкие просчеты Барбина, приходит к «шумовому» выводу: «Образ Кости Барбина, несущий в себе горение успеха, радость жизни на высоких исторических скоростях времени, оптимистический смысл деяний нашего народа...»⁹

Может ли, спрашивается, такая шумовая критика исполнить свою действительную функцию — верно ориентировать читателя?

Но вот наконец в статье М. Афасижева намечаются некие контуры «информации», становится ясно, за что, по крайней мере, критики считают Барбина героем. «Главное внимание... — пишет критик, — уделяется борьбе Кости Барбина против Ильи Шахворостова за судьбу Шуры Королевой». «Ярче всего духовное созревание Кости проявляется в его отношениях с Шахворостовым... Но в кульминационный момент

⁵ «Герой современной литературы». Ст. тьн. М.—Л. 1963, стр. 78.

⁹ «Знамя», 1961, № 3, стр. 203.

своего столкновения с Ильей Костя неожиданно обнаруживает, что «все-таки в глубине в нем (надо полагать, в Шахворостове.— А. Я.) человек еще оставался, хотя обтянут был не кожей, а шкурой», и мысли его принимают другое направление»¹⁰.

Какое направление принимают Костины мысли «в кульминационный момент», мы еще увидим. А пока, раз уж мы наконец обнаружили, в чем состоит его героизм, давайте рассмотрим его коллизию с Шахворостовым.

Илья Шахворостов, бывший мелкий спекулянт, а ныне хулиган, на сей раз стукнул незнакомую гражданку бутылкой по голове и сидит по этому случаю в подобающем исправительном заведении. И куда он сидит, выясним сперва один теоретический вопрос. Ведь поначалу то, что этот ничтожный пакостник, словно тень, словно злой рок, сопровождает Барбина из книги в книгу, может даже вызвать некоторое недоумение. Однако с точки зрения социологической это ничуть не удивительно. Более того, это закономерно. Ибо Шахворостов, мелкотравчатый уголовник, типичный объект «поверхностного (говоря словами Л. Ершова) обличительства», незначительность которого не вызывает сомнений, на самом деле вовсе не отрицательный герой. Он всего лишь отрицательный персонаж, «окурок», и он, как зеркало, отражает на другом полюсе тоже негероя, тоже персонажа, только положительного Костю Барбина. Если автор хотел доказать именно это, следует отдать должное глубине его замысла. Ибо оказывается, что жалкий Шахворостов вовсе не злой рок, а совсем даже наоборот — добрый гений Кости Барбина. Ведь не встретится он на его пути — в чем проявилось бы хоть подобие Костиной позитивной деятельности, что еще могло бы дать критикам хоть мнимое основание восславить Костю как «героя середины XX века»? Именно Шахворостов и выступает прямым оправданием такого суждения! Посмотрим же, как одолевает положительный персонаж Барбин это жизненное препятствие.

Ситуация такая. Шахворостов требует, чтобы Барбин через своих влиятельных знакомых вступился за него перед администрацией тюрьмы. Зачем? Ему нужно немедленно выйти на свободу, чтобы привести в порядок свои спекулянтские дела.

Пишет он об этом совершенно откровенно — карты, как говорится, на стол. Когда Барбин, естественно, отказывается, Шахворостов просит через подставное лицо об этой услуге бригаду Барбина. И бригада пишет Шахворостову похвальную аттестацию. Пишет на глазах у Барбина. И что же Барбин? Он страстно и аргументированно протестует? Он раскрывает бригаде глаза на нелепость происходящего? Он организует иное, противоположное по содержанию письмо? Он добивается вместе с бригадой расследования спекулянтских делишек Шахворостова, для улаживания которых тот рвется из тюрьмы? Он воспитывает на этом примере коллективную мысль бригады, содействуя тем самым ее нравственной зрелости? Вот, казалось бы, и перед ним, Барбиным, открывается наконец арена социальной активности. И что же, спешит он к ней?

Ничуть! Ведь он, как мы уже не раз видели, созерцатель, а не деятель, индивидуалист, а не коллективист. Ему и невдомек, что на этом оселке проверяется его гражданская зрелость, что здесь испытывается его действительное лидерство в коллективе, его качества героя, что, не сумев повести бригаду за собой, не найдя в себе гражданских сил, отваги и зрелости, чтобы добиться позитивного результата, он, по существу, терпит здесь банкротство как герой, как лидер коллектива. В конце концов, если Шахворостов действительно социальная проблема, то и решать ее следовало, очевидно, общественными, коллективными методами. Если же он просто мелкий негодяй, то зачем же возлагать на него функцию отрицательного героя?

Но наш Костя таких материй не разумеет, он, как мы знаем, всем теориям предпочитает «новобарбинскую защиту». И сейчас мы увидим, в чем она в данном случае заключается. Когда Шахворостов выходит на свободу и дружки его чуть не до смерти избивают Шуру Королеву, которую Барбин считает себя призванным защищать, что, как вы думаете, делает Костя? Да то единственное, что входит в арсенал «новобарбинской защиты»: он угрожает Шахворостову. Угрожает, как всегда, туманно — не то товарищеским судом, не то адским пламенем: «Если ты по земле этой будешь ходить, каждый твой шаг будет считан», «Где тогда встретимся, судьба покажет» и т. д. в том же роде. Но если в этих туманных угрозах действительно заключается

¹⁰ «Дон», 1962, № 3, стр. 179

решение вопроса, то непонятно, что мешало ему пригрозить Шахворостову с самого начала — и все бы уладилось еще до того, как началось, и Шуру тоже, кстати, не избил бы! Но уж таков он, Костя, — всюду, где нужны мышечные усилия, где нужно не жалеть себя, орудуя лопатой и «кублом», он на месте. И всюду, где нужны усилия интеллектуальные, отгага гражданская, социальная, зрелость и сила духа, он пасует, стушевывается, его просто нет.

Ибо он социально пассивен. И потому в конфликтной ситуации, даже бледной, даже пустячной, он растерян, беспомощен и неловок. И страшно даже подумать, что было бы, встретясь на его пути не ничтожный Шахворостов, а Вальган или Дроздов. Да эти зубры просто измордовали и сломили бы его, как тростинку, если бы он осмелился им перечесть. Но ведь он бы не осмелился. Вспомним: «Кто поманит, за тем и иду». Нет, Костя не ведущий, а ведомый, не герой, а персонаж, не защитник прогресса, он сам нуждается в защите. Защище не физической, не «новобарбинской», а интеллектуальной и нравственной, которую способны обеспечить ему лишь настоящие герои — Бахиревы, Крыловы, Пастуховы.

И если в замыслы автора входило показать нам такого персонажа в будничной, бытовой его сфере, то это удалось ему вполне. Я спорю в этом случае вовсе не с автором, а с критиками, которые настойчиво тянули Барбина в «герои середины XX века».

Мне представляется, что Сергей Сартаков, многоопытный писатель, знаток людей, автор широко популярного романа «Хребты Саянские», задумал своего Костю Барбина как характер полемический, противостоящий в литературе 50—60-х годов иным персонажам «исповедальной» прозы, конфликтовавшим со всем белым светом. Вот с ними-то и предназначен был полемизировать такой «антиисповедальный» персонаж — здоровый, положительный, бодрый, живущий в полной гармонии с упомянутым белым светом паренек. И разве не таков он, Костя Барбин?

Пусть он звезд с неба не хватает, пусть не деятель, но зато добрый, честный и благополучный молодой человек. Автор действительно создал симпатичного и популярного персонажа, противостоящего иным литературным невротикам. Другое дело, что у нас к Барбину есть социологические претензии, которые были высказаны выше.

Главная из них заключается в том, что объективному набору социальных ролей, который в наше время и выдвигает литературного персонажа в ведущие типы эпохи, в преобразователи, в герои, он, Барбин, не соответствует. Но Костя ведь и не карабкается на столь высокий пьедестал. Зачем же его туда подсаживать, подталкивать насильно, как делают это некоторые критики? Именно те критики, которые желают, как А. Ланщиков, не полемики с отдельными героями «исповедальной» прозы, но полного ее уничтожения и заклеивания, критики, которые заменяют объективный анализ доктринерским обличением. Но при чем здесь, спрашивается, Барбин? Разве может он отвечать за гипертрофированные притязания критиков, пытавшихся представить его путь некоей программой становления молодого героя современности?

Увы, путь Барбина — в стороне от столбовой дороги становления молодого героя современности, борца и деятеля.

Для того чтобы снова выйти на магистраль, нам понадобится припомнить, чем закончился наш разговор о Виталии Пастухове. Вывод наш заключался в том, что в безумной нерасчетливой отваге, в благом порыве была сила Пастухова. Но поскольку он пока еще в повести ничего совершить не сумел, то в этой же нерасчетливости была и его слабость. Стало быть, логика художественного развития героя требовала введения в систему его жизненных ценностей, кроме отваги и самоотверженности, еще и элементов жесткого делового расчета, умения бороться за свои идеалы действительными средствами. Таким должен был быть следующий шаг в становлении нового героя. Таким и показал его В. Липатов в своем «Сказании о директоре Прончатове», вызвавшем уже столько критических споров, столько принципиально противоположных оценок, что книга эта безусловно заслуживает отдельного разговора.

8

Эпицентром критического спора о «Сказании» стал вопрос: хорошо ли, правильно ли, нравственно ли, что молодой главный инженер Прончатов так беззастенчиво, с открытым забралом рвется к директорскому креслу в гигантской лесосплавной конторе? Так неприкрыто жаждет «стать полновластным хозяином Тагарского края, «страны Прончатии»? Иначе говоря, ядром спора

стала взятая сама по себе нравственная проблема — хорошо или дурно честолюбие.

«Во имя чего же Прончатов, по его собственному признанию, волнуется и хлопочет, врет и интригует? — пылко спрашивает в статье «Сказания и действительность»¹¹ А. Коган. — Какова та высокая цель, ради которой идут в ход такие средства? А вот какая. Никому не отдавать сплавконтору! Сплавконтора — это я!. Власть! — вот что манит нашего бронзовеющего атлета в белоснежной рубашке!»

Ну и что?

Вопрос, может быть, излишне простой и непочтительный в столь патетическом контексте. Но согласитесь, что он резонен, что он сам собой напрашивается.

Ну и что же из того, что Прончатову манит власть, а оппоненты А. Когана, как явствует из его статьи, стесняются признать этот очевидный факт, хоть он и лежит на поверхности? Разве это действительный предмет для спора?

Разве не самое время задать здесь следующий вопрос: а зачем ему, Прончатову, эта власть? Что станет он с нею делать? Безразлично ли обществу — тому же закочневшему «родному Тагару» и обществу в целом, — достанется власть Прончатову или его оппоненту? Какую функцию в общественной динамике играет его могучее честолюбие, его стремление к власти? Не потому ли потерпел в своей борьбе поражение Пастухов, что оказался не в состоянии поставить вопрос так жестко и обнаженно, как ставит его Прончатов? Не этой ли постановки вопроса, точно и своевременно уловленной В. Липатовым, требовало дальнейшего развитие героя для того, чтобы не законсервироваться на стадии Пастухова, а то и вернуться к Несиде и Барбину? И что, наконец, будет с Тагарской конторой и со всем вообще «родным Тагаром», если к власти придет конкурент нашего героя Василий Иванович Цветков?

Увы, этих, казалось бы, естественных вопросов никто в критической полемике не поставил.

Нет, противник Прончатову, этот самый Василий Цветков, не только никогда никому не скажет, что ищет власти, положения, привилегий, он будет скрывать свою страсть как постыдный грех, как тайный и мучительный порок, о котором страшно обмолвиться и на исповеди. И все-таки...

¹¹ «Вопросы литературы», 1969, № 10, стр. 68.

И все-таки долгие годы он медленно и упорно карабкается к иерархическим вершинам вслед за нынешним заведующим промышленным отделом обкома Цыцарем. «Вот уже лет двадцать Семен Кузьмич Цыцарь поднимаясь по служебной лестнице, ведет за собой друга молодости. Цыцарь был секретарем сельского райкома, Цветков выдвинулся в заместители председателя райисполкома, Семен Кузьмич переезжает в областную город, — Цветков избирается председателем райисполкома, а потом переходит на работу в сплавной трест. Теперь Цветков хочет быть директором одной из крупнейших сплавных контор Сибири, и Цыцарь помогает ему в этом...»

Стало быть, не в том вовсе дело, что один из двух претендентов на директорское кресло в Тагаре стремится к власти, а другой нет. Дело в том, что один свободно и открыто это свое стремление декларирует, а другой ханжески скрывает и тайно плетет свою честолюбивую паутину, трусливо прячась за спиною могущественного покровителя. И заметьте, что Цветков вовсе не специалист-сплавщик. С тем же основанием он мог бы стать, если бы Цыцарь тянул его за собой в другой области, и руководителем коммунального хозяйства, и директором треста ресторанов, и лидером банно-прачечного дела. Ибо суть для него вовсе не в рациональной организации сплава, а именно во власти самой по себе, во власти, так сказать, в чистом виде, без какого-либо соотношения ее с конкретным делом. Не оттого ли скрывает он эту свою страсть, не оттого ли стыдится ее, что за нею не стоит ничего, кроме одного обнаженного властолюбия? И не оттого ли Прончатов открыто декларирует свое честолюбие, что власть для него — неременное условие рациональной организации дела? В том-то и суть вопроса, что за Прончатовым стоит гигантской важности дело, а за Цветковым — лишь желание укрепить свое положение в «номенклатуре», сделать карьеру.

Так отчего же, скажите на милость, не осуждается в критическом споре фарисейское честолюбие Цветкова, отчего огонь сосредоточен на открытом честолюбии Прончатову? Да просто оттого, что не о честолюбии на самом деле спор, но о его открытости, о его смелости, о его, в конечном счете, функциональности.

Прончатову нужна власть, чтобы совершить в Тагаре техническую революцию, а

Цветкову — чтобы сесть в директорское кресло, чтобы скучно и вяло, как все, что он делает, выполняя вчерашний план позавчерашними средствами, подготовиться к следующему карьерному «прыжку» вслед за Цыцарем, чтобы, в последнем счете, давить эту революцию. Ибо она потребует от него таких качеств, такой отваги, такой компетентности, которыми он не располагает. Ибо она сразу же обнажит всю его техническую отсталость, всю его деловую несостоятельность, всю его нефункциональность. Ибо техническая революция — коварная для цветковых и цыцарей штука: она обладает свойством лакмуса — смывать деловую мимику с пустых «фигур». От нее не отделаешься «высоким штилем» и интриганством, не спрячешься за спину Цыцаря. Она потребует настоящего дела. И за это Цветков ненавидит ее всеми силами своей души. За это он будет сокрушать ее всюду где встретит — и в тресте ресторанов, и в банно-прачечном деле, и в лесосплавной конторе. «Да, Цветков — бедствие! — открыто объясняет свою позицию Прончатов. — Он не только технически отстал от века, но и несет в себе активный заряд консерватизма». Прончатовским стремлением к власти технический прогресс за щ и щ а е т с я от Цветкова. Вот истинная его социальная функция!

Ведь Цветков — второй антоновский Иван Степанович. Даром, что ли, «у его подчиненных скучные глаза, они ходят по коридорам вялой походкой, они разговаривают друг с другом такими же вялыми, стершимися словами, какими сам Цветков говорит с Олегом Прончатовым», какими говорил Зыбун с партгором Павлицевым, какими говорила Маруся Лебедева с Пастуховым.

Да, Цветков — второй Иван Степанович. Но зато Олег Прончатов — не славный, доверчивый юноша Пастухов. И в этом специфика старого и вечно нового конфликта. Если нужны доказательства динамичности нашего общества, то В. Липатов нам их очень ясно здесь демонстрирует. По одну сторону герой старый — старый не годами, старый по своему социальному содержанию, как бы молод он ни был в натуре, — он застыл в своей недвижимой мощи, он статичен и уже не способен к развитию, а по другую — непрерывно развивающийся, мобильный, накапливающий силы и качества, необходимые для победы, характер. Нет, Прончатова демагогическими выкриками уже не запугаешь, как Пастухова.

И когда местный тагарский дмитрич, парторг Вишняков, который «интеллектуально и технически отстал от века», внушает ему (точь-в-точь как Иван Степанович Пастухову), что «ты ведь один шагаешь в ногу, а вся рота — не в ногу... Ты выше всех себя ставишь... С коллективом не считаешься», одним словом, уличает в «элитарной тенденции», Прончатов не напиивается и не жалуется, как бедный Пастухов. Он слишком хорошо знает, что надо ответить. «Фразы о народе чаще всего прикрывают равнодушие к народу... Тут примитивная философия, Вишняков! Знаешь дело, хорошо работаешь — народен, халтуришь, дела не знаешь — антинароден... Вот что ты на это скажешь, парторг?»

Он говорит с Вишняковым на своем суровом языке, на языке дела. Это его, Прончатова, язык, и он заставит Вишнякова говорить на этом языке.

И затем еще нужна ему директорская власть в Тагаре, чтобы сформировать кадры для технической революции, чтобы разогнать допотопных монстров, прикрывающих свое неумение делать что-либо иное, кроме скрипучего «плана», вялой и скучной, навязшей в зубах «трепологией». Ибо второй после власти вопрос всякой революции — это кадры, люди, новые герои. Будут нужные люди — будет и революция. Не будет их — будет одна «трепология».

Вот по какому закону надо судить Прончатова, вот действительный угол зрения, помогающий увидеть проблему «Сказания». Вот почему непригоден здесь односторонне-нравственный, не обремененный социологией критерий: он искажает картину.

Нет, Прончатов совсем не херувим: здесь А. Коган кругом прав. Не прав он в другом. Не прав он, когда не замечает, что, будь Прончатов в этой ситуации херувимом, его бы цветковы попросту съели вместе с крылышками. И самое время вспомнить здесь цитировавшееся уже в начале этих заметок суждение Маркса о том, что люди хоть и делают свою историю сами, но делают ее вовсе не самопроизвольно, не на пустом месте, ибо обстоятельства их исторического творчества, расстановка сил в этой борьбе дана заранее и унаследована ими. Это не означает, разумеется, что сама ситуация социальной борьбы снимает моральные ограничения. Огнюдь. Это означает лишь, что наше представление о селекции человеческих черт нового героя должно стать богаче и содержательнее, ибо

одно дело стремление к власти Брусенкова из залыгинской «Соленой Пади» и совсем другое — стремление к ней Прончатова. Здесь следует учитывать и специфику эпохи, и конкретную общественную функцию этого стремления, и конкретную расстановку сил, и — главное — конкретные средства, применяемые для его реализации.

Не надо анализ прончатовского честолюбия подменять его обличением. Это и всегда-то вряд ли резонно, а уж тем более в таком тонком и принципиальном случае. Поэтому абстрактно-обличительный критерий А. Когана здесь попросту не работает. Он не дает разглядеть в Олеге Прончатове ничего, кроме пошлого карьеризма, аристократических замашек и гордого нрава. Впрочем, нельзя не сказать, что в ошибке критика повинен — и в немалой степени — сам автор. Да, Прончатов насквозь, в каждом слове и жесте полемичен. До кончиков ногтей пронизан пафосом отрицания вчерашнего героя и всего, что с ним связано, — от «лебедек Мерзлякова» до кирзовых сапог. Да, Прончатов открыто демонстрирует ненавистную А. Ланщикову «элитарную тенденцию» во всем, включая покрой брюк и высшее образование. И автор не только не корит за это своего героя, он сам открыто, подняв забрало, как публицист, бросается ему на помощь, подчеркивая, что «Прончатов... говорил на немецком и понимал английский... Вишняков среди шутников славился выражением: «Мы его неоднократно раз об этом предупреждали».

Но эта откровенная, жестокая, почти сатирическая полемичность, в пылу которой автор, **увы**, подчеркивает не столько духовное и нравственное превосходство своего героя, сколько его вальяжность и барственный цинизм, резко снижает Прончатова, лишает его читательских симпатий и заставляет порою усомниться в самой нравственной правомочности его борьбы с Цветковым. Она не дает нам возможности отграничить цели Прончатова от средств, которые он употребляет: слишком хорошо мы знаем, как трансформируют порою мысленные средства самые благие цели. И приходится, к сожалению, совершить над собой некоторое насилие: отринуть первоначальные и естественные читательские эмоции во имя **логики** и высшей справедливости, чтобы допустить, что все прончатов-

ские «интриги, вранье и хлопоты» — не более чем боевое копые героя, его кольчуга и броневая шлем, закрывающий его лицо. Чтобы понять, что лишь освободившись от этого шлема, лишь сняв с головы в краткой передышке между боями, становится он самим собой.

Так что же он такое, Прончатов сам собою, каково его действительное социальное и человеческое содержание?

А вот оно какое. Он больше не желает походить на Несиду, и мрачное, до одури, «вкалыванье» — не его идеал. Ему не нужно этой унылой натуги, он хочет жить легко и свободно, богато и раскованно, строить гидростанции играючи, а не становясь их молекулой. Ибо все эти гидростанции — для него, а не он для них. Он хочет быть хозяином жизни, а не ее кирпичом. Он ненавидит жертвенность, и вопли Максимова против «теплого клозета» смешны ему, как лепет несмышлениша. Он не хочет, не станет, не имеет права жить неудобно, тратить силы на барачный быт, на биологическую борьбу за существование и не позволит этого своим соратникам, кадрам технической революции. Ибо он социальный борец, а не орудие производства. Ибо он живет в цивилизованной стране во второй половине двадцатого века, и не мышечными усилиями, а интеллектуальной мощью свершает он свой гражданский подвиг. И подвиг этот вовсе не в том, чтобы собственной круглой спиной вздымать валуны, но в том, чтобы, бросая вызов вишняковым, вопреки тысячам преград, интриг и предрассудков, безжалостно ломая программу своих оппонентов, осуществить свою техническую, экономическую, социальную, жизненную программу.

Да, за спиной Прончатова стоят большие грузные плоты, скоростные лебедки и электрические краны, наука, материализованная в новейшие методы индустриализации, бурный рост материального благосостояния трудящихся и как следствие этого — мировые стандарты и реконструированная индустриальная Сибирь.

Но разве за Вишняковым не стоит своя социальная программа? Разве не стоят за ней ржавые «лебедки Мерзлякова», технический уровень позавчашнего дня? Нет, право, не там где надо искал «тунеядцев» А Ланщиков, «неоднократно раз» предостерегая от них общество.

9

Кстати, о «тунеядцах».

При всей определенности характера Прончатова, конфликт его с Вишняковым выглядит достаточно абстрактно, покуда не является на сцену молодой человек со странным межеумочным — и здесь полемический прием! — именем Эдгар Иванович Огурцов. Потому что именно этот герой, молодой механик, призван вдохнуть в основополагающий конфликт жизнь, придать ему конкретность и зримость. Потому что спор-то идет, по существу, из-за него...

Так что ж он за человек, Эдгар Огурцов, которому в 1956-м едва ли было двадцать, который, как Леша Максимов, «любил говорить шутливо-напыщенно, велеречиво, под иронией скрывая серьезные, нужные вещи», у которого, как у Виталия Пастухова, «вся фигура, лицо, глаза были независимо-насмешливы, а длинные губы сложены коварно»?

Полагаю, даже А. Ланщиков узнает в этом демонстративно выразительном и ироническом портрете столь ненавистного ему героя «исповедальной прозы», которого отождествил он со «зверем» и «тунеядцем». Вишняков прямо указывает Прончатову: «Твой Огурцов скептик, он над всем смеется». И не может он понять: почему Прончатов, беспощадно воюющий с ним, «отдыхал душой и телом, когда в его кабинете сидел инженер Эдгар Иванович Огурцов»? Не может понять, почему Прончатов, с одной стороны, без колебания увольняет начальника Пиковского рейда Куренного, испытанного руководителя, который на себе, можно сказать, рейд этот поднял, а с другой — связывает будущее Тагара именно с Огурцовым, этим насмешником и штафиркой без заслуг и без прошлого?

Прончатов отвечает ему на это коротко. Он не оспаривает скептицизма Огурцова, не пытается доказывать, что смеется тот вовсе не «над всем», он говорит о другом: «Как можно назвать плохим работником умного, знающего, прогрессивного молодого инженера? Ты пойми: если есть в конторе Огурцов, значит, будут получены и освоены новые электрические краны..»

— А что краны? — мгновенно ответил Вишняков. — Я людьми занимаюсь, а не техникой...»

В этой краткой перепалке вся суть спора.

Для Прончатова руководящий кадровый принцип — компетентность и революционность. И поэтому ему нужны «скептики», люди, которые усомнятся во всех кондовых стереотипах, люди с самостоятельной программой, молодые интеллектуалы с острым умом и жесткой, деловой хваткой. Вишняков пытается решать кадровые вопросы вне связи с «техникой», а следовательно, вне связи с компетентностью и знанием. И потому он отстаивает Куренного — невежду и неуча.

Нет, ничего не понятно Вишнякову в прончатовском пристрастии к Эдгару Ивановичу. Тем более что этот легкомысленный Эдгар позволяет себе безмятежно сказать в лицо своему непосредственному начальству: «С инженером Прончатовым работать зело трудно!.. Прончатов самолюбив — раз, властолюбив — два, мечется меж лебедками Мерзлякова и кранами — три, состоит из эклектической смеси дерзости и лукавой хитрости — четыре». И закончит перечисление начальнических грехов неожиданно мажорным аккордом: «Будем работать, Олег Олегович! Нам в общем-то по пути...»

Почему же это чисто деловое предложение союза так ошастливило самолюбивого Прончатова? И здесь открывается нам тот второй план «Сказания», который, главным образом, для нас и существует. И роли тут неожиданно меняются. И сам Прончатов со всем своим великолепным даром управляющего, способный осуществить программу реконструкции, выступает вдруг как ее исполнитель. А истинным вдохновителем его и героем предстает как раз этот скромно держащийся на вторых ролях молодой механик. Вот почему даже в высочайшую минуту своего торжества, впервые ощутив себя директором, вовсе не учителей своих вспомнил Прончатов и не предыдущего директора, наследником и душеприказчиком которого как будто бы себя считает, нет, «Прончатов почувствовал, что ему очень не хватает Эдгара Ивановича; его подвижного иронического лица, свободных движений, привычки садиться на стул задом наперед. Как обрадовался бы механик! Не будут теперь стоять возле берега лебедки Мерзлякова, скрипеть старое дерево, визжать ржавые тросы; современный, индустриальный, пейзаж придет на берега рек — могучие фермовые конструкции, ослепительный свет прожекторов, вознесенный высоко в небо серый металл».

В чем тут дело? Да в том, что на миг в дерзком прозрении увидел Прончатов осуществленной программу Огурцова, ту самую «мечту», которая привела сюда, в Тагар, молодого героя. Ту самую, из-за которой претерпел этот герой всю радость и все муки становления, и глобальный скептицизм Максимова, и «не совсем понятную нацеленность» Зеленина, и энтузиастический пыл Пастухова, ошибка которого нам теперь очевидна.

Пастухов пытался революционизировать коллектив в одиночку против «многоуважаемого маяка» и председателя Ивана Степановича одновременно. Он бросил вызов консервативным духам прошлого, не рассчитав своих сил, не заручившись союзниками, вышел в бой один против всех — и поражение его было закономерно, было запрограммировано расстановкой сил в коллективе. Огурцов учел эту ошибку, он идет об руку с Прончатовым, ибо Цветков смял и сломил бы его так же, как Иван Степанович сломил Пастухова. Он идет в союзе с Прончатовым, потому что только Прончатов сможет одолеть и местного «многоуважаемого маяка» Куренного, и консерватора Вишнякова, грудь которого надежно прикрывала «броня прошлых заслуг, сталь сегодняшних добродетелей», броня и сталь, которой не смог бы пробить Огурцов, бессильный противопоставить ей собственные «прошлые заслуги». Ибо его заслуги не в прошлом, а в будущем. Его заслуги — в создании той величественной картины, которая на миг пригрезилась Прончатову. Его заслуги в том, что Прончатову пригрезилась именно такая картина, а не просто очередное выполнение квартального плана. И они идут вместе, плечо к плечу, они нашли друг друга в жизни и благодаря В. Липатову в литературе.

Альянс молодого управляющего, руководителя нового типа, сосредоточившего в себе социальную силу этого союза, с молодым интеллигентным героем обладает всеми достоинствами предыдущих этапов развития нашего героя без их недостатков. Он обладает творческим скептицизмом Максимова, «нацеленностью» Зеленина — без их абстрактности, позитивной «мечтой» Пастухова — без его социальной неграмотности. И масштабы не те, и притязания героев шире, конкретней, серьезней, и характеры их крупнее. И победа их, во всяком случае в пределах Тагарской конторы, закономерней. И В. Липатову нет нужды искусственно ее

подстраивать и «додумывать», как сделала когда-то Николаева со своим Бахиревым.

И главный итог движения молодого героя, конечно, в том, что роли переменились: позавчерашний велеречивый Максимов, вчерашний беспомощный Пастухов доказали, что могут сегодня справиться с козостью Ивана Степановича, сил хватает, социальной грамотности прибавилось, союзники есть, пути дальнейшего развития открыты...

Да, этот герой обеспечил себе «социальное будущее». Но будущее это не в вузовском дипломе, не в мифической «элитарности», которую инкриминировал ему А. Ланщиков, но в возможности осуществить свою жизненную программу. В том, что программа эта совпадает с историческими путями развития общества, с прогрессом, совпадает независимо от того, попадет ли герой в вуз со школьной скамьи или будет учиться, как рошинский герой, заочно, станет он главным механиком или квалифицированным рабочим. Ибо суть не в дипломе, а в умении самостоятельно выработать эту жизненную программу. Ибо у Цветкова есть диплом и «номенклатурное положение», но социального будущего у него нет. Как нет его у Вальгана.

Не будем, однако, забывать, что картина, пригрезившаяся Прончатову, пока что — в масштабах всего народного хозяйства — есть цель развития, а не осуществившаяся реальность. Научно-техническая революция только разворачивается, набирает силы, а не близится к финалу, если вообще может у нее быть финал. И Цветков еще сидит в своем тресте, ожидая назначения, если уж не вышло с Тагаром, в какую-нибудь другую контору, где пока еще нет своего Прончатова. А может быть, нет даже и Огурцова, а есть только инфантильный Пастухов или «не совсем понятно нацеленный» Зеленин. А может, и вовсе хозяйничает еще «многоуважаемый маяк», который понадобится Цветкову для тех же целей, для которых нужна была Зыбуну Дружкова.

Картина действительной жизни пестра и многообразна. В одном из постановлений ЦК КПСС, касающемся работы предприятий автомобильной и химической промышленности Горьковской области, наряду с констатацией успехов и достижений дан строгий и точный анализ просчетов и недостатков их хозяйствования: «Не уделяется должного внимания реконструкции и техническому перевооружению предприятий. Обновление

активной части основных производственных фондов на автомобильных заводах затягивается... Многие производства на химических предприятиях области используют отсталую технику и технологию, имеют низкие технико-экономические показатели... Технический уровень некоторых видов автомобильной техники, химических продуктов и материалов не отвечает современным требованиям... Проявляется медлительность в совершенствовании методов управления производством»¹².

Строки эти суровы и скупы. Мы не знаем, какое именно стоит за ними борение человеческих характеров, какие конфликты, против каких не свергнутых еще идиолог хозяйственной иррациональности приходится бороться тамошним Огурцовым и Прончатовым, каких цветковых предстоит им еще сокрушить. Но мы знаем, что жизнь движется, и движут ее именно они, Прончатовы и Огурцовы. Знаем, что, стало быть, выросли из Зелениных на протяжении 60-х годов не «тунеядцы», но созидатели, наша надежда, наше будущее. И литература чутко зафиксировала все этапы этого большого пути.

Когда жизнь показала недостаточность локального эффекта, литература выдвинула Зелениных и Максимовых с их интеллектуальными претензиями и глобальными критериями. Но у них не было точки приложения сил — и претензии их повисли в воздухе, что вовсе не умаляет заслуги В. Аксенова.

Когда жизнь показала, что необходимо конкретизировать критерий, найти точку приложения интеллектуальных усилий, литература отыскала в ней Пастухова, признанного вполне конкретным революционным

и деловым пылом. Но Пастухов был социально неграмотен, и пыл его пропал даром, что опять-таки не умаляет заслуги С. Антонова.

Мы не можем сейчас знать, какие новые литературные открытия сделают очевидными недостатки и слабости Огурцова и Прончатова, как будет развиваться новый герой дальше, каких качеств и какой самоотверженности потребует от него следующий этап нашего движения. Ведь не только программа Прончатова и Огурцова, но даже их грезы и видения не идут дальше величественной картины технической реконструкции производства, не касаясь его социальной и нравственной проблематики. Эти вопросы еще встанут перед ними. и — кто знает? — не разойдутся ли тогда пути Прончатова и Огурцова, не расколется ли их единый фронт перед лицом новых программ и новых видений. Это покажет жизнь. Но это не умалит заслуги В. Липатова.

Да, новый молодой герой эпохи научно-технической революции еще в пути. И если проза 60-х не дала нам его законченного и художественно совершенного образа, то зато она открыла литературе 70-х перспективы, можно сказать, застолбила для нее богатейшие художественные месторождения. Почем знать, может быть, сейчас, когда печатаются эти заметки, такой герой шествует уже по страницам новой книги того же С. Антонова, или М. Рощина, или В. Липатова, или другого художника, почувствовавшего и понявшего в 60-е годы, что дальнейшее прогрессивное развитие линии Зеленина — Пастухова — Огурцова будет одновременно все более глубоким отвержением линии Несиды — Дружковой — «многоуважаемого маяка» — Цветкова. Такова логика жизни. Такова логика литературы.

¹² «Правда», 20 августа 1971 года.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Аннинский. Степень причастности. — Владимир Соловьев. «Я ненавижу каждый выкрутас». — Александр Дейч. Встречи с Болгарией.

ПОЛИТИКА И НАУКА

И. Нахов. Мифология. Зачем она? — В. Марцинкевич. Серьезная работа об американской школе.

Литература и искусство

СТЕПЕНЬ ПРИЧАСТНОСТИ

Йонас Авижюс. Потерянный кров. Роман. Перевод с литовского В. Чапайтиса. «Дружба народов», 1971, №№ 8—11.

О литовской прозе пишут сейчас так много, что каждый новый выходящий в Литве роман воспринимается не просто как отдельное произведение, но как звено в цепочке, как подтверждение ожиданий, как шаг к разгадыванию того, что новейшие исследователи стали сочувственно называть «смелым экспериментом»¹ и что еще несколько лет назад казалось чуть ли не вызовом романической традиции. Критики по-разному определяли суть того качественного скачка, который произошел в литовской прозе за последнее десятилетие и вывел ее в центр внимания всесоюзной критики. Писали, что морально-психологические критерии вторглись в царство типичности (А. Радзвичюс), что «огромные залежи исторического и бытового материала» были взорваны с помощью «психологической анатомистики» (В. Кубилюс), что «многоплановый роман рассыпался» от вторжения «лиризации» и от тяги к «загадкам подсознания» (А. Бучис).

¹ А. Макарова. Путь к человеку. «Дружба народов», 1971, № 2.

Книги Йонаса Авижюса стояли и стоят в центре этих споров: в писательской судьбе Авижюса особенно ясно видна диалектика поворота от прежнего к теперешнему. Проще бывает, когда приходят новые авторы и начинают писать по-новому, — так в начале 60-х годов пришли в литовскую прозу Ю. Марцинкявичюс, М. Слущкис, И. Мерас, А. Беляускас; это они, приняв старое эпическое наследие, переосмыслили его и дали то, что называется «новым литовским романом». Авижюс оказался и там и здесь. Странник традиционно-эпической школы, сформировавшийся как писатель еще в конце 40-х годов, он воистину поворачивал к новому — вся драматичная диалектика этого поворота отпечаталась в романе Авижюса «Деревня на перепутье», без которого и теперь, восемь лет спустя, не обходится ни одна статья о литовской прозе.

И вот — новый роман Авижюса. Всею тканью, всей проблематикой он вплетен в теперешние искания литовской прозы. Перед нами мир, описанный традиционно медленно, истоиво, подробно. Огромное

количество деталей, социальных характеристик, портретов, судеб, эпизодов — на крошечном пятачке действия, в нескольких точках: городок Крауштупенай, где стоят гитлеровские оккупационные власти; в нескольких километрах — деревня Лауксодис, где мыкают нужду литовские мужики; еще в нескольких километрах — лес, куда уходят партизаны. И все это связано в один узел кровавой драмой немецкой оккупации 1941 года. И сплетено давними связями, отношениями, счетами, детскими воспоминаниями, сетью родства, свойства, дружества. И развернуто скрупулезнейшим психологическим анализом в своеобразную энциклопедию литовского крестьянского характера.

Авижюс пишет крестьянский быт так, что вы не только видите лица людей, но знаете в подробностях их трудовой день, слышите, как скрипит лестница на сеновале, и видите, как готовится свекольник, и знаете, насколько дверь сарая не доходит до земли и может ли туда пролезть человек. Вы слышите речь этих людей, пересыпанную солеными словечками, живописную и фигуральную; при всех огрехах перевода, В. Чапайтис постарался передать по-русски аромат этой речи.

И на фундаменте этой природной крестьянской основательности естественно вырастает пирамида интеллигентских споров: об истории Литвы, о Миндовге и Гедимине, о немцах и о русских, — обо всех тех проблемах, какие в ту страшную пору заставляли кипеть «националистов» разного толка, бредивших Сметоной, а теперь ужаснувшихся гитлеровской оккупации. И фундаментальная основательность этих споров, обилие доводов, целые исторические справки, включенные в текст, делают спорящих героев из «Потерянного крова» родными братьями косянозычного мужика Кяршиса: та же истовость, та же основательность и в конце концов — та же традиционная векомость старого доброго романа.

Теперь возьмите эту, образно выражаясь, твердыню и рассыпьте ее. Расколите на «обломки», на «осколки». Разорвите прямые хронологические связи и соедините эти кусочки в зыблущемся, неустойчивом, фантастическом новом единстве — и вы получите то, что называется стилем современного литовского романа.

Характерный для Авижюса ход: вводя героя в очередной эпизод, он довольно часто не называет его по имени. Конечно, это

лишь один из многих приемов, но он характерен. Еще не вполне поняв, кто именно вошел в действие, вы становитесь свидетелем подробно выписанного потока мыслей героя; вы наконец догадываетесь: это Марюс, или Адомас, или Кяршис, или Гедиминас, но, прежде чем догадаться что это, вы некоторое время движетесь в психологическом поле, приобщаясь как бы к некоему общему, сверхличному потоку. Отсюда — ощущение какой-то единой, обволакивающей всех героев психологически сгущенной атмосферы — черта новой литовской прозы, о которой М. Служкис хорошо сказал: это съёмка под водой — погружение в глубину, где подсознательное соединяется с типологическим, а традиционная для романа сетка социальных отношений начинает выявлять общие морально-психологические законы.

В сюжетном плане перед нами предельная сомкнутость судеб, сложная совмещенность отношений, система очных ставок и символических совпадений, неотвратимая и немедленная связь морального акта и возмездия. Один такой узел: командир партизанского отряда, народный мститель Марюс, приходит ночью в поместье, чтобы казнить старосту, и вот дочь одного из партизан, батрачащая у возвращенного немцами помещика, при криках «бандиты!» скачет, темная деревенщина, ночью в городок, чтобы поднять тревогу, и наводит на партизан карательную группу, губя таким образом и собственного отца, — какой фантастический стык темноты и случайности, злобы и невежества, безвыходности и недоразумений! Выкладывая этот мучительный узор непрерывного морального терзания поверх сетки традиционных социальных отношений, Авижюс и выводит свой роман к проблемам, которые в старину назвали бы предельными...

Система героев романа предстает в нашем читательском сознании не просто как система социально-психологических типов, но как система позиций в непрерывном моральном «диспуте».

Позиция первая: Красный Марюс. Железный Марюс, преданнейший солдат революции, в сороковом — председателем волисполкома, в сорок первом — партизан; Марюс не убеждением только, но всю судьбой связан с коммунистами. Он трезво понимает, что новая жизнь потребует жертв: «Не скрою, побродим по колено в слезах богатеев, а то и в крови. Этого не избежать!»

«Ненависть — лучшая взрывчатка. Такой бомбой мы самого дьявола взорвем». Марюс знает закон смертельной схватки: кровь за кровь. Каратели уничтожили семью Марюса, изнасиловали его сестру, другая сестра сошла с ума от ужаса. Марюс мстит за них: борьба жестока. Встав на путь борьбы, Марюс идет до конца.

И вот эту железную позицию Авижюс испытывает чисто человеческой прочностью. Марюс появляется в романе в момент катастрофы: каратели застигают в деревне партизан, повесивших старосту, Марюс бежит, облага идет по пятам, и вот, окровавленный и ооченевший, он ползет в деревню, чтоб люди спасли его. Ломая ногти, Марюс неслышно пролезает на сеновал Кяршиса, и там его, обессиленного, находит Аквиле и тайком от мужа начинает выхаживать... И Марюс ждет, что с ним будет, когда его обнаружит на сеновале Кяршис, тот самый Кяршис, у которого нет никаких оснований его любить... Впрочем, и Марюс не любит Кяршиса — такие в сороковом на его пути стояли, ну что ж, борьба есть борьба...

На другом полюсе романа — Дангель, гестаповец, последовательное выражение гитлеризма. Марюс написан горячими, воспаленными красками, Дангель — ледяным пером, Дангель — изощренная бесчеловечность и тупая исполнительность. Но и в этой холодной машине, в этом аккуратном немецком «мальчике», выщипывающем нервы на допросах, обнаруживается некий «человеческий ход», от которого вас в дрожь бросает. Он, Дангель, тоже исповедуется! Он обьясняет, зачем надо уничтожать русских и евреев, он говорит о том, что «личности управляют, а рабы служат» и что сильные люди должны избавить землю от «выродков». У него, у Дангеля, тоже свое «человеческое подполье»: мать — немка, отец — литовец, колотивший мальчика за немецкую речь, так что мальчик, знает ли. «выстрадал» свое право стрелять в неарийцев... Есть что-то от Достоевского в этой сцене исповеди палача, и оттого, что там, на дне, тоже скорчился бывший человек, еще страшнее.

Меж крайних точек борьбы, воплотивших для Авижюса вершину самопожертвования для людей (Марюс) и бездумное обесчелочивания (Дангель), располагается в романе система судеб, панорама характеров, спектр позиций, связанных одною моральной проблемой. Эта проблема: как ведет

себя средний человек в этой жестокой схватке?

«Не мною создан такой мир, и не мне за него отвечать» — вот лейтмотив «среднего человека», ищущего третий путь. «Я не хочу сгребать чужую грязь!» Я не виноват, что пришли немцы... Я не виноват, что война... Я не виноват... не виноват... не виноват...

Авижюс хорошо знает идущую от Щедрина и Горького традицию, по которой человек, уклоняющийся от исторической драмы, трактуется либо как «обыватель», шкурник, либо как наивный дурак. Либо премудрый пескарь, либо карась-идеалист. Либо хитрый уж, либо «глупый пингвин». Если это шкурник, обыватель, то он только асоциальное животное; если же это глупец, наивный человек, то его история на учит уму-разуму, и как только он поймет, что нейтралитет в исторических битвах все равно невымыслим, вопрос решится...

Такие варианты «невмешательства» учтены Авижюсом, но он ими не ограничивается. Ничтожный учителяшка, который продает Гедиминаса гимназическому начальству, а потом прыгающими губами объясняет ему: «У меня детишки, жена». — вот тип человека, спасающего шкуру, этот тип проходит где-то на периферии действия, как эпизодическое лицо, не вызывающее принципиального интереса.

Принципиальный интерес вызывают люди, пытающиеся доказать себе моральную возможность третьего пути. Если интеллигент Гедиминас не хочет проливать чью бы то ни было кровь и отказывается идти в партизаны, то меньше всего здесь «расчета» или желания «спасти шкуру»: уж оставшись в деревне, он точно беззащитен перед гестаповцем Дангелем. В том-то и сила романа Й. Авижюса, что, исследуя душу человека, ищущего третий путь, он видит все благородство изначальных чувств, и весь человеческий ужас создающегося для таких людей положения, и все их искреннее желание быть «невиноватыми»...

«Не виноват!» — вот лейтмотив, удивительно точно отражающий эту моральную попытку. В такой позиции есть, конечно, своя правда, ее нравственный порок не лежит на поверхности. Но порок есть. В старину о нем много писали в философской литературе, и вот какая мысль в связи с этим интересна: внутреннее благородство склон-

но взять на себя вину, духовная же нищета знает лишь свою невинность: для нее мир виноват, она на весь мир обижена. С одной стороны, переживание вины, с другой, накопление обиды — такова эта старинная дилемма.

«Средний человек» Авижюса знает одно: он «не виноват». Виноваты все остальные.

Три варианта этой драмы исследованы здесь, три судьбы, три позиции.

Адомас. Кяршис. Гедиминас. Все трое из одной деревни. Все трое знают друг друга с детства. Все трое, вообще говоря, не хотят делать другим зло.

Далее начинается драма выбора.

Адомас считает: лучше начальником полиции стану я, чем какой-нибудь изверг. «Всех нас гонят в хлев, но можно войти туда в разные двери. Я хочу хоть дверь выбрать!» Страшная психологическая правда состоит в том, что, отправляя людей на смерть, он и впрямь не хочет этого делать. Он не выдает властям спрятанного его сестрой раненого русского летчика — он только выбрасывает его из дому. Он не хочет стрелять в евреев, он отлынивает, прячется, он предпочитает, чтоб стреляли другие. И уже погрязнув по уши в чужой крови, Адомас все еще пытается «что-то сделать»: предупреждает семью захваченного партизана и... расстреливает самого партизана, проклиная все и вся: «Я не виноват».

«При чем тут я, таков был приказ Дангеля»... Но уж с Дангелем-то эти игрушки не проходят: с какой садистской холодностью впутывает этот гестаповец Адомаса в самые кровавые дела, зная, что ничто так не привяжет подручного к палачу, как первое пятно крови на руках. Помните, с какой силою передал этот ужас Василь Быков в «Сотникове», как увяз в предательстве Рыбак, как накрыла его «петля соучастия»?.. Да Рыбак-то куда крепче был человек. Адомас — это уж заведомое бессилие: бессилие переменить судьбу, бессилие оправдаться. «Я не преступник, я жертва... Я не приказывал летчику падать с неба на чужую землю»... Я «не просил родителей пустить» меня «в этот паскудный мир»... «Неужели не бывает в жизни, что ты сволочь, но в этом не виноват»... — вот этапы распада личности. Жизнь Адомаса погружается в пьяный, кровавый бред, в непрерывный кошмар убийств, так что самая смерть становится для

него слишком милосердным концом. Господи! Тягаться с железной машиной гитлеризма, подстраиваясь к ней! Чудовищный финал, страшный конец: предательство, палачество, распад. Но не заложен ли был этот финал в самом начале судьбы? В той изначальной моральной пустоте, с какой вышел к нам этот человек? Он «не виноват, что родился!». С такой моральной основой нечего и пытаться иметь дело с совестью — лучше уж сразу ползти к Дангелю. «Я хочу хоть дверь выбрать». Дверь тебя выберет...

Адомас лезет в дангелевскую мышеловку, потому что не имеет в душе моральной опоры.

Кяршис опору имеет. В этом характере писатель испытывает духовную прочность того самого недоверчивого и скептического литовского крестьянина, о котором уже много лет размышляет литовская литература. Этот косноязычный крестьянин себе на уме. «Ходи, мил человек, подалее от места, где ледок тонок, не провалишься. Заправляй своим хозяйством... Немцев не будет, но не будет и Марюса. А Кяршис будет. Со своими пивными бочками... житом.... Такая уж крестьянская доля — всех кормить... И-эх, разве я виноват, господи?»

Вы можете сказать, что эта позиция темна, архаична и, в конце концов, тоже иллюзорна. Но вы не можете отрицать, что у этой позиции в отличие от звериной беспочвенности Адомаса есть своя моральная основа.

«Я кормилец, а не убиец! А ежели хлеб, который я вырастил, жрет убийца, ничего не попишешь. Мужик не виноват, что на земле всякой твари по паре, он не может раздавать хлеб только добрым людям... Работа у крестьянина честная...» «И-эх, бог видит, не виновен...»

Наивность этой позиции кажущаяся: в ней есть хорошо продуманная человеческая логика. Кяршис видит в Адомасе не полицейского, а лишь заблудшего брата своей жены Аквиле не потому, что не знает, чем занимается его шурин у немцев. Он не хочет знать этого. Точно так же он не хочет знать, чем занимается в лесу Красный Марюс, он знает только одно: Марюс — бывший жених его Аквиле, отец ее первого ребенка, и если он, Марюс, забрался к нему, Кяршису, на сеновал, то смысл в этом один: он разбивает его. Кяршиса, жизнь...

Так что когда этот угрюмый мужик обнаруживает прячущегося в сарае обессиленного, раненного Марюса — «убивца» и «разлучника», — то у последнего есть основания прощаться с жизнью: усадит этот кулак Красного Марюса на телегу и доставит к немцам...

И наконец третья позиция: Гедиминас. Интеллигент, просветитель, правдоискатель, поэт — он не просто учитель местной гимназии, он человек, к которому в высшей степени пристало почтительное деревенское обращение «господин учитель». И крах позиции Гедиминаса — это для Авижюса действительная трагедия гуманиста, человека субъективно честного — честно ищущего опору и не находящего ее.

Одна из его попыток найти опору — буржуазный национализм. «На первом курсе университета даже числился в корпорации неолитуанов. Ненавидел поляков, не любил русских и немцев, с уважением относился к англосаксонским народам, обожал все литовское. А потом понемногу очухался...» Очухался в том смысле, что плюнул вообще на всякую политику. В том числе и на сметоновскую. «Неужели отдельные нации отжили свой век, и нам, малым сим, суждено растаять в массе многочисленных?..» А раз так — «мое счастье — в моей честности».

И. Авижюс и в этом случае не занимается разоблачительством. Опровергнуть националистические и индивидуалистические идеи Гедиминаса несложно, но как «опровергнешь» то глубоко выстраданное благородство, с каким человек действительно пытается устоять как личность? Он уходит из гимназии, потому что преподавать ученикам нацистские бредни противно его совести. Уходит к отцу в деревню, выращивает хлеб, пишет стихи. «Если в обществе кто-то свободен, так только землепашец: не поступаюсь своей совестью, он выполняет священную миссию — кормит человечество».

Но на месте «человечества» оказывается гестаповец Дангель. Тогда Гедиминас начинает свою безнадежную и честную борьбу. Он отказывает немцам в поставках. Окрестные мужики только усмехнулись такому манифесту: как же, околет Гитлер без твоего мешка зерна, да тебя немцы враз вытрясут... Но для Гедиминаса этот жест — жизненная ставка: так, по крайней мере, он знает, что сделал все возможное.

Вызов брошен. Остальное — вопрос гестаповской техники.

Марюс еще успевает сделать попытку спасти Гедиминаса: «Я хочу, чтоб ты понял: твой путь ведет только к нам».

Но правдоискатель отказывается идти к партизанам. Там — кровь. «Пока останутся верующие, резня не прекратится. Я не верующий, Марюс... Я потерял своего бога. И не думаю, что мог бы обрести его в каком-то другом знамени. Религии приходят... и уходят... Но духовные свойства... человека... будут существовать, пока живо человечество...»

Ну, «держись... пока фрицы не уложат тебя в могилу вместе с твоими свойствами», — сказал тогда Марюс и ушел в лес.

А Гедиминас вернулся домой и стал готовиться к своей судьбе.

Дангель не заставил себя долго ждать. Он даже не пытал этого «гнилого интеллигента». Он пытал при нем других. Красных. Неуступчивых. Дьявольский замысел этого иезуита был не в том, чтобы сломать Гедиминаса: Дангель знал, что этот «вонючий пенёк» скорее очокурится, чем пойдет к ним сотрудничать. И он сыграл, палач, на другом. Он... отпустил Гедиминаса. Он точно рассчитал, что сделает этот интеллигент, вырвавшись на свободу: теперь-то, когда его по уши окунули в гестаповскую кухню, когда хруст ломающихся костей стоит у него в ушах, теперь-то он побежит к партизанам: примите меня!

И Дангель спокойно пускает свору шпионов по следам Гедиминаса.

Финал этой трагедии даже не там, где Гедиминас, потрясенный всем пережитым, решил наконец идти в лес и мстить гитлеровцам. И не там, где он вдруг учуял за собой шпика и убил его, хотя можно понять, чего стоило этому гуманисту-учителю своими руками задушить человека. Финал трагедии там, где Гедиминас явился к связанному Марюса и вдруг понял, что теперь ему уже ни за что не поверят: Дангель просто так никого не выпускает. Ты-то, может, и честный, да за тобой теперь целая свора идет. Так что прячься где можешь, Гедиминас. Только будь человеком — не лезь к нам, беду накличешь...

Круг замкнулся. Куда идти? Последним проблеском сознания встает перед затравленным Гедиминасом вопрос: за что? где я ошибся? я, гуманист, разве я изменял высочайшему своему принципу?

Где ж та страшная, незаметная ошибка, что привела честного человека на голгофу отчаяния?

Его гуманизм номинален. Или, как теперь говорят, абстрактен. Он негативен: отрицает Дангеля, отрицает Марюса; даже бегство на землю есть для Гедиминаса отрицание городского тупика, не больше, и то, что для Кяршиса является каким ни на есть бытием, здесь не более чем отчаянная попытка спрятаться от собственной моральной беспочвенности. Не имеющий духовного позитива, этот гуманизм питается отрицанием, и нигде так не выявляется его нравственная иллюзорность, как в той буржуазно-националистической программе, которой отдает дань Гедиминас. Ведь только на первый взгляд есть моральная боль в тех страдательных концепциях, в каких мыслят себе Литву эти бывшие неолитуаны: Литва — между молотом и наковальней, Литва — под ногами двух дерущихся титанов, Литва — мотылек меж огнями... Знаете, чего больше всего в таких построениях? Желания стать молотом. Вокруг Гедиминаса его вчерашние соратники ведут мечтательные разговоры о великой державе Миндовга и Гедимина (какою усмешкой звучит это великое имя применительно к герою романа, какою жалостью...), но увидеть в борьбе гигантских армий только борьбу силы против силы, упустить моральный смысл столкновения фашизма с коммунизмом значит и обнаружить нравственный просчет своей собственной программы. Литва, господствующая «от моря до моря», — это все, чем хочет утолить свою совесть учитель Гедиминас, гуманист, поэт и человеколюбец?..

Гуманизм не может быть номинальным, отрицательным, на себе замкнутым, как не может быть замкнут на себе человек — он должен верить, он должен класть жизнь, он должен быть, а не просто отвечать на чуждое ему бытие.

— Я не верующий, Марюс... Во мне нет ядра, мне не из-за чего рискнуть собой. Я не виноват...

С таким, как Адомас, все просто: Марюс его просто повесит, это враг, в нем человеческое давно кончилось.

Но страшно больно проходит через душу писателя трагедия таких, как Гедиминас.

«Кто ты ни на есть, ищейка или заяц, мне один черт...» — в этом ответе партизана нет ни ненависти, ни презрения, тут даже жалость звучит, а более всего — печальная невозможность помочь Гедиминасу.

И жаль его и больно за него, но в его

позиции не с чем взаимодействовать — в нем ядра нет.

Да, куда страшней было Марюсу, когда рассвирепевший Кяршис с вилами в руках стоял над ним на своем сеновале. Страшно: темный мужик, озверелый. И все-таки там, в мрачной душе Кяршиса, было что-то, с чем можно было вести диалог:

— Есть выход.. усадить Красного Марюса на телегу и доставить.. к немцам...

И тогда взвыла темная душа этого мужика:

— И-эх, он уже о смерти... Не Кяршис дал тебе жизнь, не Кяршису ее отнять. Чтоб человека по моей вине... И-эх, это уж нет!.. Пришел без спросу, без спросу и уйдешь... Я тебя не выгоню. Сиди где сидел, пока нужда. Ничего не хочу слышать и видеть... Захочешь уйти, сможешь прыгнуть. И помоги тебе господь. Катись, откуда притащился. Немцам прямо в лапы или к своим. Я-то ничего не знаю, не видел, не слышал. И дай бог, чтоб мои глаза больше тебя не выдали, Красный Марюс!»

«Был тут недавно случай — Марюс угодил в переплет. Думали, этот человек выдаст его немцам, серьезные причины были. Ошиблись. Кормил и поил, правда, скрепя сердце, ругал ругательски, но не выгнал, хоть и знал — попадись он, фашисты его не помилуют».

Гедиминас выслушивает этот рассказ как приговор себе. Ищейка ты или заяц, им один черт — не верят... Куда идти? Домой нельзя... Куда а? «В пустыню, только в пустыню, и околеть там...»

«В одиночку хотели смеяться, в одиночку и заплачете».

«Я не хотел быть виноватым...»

Альгимантас Бучис, один из интереснейших литовских критиков послевоенного поколения, заметил, что традиционная громада многопланового романа в ходе развития литовской прозы последних лет «рассыпалась» так, что ее элементы, составные части, частицы остались целы и даже сохранили свою окраску; теперь эти элементы включаются в «любую форму современного романа».

В какую же форму?

Об этом много писали в критике. Писали и об элементах психологического потока, грозящего растворить объект в субъекте, и о лирико-романтической стихии, чреватой выпренностью, и о принципах импрессио-

низма, чреватого пустой символикой и барочным украшательством. Надо сказать, что эти опасности реальны: было бы странно, если бы издержки стиля не чувствовались и в романе Авижюса — за все надо платить; наши недостатки суть продолжение наших достоинств; читая «Потерянный кров», вы должны проглатывать и такое: «Человек лежал в объятиях Адомаса — беспомощный, как младенец, и тяжелый, как преступление, которое вот-вот совершится». Я воспринимаю эти огрехи как неизбежные издержки поиска. И не в них дело. Дело в том, что, отталкиваясь от традиций «пано-

рамного» романа, литовская проза действительно идет в глубь человеческой проблематики. Она исследует в человеке личность, то есть ситуацию морального выбора и закон моральной ответственности. Надо ли говорить об актуальности этой проблематики для современной культуры? Речь идет о корнях морали.

Нравственный фундамент личности есть та проблема, вокруг которой создается сейчас новый литовский роман, одно из замечательных явлений многонациональной советской прозы.

Л. АННИНСКИЙ.

★

«Я НЕНАВИДЕЛ КАЖДЫЙ ВЫКРУТАС»

Ф. Чуев. Соколиная песня крыла. Стихи. «Московский рабочий». 1970. 94 стр.

Феликс Чуев. Минута молчания. Поэма. «Октябрь», 1971, № 4.

Кто знает, может быть, в данном конкретном случае вместо рецензии имело бы смысл привести одни только цитаты, тем более выбор их незатруднителен и комментарии оказались бы попросту излишними. Но на подобную жанровую подмену мы не решаемся, позволяя себе, однако, самый минимальный комментарий. Такая это будет рецензия.

Итак, читающий раскрывает книгу и с первой же страницы (точнее, с пятой — первые четыре заняты фотографией автора, его биографией и выходными данными издательства «Московский рабочий») знакомится с программно-декларативным заявлением:

Как прожить и прекрасным остаться —
для друзей, для врагов — навсегда?
Может,
в сорок ли, в тридцать ли, в двадцать
— оборвать молодые года?

Было бы еще понятно желание поэта стать прекрасным — в конце концов, человеку свойственно такое стремление. Но автор желает остаться прекрасным. Да еще навсегда. Читатель, что называется, поставлен перед фактом: ему предстоит знакомство с героем — прекрасным человеком, у которого в этом плане всего лишь одна забота, сугубо косметическая: сохранить свою «прекрасность» навсегда. И не только для друзей, но (почти дамское честолюбие!) и для врагов.

А если нет? Перед нами человек с очевидно максималистскими устремлениями, он считает, что тогда уж лучше оборвать молодые годы (обозначены они самим автором несколько пространно: «...в сорок ли, в тридцать ли, в двадцать»).

С собственным возрастом и собственным прошлым у поэта счеты давние и непростые. В том же стихотворении читаем:

Нелегко, если много ты прожил,
а свершился давно еще, там,
Эту истину сердцем и кожей
сам почувешь по мертвым друзьям.

Да, свершился. Но где? где «там»? — задумается дотошный читатель. Он не станет придирается к глаголу «почувешь», но что значит «истина... по мертвым друзьям»?

Исторические стихи, публицистические стихи, любовные стихи, пейзажные стихи... В любовной лирике натура обнажается всего резче:

Я вам прощаю все измены ваши,
я вам прощаю только лишь за то,
что, светлая, хорошая, однажды
вы прибегали в стареньком пальто.

Надо же, сколь привлекательны старые вещи. Понимают ли это женщины — как мало нам от них надо и как легко мы их прощаем за все измены? Если читатель все-таки станет искать в следующей строфе разъяснение столь низкой платы за измены, то он вместо конкретных разъясне-

ний получит нечто другое, а именно — поймет наконец, что «писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным»¹... Ибо в следующей строфе сказано:

И в этот тонкий и прозрачный вечер,
что выплетут из песен соловьи,
я снова имя тающее встречу
и губы незамужние твои.

«Незамужние губы», конечно, обнаруживают парадоксальную связь с многочисленными изменами героини. Однако в другом стихотворении губы все-таки заменяются на куда более поэтически уста, и вот к чему с их помощью мы приходим:

Ты мое продолжение, имя,
золоченное выдумкой сна,
я целую устами твоими
эту землю и небо — до дна.

Целовать ее устами землю до дна... «Плохая физика; но зато какая смелая поэзия!» — вспомнил еще раз Пушкина, на этот раз его примечания к «Подражаниям Корану»². Тут мы видим, что героиня суть «продолжение» героя, да еще к тому же «продолжение», золоченное выдумкой сна. Нет, пора признать, что автор рецензируемой книги пишет очень даже красиво.

Вот, к примеру, он высказывает в довольно-таки императивной форме пожелание любимой:

...чтобы стерла,
жалости не чувствуя,
лезвиями памяти сользя,
имя непривычное, нерусское
и мои славянские глаза.

Столь умильное отношение к самому себе уже не удивляет, ибо оно повторяется настойчивым рефреном во многих стихах сборника. Так автор приучает нас к законам, по которым надлежит судить его.

Герой лирических стихов прекрасен, и он искренне любит себя. Естественно, что совсем наоборот относится он к тем, кто этой любви к нему по тем или иным причинам не испытывает или перестает вдруг ее испытывать. В рамках любовной лирики это решается следующим образом. Прощаясь с любимой, которая предпочла ему другого,

¹ А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах. Издание третье. Том десятый. Письма. М. «Наука». 1965, стр. 121.

² Там же, том второй, стр. 211.

автор, забывая на этот раз о смягчающем вину обстоятельстве — «стареньком пальто», прямо спрашивает: «Но что ж он такой вороватый, такой непохожий взгляд?»³.

Вообще-то, выискивать противоречия в книге стихов — занятие негодное. Но в рецензируемой книге они просто лезут назойливо в глаза. Если, скажем, в первом, уже цитированном стихотворении герой задумывается, не оборвать ли молодые года, то в стихах «Я писал свои стихотворенья...» он с полной определенностью, с радующим читателя оптимизмом заявляет:

И пока на этом свете душном
грозы собираются опять,
ни от водки, ни от малодушья
не имею права умирать.

Если в первом стихотворении автора мучило желание остаться навсегда прекрасным и для друзей и для врагов, то в последнем он мужественно отказывается от подобной универсальности: «Нет, нельзя со всеми быть хорошим...»

Естественный в поэзии интерес к лирическому герою в рецензируемом сборнике новаторски гипертрофирован — перед нами не обыкновенный лирический герой, а скорее его гипербола. Там, где речь идет о себе самом, интонация стиха завышена до предела и выше предела:

Я писал свои стихотворенья,
не слагал, а возводил стихи...

Отсюда постоянные обиды и за себя и за других, обделенных славой: «Да и слава-то, в общем, обидно проходит, как тачанка в степи, как немое кино». Это с одной стороны. А с другой — почти мания величия: «...и я гляжу со снисхождением на всех, кто ходит по земле». Или: «Да ты бы влюбилась, наверно, когда у небес на виду — один посредине ветра я вдоль по бетонке иду». Или даже так: «...даруй мне веру в то, что впереди меня бессмертье ждет».

³ В том же стихотворении, названном «Прощальные стихи», встречаем мы строфу, привлекательную полной своей загадочностью и смелым игнорированием — может быть, даже под влиянием дадаистов — отдельных грамматических правил:

И я, уже лишний увижу,
как в тувельках без каблучков —
тебя и меня он пониже —
загубишь святое из слов.

Апофеоз самовозвеличивания (в стихотворении цикла «Спасение любви») принимает такие формы:

Надо жить торжественно и круто,
может, не всегда наверняка,
но зато чтоб в каждую минуту
возникло званье мужика.

Каждую минуту. Возникло званье. Мужика. Эк пишет!

Поэма «Минута молчания» сначала была напечатана большими отрывками в рецензируемом сборнике, а спустя полгода целиком в журнале. Редко, но бывает и так.

В поэме автор как бы опровергает истину — оказывается, не в подвиге раскрывается человек, а

Настоящий,
большой человек
раскрывается полностью в славе...

А вот о другом, в стихотворении:

Во все века, когда бывало туго,
страною правили крутые мужики.
Державой правили такие мужики,
что здорово ее любили, здорово.
В толпе крестились смута и враги,
когда на плахе срубленные головы
по матушке царь-батюшку крестили.

.....
Не свят был Александр Ярославич.
Нелегко Петр. И грозен Иоанн.
Но никакой кровью не ославишь
деяния рукастых россиян.
Они в столетьях только

стали правы.
С трубой подозрной, с трубкою в руках
они стоят в истории державы
в ботфортах и в солдатских сапогах.

Скажем о серьезном с предельной серьезностью же. В русской истории достаточно достоинств, чтобы не идеализировать ни плахи со срубленными на них головами, ни «крутых мужиков» на престоле все равно с чем в руках — с подозрной трубкой или с погасшей трубкой. И Ивану Грозному и Петру Великому мы воздаем должное за их государственные подвиги, а не за их плахи и произвол.

Между тем у поэта есть эта особинка — опешать любую высокую тему, к какой ни прикоснется. Это заметно и в других стихотворениях. Вот он пишет:

Так решил я — себя воспитать
коммунистом.
Я не скоро к такому решенью пришел.

Для меня этот шаг тяжелей, чем
жениться,
лишь бы партии было со мной хорошо.

Решившись отразить в своих стихах интернациональные принципы, поэт почему-то представляет интернационал в виде.. неизлечимой болезни.

И хоть я весь невыдуманно русский
и хоть Россия у меня одна,
интернационалом я болею —
неизлечимо грозная болезнь!
Пусть будут немцы, русские, евреи —
пусть будут в мире все, какие есть!

«Пусть будут»... Как говорится, и на том спасибо.

Читатель нашей рецензии ненароком может подумать, что автор сборника и поэмы этакий неопит в литературе, совершенно не знакомый с образцами современной лирики. Ничего подобного. История с именем Феликс, данным поэту при рождении («...нас называли Феликсами, Робертами в честь очень дорогих большевиков»), со всей очевидностью подсказана ему историей с именем Роберт, о которой мы узнали в свое время из стихов Р. Рождественского. В стихотворении «Орловская порода» Ф. Чуев пишет:

И это я, и это я живу!
Я мог бы и не жить на этом свете,
когда б однажды где-то, наяву,
веселый летчик маму не заметил.

Здесь явственная связь с той мыслью, на которой стоит известная поэма Беллы Ахмадулиной «Моя родословная».

Еще читаем:

Все равно ты будешь думать обо мне,
день и ночь ты будешь помнить обо мне,
в предвечерней золотистой тишине...

А у Е. Евтушенко:

Молю тебя — в тишайшей тишине,
или под дождь, шумящий в вышине,
или под снег, мерцающий в окне,
уже во сне и все же не во сне —
весенней ночью думай обо мне
и летней ночью думай обо мне...

В этом случае кое-что из стихов автор просто обязан вернуть своему прямому предшественнику — как рифмы, так и все другое.

Таким образом, наш автор знает и Евтушенко, и Рождественского, и Ахмадулину. В ряде случаев он мужественно подключается к поэтическим дискуссиям, чтобы вы-

сказать и свое собственное мнение. Известен, скажем, спор Н. Коржавина с П. Кога-ном: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал!» — «Я с детства полюбил овал за то, что он такой законченный». В отличие от названных поэтов Ф. Чуев с детства отдал предпочтение не углу и не овалу, а прямой линии. И про это написал целое стихотворение, которое называется «Прямая линия».

Я с детства полюбил прямую линию.

Мне выпрямить хотелось всех согбенных,
я ненавижу каждый выкрутас,—

меня недаром злили откровенно
неровные границы государств.

Хочется спросить: а «ровные границы» — это что же было бы, уже не «каждый выкрутас»?

Далеко не все поэтические перлы вместились в ограниченные пределы рецензии, но что делать? Остается только надеяться на любопытство читателей, которые, прочтя эту заметку, побегут в библиотеки и лично познакомятся с книгой и поэмой, выходные данные которых были указаны вначале.

Владимир СОЛОВЬЕВ.

Ленинград.



ВСТРЕЧИ С БОЛГАРИЕЙ

Б. Брайнина. На Старой Планине. М. «Советский писатель». 1971. 424 стр.

Кто хоть раз побывал в Болгарии, увидал ее сказочно красивые горы — Родопы, Пирин, Старую Планину, покрытые густыми лесами, ее прозрачно-чистые озера и быстрые горные ключи, ее золотистые черноморские берега, ее старинные памятники зодчества и культуры, тот навсегда унес в сердце привязанность к этой пленительной стране, к ее талантливым, трудолюбивым, щедро гостеприимным людям. С Болгарией мы связаны историческими тесными узами с давних времен. И нельзя не заметить, с какой любовью болгары охраняют многочисленные памятники русским воинам-освободителям. Для читателя, лично знающего Болгарию или знакомого с ней по описаниям и художественной литературе, книга Б. Брайниной «На Старой Планине» будет радостной новой встречей с прекрасной болгарской землей и ее народом.

Автор широко известных исследований о творчестве К. Федина, Ф. Гладкова, В. Катаева выступила в новом для нее жанре, начинающем все больше утверждаться в современной литературе. Этот жанр трудно поддается обычному определению, хотя и возник он не на голом месте. В нем сочетаются лирические воспоминания с путевыми очерками, литературные впечатления с научными экскурсами в область истории страны, ее поэзии, искусства и культуры. Классические образцы подобного «смешанного» повествования, амальгированного личными чувствами и мыслями, это и «Путевые картины» Гейне, и «Путешествие на Восток»

Жерара де Нерваля, позднее — «Италия» Вернона Ли и «Образы Италии» П. Муратова. Дело тут не в прямых сопоставлениях и аналогиях, а в сознании плодотворности этого жанра.

Вся книга Б. Брайниной, дающая и исторические и современные картины Болгарии, насыщена эмоционально-лирическим звучанием. «Нигде история так согласно и глубоко не живет в современности, как в Болгарии. Историческая память народа остра и находчива, и прошлое непосредственно участвует в делах современности, помогая решать трудные, животрепещущие вопросы», — пишет автор. С поэтической зоркостью и подлинным увлечением Б. Брайнина рассказывает и о поэте-революционере Христо Ботеве, отдавшем пыл души и жизнь свою борьбе за освобождение родной земли, и о поэте-мыслителе Пейо Яворове, и о наших современниках — известных поэтах Елисавете Багряне, Доре Габе, Георгии Джгарове, Благе Димитровой. Их судьбы, такие разные, спаяны страстной любовью к Болгарии, и в каждом поэте — как бы частица души родины. Автор сумела интересно рассказать и о простых болгарских тружениках — земледельцах, виноградарях, о библиотекаре в отдаленном селе, выдающейся революционерке и общественной деятельнице Цоле Драгойчевой, передать красоту и величие их труда.

Б. Брайнина приводит слова Елисаветы Багряны: «Говорят, что поэзия — это признак молодости как отдельно-

го человека, так и отдельной нации. Наша страна исторически одна из самых древних в Европе... более 1100 лет тому назад она открыла первую страницу своей письменности. И прекрасно, что и поныне она так жизненна и молода, что ее сердце откликается на слово поэта. Просто ей присуща поэзия».

Эту молодость автор постоянно находит в общении с людьми, в их проявлении дружбы и гостеприимства, в их отношениях к другим народам и странам.

Близости идей и интересов болгарской и русской культуры посвящены многие страницы и главы книги Б. Брайниной. В литературных характеристиках преемников Христо Ботева и его прямых наследников — Гео Милева, Христо Смирненского, Николы Вапцарова явственно проступает традиция гражданственности в поэзии, определившая пути русской и болгарской прогрессивной литературы. Общий вольнолюбивый дух отражен не только в сходных образах и мотивах, но и в близости интерпретации героического народного начала.

Сопоставляя судьбу многострадальной Болгарии со столь же скорбной в прошлом судьбой Армении, автор определяет истоки симпатии между этими народами. Чуткий, глубоко гуманный, проникновенный Пейо Яворов с состраданием отнесся к армянским беженцам, спасавшимся от кровавой турецкой резни. Поэт в 90-х годах видел трагедию армянских изгнанников, ютившихся в жалких дощатых бараках, и подолгу беседовал с ними. Знаменитая элегия Пейо Яворова «Армяне» нашла отзвук не только в Болгарии, но дошла и до далекой Армении. В Софии на Русском бульваре высится памятник Пейо Яворову с лаконичной надписью «От признательных армян», и в Ереване известный скульптор Агурониан создал монумент Яворову. В доме-музее Яворова автор встречает студентов-армян из Еревана, работающих над литературным наследством поэта. Они пришли поклониться памяти поэта. Яворов развивался духовно, как и его предшественники и потомки, впитывая благородные устремления русской литературы — от Пушкина и Лермонтова до Горького и Маяковского.

Рассказывая о Благе Димитрови, Б. Брайнина поведала историю о том, как поэтесса привезла в Болгарию маленькую вьетнамскую девочку Ха, историю, которая является ярким проявлением интернационализма.

Стало банальным цитировать знаменитое изречение Гёте: «Кто хочет понять поэта, должен посетить его страну». И все же нельзя лишний раз не удивиться меткости этого крылатого выражения, когда читаешь книгу Б. Брайниной. Она словно идет по следам Христо Ботева, Ивана Вазова, Пейо Яворова, и ее чувства, связанные с посещением памятных мест, передаются и читателю.

Лирическая глава «Майка ми» на живых примерах (от героини рассказа Ивана Вазова «Болгарка» до нашей современницы мужественной революционерки Цолы Драгойчевой) воскрешает героический облик болгарской женщины.

Народная песня словно в зеркале отражает стойкость и жизнелюбие болгар. Песня помогала пережить иго Византии, пятивековое турецкое рабство и мрачные дни фашизма. Никакие испытания не сломили крыльев народной песни, возвещавшей волю к победе. Песня вместе со сказкой и легендой идет от поколения к поколению.

Бывая в городах и деревнях Болгарии, Б. Брайнина собирает эти жемчужины болгарского фольклора. От нее мы узнаем старинную легенду о двух озерах-близнецах, прозванных Тодорины очи. В черные времена турецкого насилия прекрасная крестьянская девушка Тодора, жившая в Пиринских горах, попав в плен, вырвала свои красивые глаза и бросила их на родную землю, чтобы не видеть позора. На этом месте появились два синих озера, разделенных, словно переносицей, маленьким перешейком. Услышанная легенда дала поэтическую тему Д. Д. Благому, написавшему в стиле болгарского фольклора балладу о Тодоре:

...Два близнеца — голубые озера,
Их голубее отыщешь навряд.
Это — лазурные очи Тодоры
В небо Болгарии вечно глядят.

Книга Б. Брайниной отнюдь не дневник туриста, плененного случайными впечатлениями. Автор годами глубоко изучает прошлое и настоящее Болгарии, знает ее историю, литературу, искусство. Несомненно, читатель обратит внимание на те страницы книги, где запечатлены встречи и беседы с выдающимся болгарским ученым, академиком Михаилом Арнаудовым, книги которого изданы и у нас. Влюбленный в поэтическое слово, М. Арнаудов в своих беседах с Б. Брайниной и Д. Бл гим воссоздал образы болгарских поэтов, увлек их поэзи-

ей Пейо Яворова, с которым ему посчастливилось быть знакомым и дружить.

Болгарские ученые, особенно Велчо Велчев и Симеон Русакиев, многие годы посвящали изучению и пропаганде русской культуры в Болгарии. Они подготовили не одно поколение талантливых учеников, продолжателей их благородного дела. Работы В. Велчева «Тургенев в Болгарии», «Пушкин на юге», «Чехов и болгарская литература», С. Русакиева «П. Славейков и русская литература», «Маяковский и развитие болгарской литературы», «Тарас Шевченко и болгарская литература», «Русская литература в

дооктябрьский период 1890—1917» хорошо известны среди европейских славянистов. Естественно, встречи и общение со многими болгарскими филологами и писателями в значительной мере обогатили книгу Б. Брайниной. Она постоянно ищет, собирает, обобщает многочисленный материал, поэтический и жизненный, и ей сопутствуют находки и открытия.

Берта Яковлевна Брайнина подарила читателю молодую, искреннюю, взволнованную книгу.

Александр ДЕЙЧ

★

Политика и наука

МИФОЛОГИЯ. ЗАЧЕМ ОНА?

Ян Парандовский. Мифология. Перевод с польского, предисловие и примечания Н. Дубова. М. «Детская литература». 1971. 272 стр.

Когда притихший зал напряженно вслушивался в звуки чужой речи и все понимал, видя, как терзается на подмостках страдающая душа великой трагической актрисы современной Греции Аспасии Папатанасиу, в моей памяти всплывали чуть измененные слова из гамлетовского монолога: «Что ей Гекуба, что она Гекубе, чтоб так рыдать?»

Я вспомнил об этом, взяв в руки недавно вышедшую «Мифологию» Яна Парандовского, книгу, рассказывающую о верованиях и легендах древних греков и римлян. Встали перед глазами и театральные афиши — Медя, Антигона, Эдип, Пигмалион. Калейдоскоп имен и сюжетов — от «Улисса» Джойса до «Кентавра» Апдайка и пьес Ануэя. Пронеслись стремительные абрисы античных видений, материализованных фломастером московской школьницы Нади Рушевой. Греческая мифология живет своей обновленной жизнью, второй молодостью, как древнерусское искусство или старинная музыка. И Марс влечет к себе людей не только в ипостаси «загадочной красной планеты» Скиапарелли, но и как мифологический образ.

Кто объяснит парадокс: человек, окруженный сонмом машин, живущий в век научно-технической революции, утопающий в море актуальной информации, вдруг припадает к наивным истокам прошлого, пытается отыскать истину в ее первозданности, познать себя, свое настоящее и будущее. Античность представляется некой моделью, на

которой сподручно проверить любую концепцию мира. И художник наших дней без устали ставит эксперименты на античном материале, мифологическом или историческом. Детская писательница Любовь Воронкова, позабыв про свою Машу-растеряшу, пишет большой роман о «сыне Зевса» Александре Македонском. Другой советский писатель, Георгий Гулиа, в раздумьях над природой власти, демократии и деспотизма, об искусстве и жизни обращается к блистательному «веку Перикла», к образу великого «человека из Афин». Чем же привлекает она, эта вновь и вновь возрождающаяся странная античность? Аллегоричностью, символикой, семиотической многозначностью, всеобщностью и субстанциональностью проблематики, концентратом гуманизма, эстетическим совершенством? Феномен еще ждет своих истолкователей.

Я. Парандовский ставит перед собой более скромную задачу — познакомить читателя (и не только юного) с богатством античной фантазии, многоцветьем древних вымыслов, где божественное переплетается с человеческим, рассказать доходчиво и сжато, без затей и утомительных подробностей. Делает он это с блеском, изящно, чуть озорно и улыбочиво, вполне отвечая интеллектуализму античного грека и всепонимающему скепсису нашего современника. Странствует по земле великий герой со своей любимой женой. Захотелось «поставить где-нибудь собственный дом, в котором мог бы отдыхать, иметь какой-то кло-

чок земли, чтобы сажать капусту, а по вечерам за кубком вина рассказывать соседям о своих приключениях». Это о Геракле, любимце народном. Не мешает серьезным рассуждениям о богах, веках, героях и прочих высоких материях разговорно-будничная, доверительная интонация: «Бога и человека не разделяла непреодолимая пропасть. Сначала и выдающихся людей приглашали к олимпийским столам, но позднее перестали, так как земные гости не умели вести себя прилично и у них были слишком длинные языки — они рассказывали близким все услышанное там». Или: «Сначала был, разумеется, золотой век. Царствовал тогда Кронос. Реки текли молоком, из деревьев сочился сладчайший мед...» — и т. д.

Вместе с тем у Парандовского не встретишь того унижительного гаерства, в духе которого на заре борьбы с религией провинциальные безбожники излагали библейские сказания, поэтические сокровища человеческого духа и народного творчества. Читатель может получить и необходимую научную информацию, не затемненную гелертерской лексикой, на которую так падки незрелые умы, — он может узнать о различии между мифологией и религией, о первобытном фетишизме, анимизме, антропоморфизме, персонификации, религиозном синкретизме на закате античности, о жизни мифов на протяжении столетий в фольклорной и литературной традиции. Конечно, немало важных вопросов остается и вне поля зрения автора — социальная роль и детерминированность мифов, различия между мифом и сказкой, сравнительно-мифологические параллели и другое. Зато Парандовский раскрывает небудничную роль сокровищницы поэтических сказаний в повседневной жизни грека и римлянина, притом не только древнего, рассказывает о их претворении в искусстве. Вы узнаете, например, откуда пошел обычай бросать монетки в знаменитый римский фонтан ди Треви или о том, что на Крите и сейчас стоит «церковь Святых Дев, а неподалеку бьет источник, который находится под их особым покровительством, как если бы эти девы были древними Няядами».

Мне пришлось по душе, что Ян Парандовский не идеализирует в винкельмановском духе древнегреческую мифологию и религию. «Религия греков не была религией чистой красоты, незамутненной радости и беззаботной любви к жизни, как слишком легкомысленно ее определяют», — справед-

ливо замечает он. И хотя боги Олимпа прекрасны, всемогущи, бессмертны и счастливы по сравнению с людьми, но и «у них были свои страсти, страдания и невзгоды, досаждавшие им не меньше, чем людям, но греки только такую жизнь считали действительно полнокровной и счастливой, в которой смешивались друг с другом добро и зло».

Русский читатель знает несколько книг, как старых, так и сравнительно новых, посвященных классической мифологии. Дореволюционный любитель древности знакомился с нею по переводам немецких пособий Г. Штоля и Г. Шваба, в советское время появились книги Н. А. Куна, М. С. Альтмана и С. И. Радцига с первыми попытками дать систематическое, марксистско-ленинское объяснение мифам, переведенная с венгерского содержательная работа профессора И. Тренчени-Вальдапфеля и, наконец, проникнутое историзмом фундаментальное исследование профессора А. Ф. Лосева, построенное на кропотливом и философски глубоком изучении источников. Если вспомнить, что о греческих мифах написаны тысячи книг на десятках языков, то можно лишь посочувствовать Я. Парандовскому, взявшему на себя труд написать тысяча первую. Но польскому автору удалось найти свой подход к материалу, сказать об известном свежо, по-своему.

Миф сродни сказкам, а сказки близки миру ощущений и образных представлений ребенка, особенно сказки древней Греции, солнечной страны «детства человеческого общества там, где оно развилось всего прекраснее», страны нормального детства¹. Уже позднее малолетний фантазер, превратившийся во взрослого рационалиста, извлекает из старой сказки новую мораль: «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

Сколько поколений обращались к неиссякающей кладовой греческой мифологии, чудесной накопительнице социального и нравственного опыта талантливого и мудрого народа, составлявшей, как известно, «не только арсенал греческого искусства, но и его почву»². Исчезни из круга нашего чтения книги, подобные «Мифологии» Парандовского, — мы перестали бы понимать многие шедевры мировой литературы, живописи, скульптуры. Пожалуй, ускользнул

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 737.

² Там же, стр. 736.

бы от нас и смысл творений родоначальника нашей национальной литературы. Поймет ли сегодняшний школьник своего далекого сверстника, посвятившего поэту, влюбленному в античность, такие, к примеру, строчки:

Философ резвый и пнит,
Парнасский счастливый ленивец,
Харит изнеженный любимец,
Наперсник милых Аонид...

(А. С. Пушкин, «К Батюшкову»)

Тому, кто хотел бы получить дополнительные разъяснения по вопросу «почему нужно знать античную мифологию», я посоветовал бы прочесть превосходную, в общем, статью под таким заглавием известного советского писателя Николая Дубова — его предисловие к книге Парандовского, которую он к тому же хорошо перевел.

«Мифология» Яна Парандовского не бестселлер-однодневка, она нужна многим и надолго, поэтому в ней должно быть все выверено, выводы и оценки — соответствовать уровню современных знаний и марксистско-ленинской методологии, как в учебнике. Чего не нашлось по той или иной причине в оригинале, легко можно было бы дополнить и скорректировать в примечаниях, как это и сделал Н. Дубов, обнаружив явные недомолвки и неточности у Парандовского в пассажах об эгейской культуре. Правда, коль уже зашла речь о носителях этой культуры, не стоило ограничиваться замечанием о хеттах как о создателях минойской цивилизации и нельзя было не сказать о том, что бесспорная расшифровка Майклом Вентрисом так называемого «линейного письма Б» неопровержимо доказала, что во второй половине II тысячелетия до н. э. жители Крита говорили на древнейшем греческом языке, то есть уже не хурриты, а пришедшие с севера «греческие варвары» были также одними из носителей высокой крито-микенской культуры (см. стр. 173—175).

Необходимы также поправки к разделяемым Парандовским суждениям о Гомере, давно отвергнутым советской наукой. Нельзя было пройти мимо утверждения, что «поэзия Гомера была придворной, аристократической». Советские исследователи В. М. Дьяконов, Н. Л. Сахарный, А. Ф. Лосев и другие всячески подчеркивают народную основу гомеровских поэм. Крупнейший знаток творчества Гомера профессор

А. Ф. Лосев прямо пишет: «Без проблемы народности изучение Гомера в настоящее время должно считаться бессмысленным»³.

Не соответствует современным научным представлениям данная Парандовским характеристика римской мифологии. Он утверждает, что трезвые римляне с их убогой фантазией (!) не создали мифологии и легенд. Поэтому приходится удивляться, когда в дальнейшем знакомишься с чудесными сказаниями о странствиях Энея и основании Рима. К сожалению, эти мифы, как и рассказы о полубогданном периоде царей в Риме, изложены обидной скороговоркой, хотя на них основана древнеримская классика и почти весь европейский классицизм.

Правильно, думаю, поступил переводчик, проставляя ударения в незнакомых терминах и редких именах, — пусть ребята учатся грамотно их произносить. Ведь это один из показателей культуры. Но, вот жалость, в десятках случаев эти акценты, как нарочно, поставлены не на месте. Вместо правильного архонт читаем архонт, вместо Тенедос — Тенедос, вместо Аргос — Аргос, вместо Эрганэ — Эрганэ, вместо Промахос — Промахос и т. д. и т. п. А чтобы избежать подобных промахов, можно было воспользоваться любым словарем древнегреческого языка, где постановка ударения обязательна, Советской исторической энциклопедией или другими справочниками...

Есть в книге и другие явные ошибки. Например, на страницах 13 и 87—88 утверждается, что греки не любили бога войны Ареса (а кто его любит?) и «не строили для него храмов», но стоило заглянуть хотя бы в «Описание Эллады» Павсания, греческого писателя II века н. э., как мы узнаем, что по всей Греции были разбросаны алтари, жертвенники, статуи и храмы Ареса. Так, в Афинах недалеко от статуи Демосфена стоял храм Ареса со статуей бога работы Алкамена (I, 8, 5), несколько храмов Ареса были в Лаконике (III, 19, 7; 22, 6), в Коринфской области (II, 32, 9) и других местах. Правда, эллинского Ареса не так чтли, как его римского двойника Марса. На странице 68 дважды говорится о каком-то военном «пиррийском танце». Вероятно, имелся в виду знаменитый дорический пиррихий, старинный пиррихический танец. Опротечиво Н. Дубов опровергает и объявляет шуткой замечание Парандовского, что Гермес был,

³ А. Ф. Лосев. Гомер. М. 1960, стр. 21.

между прочим, и богом воров. Это, разумеется, не досужий вымысел автора, а общеизвестный мифологический факт. В примечании (стр. 44) Пиндар определяется следующим образом: «древнегреческий поэт, автор лирических произведений». Пожалуй, без разъяснения специалиста нынешний читатель, привыкший к современной терминологии, составит ложное представление о Пиндаре как о певце любви и природы, но фиванский поэт сочинял торжественные, величавые оды, эпиникии, прославлявшие победителей знаменитых в древности спортивных игр — Олимпийских, Пифийских, Немейских, Истмийских.

Мог бы сказать я и о том, что по соседству с древними названиями Македония, Египет, Понт слово «Марсель» кажется ино-

родным включением, ибо означает современный французский портовый город, а не древнегреческую колонию Массалию. Посетовать, что «Мифология» выпущена явно заниженным тиражом (75 тысяч) и не снабжена указателем, который облегчил бы пользование ею как справочником. Мог бы... Но боюсь прослыть придирой и педантом. Книга-то получилась хорошая, нарядная и своевременная, отвечающая высоким духовным запросам нашей молодежи. После таких книг, как после экранизации классиков, читатель потянется к первоисточникам — Гомеру, Эсхилу, Софоклу, Еврипиду, Платону...

И. НАХОВ,

доктор филологических наук.



СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА ОБ АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЕ

З. А. Мальнова. Современная школа США. М. «Педагогика». 1971. 367 стр.

Кризис систем образования ведущих капиталистических стран является в настоящее время общепризнанным фактом. Он проявляется в ярко выраженном антидемократизме, социальных барьерах, преграждающих доступ к полноценному образованию, в расовой дискриминации, низком качестве обучения, в неспособности решить задачу гражданского воспитания подрастающего поколения даже в рамках буржуазного ее понимания, в острой нехватке средств и непомерной дороговизне обучения. Эти процессы находят в настоящее время широкое отражение в печати, начиная от правительственных документов и солидных монографий и кончая потоком журнальных и газетных статей. В качестве примера можно привести книгу американского специалиста Ф. Кумбса «Кризис образования в современном мире», выпущенную издательством «Прогресс».

Однако, при всей своей наглядной бесспорности, вопрос о кризисе систем образования далеко не так прост и одномерен, как может показаться при поверхностном подходе. Целый ряд объективных показателей свидетельствует о том, что за послевоенный период и особенно с середины 50-х годов сферы образования в ведущих капиталистических странах росли невиданными ранее темпами. В США расходы на образование возрастают даже быстрее, чем на

прикладную и теоретическую науку, разработку новой техники. Наряду с этим в образовании идет процесс непрерывной перестройки и совершенствования отдельных его сторон.

Все эти разнонаправленные процессы можно правильно оценить, если учитывать существенные изменения в механизме капиталистического воспроизводства и системе общественных отношений, связанные с началом мирового процесса научно-технической революции. В условиях непрерывной перестройки производства, быстрого морального старения производственного аппарата и продукции перспективы экономического роста все более зависят от повышения эффективности развития и использования того фонда знаний, навыков, опыта, способностей, моральных качеств, которым обладает население и рабочая сила страны. Поэтому отрасли общественной деятельности, формирующие рабочую силу, и прежде всего отрасли духовного производства, по своему влиянию на экономический рост по существу становятся в один ряд с отраслями, производящими средства производства.

Эти объективные процессы, а также усиливающееся воздействие стран мировой социалистической системы в развитии хозяйства и систем образования привели к тому, что в индустриально развитых капиталисти-

ческих государствах сложилась общая концепция развития образования как ключевой области общественной деятельности, затраты на которую представляют одну из главных составных частей в общем комплексе капитальных вложений в экономическое и социальное развитие. Сфера образования рассматривается также как важнейшее средство сохранения существующей классово-структуры капиталистического общества и первичный идеологический центр, который готовит молодежь к восприятию буржуазной пропаганды, поступающей по всем современным каналам массовой информации.

Вот почему выход фундаментальной работы З. Мальковой, посвященной всестороннему аналитическому описанию современного состояния школьного образования в США, не представляет собой узкопедагогического явления, а дает богатый материал для понимания многих важнейших экономических и социальных проблем американского капитализма.

Общепризнанно, что исследование и описание системы образования США представляет весьма трудную задачу. Это связано со множественностью типов организации учебных заведений, отсутствием единых школьных программ, существованием сотен наименований учебных курсов даже по таким традиционным дисциплинам, как родной язык, математика и т. д., специфическими методами группировки, обучения и воспитания учащихся. К этому нужно добавить различия, связанные со спецификой школьного законодательства и экономическими условиями различных штатов, а также огромные разрывы в материальной обеспеченности школ, квалификации учителей, целях, уровне, методах обучения и во всей культурной интеллектуальной обстановке в школах районов с различным социальным составом населения. Тем более ценно, что автору рецензируемой книги удалось дать обобщенную и вместе с тем конкретную картину американского школьного образования.

В практике американской школы, как и в других областях общественной жизни, порой неразличимо тесно переплетаются объективно поступательные тенденции, связанные с неодолимым процессом развития производительных сил, и явления, порожденные отживающей капиталистической социальной формой. А поскольку форма по своей природе наиболее доступ-

на для наблюдения, порой возникает реальная опасность смещения оценок в направлении безоговорочного осуждения не социальных пороков и извращений в теории и практике различных методов обучения и воспитания, а самих этих методов как принципиально неприемлемых и не представляющих интереса в иных, некапиталистических социальных условиях.

Решающее достоинство рецензируемой книги состоит, на наш взгляд, в том, что З. Мальковой удалось дать объективную марксистскую оценку различных аспектов американского образования. «В педагогической технике, которая находится на вооружении американских учителей,— пишет автор,— в тщательной продуманности методов, средств, приемов влияния на умы и психику учащихся много поучительного. Однако эта до тонкости отработанная техника не дает ожидаемого результата». В книге дан не только скрупулезный и убедительный анализ механизма социальной дискриминации и идеологической обработки молодого поколения американцев — в ней можно найти ответ и на вопрос о том, какие черты школьного образования позволили американскому капитализму в течение многих десятилетий занимать лидирующее положение в экономическом и научно-техническом развитии капиталистического мира.

В течение длительного времени в педагогических (да и не только в педагогических) кругах многих стран, в том числе и в самих США, прочно держалось мнение, что американская система образования, являясь самой массовой, по качеству обучения уступает многим странам Западной Европы. Но совсем недавно в результате сравнительных исследований источников и факторов экономического роста США и европейских стран обнаружилось, что если по производству национального дохода на душу населения последние отстают от США на двадцать — двадцать пять лет, то по уровню образования рабочей силы отставание значительно меньше. Последующий анализ причин этого явления (конечно, тут учитывалось, что на разрыв в уровнях экономического развития действуют и другие факторы) показал, что в самой системе образования США имеется ряд особенностей, дающих ей определенные экономические преимущества перед другими капиталистическими странами и в большей мере

отвечающих потребностям современного производства, науки, техники.

Характерной чертой американского школьного образования является прагматизм с его лозунгом «приспособления к жизни», к требованиям капиталистического производства и буржуазного общества. Исходный пункт прагматической педагогики — тезис о том, что большинство людей не имеют серьезных интеллектуальных интересов и обладают практическими склонностями, — был вполне созвучен политике правящих классов на ограничение объема научных знаний для широких масс.

До поры до времени такое положение вполне устраивало американских бизнесменов и политиков. Хозяйство страны традиционно обходилось сравнительно небольшим числом высококвалифицированных специалистов за счет интенсивного их использования. С другой стороны, поточно-конвейерное производство предъявляло низкие требования к общему образованию и развитию рабочих.

Начало коренных научно-технических сдвигов послевоенного периода изменило эту ситуацию. З. Малькова подробно анализирует содержание «великого национального диспута» по вопросам образования, в котором столкнулись консервативные силы, продолжавшие яростно отстаивать принципы глубокой селективности школы, увечивания двух типов программ — для «способных» и «остальных», и демократические круги. Последние выступали за демократизацию образования, за то, чтобы повысить качество обучения для всех, без предварительного деления на «способных» и «неспособных», что на практике означало бы серьезное смягчение социальных барьеров в американской школе. Ведь при таком делении учащихся на разные группы, как правило, решает имущественное положение их родителей, размежевание идет, по существу, на богатых и бедных.

Автор книги отмечает, что хотя в итоге этого «национального диспута» победу одержали консерваторы, определив тем свой вариант реорганизации американской школы, нельзя все же полностью сбрасывать со счетов и другую силу. Демократические круги прямо и косвенно способствовали принятию ряда мер по созданию детям простой Америки несколько лучших условий школьного обучения, чем раньше.

Тем не менее стержнем большинства мероприятий программы правительства США

по реорганизации обучения в школах, начавшейся с конца 50-х годов вслед за запуском в СССР искусственного спутника, по-прежнему остается подготовка «элиты» — способных и высокоодаренных учащихся, которые, по мнению американских педагогов, составляют в среднем соответственно 15 и 3 процента всех школьников. Характеризуя обстановку в американской образовательной системе в тот период, З. Малькова пишет: «На административную школьных округов и школ обрушилась лавина книг, брошюр, листовок, рассказывающих, как нужно выявлять способных, как обучать их, стимулировать их занятия и т. д.». Барьеры между одаренными и обычными учащимися были еще более укреплены, поскольку руководители школ должны были заботиться о такой высоте требований по академическим предметам, дабы среди «учащихся, не имеющих способностей, не появлялось намерения выбирать эти предметы».

На программы обучения способных учеников оказали сильное влияние взгляды видного американского психолога Дж. Брунера, для которого характерен упор на развитие интеллектуальных сил учащихся, отрицательное отношение к узкой полезности содержания образования, выдвигание в учебных программах на первый план теоретических знаний, включение ученика в активный процесс обретения знаний. Оценивая взгляды Брунера, З. Малькова пишет, что, хотя они находятся в русле понятий современной педагогики и психологии, характерной чертой этой концепции является полная ее неспособность затронуть острые социальные проблемы американского образования.

В 60-х годах на основе идей Брунера и его последователей, за счет довольно значительных субсидий государственных и частных организаций (только ассигнования Национального научного фонда США составили за десять лет почти сто миллионов долларов) различные комиссии в составе ведущих ученых страны разработали новые программы по физике, биологии, математике. Приведенные в книге данные свидетельствуют о том, что они довольно быстро вошли в практику средних школ. Из двух тысяч обследованных в 1967 году школ 50 процентов имели учащихся, работавших по новым курсам физики, 65 — биологии, 47 — химии.

Большая часть школьников заканчивает

учебу после 9—12 классов. По приведенным в книге типичным данным одного из многих массовых обследований бывших учеников средних школ, через год после выпуска нашли работу всего 50 процентов опрошенных. Оценивая серьезнейшие трудности, которые молодежь встречает при трудоустройстве, невозможно отделить долю «вины» за это американской школы и самой системы хозяйства, порождающей массовую безработицу. Во всяком случае, трезво оценивая пороки и недостатки американского образования, нужно учитывать, что тенденция сваливать на него ответственность за противоречия и язвы капиталистического производства выражена в американской буржуазной литературе весьма отчетливо.

З. Малькова подробно рассматривает все компоненты школьной подготовки американских учащихся к миру труда: формирование умения приспособиться к жизни, профессиональную ориентацию, общетрудовое и профессиональное обучение. Программа приспособляемости состоит не только из массы таких специфических предметов, как, например, арифметика потребителя, семейная жизнь, прикладная химия, деловой язык, этикет, косметика, но и вторгается в традиционные общеобразовательные курсы, где фигурируют темы «как читать газеты и журналы», «разговор по телефону», «физика и автомобиль», «аналогии» (в курсе математики) и т. п.

Налицо, казалось бы, определенное стремление приблизить американскую школу к требованиям современной жизни, сделать систему обучения в США более мобильной и гибкой. Вместе с тем это невольно приводит к определенным потерям в качестве обучения учащихся. З. Малькова пишет по этому поводу: «Программа воспитания приспособляемости потеснила в американской школе академические предметы, размыла теоретическое содержание школьного образования и, несомненно, способствовала снижению научного уровня преподавания. Однако она до тонкости отработывает навыки и качества, необходимые рабочему конвейерного производства». Такой рабочий должен обладать общей культурой, аккуратностью, четкими координированными движениями, дисциплинированностью, умением планировать труд, находить оптимальные в смысле расходования сил, времени, материалов пути выполнения

заданий, обладать хорошим физическим и эмоциональным здоровьем. Недаром в американских школах учитель уже с первого класса привлекает детей к планированию учебного времени, на уроках труда при выставлении оценки учитывается не только качество, но затраты времени и материалов, в курсы математики для тех, кто не идет в вуз, включаются темы типа «почему важна точность?», «подсчеты для работников разных специальностей» и т. д.

В старших классах средней школы (9—12) происходит общая специализация трудового обучения — создаются промышленный, торговый, конторский, домоводческий, сельскохозяйственный профили. О характере обучения можно судить на примере весьма массового конторского профиля. Здесь преподается машинопись, стенография, работа с различными канцелярскими машинами, общая и специальная психология, основы бизнеса, деловая юриспруденция. В курсе английского языка упор делается на деловое письмо, специальную терминологию, отрабатывается правильная речь, интонация, умение говорить по телефону. Такого же рода подготовка дается будущему работнику торговли и сферы обслуживания, фермеру...

Из книги З. Мальковой читатель получит систематизированное представление о том, чему и как учат, в каком духе и какими методами воспитывают в школах США. Официальная американская педагогика исходит из того, что жизненный успех человека в решающей степени определяется наследственностью, а различные тесты «довольно точно предсказывают способность детей изучать академические предметы». Практика тестирования превратилась в большой бизнес, в который вовлечены сотни частных фирм, поставляющих огромное число тестов на все случаи жизни, сопровождая этот поток ширококвотельной коммерческой рекламой. Задания тестов основаны на языке, опыте и интересах состоятельных семей, поэтому при их выполнении дети бедняков попадают в неравные условия, а глубокая вера большинства учителей в теорию и практику тестирования создает в американских школах особый климат, который губительно действует на детей из менее состоятельных семей.

Автор приводит выдержку из записок американского психолога К. Кларка об уроке в одной из школ негритянского гетто: «Как только я вошел в класс, госпожа Х.

заявила мне перед всем классом, что родители этих детей не специалисты с высшим образованием и поэтому дети не имеют ни подготовки, ни интереса к поступлению в колледж... Потом, в частной беседе, она сказала мне, что «главное — наследственность», а ее дети умственно слабые от рождения». Тестирование, а затем гомогенная группировка учащихся создает в американском образовании двойственную систему школ и классов с различным уровнем и качеством обучения, огражающую социальную структуру общества.

Автор вскрывает социальные и педагогические причины таких острейших проблем американской школы, как распушенность, хулиганство, наркомания, вандализм учащихся, которые прогрессируют, несмотря на все усилия педагогов. Растущее среди учащихся разочарование в идеалах буржуазного общества, переходящее порой то в жгучий протест, то в цинизм, заставило деятелей американского просвещения многое пересмотреть в программах политического воспитания, приблизить их к насущным нуждам сегодняшней действительности, несколько изменив саму систему про-

славления американского образа жизни. Вместе с тем в последние годы наблюдается резкое усиление антикоммунистической пропаганды, так как запугивание «коммунистической угрозой» считается наиболее сильным средством отвлечения молодежи от выступлений против капиталистического строя.

Книга З. Мальковой написана на высоком профессиональном уровне, насыщена интересным фактическим материалом. К сожалению, довольно поверхностно написан небольшой параграф о требованиях к школе в условиях научно-технического прогресса. Не обоснован тезис о том, что студенты четырехлетних колледжей США до степени бакалавра включительно проходят курс «полувысшего» образования.

Подводя итог, хочется рекомендовать книгу З. Мальковой не только педагогам, но и всем, кто стремится лучше понять ключевые проблемы и перспективы общественного развития капиталистических стран.

В. МАРЦИНКЕВИЧ,

кандидат экономических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



ЛИТЕРАТУРНАЯ СИБИРЬ. Писатели Восточной Сибири. Составитель В. П. Трушкин. Восточно-Сибирское книжное издательство. 1971. 336 стр.

Книга «Литературная Сибирь» составлена профессором Иркутского университета, неутомимым разыскателем и энтузиастом сибирской литературы В. П. Трушкиным. Она добросовестно использует опыт издания подобных библиографических словарей и справочников, и в то же время она несколько необычна. Не случайно в выходных данных проставлено еще одно название книги: «Сибирский литературный календарь».

Календарь открывается 1785 годом, когда в Иркутске возникла первая государственная типография, и доведен до 1967 года. Такова временная амплитуда — без малого два столетия. Опирающаяся на богатые культурные и революционные традиции, «литература, созданная писателями-сибиряками, — как справедливо отмечено во вступительном очерке, — давно уже перешагнула границы Сибири и в лучших своих образцах стала неотъемлемой частью общерусской советской литературы». В пользу этого утверждения свидетельствуют помещенные в книге статьи об уроженце Иркутска, основателе журнала «Московский телеграф» Н. А. Полевом, о поэте «Искры» И. В. Федорове-Омулевском, о народовольце П. Ф. Якубовиче, об авторе первого советского романа «Два мира» В. Зазубрине, о погибших на фронтах Великой Отечественной И. Уткине и Д. Алтаузене, о широко известных современных писателях Г. Маркове, К. Седых, В. Липатове, А. Кузнецовой, Г. Граубине, И. Лаврове, Е. Евтушенко, очерки о талантливой молодежи — Г. Машкине, Д. Сергееве, В. Распутине, В. Шугаеве, Ю. Самсонове. А ведь все 93 монографии посвящены не вообще писателям-сибирякам, но лишь тем, чья жизнь и творчество непосредственно связаны с Иркутском и Чितой.

Монографии менее всего напоминают су-

хие историко-литературные или биографические справки. По жанру это скорее портреты, за скупыми строчками которых нередко встает и живой облик писателя, и содержание его книг, его окружение и эволюция. Лучшие из них (например, статьи И. Фоякова о С. Кузнецовой, М. Сергеева о В. Распутине, Н. Яновского об И. Лаврове, Д. Фикса об И. Уткине, статьи Г. Кунгурова, В. Трушкина, А. Абрамовича) сочетают в себе строгую научность и аналитичность с индивидуальностью подхода и живостью рассказа. К сожалению, не все статьи поднимаются до этого уровня. Некоторые написаны вяло, избобилуют «общими местами». Сказывается и разница в критериях. Если, к примеру, В. Трушкин и Н. Федоров, говоря о творчестве того или иного писателя, указывают на его сильные и слабые стороны, то Л. Покровская пишет свои статьи в явно панегирическом духе, что, конечно же, нарушает объективность общей картины.

В похвальном стремлении уйти от привычных штампов авторы портретов иной раз впадают в крайности. Бывает, что в разных статьях повторяются одни и те же факты и целые формулировки.

Досадные эти недочеты, к которым следует отнести и нередкие опечатки в названиях и фамилиях, приводимых в библиографии, не должны, однако, заслонить от нас поистине громадной — не только собирательской, но и сугубо исследовательской работы, проделанной авторами и составителем. В очерки о писателях вводится масса материала — архивного, историко-литературного и еще неотложившегося, неостывшего, — который отныне становится достоянием широкого круга читателей. И все это дополняется и как бы цементируется вводными очерками о литературном движении в Восточной Сибири XIX—XX веков, о важнейших периодических изданиях Иркутска, начиная от первых альманахов, дореволюционного журнала «Багульник» и кончая журналами советских лет — «Красные зори», «Будущая Сибирь», «Новая Сибирь», альманахом «Ангара», рассказом о жизни иркут-

ских литературных объединений и групп — «Барка поэтов», ИЛХО.

Жаль, что составители библиографии критических работ о восточносибирской литературе ограничились перечнем монографий и рецензий и обошли вниманием статьи и книги, в которых литературе Сибири посвящены отдельные страницы и главы. Жаль, что хронология этого перечня редко выходит за грань второй половины 60-х годов. Последнее, впрочем, свидетельствует не столько о неспешной работе библиографов, сколько о медленных темпах издания такого рода книг. А ведь справочники типа «Литературной Сибири» тем и ценны, что могут ответить читателю не только какой она была в прошлом, но и какова она, литературная Сибирь, сегодня.

И. Мотяшов.

★

Н. КРЫМОВА. Имена. Рассказы о людях театра. М. «Искусство». 1971. 232 стр.

Творческие портреты — традиционный жанр театральной литературы. В этом жанре написана и новая книга Н. Крымовой «Имена». Обратим, однако, внимание на ее подзаголовок: «Рассказы о людях театра». На этот раз мы встретились не только с анализом творчества режиссеров, актеров, литераторов, но с повествованием о их жизни, человеческом облике, о встречах автора со своими героями. Конечно, в этом нет открытия, но, мне кажется, именно сочетание глубокой искусствоведческой мысли и живого воссоздания людей театра делает книгу Н. Крымовой особенно ценной, увлекательной в чтении. Скажу даже так: «Имена» появились где-то на пересечении театрального портрета и новеллы, автор здесь выступает в двух лицах — он и критик и беллетрист. В каждом талантливом рассказе мы всегда ощущаем личность автора. Так и здесь: знакомая с людьми театра, мы чувствуем присутствие Н. Крымовой, примечаем ее пристально-внимательный взгляд на жизнь и искусство, слышим негромкий голос, сдержанное, но внутренне энергичное выражение пристрастий и антипатий.

Личная печать, которой отмечена книга, сказывается и в самом выборе ее героев. Наверное, их могло быть больше, но каждый, кто появился на этих страницах, своими стремлениями в искусстве, жизненными чертами особенно близок автору. Об иных уже немало написано, другие впервые открываются читателям, но все они воспринимаются через призму авторской позиции.

И очень дорого, что позиция эта не только не спорит с объективностью, но позволяет почувствовать и понять наиболее существенное в искусстве очень не похожих друг на друга художников. У меня нет сейчас возможности анализировать каждый очерк, могу с уверенностью сказать, что, воссоздавая спектакли и роли, раскрывая художественные принципы и человеческие свойства людей театра, Н. Крымова редкостно точна,

суждения ее всегда построены на реальных фактах искусства.

Выбор героев интересен и потому, что в известной мере книга раскрывает творческое разнообразие современного советского многонационального театра. В самом деле: Олег Ефремов, Вольдемар Пансо, Юозас Мильтинис, Юрий Любимов, Сергей Юрский. Некоторые строгие читатели, возможно, заподозрят автора в «критической всеядности» (такое не раз бывало), но это было бы заблуждением. Н. Крымова действительно с равной легкостью входит в творческий мир различных художников, однако в этом сказывается ее эстетическая широта, здесь критик отражает объективные интересы зрителей, которые сегодня хотят пойти в Художественный театр, а завтра в Театр на Таганке, затем слушать Рихтера, а потом провести вечер с Райкиным.

Раскрывая художественное и национальное своеобразие актеров и режиссеров, автор вместе с тем ясно видит их общность. Если сказать совсем коротко, это интернационализм, гуманизм, современность. Существенно и другое: каждый художник, каждый театр для автора живет не изолированно, а на едином многоцветном поле советского искусства. Вот лишь один пример. «...ясное представление о своем месте в искусстве выделяет и объединяет лучших любимиловских актеров, — пишет Н. Крымова. — В этом они похожи на актеров «Современника». Уже второй вопрос — различие творческих убеждений: Ефремов свято верит в «актерский» театр и в метод Художественного театра, Славина — в режиссуру Любимова и в то, что театр грешно не использовать как открытую трибуну...»

Особо о том, как начинается и завершается книга «Имена». Открывает ее очерк о мало кому известной Зоре Дановской, драматический талант которой успел только сверкнуть в короткой ее жизни. А венчается книга лирическим рассказом о товарище автора, замечательном театральном критике и человеке Владимире Саппаке, тоже рано умершем. «Добрый человек с Пятницкой улицы» — так называется этот рассказ и, все, кому был близок и дорог Володя Саппак, узнают на этих страницах его живой облик.

Это очень хорошо, что в книге на равных правах живут прославленные художники и те, кто мог бы в искусстве сделать еще очень многое. Здесь видится мне настоящая демократичность и добрая человечность талантливое сочинения Н. Крымовой.

А. Анастасьев.

★

ЛЕВ ЛЮБИМОВ. Искусство древнего мира. Книга для чтения. М. «Просвещение». 1971. 320 стр.

Л. Д. Любимов, заявивший о себе как о литераторе в 1957 году книгой «На чужбине» (о путях и судьбах русской эмиграции), позднее приобрел известность в качестве зыскательного и образованного искусствоведа.

Рецензируемая книга — первая в задуманной им шеститомной серии по всеобщей истории искусств. Она относится, несомненно, к числу наиболее трудных: перенестись во времена наскальной живописи и первобытных хижин, фаямских портретов и тангрских статуэток, полусказочных «висячих садов» Семирамиды и причудливо отчеканенных камней — дело, подобное путешествию на ковре-самолете. Однако тщательное изучение предмета, дополненное творческим воображением, помогло Л. Любимову воссоздать мир древности в его наиболее выразительных чертах.

Автор приводит во вступлении замечательные мысли двух поэтов: «Между тем, как понятия, труды, открытия... каждый день заменяются другими — произведения истинных поэтов остаются свежими и вечно юны» (Пушкин); «Наука — лестница. Поэзия — взмах крыльев» (Гюго). Развивая эти мысли, Любимов уподобляет историю искусства «горной цепи, сияющие вершины которой, соперничая друг с другом, образуют величественную и незабываемую в своей красоте панораму». Панорама мирового искусства, доведенная до начала новой эры, и составляет содержание книги.

Главу «Искусство первобытного человека» автор начинает с описания открытия пещеры Ласко во Франции (1940), названной «Сикстинской капеллой первобытного человека». Обнаруженная здесь живопись относится, видимо, к XVIII тысячелетию до н. э. Последовательно рассматривается искусство мезолита, неолита, искусство бронзового и железного века. Наиболее интересен раздел «Скифия», где дается характеристика этой огромной тогда страны, занимавшей часть нынешней России, ее богатой культуры, впитавшей самые разносторонние влияния (кельтских и эллинских племен, Передней Азии и Китая). Подробно освещена в книге культура Египта, «взмах крыльев» которой был исключительно высок и просторен, а следы настолько глубоки, что мы и до сих пор дивимся ее разнообразному богатству. В главе «Века и народы», предваряющей «Эгейское искусство», Л. Любимов уделяет определенное место культуре юга нашей страны, уже с III века до н. э. переплетавшейся с древней шумерской культурой.

«Греция и эллинистический мир» — один из наиболее обширных разделов книги, дающий представление о реалистическом греческом искусстве: «древние греки воспринимали природу не в ее неразгаданных тайнах, а в ее видимой объективной реальности». Более кратко рассказано в книге об искусстве Рима начала новой эры, хотя все наиболее показательное, особенно в области портрета, присутствует и в этой, заключительной, главе.

Живопись, скульптура, архитектура — основные «герои» книги Л. Любимова, по мере надобности они дополняются и другими разновидностями искусства (литература, поэзия).

В книге не отметишь ни словесного «сбоя», ни режущих глаз и ухо выражений:

она стилистически выверена. Как упущение в качестве взыскательного и образованного надо отметить следующее: упоминая о том, что Ив. Бунин в «Господине из Сан-Франциско» посвятил несколько строк Тиберию, Л. Любимов забыл указать, что у того же Бунина есть другой, специальный рассказ о Тиберии и Августе — «Остров Сирен».

Книга, не раз повествующая о «переплетении культур», написана на основе переплетения жанров — научного и художественного. Автор научно обосновывает свои положения и утверждения, умело пользуясь необходимыми указаниями классиков марксизма, исторической науки и литературы, с большим вкусом, нередко и с подлинным изощрением приводит мифы и сказания.

Книга Л. Любимова, богато иллюстрированная, — плод большой и высокой литературной культуры.

Ник. Смирнов.

★

ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ. Диалоги. Воспоминания, размышления, комментарии. Л. «Музыка». 1971. 414 стр.

Одного года не дожидаясь И. Стравинский до своего девяностолетия, исполнившегося в июне этого года. Огромный творческий путь был пройден им за столь долгую жизнь, огромное влияние оказала его деятельность на ход развития современной музыки. И если не принимать буквально и сделать скидку на типичное для Стравинского некоторое кокетство в собственных высказываниях, то можно признать определенный резон в его замечании, что теперь «человек (очевидно, представитель буржуазной культуры.— А. М.) определяет свое лицо, выбирая между Фрейдом и Юнгом, Стравинским и Шёнбергом, Достоевским и Толстым...».

Отечественная литература о Стравинском невелика. Поэтому издание его «Диалогов» — факт примечательный и отрадный. Однако это не первая книга самого Стравинского, переведенная на русский язык. В 1963 году мы получили перевод его автобиографии «Хроника моей жизни». И хотя обе эти книги теперь стоят на книжной полке рядом, многие высказывания об одних и тех же предметах в них часто диаметрально противоположны. Объясняется это несколькими обстоятельствами. Во-первых, «Хроника» была написана почти сорок лет назад. За это время творчество и взгляды Стравинского чрезвычайно эволюционизировали. Во-вторых, как он сам отмечает, хронология автобиографии «не всегда надежна, что послужило одной из причин издания тетралогии моих «бесед». И далее: «Другой причиной служит мое желание непосредственно высказываться на разные темы, переходя от одной к другой, не отрывая времени у сочинительства для написания «книги». В «Хронике»... при всех моих ошибках гораздо менее моего, чем в диалогах...».

Круг вопросов (в буквальном смысле слова, так как книга состоит из ответов ком-

композитора на вопросы его секретаря Р. Крафта), затронутых Стравинским, чрезвычайно широк. Здесь и воспоминания, дополняющие «Хронику», и анализ собственного творчества, и характеристика деятельности многих крупнейших представителей русской и западной культуры, и размышления о различных музыкальных стилях, и многое другое. (Составители, на наш взгляд, поступили совершенно правильно, перегруппировав весь первоначально не систематизированный материал и собрав ответы под определенными рубриками.)

Существенным отличием «Диалогов» от «Хроники» является обилие и острота оценок и характеристик Стравинского. Если в ранней его книге эстетические замечания делались, так сказать, «по ходу» биографических событий, то в «Диалогах» эти оценки — главное и наиболее интересное. Однако мы напрасно стали бы искать в высказываниях Стравинского объективную «правильность». Но парадокс в том состоит, что чем более субъективен автор в своих высказываниях, тем более в данном случае он интересен нам. Отрицая (а как личность яркая, он делает это категорично и порой даже резко) чуждо ему в других, он в аргументах более ярко раскрывает себя. А оценки его действительно часто убийственны: «Он (известный дирижер П. Монте, дирижировавший премьерой «Весны священной». — А. М.) стоял, на вид невозмутимый и столь же лишенный нервов, как крокодил», «Я хотел бы подвергнуть все оперы Штрауса (Рихарда. — А. М.) любому наказанию, уготованному в чистилище для торжествующей банальности. Их музыкальный материал, дешевый и бедный, не может заинтересовать музыканта наших дней», «...я также слышал его (Хиндемита. — А. М.) вещи, которые столь же сухи и непереваримы, как картон, и столь же малопитательны».

Высказывания Стравинского интересны с разных точек зрения. В данном же случае хочется обратить внимание на удивительное единство стиля Стравинского-композитора и Стравинского-рассказчика. Его литературный язык аналогичен музыкальному: предельно точен, остр, лапидарен; его портретные зарисовки графичны, а выражаясь музыкальным языком — линейны. В высказываниях и характеристиках Стравинского блеска не меньше, чем в самых ярких его опусах.

Заключая эту небольшую заметку, с удовольствием отмечаем тщательность и продуманность в подготовке издания. Книга снабжена содержательным послесловием М. Друскина, обстоятельными комментариями И. Белецкого, а также наиболее полным каталогом сочинений Стравинского, составленным И. Белецким и И. Блажковым.

Хотя главным материалом обсуждения в «Диалогах» является музыка, эта книга безусловно привлечет к себе внимание всех неравнодушных к судьбам современного искусства.

А. Майкапар.

ЭПТОН СИНКЛЕР. Гномобиль. Гнеобычные гновости о гномах. Повесть-сказка. Перевод с английского И. Токмаковой. Послесловие М. Бременера. М. «Детская литература». 1971. 160 стр.

Эта небольшая книжечка со странным названием и обманчиво шутивным подзаголовком — единственное произведение знаменитого американского писателя, специально созданное для детей. Эптон Синклер говорит здесь о том же, о чем говорил и в своих «взрослых» книгах — «Король Уголь», «Джимми Хиггинс», в серии романов «Между двух миров», — но «детский» угол зрения сообщает его привычной теме какой-то особенно трогательный колорит.

...Оказывается, в этом древнем калифорнийском лесу жили гномы — Элизабет совершенно случайно открыла это, выйдя на минутку из машины во время поездки к дяде. С одним гномом, Бобо, она даже разговаривалась. Бобо просил помочь: дед его, тысячетлетний Глого, уже который день «сидит мрачный, молчит и ничего не ест...». Наверное, это оттого, что люди сводят леса — для гномов это смерть. Их и так осталось в этом огромном лесу лишь двое... Девочка рада помочь, но чем тут поможешь? Вот разве что дядя Родни... Он учился в колледже. И он такой добрый — «никогда не спилил ни одного дерева». У Родни прекрасная машина — может, поехать по стране, поискать для гномов родню? А заодно и развезть грусть Глого. И вот Элизабет с дядей и гномами отправляются в путешествие. И тогда сказка становится как бы путеводителем по Америке — вроде того, как знаменитая сказка Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» является в то же время прекрасным путеводителем по Швеции. Только в данном случае путешествие не столь чудесно: перед нами самодовольная буржуазная Америка, гонительница живой природы. У Колорадо и в Миннесоте, в Небраске и Айове, в Миссури и Висконсине — на Западе и на Востоке Америки путешественники встречают одно и то же: торжество бизнеса и погоню за сенсациями (жертвами этой погони стали сами герои), вырубаемые (а где и полностью вырубленные) леса и истощенные земли. Не мудрено, что при виде всего этого Глого не только не оживлялся, но все больше грустнел...

И все же писатель дает сбывшуюся мечте: в конце концов друзья находят в Америке других гномов. Но это счастье навзрыд трагично: умер Глого, не перенесший трудностей пути, Бобо засосало американское дело, он увлеченно стал делать свой собственный бизнес — выступать перед публикой. А гномы, которых они встретили в горах Пенсильвании, были не дикие, вольные гномы, а «цивилизованные». В свое время пронизательный Глого, услышав, что Абиссиния «быстро цивилизуется», спросил: «Это значит, что они спилият все деревья?» — и Родни ничего не оставалось, как ответить: «Боюсь, что так». Так вот, эти гномы как раз и были такими «цивилизованными»: жили они не в лесах, а в крохотном, но точь-в-точь американском промышленном

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Доклад о революции 1905 года. 24 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Марксизм и ревизионизм. 16 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Грозящая катастрофа и как с ней бороться. 48 стр. Цена 5 к.

Л. Брежнев. Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза. 30 марта 1971 г. 136 стр. Цена 15 к.

Л. Брежнев. Решения XXIV съезда КПСС — боевая программа деятельности советских профсоюзов. Речь на XV съезде профессиональных союзов СССР. 20 марта 1972 г. 32 стр. Цена 3 к.

Михаил Иванович Калинин. Жизнь и деятельность в фотографиях и документах. Альбом. 104 стр. Цена 1 р. 3 к.

Клубы политической информации. Сборник. 80 стр. Цена 12 к.

А. Коллонтай. Избранные статьи и речи. 432 стр. Цена 84 к.

Е. Стасова. Учитель и друг. 32 стр. Цена 4 к.

Л. Фотиева. Неиссякаемая энергия. 68 стр. Цена 9 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Авраменно. Вечерний плес. Новая книга лирики. 168 стр. Цена 48 к.

В. Беляев. Формула яда. Памфлеты и повесть. 286 стр. Цена 57 к.

И. Березарн. Память рассказывает. Воспоминания. 176 стр. Цена 29 к.

Е. Воробьев. Земля, до востребования. Роман. 750 стр. Цена 1 р. 25 к.

С. Дроffenно. Зимнее солнце. Стихи. 94 стр. Цена 43 к.

С. Журахович. Нам было тогда по двадцать. Повесть и рассказы. Перевод с украинского. 302 стр. Цена 60 к.

В. Илус. Посевы ветра. Роман. Перевод с эстонского. 318 стр. Цена 64 к.

П. Капица. В море погасли огни. Блокадные дневники. 320 стр. Цена 64 к.

Л. Лиходеев. Я и мой автомобиль. Роман. 368 стр. Цена 63 к.

Мастерство перевода. 1971. Редактор А. Гатов и др. 488 стр. Цена 1 р. 30 к.

В. Сафонов. О достоинстве искусства. 239 стр. Цена 1 р. 21 к.

А. Старнов. Герои и годы. Романы К. Федина. 288 стр. Цена 68 к.

Д. Холендро. Улица тринадцати тополей. Повести и рассказы. 344 стр. Цена 63 к.

Г. Холопов. Две книги о войне. Невыдуманные рассказы о войне. Маленькая повесть и большие рассказы. 431 стр. Цена 85 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Д. Байрон. Паломничество Чайльд-Гарольда.—Дон-Жуан.—Стихотворения. Перевод с английского. Вступительная статья А. Елистратовой («Библиотека всемирной литературы») 863 стр. Цена 1 р. 95 к.

В. Воровский. Литературная критика. Составители О. Семеновский и И. Черноуцан. Вступительная статья И. Черноуцана. 574 стр. Цена 1 р. 48 к.

В. Гюго. Девяносто третий год. Роман. Перевод с французского Н. Жарковой. 399 стр. Цена 84 к.

С. Есенин. Избранное. Вступительная статья В. Базанова. 835 стр. Цена 72 к.

К. Кулиев. Черный караван. Роман. Перевод с туркменского Б. Турганова. Предисловие Л. Климовича. 126 стр. Цена 61 к.

Легенды и сказки индейцев Латинской Америки. Составление и вступительная статья Э. Зиберт. 287 стр. Цена 44 к.

Рассказы, освежающие разум и изгоняющие печаль. Перевод с сирийского. 543 стр. Цена 1 р. 8 к.

Г. Руа. Счастье по случаю. Роман. Перевод с французского И. Грушецкой. Вступительная статья Т. Балашовой. 359 стр. Цена 1 р.

В. Собно. Первые капли дождя. Роман и повести. Перевод с украинского. 511 стр. Цена 1 р. 11 к.

Юй Да-Фу. Весенние ночи. Рассказы. Перевод с китайского. 207 стр. Цена 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Бригантина, 71. Сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. Составитель В. Стеценко. 382 стр. Цена 1 р. 60 к.

Ф. Карсак. Бегство Земли. Фантастический роман. Перевод с французского Ф. Мендельсона. Послесловие Э. Араб-Оглы. 335 стр. Цена 1 р. 10 к.

М. Колесникова и М. Колесников. Рихард Зорге. («Жизнь замечательных людей») 302 стр. Цена 72 к.

Приключения, 1971. Повести и рассказы. Составители В. Понизовский и В. Смирнов. 462 стр. Цена 84 к.

А. Фатьянов. Избранная лирика. Предисловие В. Соколова. 32 стр. Цена 11 к.

К. Ярунова. Единственная. Повесть. Перевод со словацкого. 222 стр. Цена 63 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Е. Верейская. В те годы. Повесть. 224 стр. Цена 60 к.

Г. Голубев. Голос в ночи.— «Вспомни!». Повести. 255 стр. Цена 52 к.

М. Давыдов. Бутули. Рассказы. 96 стр. Цена 31 к.

Ю. Дюжев. Летописцы страны Пионерии. Очерки о современной литературе для пионеров. 96 стр. Цена 32 к.

В. Железников. Хорошим людям — доброе утро. Рассказы и повести. 272 стр. Цена 56 к.

А. Кожевников. Солнце ездит на оленях. Роман. 448 стр. Цена 1 р. 24 к.

Р. Колотухин. Наш дом стоит у моря. Повесть. 176 стр. Цена 42 к.

Е. Мар. Флаг на штыке. Рассказы о гражданской войне. 176 стр. Цена 36 к.

К. Паустовский. Летние дни. Рассказы и сказки. 109 стр. Цена 35 к.

Ю. Сотнин. Как меня спасали. Рассказы. 160 стр. Цена 40 к.

В. Файнберг. Свет на вулкане. Повесть. 126 стр. Цена 33 к.

З. Шишова. Великое плавание. Исторический роман. 336 стр. Цена 86 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Ю. Власов. Белое мгновение. Рассказы и повесть. 220 стр. Цена 50 к.

Государственный лермонтовский музей-заповедник Тарханы. Альбом. 24 стр. Цена 55 к.

Р. Киреев. Подвиг Робинзона. Сатирические и юмористические стихи. 96 стр. Цена 20 к.

В. Львов. Встреча с юностью. Рассказы. 111 стр. Цена 20 к.

И. Минутно. Вечером, ночью и утром. Рассказы. 128 стр. Цена 25 к.

М. Митаров. Голос Рубаса. Стихи. Перевод с табасаранского 126 стр. Цена 38 к.

П. Нефедов. Золотая моя Колыма. Стихи. 103 стр. Цена 31 к.

Н. Попов. Абанер. Хроника школы второй ступени. 175 стр. Цена 49 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Жунов. Выстрелы. Стихи и поэмы. 191 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Прокофьев. Россия стоит на границе Избранное. 495 стр. Цена 2 р. 6 к.

М. Румянцева. Размах. Стихи разных лет. 95 стр. Цена 46 к.

ВОЕНИЗДАТ

Американский милитаризм 1970. Сборник материалов. Перевод с английского. 239 стр. Цена 45 к.

И. Гололощенко и Н. Никитин. Подразделения иностранных армий. 272 стр. Цена 89 к.

Д. Горбатенно. Фактор времени в современном бою. 77 стр. Цена 11 к. (Солдату и матросу о революции в военном деле).

В. Дуров. Боевое применение и боевая эффективность истребителей-перехватчиков (Задачи с решением). 279 стр. Цена 1 р. 4 к.

«ИСКУССТВО»

В. Головня. История античного театра. 309 стр. Цена 1 р. 38 к.

Д. Каунтер. Как снимают кинотрюки. Перевод с английского. 166 стр. Цена 46 к.

А. Оганов. Логика художественного отражения. Проблемы правды и правдоподобия в искусстве. 120 стр. Цена 54 к.

В. Огнев. Экран — поэзия факта. 158 стр. Цена 67 к.

С. Хельмебанн. Продается смерть героя. Пьеса в 5-ти действиях с прологом и эпилогом. Перевод с норвежского Н. Крымовой. 77 стр. Цена 18 к.

«ПРОГРЕСС»

К. Лайтфут. Восстание в гетто за освобождение негров. Сокращенный перевод с английского. 134 стр. Цена 27 к.

Н. Потапова. Изучаем русский язык. Книга первая. 208 стр. Цена 69 к.

«МЫСЛЬ»

Ф. Бэкон. Сочинения. В 2-х томах. Том 2. Философское наследие. 582 стр. Цена 2 р. 22 к.

Основной экономический закон и развитие социалистического производства. 293 стр. Цена 1 р. 11 к.

Основные законодательные акты по советскому государственному строительству и праву. Том 2. 485 стр. Цена 1 р. 35 к.

Платон. Сочинения. В 3-х томах. Том 3 Часть 2. Философское наследие. Перевод с древнегреческого. 678 стр. Цена 2 р. 61 к.

«НАУКА»

Е. Будилова. Философские проблемы в советской психологии. 336 стр. Цена 1 р. 58 к.

Всемирно-историческая победа советского народа. 1941—1945 гг. Материалы научной конференции, посвященной 25-летию победы над фашистской Германией. 646 стр. Цена 2 р. 75 к.

История Венгрии. В 3-х томах. Том I. 644 стр. Цена 3 р. 30 к.

История и историки. Историческая концепция В. И. Ленина. Методология. Лаборатория. Историографический ежегодник. 368 стр. Цена 2 р. 46 к.

История советской многонациональной литературы. В 6-ти томах. Т. 2. Кн. 2. 560 стр. Цена 3 р. 41 к.

Ма Ма Лей Д. Две жизни. Роман. Перевод с бирманского. 119 стр. Цена 35 к.

Я. Маховский. История морского пиратства. Перевод с польского. 288 стр. Цена 75 к.

Немецкие волшеббно-сатирические сказки. Переводы. 215 стр. Цена 1 р. 31 к.

А. Петриновская. Генри Лоусон и рождение австралийского рассказа. 208 стр. Цена 90 к.

Проблемы истории Индии и стран Среднего Востока. Сборник статей. 298 стр. Цена 1 р. 92 к.

Проблемы этнографии и антропологии в свете научного наследия Ф. Энгельса. Сборник статей. 183 стр. Цена 64 к.

Русское и славянское языкознание. Сборник статей. 331 стр. Цена 1 р. 54 к.

Страницы истории русской литературы. Сборник статей. 447 стр. Цена 1 р. 97 к.

М. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. Перевод с латинского. 471 стр. Цена 2 р. 26 к.

А. Чубарьян. В. И. Ленин и формирование советской внешней политики. 315 стр. Цена 1 р. 46 к.

П. Шишкин. Классовая борьба в США 1955—1968, гг. 334 стр. Цена 1 р. 55 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Е. Вихров. В поисках героя. На темы литературные и театральные. Симферополь. «Таврия». 288 стр. Цена 80 к.

А. Дракохруст. Мост. Книга стихов. Минск. «Беларусь». 143 стр. Цена 43 к.

А. Коптелов. Минувшее и близкое. Воспоминания, статьи и очерки. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 415 стр. Цена 89 к.

Латышские народные сказки. Избранное. Составитель К. Арийс. Перевод с латышского. Рига. «Зинатне». 351 стр. Цена 1 р. 13 к.

В. Михайлов. Исток. Фантастические рассказы. Рига. «Лиесма». 186 стр. Цена 41 к.

Песни страны певцов. Из таджикской народной поэзии. Перевод Н. Гребнева. Душанбе. «Ирфон». 352 стр. Цена 98 к.

А. Чан. Кленовый лист. Рассказы. Перевод с латышского. Рига. «Лиесма». 112 стр. Цена 34 к.



Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 24/IV 1972 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 13/VII 1972 г.
 Формат бумаги 70×108/16. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
 А 09021. Тираж 157.000 экз. Зак. 1445.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
 имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636